МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 8

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ПЬЕР и ЖАН

О РОМАНЕ

Я вовсе не собираюсь выступать здесь в защиту небольшого романа, следующего за этим предисловием. Напротив, мысли, которые я попытаюсь выразить, скорее повели бы к критике того опыта психологического жанра, каким является *Пьер и Жан.*

Мне хочется остановиться на романе как таковом.

Я не единственный из писателей, которому все те же критики обращают все тот же упрек каждый раз, как выходит новая книга.

Среди хвалебных фраз мне неизменно попадается и такая фраза,— и пишут ее все те же перья:

— Главный недостаток этого произведения в том, что оно, в сущности говоря, не роман.

Можно было бы ответить тем же самым доводом:

— Главный недостаток писателя, удостоившего меня своей оценки, в том, что он, в сущности говоря, не критик.

Каковы в самом деле основные признаки критика?

От критика требуется, чтобы он, без предвзятости, без заранее принятого решения, не поддаваясь влиянию той или иной школы и независимо от связей с какой бы то ни было группой художников, умел понимать, различать и объяснять все самые противоречивые стремления, самые противоположные темпераменты и признавать закономерность самых разнообразных художественных исканий.

Вот почему тот критик, который после *Манон Леско, Поля и Виржини, Дон Кихота, Опасных связей, Вертера, Избирательного сродства, Клариссы Гарло,*

Эмиля, Кандида, Сен-Мара, Рене, Трех мушкетеров, Мопра, Отца Горио, Кузины Бетты, Коломбы, Красного и черного, Мадемуазель де Мопен, Собора Парижской богоматери, Саламбо, Госпожи Бовари, Адольфа, Господина де Камор, Западни, Сафо и т. д. еще позволяет себе писать: «То — роман, а это — не роман»,— кажется мне одаренным проницательностью, весьма похожей на некомпетентность.

Обычно такой критик понимает под романом более или менее правдоподобное повествование по образцу театральной пьесы в трех действиях, из которых первое содержит завязку, второе — развитие действия и третье — развязку.

Подобная форма композиции вполне приемлема при том условии, что одинаково допустимы и все остальные.

В самом деле, существуют ли правила, как писать роман, при несоблюдении которых произведение должно называться по-другому?

Если *Дон Кихот* — роман, то роман ли *Западня?* Можно ли провести сравнение между *Избирательным средством* Гете, *Тремя мушкетерами* Дюма, *Госпожой Бовари* Флобера, *Господином де Камор* г-на О. Фейе и *Жерминалем* г-на Золя? Какое из этих произведений — роман? Каковы эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил? По какому принципу, по чьему авторитету, по каким соображениям?

Однако критикам этим как будто самым доподлинным и неоспоримым образом известно, что именно составляет роман и чем он отличается от другого произведения, которое не роман. Попросту же говоря, все дело в том, что, не будучи сами художниками, они примкнули к определенной школе и, по примеру ее представителей-романистов, отвергают все произведения, задуманные и выполненные вне их эстетических правил.

Проницательному критику, напротив, следовало бы выискивать именно то, что менее всего напоминает уже написанные романы, и по возможности толкать молодежь на поиски новых путей.

Все писатели, и Виктор Гюго и г-н Золя, настойчиво требовали абсолютного, неоспоримого права тво-

рить, то есть воображать или наблюдать, следуя своему личному пониманию задач искусства. Талант порождается оригинальностью, которая представляет собой особую манеру мыслить, видеть, понимать и оценивать. И критик, пытающийся определить существо романа соответственно представлению, составленному по романам, которые ему нравятся, и установить некие незыблемые правила композиции, всегда обречен бороться против темперамента художника, работающего в новой манере. Критику же, безусловно достойному этого имени, следовало бы быть только аналитиком, чуждым тенденций, предпочтений, страстей, и, подобно эксперту в живописи, оценивать лишь художественную сторону рассматриваемого им произведения искусства. Способность понимать решительно все должна настолько господствовать у него над личными вкусами, чтобы он мог отмечать и хвалить даже те книги, которые ему как человеку не нравятся, но которым он отдает должное в качестве судьи.

Однако большинство критиков, в сущности, только читатели, а это значит, что они распекают нас почти всегда понапрасну; если же хвалят, то не знают ни удержу, ни меры.

Тому читателю, который ищет в книге только удовлетворения природной склонности своего ума, желательно, чтобы писатель угождал его излюбленным вкусам, и поэтому он всегда признает выдающимся и *хорошо написанным* то произведение или тот отрывок, которые отвечают его настроению, возвышенному или веселому, игривому или печальному, мечтательному или трезвому.

В сущности, читающая публика состоит из множества групп, которые кричат нам:

— Утешьте меня.
— Позабавьте меня.
— Дайте мне погрустить.
— Растрогайте меня.
— Дайте мне помечтать.
— Рассмешите меня.
— Заставьте меня содрогнуться.
— Заставьте меня плакать.
— Заставьте меня размышлять.

И только немногие избранные умы просят художника:

— Создайте нам что-нибудь прекрасное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту.

И художник берется за дело и достигает успеха или терпит неудачу.

Критик должен оценивать результат, исходя лишь из природы творческого усилия, и не имеет права быть тенденциозным.

Об этом писали уже тысячу раз. Но постоянно приходится повторять то же самое.

И вот вслед за литературными школами, стремившимися дать нам искаженное, сверхчеловеческое, поэтическое, трогательное, очаровательное или величественное представление о жизни, пришла школа реалистическая, или натуралистическая, которая взялась показать нам правду, только правду, всю правду до конца.

Надо с одинаковым интересом относиться ко всем этим столь различным теориям искусства, а о создаваемых ими произведениях судить исключительно с точки зрения их художественной ценности, принимая à priori [1], породившие их философские идеи.

Оспаривать право писателя на создание произведения поэтического или реалистического — значит требовать, чтобы он насиловал свой темперамент и отказался от своей оригинальности, значит запрещать ему пользоваться глазами и разумом, дарованными природой.

Упрекать его за то, что вещи кажутся ему прекрасными или уродливыми, ничтожными или величественными, привлекательными или зловещими, значит упрекать его за то, что он создан на свой особый лад и что его представления не совпадают с нашими.

Предоставим же ему свободу понимать, наблюдать, создавать, как ему вздумается, лишь бы он был художником. Но попытаемся подняться сами до поэтической экзальтации, чтобы судить идеалиста; ведь только тогда мы и сможем ему доказать, что мечта его убога, банальна, недостаточно безумна или недостаточно ве-

---

[1] Наперед, независимо от опыта *(лат.)*.

ликолепна. А если мы судим натуралиста,— покажем ему, в чем правда жизни отличается от правды в его книге.

Вполне очевидно, что столь различные школы должны пользоваться совершенно противоположными приемами композиции.

Романисту, который переиначивает неопровержимую, грубую и неприятную ему правду ради того, чтобы извлечь из нее необыкновенное и чарующее приключение, незачем заботиться о правдоподобии; он распоряжается событиями по своему усмотрению, подготавливая и располагая их так, чтобы понравиться читателю, чтобы взволновать или растрогать его. План его романа — только род искусных комбинаций, ловко ведущих к развязке. Все эпизоды рассчитаны и постепенно доведены до кульминационного пункта, а эффект конца, представляющий собой главное и решающее событие, удовлетворяет возбужденное в самом начале любопытство, ставит преграду дальнейшему развитию интереса читателей и настолько исчерпывающе завершает рассказанную историю, что больше уж не хочется знать, что станется на другой день с самыми увлекательными героями.

Но романист, имеющий в виду дать нам точное изображение жизни, должен, напротив, тщательно избегать всякого сцепления обстоятельств, которое могло бы показаться необычным. Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать нам какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий. Он столько наблюдал и размышлял, что смотрит на вселенную, на вещи, на события и на людей особым образом, который свойствен только ему одному и исходит из совокупности его глубоко продуманных наблюдений. Это личное восприятие мира он и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге. Чтобы взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни, он должен воспроизвести ее перед нашими глазами, стремясь к самому тщательному сходству. Следовательно, он должен построить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов

и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются замысел и намерения автора.

Вместо того чтобы измыслить какое-нибудь приключение и так развернуть его, чтобы оно держало читателя в напряжении вплоть до самой развязки, он возьмет своего героя или своих героев в известный период их существования и доведет их естественными переходами до следующего периода их жизни. Таким образом, он покажет, как меняются умы под влиянием окружающих обстоятельств, как развиваются чувства и страсти, как любят, как ненавидят, как борются во всякой социальной среде, как сталкиваются интересы обывательские, денежные, семейные, политические.

Его искусный замысел будет, следовательно, заключаться вовсе не в том, чтобы взволновать или очаровать, не в захватывающем начале или потрясающей катастрофе, но в умелом сочетании достоверных мелких фактов, которые выявят окончательный смысл произведения. Чтобы уместить на трехстах страницах десять лет чьей-нибудь жизни и показать, каково было ее особенное и характерное значение среди всех других окружающих ее существований, автор должен суметь исключить из множества мелких, незначительных, будничных событий те события, которые для него бесполезны, и особенным образом осветить все те, которые остались бы незамеченными недостаточно проницательным наблюдателем, хотя они-то и определяют все значение и художественную ценность книги.

Разумеется, подобная манера композиции, столь отличная от старинного, понятного для всех способа, часто сбивает с толку критиков, и они не могут обнаружить эти тонкие, скрытые, почти незаметные нити, используемые некоторыми современными художниками вместо той единственной веревочки, которая звалась Интригой.

Словом, если вчерашний романист избирал и описывал житейские кризисы, обостренные состояния души и сердца, то романист наших дней пишет историю сердца, души и разума в их нормальном состоянии. Чтобы добиться желаемого эффекта, то есть взволновать зрелищем обыденной жизни, и чтобы выявить

свою идею, то есть в художественной форме показать, что же представляет собою в его глазах современный человек, автор должен пользоваться только теми фактами, истинность которых неопровержима и неизменна.

Но даже становясь на точку зрения художников-реалистов, следует все же обсуждать и оспаривать их теорию, которую, по-видимому, можно выразить в таких словах: «Только правда, и вся правда до конца».

Так как цель их в том, чтобы делать философские выводы из некоторых постоянных и обычных фактов, им нередко приходится исправлять события в угоду правдоподобию и в ущерб правде, потому что

Бывает не всегда правдоподобна правда.

Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам ее воспроизведение, более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность.

Рассказать обо всем невозможно, так как потребовалось бы писать минимум по книге в день, чтобы изложить те бесчисленные незначительные происшествия, которые наполняют наше существование.

Значит, необходим выбор, а это уже первое нарушение теории всей правды до конца.

Кроме того, жизнь состоит из событий самых разнообразных, самых непредвиденных, самых противоположных, самых разношерстных; она груба, непоследовательна, бессвязна, полна необъяснимых, нелогичных и противоречивых катастроф, которым место в *отделе происшествий.*

Вот почему художник, выбрав себе тему, возьмет из этой жизни, перегруженной случайностями и мелочами, только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное.

Вот один из множества примеров.

Количество людей, умирающих каждый день от несчастных случаев, довольно велико на земле. Но можем ли мы сбросить черепицу с крыши на голову главного действующего лица или швырнуть его под колеса экипажа в самой середине повествования под тем предлогом, что нужно уделить место и несчастному случаю?

Далее, в жизни все идет по своему плану: события то ускоряются, то бесконечно затягиваются. Задача искусства, наоборот, состоит в том, чтобы осмотрительно подготовлять события, изобретать искусные скрытые переходы, освещать полным светом, с помощью умелой композиции, основные события, придавая всем остальным ту степень реальности, которая соответствует их значению; все это необходимо для того, чтобы заставить глубоко почувствовать ту особенную правду, которую требуется показать.

Показывать правду — значит дать полную иллюзию правды, следуя обычной логике событий, а не копировать рабски хаотическое их чередование.

На этом основании я считаю, что талантливые Реалисты должны были бы называться скорее Иллюзионистами.

К тому же, какое ребячество верить в реальность, если каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств! Различие нашего зрения, слуха, обоняния, вкуса создает столько истин, сколько людей на земле. И наш ум, получая указания от этих органов, обладающих различной впечатлительностью, понимает, анализирует и судит так, как если бы каждый из нас принадлежал к другой расе.

Итак, каждый из нас просто создает себе ту или иную иллюзию о мире, иллюзию поэтическую, сентиментальную, радостную, меланхолическую, грязную или вловещую, в зависимости от своей натуры. И у писателя нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить эту иллюзию всеми художественными приемами, которые он постиг и которыми располагает.

Иллюзию прекрасного, которая является человеческой условностью! Иллюзию безобразного, которая является преходящим представлением! Иллюзию правды, никогда не остающуюся незыблемой! Иллюзию низости, привлекательную для столь многих! Великие художники — это те, которые внушают человечеству свою личную иллюзию.

Не будем же возмущаться ни одной теорией, поскольку каждая из них — это лишь общее выражение анализирующего себя темперамента.

Две из этих теорий особенно часто подвергались обсуждению, но их противопоставляли одну другой, вместо того чтобы принять их обе: это теория романа чистого анализа и теория романа объективного. Сторонники анализа требуют, чтобы писатель неукоснительно отмечал малейшие этапы умственной жизни и потаеннейшие побуждения, которыми определяются наши поступки, а самому событию уделял бы второстепенное значение. Событие есть лишь отправной пункт, простая веха, только повод к роману. Следовательно, по их мнению, нужно писать такие повести, точные и сочиненные, где воображение сливается с наблюдением,— как у философа, который стал бы писать книгу о психологии,— то есть излагать причины, черпая их из самых отдаленных истоков, объяснять все «почему» всех желаний и распознавать все отклики души, побуждаемой к действию выгодой, страстями или инстинктом.

Сторонники объективности (какое противное слово!) имеют в виду, наоборот, дать нам точное воспроизведение того, что происходит в жизни; они тщательно избегают всяких сложных объяснений, всяких рассуждений о причинах и ограничиваются тем, что проводят перед нашим взором вереницу персонажей и событий.

По мнению этих писателей, психология в книге должна быть скрыта, подобно тому как в действительности она скрыта за жизненными фактами.

Роман, задуманный по этому принципу, выигрывает в отношении интереса, подвижности повествования, красочности, жизненной живости.

Итак, вместо того, чтобы пространно объяснять душевное состояние какого-нибудь персонажа, объективные писатели ищут тот поступок или жест, который неизбежно будет сделан человеком в определенном душевном состоянии, при определенных обстоятельствах. Они заставляют героя вести себя с начала и до конца книги таким образом, чтобы все его поступки, все его порывы являлись отражением его внутренней природы, отражением его мыслей, желаний или сомнений. Они, следовательно, скрывают психологию, вместо того чтобы выставлять ее напоказ, и делают

из нее остов произведения, подобный тем невидимым глазу костям, которые составляют скелет человеческого тела. Художник, рисуя наш портрет, не показывает же нашего скелета.

Мне кажется еще, что роман, написанный таким способом, выигрывает в отношении искренности. Прежде всего он правдоподобнее,— ведь люди, действующие вокруг нас, отнюдь не сообщают нам о побуждениях, которым они повинуются.

Необходимо считаться также с тем, что если мы, постоянно наблюдая людей, можем достаточно точно определить их характер, чтобы предвидеть их поведение почти при любых обстоятельствах, если мы с уверенностью можем сказать: «Такой-то человек, обладающий таким-то темпераментом, в таком-то случае поступит так-то»,— из этого вовсе не следует, что мы сможем определить одну за другой все сокровенные последовательные извилины его мысли, непохожей на нашу мысль, все таинственные зовы его инстинктов, иных, чем у нас, все смутные побуждения его природы, органы которой, нервы, кровь и плоть, отличаются от наших.

Как бы ни был гениален слабый, мягкий, лишенный страстей человек, любящий исключительно науку и труд, он никогда не сможет настолько воплотиться в пышущего здоровьем, чувственного, пылкого молодца, обуреваемого всеми вожделениями и даже всеми пороками, чтобы понять и показать интимнейшие побуждения и ощущения столь чуждого ему человека, хотя прекрасно может предвидеть все его жизненные поступки и рассказать о них.

Итак, тот, кто является поборником чистой психологии, только на то и способен, чтобы подставлять самого себя на место каждого из персонажей в тех разнообразных положениях, в какие он их ставит, ибо он не в силах изменить свои органы, те единственные посредники между нами и внешним миром, которые навязывают нам свои восприятия, определяют нашу чувствительность, создают в нас душу, существенно иную, чем у других. Наше восприятие, наше познание мира, приобретенное при помощи наших органов чувств, наши понятия о жизни — все это мы можем

только частично перенести на те персонажи, чью сокровенную и неведомую сущность мы собираемся раскрыть. Таким образом, только самих себя всегда и показываем мы в облике короля, убийцы, вора или честного человека, куртизанки, монахини, юной девушки или рыночной торговки, потому что нам приходится ставить перед собой такую проблему: «Если бы *я* был королем, убийцей, вором, куртизанкой, монахиней, девушкой или рыночной торговкой, что бы *я* делал, что бы *я* думал, как бы *я* действовал?» Мы разнообразим свои персонажи только тем, что меняем возраст, пол, социальное положение и все условия жизни нашего *я,* которое природа ограничила непреодолимой стеной органов восприятия.

Умение здесь состоит только в том, чтобы не дать читателю угадать это *я* под различными масками, предназначенными скрывать его.

Но если, с точки зрения полной точности, чистый психологический анализ является спорным, он может все-таки дать нам столь же прекрасные произведения искусства, как и всякий другой метод работы.

Вот сейчас появились символисты. А почему бы и нет? Их мечта, как художников, достойна уважения; особенно же ценно в них то, что они сознают и не скрывают, как трудно создать произведение искусства.

Надо быть поистине слишком безумным, слишком смелым, слишком заносчивым или слишком глупым, чтобы еще отваживаться писать в наше время! После стольких учителей, до такой степени разнообразных по своему характеру и по многосторонности своего гения, можно ли сделать что-нибудь, что уже не было бы сделано, сказать что-нибудь, что уже не было бы сказано? Кто из нас может похвастаться, что написал страницу или фразу, какие еще никогда не были написаны? Когда нам приходится читать,— нам, до того пресыщенным французской литературой, что самое тело свое мы ощущаем как некое тесто из слов,— случается ли нам найти хоть строчку, хоть мысль, которая не была бы уже привычной для нас или, по крайней мере, предугаданной нами?

Человек, ставящий себе целью только развлечь сво-

их читателей уже знакомыми приемами, пишет, с уверенностью и простодушием посредственности, произведения, предназначенные для невежественной и праздной толпы. Но те художники, над которыми тяготеет вся литература минувших веков, те, кого ничто не удовлетворяет, кому ничто не нравится, потому что они мечтают о лучшем, кому все кажется уже отцветшим, кто всегда ощущает свое творчество как бесполезную и пошлую работу, судят о литературном искусстве как о чем-то неуловимом, таинственном, что лишь слегка приоткрывается нам на некоторых страницах величайших мастеров.

Двадцать стихов, двадцать фраз, которые нам случается иной раз прочитать, потрясают нас до глубины сердца, как изумительное откровение; но стихи, следующие за ними, похожи на любые другие стихи, проза, текущая дальше, похожа на любую другую прозу.

Гениальные люди, вероятно, не ведают этих терзаний, этих мук, так как они одарены неисчерпаемой творческой силой. Они не судят сами себя. Мы же, все остальные,— мы только добросовестные, упорные труженики и можем бороться с непобедимым отчаянием лишь ценою непрерывных и настойчивых усилий.

Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне эту силу вечно дерзать: Луи Буйле и Гюстав Флобер.

Если я говорю здесь о них и о себе, то единственно потому, что их советы, изложенные в нескольких строках, окажутся, может быть, полезными некоторым молодым людям, менее самоуверенным, чем это обычно бывает при вступлении на литературное поприще.

Буйле, с которым я познакомился раньше и сошелся довольно близко примерно года за два до того, как списка л дружбу Флобера, не уставал твердить мне, что для создания репутации художника достаточно сотни стихотворных строк, а может быть, и менее, если только они безукоризненны и содержат самую суть таланта и оригинальности писателя, хотя бы и второстепенного; он заставил меня понять, что непрерывная

работа и глубокое знание ремесла способны — в минуту особой прозорливости, подъема и увлечения, при удачно найденном сюжете, вполне соответствующем склонности нашего ума,— привести к рождению небольшого, единственного в своем роде и самого совершенного произведения, какое мы только способны создать.

Затем я понял, что самые известные писатели почти никогда не оставляли после себя более одного тома и что надо прежде всего найти и выбрать среди множества тем, предоставленных нашему выбору, ту тему, которая способна привлечь к себе все наши способности, все наше мужество, все наши творческие силы.

Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. Я осмелился показать ему несколько моих опытов. Он доброжелательно прочел их и сказал: «Не знаю, есть ли у вас талант. В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона,— только длительное терпение. Работайте».

Я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником.

В течение семи лет я писал стихи, писал сказки, писал новеллы, написал даже отвратительную драму. Ничего из этого не осталось. Учитель прочитывал все, а потом в следующее воскресенье, за завтраком, приступал к критике, шаг за шагом внедряя в меня те два — три принципа, которые представляли собой итог его длительных и терпеливых поучений. «Если обладаешь оригинальностью,— говорил он,— нужно прежде всего ее проявить; если же ее нет, нужно ее приобрести».

«Талант — это длительное терпение». Необходимо достаточно долго и с достаточным вниманием рассматривать все то, что желаешь выразить, чтобы обнаружить в нем ту сторону, которая до сих пор еще никем не была подмечена и показана. Решительно во всем есть что-нибудь неисследованное, потому что мы привыкли пользоваться своим зрением не иначе, как вспоминая все высказанное до нас по поводу того, что мы

созерцаем. Ничтожнейший предмет содержит в себе частицу неведомого. Надо его найти. Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, остановимся перед этим огнем и этим деревом и будем рассматривать их до тех пор, пока они не перестанут походить в наших глазах ни на какое другое дерево, ни на какой другой огонь.

Именно так и вырабатывается оригинальность.

Установив, далее, ту истину, что во всем свете не сыщешь двух песчинок, двух мух, двух рук или двух носов, которые были бы абсолютно одинаковы, Флобер заставлял меня описать несколькими фразами какое-нибудь живое существо или предмет, и притом так, чтобы четко определить его своеобразие, чтобы выделить его из всех других живых существ и всех других предметов той же породы или того же вида.

«Когда вы проходите,— говорил он мне,— мимо бакалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку, или мимо стоянки фиакров, обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позу, весь их физический облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим бакалейщиком, ни с каким другим консьержем, и покажите мне одним-единственным словом, чем эта извозчичья лошадь отличается от пятидесяти других, которые бегут за ней или впереди нее».

В другом месте я изложил идеи Флобера о стиле. В них много общего с теорией наблюдения, только что приведенной мною.

Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей.

Можно передавать и описывать тончайшие ощущения, следуя этому стиху Буало:

Огромна власть у слов, стоящих там, где нужно.

Для того чтобы выразить все оттенки мысли, вовсе нет надобности в том нелепом, сложном, длинном и невразумительном наборе слов, который навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма; нужно, напротив, с величайшей зоркостью различать все меняющиеся значения слова в зависимости от того места, где оно стоит. Поменьше существительных, глаголов и прилагательных, смысл которых почти неуловим, но побольше непохожих друг на друга фраз, различно построенных, умело размеренных, исполненных звучности и искусного ритма. Постараемся лучше быть отличными стилистами, чем коллекционерами редких словечек.

В самом деле, гораздо труднее обработать фразу по-своему, заставить ее сказать все, даже то, чего она буквально не выражает, наполнить ее подразумеваемым смыслом, тайными и невысказанными намерениями, чем выдумывать новые выражения или выискивать в недрах старых, забытых книг такие обороты речи, которые утратили для нас свое значение, перестали быть употребительными и звучат ныне, как мертвые письмена.

Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутить вычурные писатели. Каждый век бросал в этот прозрачный поток свои вкусы, свои претенциозные архаизмы и свою жеманность, но ничто не всплыло на поверхность из всех этих напрасных попыток и бессильных стараний. Наш язык — ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить.

Те, кто в наши дни создают образы, злоупотребляя отвлеченными выражениями, те, кто заставляют град или дождь падать на *чистоту* оконного стекла, могут также забросать камнями *простоту* своих собратьев! Они, может быть, и ушибут собратьев, у которых есть тело, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна.

Ги де Мопассан

Ла Гийетт, Этрета, сентябрь 1887.

I

— Ах, черт! — вырвалось вдруг у старика Ролана.

Уже с четверть часа он пребывал в полной неподвижности, не сводя глаз с воды, и только время от времени слегка дергал удочку, уходившую в морскую глубь.

Г-жа Ролан, дремавшая на корме рядом с г-жой Роземильи, приглашенной семейством Ролан на рыбную ловлю, очнулась и повернула голову к мужу.

— Что ты?.. Что ты?.. Жером!

Тот отвечал со злостью:

— Да совсем не клюет! С самого полудня я так ничего и не поймал. Рыбу ловить надо только в мужской компании,— из-за женщин всегда выезжаешь слишком поздно.

Оба его сына, Пьер и Жан, дружно расхохотались. Они сидели один у левого, другой у правого борта и тоже удили, намотав лесу на указательный палец.

— Папа,— заметил Жан,— ты не очень-то любезен с нашей гостьей.

Г-н Ролан сконфузился и начал извиняться:

— Прошу прощения, госпожа Роземильи, такой уж у меня нрав. Я приглашаю дам, потому что люблю их общество, но стоит мне очутиться на воде, и я обо всем забываю, кроме рыбы.

Г-жа Ролан, стряхнув с себя дремоту, мечтательно смотрела на морскую гладь и прибрежные скалы.

— Но улов ведь богатый,— заметила она.

Муж отрицательно покачал головой. Однако он бросил благосклонный взгляд на корзину, где рыба, наловленная им и сыновьями, еще слабо трепетала, еле шурша клейкой чешуей, беспомощно подрагивая плавниками, судорожно заглатывая смертельный для нее воздух.

Поставив корзину между ног, старик Ролан наклонил ее и сдвинул серебристую груду к самому краю, чтобы разглядеть рыбу, лежавшую на дне; рыба забилась в предсмертном трепете, и из переполненной корзины потянуло крепким запахом, острым зловонием свежего морского улова.

Старый рыболов с наслаждением вдохнул этот запах, словно нюхал розу.

— Ну и свежа, черт возьми! — воскликнул он; потом добавил:

— Ну, доктор, сколько ты поймал?

Его старший сын, Пьер, лет тридцати, безбородый и безусый, с черными баками, подстриженными, как у чиновника, отвечал:

— О, самые пустяки, штуки три — четыре.

Отец повернулся к младшему:

— А ты, Жан?

Жан, высокий блондин с густой бородой, намного моложе брата, ответил с улыбкой:

— Да почти то же, что и Пьер,— четыре или пять.

Они каждый раз прибегали к этой лжи, приводившей старика Ролана в восхищение.

Он намотал лесу на уключину и, скрестив руки, заявил:

— Никогда больше не буду удить после полудня. Десять пробило — и баста! Она больше не клюет, подлая, она изволит нежиться на солнышке.

Старик оглядывал море с довольным видом собственника.

В прошлом он был владельцем небольшого ювелирного магазина в Париже; страсть к воде и рыбной ловле оторвала его от прилавка, как только скромные сбережения позволили семье существовать на ренту.

Он удалился на покой в Гавр, купил рыбачью лодку и стал моряком-любителем. Оба его сына, Пьер и Жан, остались в Париже заканчивать образование, но приезжали в родительский дом на каникулы и принимали участие в развлечениях отца.

Пьер был на пять лет старше Жана. По окончании коллежа он поочередно брался за самые разнообразные профессии: он перепробовал их с полдюжины одну за другой, быстро разочаровывался в каждой, но тотчас же увлекался новыми планами.

В конце концов его прельстила медицина; он с большим жаром принялся за дело и только что, после сравнительно недолгих занятий, по особому разрешению министра раньше срока получил звание доктора;

он был человек восторженный, умный, непостоянный, но настойчивый, склонный увлекаться утопиями и философскими идеями.

Братья являли собой полную противоположность и по наружности и по внутреннему складу. Младший, Жан,— блондин, был ровного, спокойного нрава; Пьер — брюнет, был необуздан и обидчив. Жан без всяких треволнений окончил юридический факультет с дипломом адвоката в то же время, когда Пьер получил наконец диплом врача.

Теперь они отдыхали дома и оба питали надежду обосноваться в Гавре, если здесь подвернется что-нибудь подходящее.

Скрытая зависть, та дремлющая зависть, которая почти неощутимо растет между братьями или сестрами до возмужалости и внезапно прорывается при женитьбе или особой удаче одного из них, заставляла обоих держаться настороже и подстрекала на беззлобное соперничество. Конечно, они любили друг друга, но в то же время ревниво следили один за другим. Когда родился Жан, пятилетний Пьер с неприязнью избалованного звереныша смотрел на другого звереныша, неожиданно появившегося в объятиях отца и матери, окруженного любовью и лаской.

Жан с детских лет был образцом кротости, доброты и послушания, и Пьер с раздражением слушал беспрестанные похвалы этому толстому мальчугану, кротость которого казалась ему вялостью, доброта — глупостью, а доверчивость — тупоумием. Родители их, люди непритязательные, мечтавшие о почтенной, скромной карьере для своих сыновей, упрекали Пьера за его колебания, увлечения, за безуспешные попытки, за все его бесплодные порывы к высоким идеям и мечты о блестящем поприще.

С тех пор как он стал взрослым, ему уже не твердили: «Смотри на Жана и бери с него пример». Но каждый раз, когда при нем говорили: «Жан поступил так, Жан поступил этак»,— он хорошо понимал смысл этих слов и скрытый в них намек.

Мать их, любившая порядок во всем, бережливая, несколько сентиментальная женщина, которая про-

вела всю жизнь за кассой, но сохранила чувствительную душу, постоянно сглаживала соперничество, то и дело вспыхивавшее между двумя ее взрослыми сыновьями из-за всяких житейских мелочей. Вдобавок с недавних пор ее смущало одно обстоятельство, грозившее разладом между братьями: этой зимою, когда ее сыновья заканчивали образование в Париже, она познакомилась с соседкой, г-жой Роземильи, вдовой капитана дальнего плавания, погибшего в море два года тому назад. Молодая, даже совсем юная вдова — всего двадцати трех лет — была неглупа и, видимо, постигла жизнь инстинктом, как выросший на воле зверек; ей словно уже пришлось видеть, пережить, понять и взвесить все жизненные явления, и она судила о них по-своему — здраво, благожелательно и узко. Г-жа Роземильи имела обыкновение заглядывать по вечерам к гостеприимным соседям, поболтать за рукоделием и выпить чашку чая.

Мания разыгрывать из себя моряка постоянно подстрекала Ролана-отца расспрашивать новую приятельницу об умершем капитане, и она спокойно говорила о нем, о его путешествиях, о его рассказах, как покорившаяся судьбе рассудительная женщина, которая любит жизнь и с уважением относится к смерти.

Оба сына, возвратившись домой, увидели хорошенькую вдову, которая часто бывала у них, и тотчас же стали за нею ухаживать, не столько из желания понравиться ей, сколько из чувства соперничества.

Матери, женщине осторожной и практичной, очень хотелось, чтобы один из них добился успеха: молодая вдова была богата,— но она желала, чтобы другой сын не был этим огорчен.

Г-жа Роземильи была блондинка с голубыми глазами, с венком непокорных завитков, разлетавшихся при малейшем ветерке; во всем ее облике было что-то бойкое, смелое и задорное, что отнюдь не соответствовало уравновешенному и трезвому складу ее ума.

Она, казалось, уже отдавала предпочтение Жану, к которому ее влекло сходство их натур. Правда,

предпочтение это проявлялось только в едва заметных оттенках голоса, в приветливых взорах и в том, что она нередко присоединялась к его точке зрения.

Она, казалось, угадывала, что мнение Жана только подкрепит ее собственное, между тем как мнение Пьера неизбежно окажется противоположным. Порою ей случалось назвать «бреднями» взгляды доктора на политику, мораль, искусство, философию. Тогда он смотрел на нее холодным взором судьи, обвиняющим женщин, всех женщин,— эти столь жалкие существа!

До приезда сыновей старик Ролан ни разу не приглашал г-жу Роземильи на рыбную ловлю и никогда еще не брал с собою жены; он любил выходить в море до восхода солнца со своим другом Босиром, отставным капитаном дальнего плавания, с которым познакомился в порту в час прилива, и со старым матросом Папагри, по прозвищу Жан-Барт, смотревшим за лодкой.

Но как-то вечером, на прошлой неделе, г-жа Роземильи, обедая у Роланов, спросила: «А это, должно быть, очень увлекательно, ловить рыбу?» — и бывший ювелир, охваченный желанием заразить гостью своей манией и обратить ее в свою веру, воскликнул:

— Не хотите ли поехать?

— Хочу.

— В будущий вторник?

— Хорошо.

— А вы способны выехать в пять утра?

Она вскрикнула в изумлении:

— Ах, нет, нет, что вы!

Он был разочарован, его пыл угас, и он сразу усомнился в ее рвении.

Однако он спросил:

— В котором же часу вы могли бы отправиться?

— Ну... часов в девять.

— Не раньше?

— Нет, не раньше, и то уж слишком рано!

Старик колебался. Конечно, улов будет плохой, ведь как только солнце начинает пригревать, рыба

больше не клюет; но оба брата настояли на том, чтобы тотчас же окончательно обо всем условиться.

Итак, в следующий вторник «Жемчужина» стала на якорь у белых утесов мыса Гэв. До полудня удили, потом подремали, потом снова удили, но уже ничего не попадалось, и старику Ролану пришлось наконец понять, что г-же Роземильи хотелось, в сущности, только покататься по морю. Когда же он убедился, что лесы больше не вздрагивают, у него и вырвалось в порыве нетерпения энергичное «Ах, черт!», одинаково относившееся и к равнодушной вдове и к неуловимой рыбе.

Теперь Ролан рассматривал свой улов с трепетной радостью скупца. Но вот, подняв глаза к небу, он заметил, что солнце начинает садиться.

— Ну, дети,— сказал он,— не пора ли домой?

Братья вытащили из воды лесы, смотали их, вычистили крючки, воткнули их в пробковые поплавки и приготовились.

Ролан встал и, как подобает капитану, оглядел горизонт.

— Ветер спал,— сказал он,— берись за весла, ребята!

И вдруг, показав на север, добавил:

— Глядите-ка, пароход из Саутгемптона.

Вдали, на розовом небе, над спокойным морем, гладким, как необъятная голубая блестящая ткань с золотым и огненным отливом, поднималось темноватое облачко. А под ним можно было разглядеть корабль, еще совсем крохотный на таком расстоянии.

На юге виднелось немало других столбов дыма, и все они двигались к едва белевшему вдалеке гаврскому молу, на конце которого высился маяк.

Ролан спросил:

— Не сегодня ли должна прийти «Нормандия»?

Жан ответил:

— Да, папа.

— Подай-ка подзорную трубу; думается мне, что это она и есть.

Отец раздвинул медную трубу, приставил ее к глазу, поискал корабль на горизонте и, обнаружив его, радостно воскликнул:

— Да, да, конечно, это «Нормандия», я узнал ее по трубе. Не хотите ли посмотреть, сударыня?

Г-жа Роземильи взяла трубку, направила ее на океанский пароход, но, видимо, не сумела поймать его в поле зрения и ничего не могла разобрать, ровно ничего, кроме синевы, обрамленной цветным кольцом вроде круглой радуги, и каких-то странных темноватых пятен, от которых у нее закружилась голова.

Она сказала, возвращая подзорную трубу:

— Я никогда не умела пользоваться этой штукой. Муж даже сердился; а сам он способен был часами простаивать у окна, рассматривая проходящие мимо суда.

Старик Ролан ответил не без досады:

— Тут дело в каком-нибудь недостатке вашего зрения, потому что подзорная труба у меня превосходная.

Затем он протянул ее жене:

— Хочешь посмотреть?

— Нет, спасибо, я наперед знаю, что ничего не увижу.

Г-жа Ролан, сорокавосьмилетняя, очень моложавая женщина, несомненно, больше всех наслаждалась прогулкой и чудесным предвечерним часом.

Ее каштановые волосы только еще начинали седеть. Она казалась такой спокойной и рассудительной, доброй и счастливой, что на нее приятно было смотреть. Как говорил ее старший сын, она знала цену деньгам, но это ничуть не мешало ей предаваться мечтаниям. Она любила романы и стихи не за их литературные достоинства, но за ту нежную грусть и задумчивость, которую они навевали. Стихи, подчас самые заурядные, даже плохие, заставляли трепетать в ней, по ее словам, какую-то струнку и вызывали таинственное, казалось, вот-вот готовое осуществиться желание. И ей приятно было отдаваться этим легким волнениям, немного смущавшим ее душу, в которой обычно все было в таком же порядке, как в счетной книге.

Со времени переезда в Гавр она заметно располнела, и это портило ее фигуру, некогда такую гибкую и тонкую.

Прогулка по морю была большой радостью для г-жи Ролан. Ее муж, человек вообще незлой, обращал-

ся с ней с той беззлобной грубостью, с какой лавочники имеют обыкновение распоряжаться у себя в лавке. Перед посторонними он еще сдерживал себя, но дома распоясывался и напускал грозный вид, хотя и был трусом. Она же из отвращения к ссорам, семейным сценам и бесполезным объяснениям всегда уступала, никогда ничего не требовала. У нее самой недостало бы смелости попросить Ролана покатать ее по морю. Поэтому она с восторгом встретила предложение о прогулке и теперь наслаждалась нежданным и новым для нее удовольствием.

С момента отплытия она душой и телом отдалась сладостному скольжению по воде. Она ни о чем не думала, ее не тревожили ни воспоминания, ни надежды, и у нее было такое чувство, будто сердце ее, как и сама лодка, плывет по чему-то нежному, струящемуся, ласковому, что укачивает ее и усыпляет.

Когда отец отдал команду: «По местам, и за весла!»,— она улыбнулась, глядя, как ее сыновья, оба ее взрослых сына, скинули пиджаки и засучили рукава рубашек.

Пьер, сидевший ближе к обеим женщинам, взял весло с правого борта, Жан — с левого, и оба ждали, когда их капитан крикнет: «Весла на воду!»,— потому что старик требовал, чтобы все делалось точно, по всем правилам.

Разом опустив весла в воду, они откинулись назад, выгребая что было мочи, и тут началась ожесточенная борьба двух соперников, состязающихся в силе. Утром они вышли в море под парусом, не торопясь, но теперь ветер стих, и необходимость взяться за весла пробудила в братьях самолюбивое, чисто мужское желание потягаться друг с другом в присутствии молодой красивой женщины.

Когда они отправлялись на ловлю одни со стариком Роланом и шли на веслах, у руля не сидел никто: отец готовил удочки и, следя за ходом лодки, выравнивал его только жестом или словами: «Жан, легче», «Пьер, приналяг». Или же говорил: «Ну-ка, первый, ну-ка, второй, подбавьте жару». И замечтавшийся начинал грести сильнее, а тот, кто слишком увлекся, умерял свой пыл, и ход лодки выравнивался.

Но сегодня им предстояло показать силу своих мускулов. У Пьера руки были волосатые, жилистые и несколько худые; у Жана — полные и белые, слегка розоватого оттенка, с буграми мышц, которые перекатывались под кожей.

Вначале преимущество было за Пьером. Стиснув зубы, нахмурив лоб, вытянув ноги, он греб, судорожно сжимая обеими руками весло, так что оно гнулось во всю длину при каждом рывке и «Жемчужину» относило к берегу. Ролан-отец, предоставив заднюю скамью дамам, сидел на носу лодки и, срывая голос, командовал: «Первый, легче; второй, приналяг!» Но первый удваивал рвение, а второй никак не мог подладиться под него в этой беспорядочной гребле.

Наконец капитан скомандовал: «Стоп!» Оба весла одновременно поднялись, и затем Жан, по приказанию отца, несколько минут греб один. Теперь он взял верх, и преимущество так и осталось за ним; он оживился, щеки его разгорелись, а Пьер, утомленный непосильным напряжением, ослабел, ему не хватало воздуха, и он не поспевал за братом. Четыре раза подряд Ролан-отец приказывал остановиться, чтобы дать старшему сыну передохнуть и выправить лодку. Пьер побледнел, на лбу у него выступили капли пота; страдая от унижения, он пробормотал со злостью:

— Не знаю, что со мной, у меня сердечная спазма. Начал так хорошо, а теперь просто руки отваливаются.

— Хочешь, я буду грести обоими веслами? — спрашивал Жан.

— Нет, спасибо, сейчас пройдет.

Г-жа Ролан говорила с досадой:

— Послушай, Пьер, ну зачем ты доводишь себя до такого состояния? Ведь ты не ребенок.

Но он пожимал плечами и продолжал грести.

Г-жа Роземильи, казалось, ничего не видела, не понимала, не слышала. Ее белокурая головка при каждом толчке откидывалась назад быстрым, красивым движением, и на ее висках разлетались завитки волос.

Но вот Ролан воскликнул: «Смотрите-ка, нас нагоняет «Принц Альберт»! Все оглянулись. Длинный низ-

кий пароход из Саутгемптона приближался полным ходом; у него были две наклоненные назад трубы, желтые, круглые, как щеки, кожухи над колесами, а над переполненной пассажирами палубой реяли раскрытые зонтики. Колеса быстро вращались, с шумом вспенивая воду, и казалось, что это гонец, который спешит изо всех сил; прямой нос рассекал поверхность моря, вздымая две тонкие и прозрачные струи, скользившие вдоль бортов.

Когда «Принц Альберт» приблизился к «Жемчужине», старик Ролан приподнял шляпу, дамы замахали платочками, и несколько зонтиков, колыхнувшись, ответили на это приветствие; затем судно удалилось, оставив за собой на ровной и блестящей поверхности моря легкое волнение.

Видны были и другие корабли, окутанные клубами дыма, стремившиеся со всех сторон к короткому белому молу, за которым, словно в пасти, они исчезали один за другим. И рыбачьи лодки и большие парусники с легкими мачтами, скользящие на фоне неба, вслед за едва заметными буксирами,— все они быстро или медленно приближались к этому прожорливому чудовищу, которое порою, словно пресытясь, изрыгало в открытое море новую флотилию пакетботов, бригов, шхун, трехмачтовиков со сложным сплетением снастей. Торопливые пароходы разбегались вправо и влево по плоскому лону океана, а парусники, покинутые маленькими буксирами, стояли недвижно, облекаясь с гротмарса до брам-стеньги в паруса, то белые, то коричневые, казавшиеся алыми в лучах заката.

Г-жа Ролан, полузакрыв глаза, прошептала:

— Ах, боже мой, как море красиво!

Г-жа Роземильи ответила глубоким вздохом, без всякого, впрочем, оттенка печали:

— Да, но иногда оно причиняет немало зла.

Ролан воскликнул:

— Смотрите-ка, «Нормандия» входит в порт! Ну и громадина!

Потом он принялся описывать противоположный берег, по ту сторону устья Сены, и пустился в объяснения; сообщил, что устье шириной в двадцать километров; показал Виллервиль, Трувиль, Ульгат, Люк, Арро-

манш, и реку Кан, и скалы Кальвадоса, опасные для судов вплоть до самого Шербура. Далее он повел речь о песчаных отмелях Сены, которые перемещаются при каждом приливе, чем сбивают с толку даже лоцманов из Кийбефа, если те ежедневно не проверяют фарватер в Ла-Манше. Упомянул о том, что Гавр отделяет Нижнюю Нормандию от Верхней; что в Нижней Нормандии пастбища, луга и поля отлогого берега спускаются к самому морю; что берег Верхней Нормандии, наоборот, почти отвесный: это высокий, величественный кряж, весь в зубцах и выемках, и тянется он до Дюнкерка как бы огромной белой стеной, в каждой расщелине которой приютились селение или порт — Этрета, Фекан, Сен-Валери, де-Трепор, Дьепп и так далее.

Женщины не слушали Ролана; они отдавались приятному оцепенению, созерцая океан, на котором, словно звери вокруг своего логовища, суетились корабли; обе они молчали, слегка подавленные беспредельной ширью неба и воды, зачарованные картиной великолепного заката. Один Ролан говорил без умолку, он был не из тех, кого легко вывести из равновесия. Но женщины наделены большей впечатлительностью, и порой неуместная болтовня оскорбляет их слух, как грубое слово.

Пьер и Жан, уже не думая о соревновании, гребли размеренно, и «Жемчужина», такая крошечная рядом с большими судами, медленно приближалась к порту.

Когда лодка причалила, матрос Папагри, поджидавший ее, протянул дамам руку, помог им сойти на берег, и все направились в город. Множество гуляющих, которые, как обычно в часы прилива, толпились на молу, также расходились по домам.

Г-жа Ролан и г-жа Роземильи шли впереди, трое мужчин следовали за ними. Поднимаясь по Парижской улице, дамы останавливались иногда у модного магазина или витрины ювелира; полюбовавшись шляпкой или ожерельем, они обменивались замечаниями и шли дальше.

На площади Биржи старик Ролан, по своему обыкновению, стал разглядывать торговую гавань, запруженную кораблями, и примыкающие к ней другие

гавани, где стояли бок о бок в четыре — пять рядов огромные суда. Пристани тянулись на несколько километров; бесчисленные мачты, реи, флагштоки, снасти придавали этому водоему, расположенному посреди города, сходство с густым сухостойным лесом. А над этим безлиственным лесом кружили морские чайки, подстерегая мгновение, чтобы камнем упасть на выкидываемые в море отбросы; юнга, прикрепляющий блок к верхушке бом-брамсели, казалось, забрался туда за птичьими гнездами.

— Может быть, вы пообедаете с нами запросто и проведете у нас вечер? — спросила г-жа Ролан г-жу Роземильи.

— С удовольствием; соглашаюсь без церемоний. Мне было бы грустно сидеть вечером дома в полном одиночестве.

Пьер, который невольно злился на молодую женщину за ее равнодушие к нему, услыхав эти слова, проворчал: «Ну, теперь вдову не выживешь». Уже несколько дней, как он стал именовать ее «вдовой». В самом слове не было ничего обидного, но оно сердило Жана: тон, которым его произносил Пьер, казался ему злобным и оскорбительным.

Остаток пути мужчины прошли молча. Роланы жили на улице Прекрасной Нормандки, в небольшом трехэтажном доме. Жозефина, девушка лет девятнадцати, взятая за дешевую плату прямо из деревни, с характерным для крестьянки удивленным и тупым выражением лица, отворила им дверь, потом заперла ее, поднялась следом за хозяевами в гостиную, расположенную во втором этаже, и только после этого доложила:

— Какой-то господин заходил три раза.

Ролан-отец, обращавшийся к служанке не иначе, как с криком и бранью, рявкнул:

— Кто еще там приходил, чучело ты этакое!

Жозефина, которую нимало не смущали окрики хозяина, ответила:

— Господин от нотариуса.

— От какого нотариуса?

— Да от господина Каню.

— Что же он сказал?

— Сказал, что господин Каню сам зайдет нынче вечером.

Г-н Леканю, нотариус, вел дела старика Ролана и был с ним на короткой ноге. Если он счел нужным предупредить о своем посещении, значит, речь шла о каком-то важном деле, не терпящем отлагательства; четверо Роланов переглянулись, взволнованные новостью, как это всегда бывает с людьми скромного достатка при появлении нотариуса, ибо оно знаменует перемену в их жизни: вступление в брак, ввод в наследство, начало тяжбы и прочие приятные или грозные события.

Ролан-отец, помолчав с минуту, проговорил:

— Что бы это могло значить?

Г-жа Роземильи рассмеялась:

— Это, наверно,— наследство. Вот увидите. Я приношу счастье.

Но они не ожидали смерти никого из близких, кто мог бы им что-нибудь оставить.

Г-жа Ролан, обладавшая превосходной памятью на родню, тотчас же принялась перебирать всех родственников мужа и своих собственных по восходящей линии и припоминать все боковые ветви.

Еще не сняв шляпки, она приступила к расспросам:

— Скажи-ка, отец (дома она называла мужа «отец», а при посторонних иногда «господин Ролан»), скажи-ка, не помнишь ли, на ком женился вторым браком Жозеф Лебрю?

— Помню. На Дюмениль, дочери владельца писчебумажного магазина.

— А у них были дети?

— Как же, четверо или пятеро по меньшей мере.

— Значит, с этой стороны ничего не может быть.

Она уже увлеклась этими розысками, уже начала надеяться, что им свалится с неба хотя бы небольшое состояние. Но Пьер, очень любивший мать, зная ее склонность к мечтам и боясь, что она будет разочарована, расстроена и огорчена, если новость окажется плохой, а не хорошей, удержал ее:

— Не обольщайся, мама. Американских дядюшек больше не бывает. Скорее всего, дело идет о партии для Жана.

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Предположение Пьера всех удивило, а Жан даже почувствовал себя задетым тем, что брат завел этот разговор в присутствии г-жи Роземильи.

— Почему для меня, а не для тебя? Твое предположение очень спорно. Ты старший, значит, прежде всего подумали бы о тебе. И вообще я не собираюсь жениться.

Пьер усмехнулся.

— Уж не влюблен ли ты?

Жан поморщился.

— Разве непременно надо быть влюбленным, чтобы сказать, что пока не собираешься жениться?

— «Пока». Это дело другое; значит, ты выжидаешь?

— Допустим, что выжидаю, если тебе угодно.

Ролан-отец слушал, размышлял и вдруг нашел наиболее простое решение вопроса:

— Ерунда какая! И чего мы ломаем голову? Господин Леканю — наш друг, он знает, что Пьеру нужен врачебный кабинет, а Жану — адвокатская контора; и, вероятно, он нашел что-нибудь подходящее.

Это было так просто и правдоподобно, что не вызвало никаких возражений.

— Кушать подано,— сказала служанка.

И все разошлись по своим комнатам, чтобы умыться перед обедом.

Через десять минут они уже собрались в маленькой столовой первого этажа.

Сначала все молчали, потом Ролан-отец опять начал вслух удивляться предстоящему визиту нотариуса:

— Но почему он не написал нам, почему три раза присылал клерка, почему намерен прийти лично?

Пьер находил это естественным:

— Ему, наверно, нужно сейчас же получить ответ или сообщить нам о каких-нибудь особых условиях, о которых неудобно писать.

Однако все четверо были озабочены и несколько досадовали на себя, что пригласили постороннего человека, который может стеснить их при обсуждении дела и принятии решений.

Как только они вернулись в гостиную, доложили о приходе нотариуса.

Ролан бросился им навстречу:

— Здравствуйте, дорогой мэтр!

Он как бы титуловал г-на Леканю этим словом «мэтр», которое предшествует фамилии всякого нотариуса.

Г-жа Роземильи поднялась.

— Я пойду, я очень устала.

Была сделана слабая попытка удержать ее, но она не согласилась остаться; и в этот вечер, против обыкновения, никто из мужчин не пошел ее провожать.

Г-жа Ролан хлопотала вокруг нового гостя.

— Не хотите ли чашку кофе?

— Нет, благодарю, я только что из-за стола.

— Может быть, чаю выпьете?

— Не откажусь, но попозже; сначала поговорим о делах.

Глубокая тишина последовала за этими словами. Нарушал ее только размеренный ход стенных часов да в нижнем этаже служанка гремела посудой: Жозефина была до того глупа, что даже не догадывалась подслушивать у дверей.

Нотариус начал с вопроса:

— Вы знавали в Париже некоего господина Марешаля, Леона Марешаля?

Г-н и г-жа Ролан воскликнули в один голос:

— Еще бы!

— Он был вашим другом?

Ролан объявил:

— Лучшим другом, сударь! Но это закоренелый парижанин; он не может расстаться с парижскими бульварами. Начальник отделения в министерстве финансов. После отъезда из столицы я с ним больше не встречался. А потом и переписка прекратилась. Знаете, когда живешь так далеко друг от друга...

Нотариус торжественно произнес:

— Господин Марешаль скончался!

У супругов Ролан тотчас же появилось то непроизвольное выражение горестного испуга, притворного или искреннего, с каким встречают подобное известие.

Г-н Леканю продолжал:

— Мой парижский коллега только что сообщил мне главное завещательное распоряжение покойного: все

состояние господина Марешаля переходит к вашему сыну Жану, господину Жану Ролану.

Все были так изумлены, что никто не проронил ни слова.

Г-жа Ролан первая, подавляя волнение, пролепетала:

— Боже мой, бедный Леон... Наш бедный друг... Боже мой... Боже мой... Умер!

На глазах у нее выступили слезы, молчаливые женские слезы, светлые и прозрачные капли печали, как будто исторгнутые из души, которые, струясь по щекам, сильнее слов выражают глубокую скорбь.

Но Ролан гораздо меньше думал о кончине друга, нежели о богатстве, которое сулила новость, принесенная нотариусом. Однако он не решался напрямик заговорить о статьях завещания, о размере наследства и только спросил, чтобы навести на волновавший его вопрос:

— Отчего же он умер, бедняга Марешаль?

Г-ну Леканю это было совершенно неизвестно.

— Я знаю только,— сказал он,— что, не имея прямых наследников, он оставил все свое состояние, около двадцати тысяч франков ренты в трехпроцентных бумагах, вашему младшему сыну, который родился и вырос на его глазах и которого он считает достойным этого дара. В случае отказа со стороны господина Жана наследство будет передано приюту для детей, брошенных родителями.

Ролан-отец, уже не в силах скрывать свою радость, воскликнул:

— Черт возьми, вот это благородно! Не будь у меня потомства, я тоже, конечно, не забыл бы нашего славного друга!

Нотариус просиял.

— Я очень рад,— сказал он,— сообщить вам об этом лично. Так приятно принести добрую весть.

Он и не подумал о том, что эта добрая весть была вестью о смерти друга, лучшего друга старика Ролана, да тот и сам сразу позабыл об этой дружбе, о которой только что заявлял столь горячо.

Только г-жа Ролан и оба сына сохраняли печальное выражение лица. Она все еще плакала, вытирая глаза

платком и прижимая его к губам, чтобы удержать всхлипывания.

Пьер сказал вполголоса:

— Он был хороший, сердечный человек. Мы с Жаном часто обедали у него.

Жан, широко раскрыв загоревшиеся глаза, привычным жестом захватил правой рукой свою густую белокурую бороду и пропускал ее между пальцами до последнего волоска, словно хотел вытянуть.

Дважды он раскрывал рот, чтобы тоже произнести приличествующие случаю слова, но, ничего не придумав, сказал только:

— Да, правда, он очень любил меня и всегда целовал, когда я приходил к нему.

Но мысли отца мчались галопом; они носились вокруг этого нежданного наследства, уже как будто полученного, вокруг денег, словно скрывавшихся за дверью и готовых хлынуть сюда сейчас же, завтра же, по первому слову.

Он спросил:

— А затруднений не предвидится?.. Каких-либо тяжб?.. Никто не может оспорить завещание?

Г-н Леканю, видимо, был совершенно спокоен на этот счет.

— Нет, нет, мой парижский коллега сообщает, что все абсолютно ясно. Требуется только согласие господина Жана.

— Отлично... а дела покойник оставил в порядке?

— В полном.

— Формальности все соблюдены?

— Все.

Но тут бывший ювелир почувствовал стыд — неосознанный, мимолетный стыд за ту поспешность, с какой он наводил справки.

— Вы понимаете,— сказал он,— я так сразу обо всем спрашиваю, потому что хочу оградить сына от неприятностей, которых он может и не предвидеть. Иногда бывают долги, запутанные дела, мало ли что, и можно попасть в затруднительное положение. Не мне ведь получать наследство, я хлопочу ради малыша.

Жана всегда звали в семье «малышом», хотя он был ростом значительно выше Пьера.

Г-жа Ролан, словно очнувшись от сна и смутно припоминая что-то далекое, почти позабытое, о чем она когда-то слышала или что ей только померещилось, проговорила, запинаясь:

— Вы, кажется, сказали, что наш бедный друг оставил наследство моему сыну Жану?

— Да, сударыня.

Тогда она добавила:

— Я очень рада: значит, он нас любил.

Ролан поднялся:

— Вам угодно, дорогой мэтр, чтобы сын мой тотчас же дал письменное согласие?

— Нет, нет, господин Ролан, завтра. Завтра у меня в конторе, в два часа, если вам удобно.

— Конечно, конечно, еще бы!

Г-жа Ролан тоже поднялась, улыбаясь сквозь слезы; она подошла к нотариусу, положила руку на спинку его кресла и, глядя на г-на Леканю растроганным и благодарным взглядом матери, спросила:

— Чашечку чаю?

— Теперь, пожалуйста, сударыня, с удовольствием.

Позвали служанку; она принесла сначала сухое печенье — пресные и ломкие английские бисквиты, которые хранятся в наглухо запаянных жестяных банках, способны выдержать кругосветное путешествие и предназначены как будто для клюва попугаев. Потом она пошла за суровыми салфетками, теми сложенными вчетверо чайными салфетками, которые никогда не стираются в небогатых семьях. В третий раз она вернулась с сахарницей и чашками, а затем отправилась вскипятить воду. Все молча ждали.

Говорить никому не хотелось; о многом следовало подумать, а сказать было нечего. Одна только г-жа Ролан пыталась поддерживать разговор. Она рассказала о рыбной ловле, превозносила «Жемчужину», хвалила г-жу Роземильи.

— Она прелестна, прелестна,— поддакивал нотариус.

Ролан-отец, опершись о камин,— как бывало зимой, когда горел огонь,— засунул руки в карманы и вытянул губы, словно собираясь засвистеть: его томило неодолимое желание дать волю своему ликованию.

Братья, одинаково закинув ногу на ногу, сидели в двух одинаковых креслах за круглым столом, стоявшим посреди комнаты, и пристально смотрели перед собой; сходство позы еще сильней подчеркивало различие в выражении их лиц.

Наконец подали чай. Нотариус взял чашку, положил сахару и выпил чай, предварительно накрошив в него бисквит, слишком твердый, чтобы его разгрызть; потом он встал, пожал всем руки и ушел.

— Итак,— повторил Ролан, прощаясь с гостем,— завтра в два часа, у вас в конторе.

— Да, завтра в два.

Жан не промолвил ни слова.

После ухода нотариуса некоторое время еще длилось молчание, затем старик Ролан, хлопнув обеими руками по плечам младшего сына, воскликнул:

— Что же ты, подлец, не поцелуешь меня?

Жан улыбнулся и поцеловал отца.

— Я не знал, что это необходимо.

Старик уже не скрывал своей радости. Он кружил по комнате, барабанил неуклюжими пальцами по мебели, повертывался на каблуках и повторял:

— Вот повезло! Вот это повезло! Здорово повезло!

Пьер спросил:

— Вы, стало быть, близко знали Марешаля в Париже?

Отец ответил:

— Еще бы, черт возьми! Да он все вечера просиживал у нас; ты, верно, помнишь, как он заходил за тобой в коллеж в отпускные дни и как часто провожал тебя туда после обеда. Да вот в то утро, когда родился Жан, именно Марешаль и побежал за доктором. Он завтракал у нас, твоя мать почувствовала себя плохо. Мы тотчас поняли, в чем дело, и он бросился со всех ног. Впопыхах он еще вместо своей шляпы захватил мою. Я потому это помню, что после мы очень смеялись над этим. Может быть, и в смертный час ему вспомнился этот случай, а так как у него не было наследников, он и сказал себе: «Раз уж я помог этому малышу родиться, оставлю-ка я ему свое состояние».

Г-жа Ролан, откинувшись на спинку глубокого кре-

сла, казалось, вся ушла в воспоминания о прошлом. Она прошептала, как будто размышляя вслух:

— Ах, это был добрый друг, беззаветно преданный и верный, редкий человек по нынешним временам!

Жан поднялся.

— Я пройдусь немного,— сказал он.

Отец удивился и попробовал его удержать: ведь нужно было еще кое-что обсудить, обдумать, принять кое-какие решения. Но Жан заупрямился, отговариваясь условленной встречей. К тому же до введения в наследство будет еще достаточно времени, чтобы обо всем потолковать.

И он ушел; ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Пьер объявил, что тоже уходит, и через несколько минут последовал за братом.

Когда супруги остались одни, старик Ролан схватил жену в объятия, расцеловал в обе щеки и сказал, как бы отводя упрек, который она часто ему делала:

— Видишь, душечка, богатство свалилось нам с неба. Вот и незачем мне было торчать дольше в Париже, надрывая здоровье ради детей, вместо того чтобы перебраться сюда.

Г-жа Ролан нахмурилась.

— Богатство свалилось с неба для Жана,— сказала она,— а Пьер?

— Пьер? Но он врач, он без куска хлеба не будет... да и брат, конечно, поможет ему.

— Нет. Пьер не примет помощи. Наследство досталось Жану, одному Жану. Пьер оказался жестоко обделенным.

Старик, видимо, смутился:

— Так мы оставим ему побольше.

— Нет. Это тоже будет несправедливо.

Тогда он рассердился:

— А ну тебя совсем! Я-то тут при чем? Вечно ты выкопаешь какую-нибудь неприятность! Непременно надо испортить мне настроение! Пойду-ка лучше спать. Покойной ночи. Что ни говори, нам повезло, чертовски повезло!

И он вышел, радостный и счастливый, так и не обмолвясь ни словом сожаления о покойном дру-

ге, который перед смертью столь щедро одарил его семью.

А г-жа Ролан снова погрузилась в раздумье, пристально глядя в коптящее пламя гаснувшей лампы.

II

Выйдя из дому, Пьер направился в сторону Парижской улицы, главной улицы Гавра, людной, шумной, ярко освещенной. Свежий морской ветер ласкал ему лицо, и он шел медленно, с тросточкой под мышкой, заложив руки за спину.

Ему было не по себе, он чувствовал какую-то тяжесть, недовольство, словно получил дурное известие. Он не мог бы сказать, что именно его огорчает, отчего так тоскливо на душе и такая расслабленность во всем теле. Он испытывал боль, но что болело, не знал. Где-то в нем таилась болезненная точка, едва ощутимая ссадина, место которой трудно определить, но которая все же не дает покоя, утомляет, мучает,— какое-то неизведанное страдание, крупица горя.

Когда он дошел до площади Театра и увидел ярко освещенные окна кафе Тортони, ему захотелось посидеть там, и он медленно направился к входу. Но в последнюю минуту он подумал, что встретит там приятелей, знакомых, что с ними придется разговаривать, и его внезапно охватило отвращение к той мимолетной дружбе, которая завязывается за чашкой кофе и за стаканом вина. Он повернул обратно и снова направился по главной улице, ведущей к порту.

Он спрашивал себя: «Куда же мне пойти?»,— мысленно подыскивал место, которое бы его привлекло и отвечало бы его душевному состоянию. Но ничего не мог придумать, потому что, хотя он и тяготился одиночеством, ему все же не хотелось ни с кем встречаться.

Дойдя до набережной, он с минуту постоял в нерешимости, потом свернул к молу: он избрал одиночество.

Задев мимоходом скамью у волнореза, он сел на нее, чувствуя себя уже утомленным, потеряв вкус к едва начавшейся прогулке.

Он спросил себя: «Что со мной сегодня?»— и стал рыться в памяти, доискиваясь, не было ли какой неприятности, как врач расспрашивает больного, стараясь найти причину недуга.

У него был легко возбудимый и в то же время трезвый ум; он быстро увлекался, но потом начинал рассуждать, одобряя или осуждая свои порывы; однако в конечном счете побеждало главное свойство его натуры, и человек чувств в нем всегда брал верх над человеком рассудка.

Итак, он старался понять, откуда взялись это раздражение, потребность бродить без цели, смутное желание встретить кого-нибудь для того лишь, чтобы затеять спор, и в то же время это отвращение ко всем людям, которых он мог бы встретить, и ко всему, что они могли бы ему сказать.

И он задал себе вопрос: «Уж не наследство ли Жана?»

Да, быть может, и так.

Когда нотариус объявил эту новость, Пьер почувствовал, как у него забилось сердце. Ведь человек не всегда властен над собою, нередко им овладевают страсти внезапные и неодолимые, и он тщетно борется с ними.

Он глубоко задумался над физиологическим воздействием, которое может оказывать любое событие на нашу подсознательную сферу, вызывая в нас поток мыслей и ощущений, мучительных или отрадных; как часто противоречат они тем, к которым стремится и которые признает здравыми и справедливыми наше мыслящее «я», поднявшееся на более высокую ступень благодаря развившемуся уму!

Он старался представить себе душевное состояние сына, который получил большое наследство и может теперь насладиться множеством долгожданных радостей, недоступных ему ранее из-за отцовской скупости; и все же он любит и горько оплакивает отца.

Пьер встал и зашагал к концу мола. На душе у него стало легче, он радовался, что понял, разгадал самого себя, что разоблачил второе существо, таящееся в нем.

«Итак, я позавидовал Жану,— думал он.— По прав-

де говоря, это довольно низко! Теперь я в этом убежден, так как прежде всего у меня мелькнула мысль, что он женится на госпоже Роземильи. А между тем я вовсе не влюблен в эту благоразумную куклу, она способна только внушить отвращение к здравому смыслу и житейской мудрости. Следовательно, это не ревность, это зависть, и зависть беспредметная, в ее чистейшем виде, зависть ради зависти! Надо последить за собой!»

Дойдя до сигнальной мачты, указывающей уровень воды в порту, он чиркнул спичкой, чтобы прочесть список судов, стоявших на рейде в ожидании прилива. Тут были пакетботы из Бразилии, Ла Платы, Чили и Японии, два датских брига, норвежская шхуна и турецкий пароход. Пьер так удивился, как если бы прочел «швейцарский пароход»; и ему представился, словно в каком-то причудливом сне, большой корабль, где взбираются по мачтам люди в тюрбанах и шароварах.

«Какая глупость,— подумал он,— ведь турки — морской народ!»

Пройдя еще несколько шагов, он остановился, чтобы посмотреть на рейд. С правой стороны, над Сент-Адрес, на мысе Гэв, два электрических маяка, подобно близнецам-циклопам, глядели на море долгим, властным взглядом. Выйдя из двух смежных очагов света, оба параллельных луча, словно гигантские хвосты комет, спускались прямой, бесконечной, наклонной линией с высшей точки берега к самому горизонту. На обоих молах два других огня, отпрыски этих колоссов, указывали вход в Гавр; а дальше, по ту сторону Сены, виднелись еще огни, великое множество огней: они были неподвижны или мигали, вспыхивали или гасли, открывались или закрывались — точно глаза, желтые, красные, зеленые глаза порта, стерегущие темное, покрытое судами море, точно живые глаза гостеприимной земли, которые одним механическим движением век, неизменным и размеренным, казалось, говорили: «Я здесь. Я — Трувиль, я — Гонфлер, я — Пон-Одемер». А маяк Этувилля, вознесясь над всеми огнями в такую высь, что издали его можно было принять за планету, указывал путь в Руан меж песчаных отмелей вокруг устья Сены.

Над глубокой, над беспредельной водой, более темной, чем небо, там и сям, словно мелкие звездочки, виднелись огоньки. То близкие, то далекие, они мерцали в вечерней мгле белым, зеленым или красным светом. Почти все они были неподвижны, но иные как будто перемещались: это были огни судов, стоявших на якоре или идущих на якорную стоянку.

Но вот в вышине, над крышами города, взошла луна, словно и она была огромным волшебным маяком, зажженным на небосклоне, чтобы указывать путь бесчисленной флотилии настоящих звезд.

Пьер проговорил почти вслух:

— А мы-то здесь портим себе кровь из-за всякого вздора!

Вдруг близ него, в широком, черном пролете между двумя молами, скользнула длинная причудливая тень. Перегнувшись через гранитный парапет, Пьер увидел возвращавшуюся в порт рыбачью лодку; ни звука голосов, ни всплеска волн, ни шума весел не доносилось с нее, она шла неслышно, ветер с моря надувал ее высокий темный парус.

Пьер подумал: «Если жить в рыбачьей лодке, пожалуй, можно было бы найти покой!» Потом, пройдя еще несколько шагов, он заметил человека, сидевшего на конце мола.

Кто это? Мечтатель, влюбленный, мудрец, счастливец или горемыка? Пьер подошел поближе, ему хотелось увидеть лицо этого отшельника, и вдруг он узнал брата.

— Так это ты, Жан?

— А-а... Пьер... Что ты здесь делаешь?

— Решил подышать свежим воздухом. А ты?

Жан рассмеялся:

— Я тоже дышу свежим воздухом.

Пьер сел рядом с братом.

— Красиво, правда?

— Да, красиво.

По звуку голоса он понял, что Жан ничего не видел. Пьер продолжал:

— Когда я здесь, мной овладевает страстное желание уехать, уйти на этих кораблях куда-нибудь на север или на юг. Подумать только: эти огоньки прибы-

вают со всех концов света, из стран, где благоухают огромные цветы, где живут прекрасные девушки, белые или меднокожие, из стран, где порхают колибри, бродят на свободе слоны, львы, где правят негритянские царьки, из всех тех стран, что стали сказками, потому что мы не верим больше ни в Белую кошечку, ни в Спящую красавицу. Да, недурно было бы побаловать себя прогулкой в дальние края, но для этого нужны средства, и немалые...

Он вдруг замолчал, вспомнив, что у брата есть теперь эти средства, что, избавленный от всех забот, от каждодневного труда, свободный, ничем не связанный, счастливый, радостный, он может отправиться, куда ему вздумается,— к белокурым шведкам или к черноволосым женщинам Гаваны.

Но тут, как это часто бывало с ним, у него внезапно и мгновенно пронеслось в уме: «Куда ему! Он слишком глуп, он женится на вдове, только и всего». Такие мысли приходили ему в голову вопреки его воле, и он не мог ни предвидеть их, ни предотвратить, ни изменить, словно они исходили от его второй, своенравной и необузданной души.

Пьер встал со скамьи.

— Оставляю тебя мечтать о будущем; мне хочется пройтись.

Он пожал брату руку и сказал с большой теплотой:

— Ну, мой маленький Жан, вот ты и богач! Я очень доволен, что мы встретились здесь и я могу сказать тебе с глазу на глаз, как это меня радует, как сердечно я тебя поздравляю и как сильно люблю.

Жан, кроткий и ласковый от природы, растроганно пробормотал:

— Спасибо... спасибо... милый Пьер, спасибо тебе.

Пьер повернулся и медленно зашагал по молу, заложив руки за спину, с тросточкой под мышкой.

Вернувшись в город, он снова спросил себя, куда же ему деваться; он досадовал на то, что ему не пришлось погулять, что встреча с братом помешала ему посидеть у моря.

Вдруг его осенила мысль: «Зайду-ка я выпить стаканчик у папаши Маровско» — и он направился в район Энгувиля.

С папашей Маровско он познакомился в клинике, в Париже. Ходили слухи, что этот старый поляк — политический эмигрант, участник бурных событий у себя на родине; приехав во Францию, он заново сдал экзамен на фармацевта и вернулся к своему ремеслу. О прошлой его жизни никто ничего не знал; поэтому среди студентов и практикантов, а впоследствии среди соседей о нем слагались целые легенды. Репутация опасного заговорщика, нигилиста, цареубийцы, бесстрашного патриота, чудом ускользнувшего от смерти, пленила легко воспламеняющееся воображение Пьера Ролана; он подружился со старым поляком, но так и не услышал от него никаких признаний о прежней его жизни. Из-за Пьера старик и переехал в Гавр и поселился здесь, рассчитывая, что молодой врач доставит ему хорошую клиентуру.

А пока он кое-как перебивался в своей скромной аптеке, продавая лекарства лавочникам и рабочим своего квартала.

Пьер частенько под вечер заходил к нему побеседовать часок — другой; невозмутимость старика, немногословная его речь, прерываемая длинными паузами, нравились ему, он видел в этом признак глубокомыслия.

Только один газовый рожок горел над прилавком, заставленным пузырьками. Витрина, экономии ради, освещена не была. За прилавком на стуле, вытянув ноги, уткнувшись подбородком в грудь, сидел старый плешивый человек и крепко спал. Облысевший лоб и большой нос, похожий на клюв, придавали спящему унылый вид попугая.

От звонка колокольчика старик проснулся и, узнав доктора, шагнул ему навстречу, протягивая обе руки.

Его черный сюртук, испещренный пятнами от кислот и сиропов, чересчур просторный для тощего маленького тела, смахивал на старую сутану; аптекарь говорил с сильным польским акцентом и очень тонень-

ким голосом: казалось, что это лепечет маленький ребенок, который еще только учится говорить.

Когда Пьер сел напротив старика, тот спросил:

— Что нового, дорогой доктор?

— Ничего. Все то же.

— Вы что-то невеселы нынче.

— Я редко бываю веселым.

— Вам надо бы встряхнуться. Не выпьете ли чего-нибудь?

— С удовольствием.

— Сейчас я угощу вас моим новым изделием. Вот уже два месяца я стараюсь состряпать что-нибудь из смородины; до сих пор из нее изготовляли только сиропы... Ну, а я добился... я добился... Хорошая настоечка, прямо прелесть!

Сияющий, он подошел к шкафу, открыл дверцу и достал бутылку. В его походке, во всех движениях было что-то недоделанное, незавершенное: никогда он не вытягивал руки во всю длину, не расставлял широко ноги, не делал ни одного законченного, решительного жеста. Таковы же были его мысли: он как бы обещал их, намечал, набрасывал, подразумевал, но никогда не высказывал.

Главной заботой в его жизни, по-видимому, было изготовление сиропов и настоек. На хорошем сиропе или хорошей настойке наживают состояние, любил он повторять.

Он изобрел сотни сладких наливок, но ни одна из них не имела успеха. Пьер утверждал, что Маровско напоминает ему Марата.

На лотке, служившем для приготовления лекарств, старик принес из задней комнаты две рюмки и наполнил их; подняв рюмки к газовому рожку, собеседники принялись рассматривать жидкость.

— Какой чудесный цвет, совсем рубиновый! — сказал Пьер.

— Не правда ли?

Старческое лицо поляка, напоминавшее попугая, так и сияло.

Доктор отхлебнул, посмаковал, подумал, еще раз отхлебнул и объявил:

— Хороша, очень хороша! И какой-то вкус необычный... Да это находка, дорогой мой!

— Вам нравится? Я очень рад.

Маровско попросил у доктора совета, как ему окрестить свое изобретение; он хотел назвать его «настой из смородины», или «смородиновая наливка», или «смородина», и даже «смородин».

Пьер не одобрил ни одного из этих названий.

Старик предложил:

— А может быть, как вы сейчас сказали: «Рубиновая»?

Доктор отверг и это название, хотя оно и было найдено им самим, а посоветовал назвать наливку просто «смородиновкой». Маровско объявил, что это великолепно.

Они умолкли и сидели под одиноким газовым рожком, не произнося ни слова.

Наконец, у Пьера вырвалось почти против воли:

— А у нас новость, и довольно странная: умер один из приятелей отца и оставил все состояние моему брату.

Аптекарь как будто не сразу понял, но, помедлив, высказал надежду, что половина наследства достанется доктору. Когда же Пьер объяснил, как обстоит дело, аптекарь выразил крайнее удивление и досаду; рассерженный тем, что его молодого друга обошли, он несколько раз повторил:

— Это произведет дурное впечатление.

Пьеру опять стало не по себе, и он пожелал узнать, что Маровско имеет в виду. Почему это произведет дурное впечатление? Что тут дурного, если его брат наследует состояние близкого друга их семьи?

Но осторожный старик ничего не прибавил в объяснение своих слов.

— В таких случаях обоим братьям оставляют поровну. Вот увидите, это произведет дурное впечатление.

Пьер ушел раздосадованный, возвратился в родительский дом и лег спать.

Некоторое время он еще слышал тихие шаги Жана в соседней комнате, потом выпил два стакана воды и заснул.

III

Пьер проснулся на другой день с твердым намерением добиться успеха в жизни.

Не впервые приходил он к такому решению, но ни разу не пытался осуществить его. Когда он пробовал силы на новом поприще, надежда быстро разбогатеть некоторое время поддерживала в нем энергию и уверенность в себе; но первое препятствие, первая неудача заставляли его искать нового пути.

Лежа в теплой постели, он предавался размышлениям. Сколько врачей за короткий срок стали миллионерами! Для этого нужна только известная ловкость; ведь за годы учения он имел возможность узнать цену самым знаменитым профессорам и считал их ослами. Уж он-то стóит не меньше, чем они, а может быть, и больше. Если только ему удастся завоевать аристократическую и богатую клиентуру Гавра, он с легкостью будет зарабатывать по сотне тысяч франков в год. И он произвел точный подсчет будущего верного дохода. Утром он отправляется навещать больных. Если взять в среднем на худой конец десять человек в день, по двадцати франков с каждого, это даст самое меньшее семьдесят две тысячи франков в год, даже семьдесят пять: ведь наверняка будет не десять больных, а больше. После обеда он принимает у себя в кабинете также в среднем десять пациентов по десяти франков; итого, положим, тридцать шесть тысяч франков. Вот вам и сто двадцать тысяч франков — сумма кругленькая. Старых пациентов и друзей он будет посещать на дому за десять франков и принимать у себя за пять; это, может быть, слегка уменьшит итог, но возместится консилиумами и разными случайными доходами, всегда перепадающими врачу.

Достигнуть всего этого совсем нетрудно при помощи умелой рекламы, например, заметок в *Фигаро,* указывающих на то, что парижские медицинские круги пристально следят за поразительными методами лечения, применяемыми молодым и скромным гаврским врачом. Он станет богаче брата, и не только богаче — он будет знаменит и счастлив, потому что своим состоянием будет обязан только себе; и он щедро одарит сво-

их старых родителей, которые будут по праву гордиться его известностью. Он не женится, чтобы не связывать себя на всю жизнь с одной-единственной женщиной, но у него будут любовницы — самые хорошенькие из его пациенток.

Он почувствовал такую уверенность в успехе, что вскочил с постели, словно желая тотчас добиться его, и, быстро одевшись, пустился на поиски подходящего помещения.

Бродя по улицам, он думал о том, до чего ничтожны побудительные причины наших поступков. Он мог бы, он должен был бы прийти к этому решению еще три недели тому назад, а оно внезапно родилось только теперь, и, несомненно, потому, что его брат получил наследство.

Он останавливался только перед теми дверьми, где висело объявление, извещавшее о сдаче прекрасной или роскошной квартиры; от предложений, не содержащих этих прилагательных, он отворачивался с презрением и, осматривая квартиры, держался высокомерно, высчитывал высоту потолков, набрасывал в записной книжке план, отмечал сообщение между комнатами и расположение выходов, причем заявлял, что он врач и много принимает на дому. Лестница должна быть широкой и содержаться в чистоте. И вообще выше второго этажа он поселиться не может.

Записав семь или восемь адресов и наведя сотню справок, он вернулся домой, опоздав к завтраку на четверть часа.

Уже в передней он услышал стук тарелок. Завтракали без него. Почему? Никогда у них в доме не соблюдалась такая точность. Обидчивый по природе, он сразу почувствовал неудовольствие и досаду.

Как только он вошел, Ролан сказал ему:

— Ну, Пьер, пошевеливайся! Ты ведь знаешь, мы в два часа идем к нотариусу. Сегодня не время копаться.

Доктор, ничего не отвечая, поцеловал мать, пожал руку отцу и брату и сел за стол; потом взял с большого блюда посреди стола оставленную для него отбивную. Она оказалась остывшей, сухой и, наверно, была самая жилистая из всех. Он подумал, что ее могли бы

поставить в печку до его прихода и что не следовало терять голову до такой степени, чтобы совершенно забыть о другом сыне, о старшем. Разговор, прерванный его приходом, возобновился.

— Я бы вот что сделала на твоем месте,— говорила Жану г-жа Ролан.— Прежде всего нужно снять роскошно обставленную квартиру, чтобы это всем бросалось в глаза, бывать в обществе, ездить верхом. Затем я выбрала бы одно—два громких дела для защиты, выступила в них и завоевала положение в суде. Я сделалась бы своего рода адвокатом-любителем, за которым клиенты гонятся. Слава богу, ты теперь избавлен от нужды, и если будешь заниматься своей профессией, то, в сущности, только для того, чтобы не растерять знаний; мужчина, впрочем, никогда не должен сидеть без дела.

Ролан-отец, чистя грушу, заявил:

— Нет уж, извините! А я на твоем месте купил бы хорошую лодку, катер, как у наших лоцманов. На нем можно дойти хоть до Сенегала!

Высказал свое мнение и Пьер. В конце концов не богатство составляет духовную ценность человека. Людей посредственных оно только заставляет опускаться, но в руках сильных людей оно мощный рычаг. Правда, такие люди редки. Если Жан действительно незаурядный человек, то теперь, когда ему не грозит нужда, он может доказать это. Но работать придется в тысячу раз больше, чем при других обстоятельствах. Не в том задача, чтобы выступать за или против вдов и сирот и класть в карман столько-то экю за всякий выигранный или проигранный процесс, но в том, чтобы стать выдающимся юристом, светилом права.

Пьер добавил в виде заключения:

— Будь у меня деньги, сколько бы трупов я вскрыл!

Старик Ролан пожал плечами:

— Та-та-та! Самое мудрое, что можно сделать,— это жить в свое удовольствие. Мы не вьючные животные, а люди. Когда родишься бедняком, нужно работать и, что поделаешь, приходится работать! Но когда имеешь ренту — черта с два! Каким нужно быть дураком, чтобы лезть из кожи вон!

Пьер ответил свысока:

— У нас разные взгляды! Я уважаю только знание и ум и презираю все остальное.

Г-жа Ролан всегда старалась смягчить нередкие стычки между отцом и сыном; она переменила разговор и стала рассказывать об убийстве в Больбек-Нуанто на прошлой неделе. Все тотчас же увлеклись подробностями этого злодеяния, захваченные тайной преступлений: ведь как бы ни были жестоки, позорны и отвратительны преступления, они всегда возбуждают в людях любопытство и обладают непонятной, но бесспорной притягательной силой.

Однако старик Ролан то и дело смотрел на часы.

— Ну,— сказал он,— пора отправляться.

Пьер усмехнулся.

— Еще нет и часа. По правде говоря, незачем было заставлять меня есть холодную котлету.

— Ты пойдешь к нотариусу?— спросила г-жа Ролан.

Он сухо ответил:

— Нет. Зачем? Мое присутствие там совершенно излишне.

Жан молчал, словно дело вовсе его не касалось. Когда говорили об убийстве в Больбеке, он, как юрист, высказал кое-какие замечания и развил некоторые соображения о преступности и преступниках. Теперь он умолк, но блеск его глаз, яркий румянец щек — все, вплоть до лоснящейся бороды, казалось, кричало о том, что он счастлив.

Оставшись в одиночестве после ухода родных, Пьер возобновил утренние поиски квартиры. В течение двух—трех часов он поднимался и спускался по лестницам, пока не нашел наконец на бульваре Франциска I очаровательное помещение: просторный бельэтаж с двумя выходами на разные улицы, с двумя гостиными, с застекленной галереей, где больные в ожидании своей очереди могли бы прогуливаться среди цветов, и с восхитительной круглой столовой, обращенной окнами к морю.

Он уже решил нанять эту квартиру, но цена в три тысячи франков остановила его, тем более, что требовалось заплатить вперед за первый квартал, а

у него не было ничего и впереди не предвиделось ни единого су.

Скромное состояние, накопленное отцом, едва приносило восемь тысяч франков ренты, и Пьер упрекал себя за то, что нередко ставил родителей в стесненное положение своими колебаниями в выборе профессии, своими планами, которые он никогда не доводил до конца, и постоянными переменами факультетов. И он ушел, пообещав дать ответ не позже чем через два дня: он решил, как только Жана введут в права наследства, попросить у него денег на уплату за первый квартал или даже за полугодие, что составило бы полторы тысячи франков.

«Ведь это всего на несколько месяцев,— думал он.— Быть может, я возвращу долг даже до конца года. Это так просто, он с удовольствием даст мне взаймы».

Так как еще не было четырех часов, а делать ему было решительно нечего, он пошел в городской сад и долго сидел там на скамье, ни о чем не думая, уставив глаза в землю, подавленный и удрученный.

Между тем все предыдущие дни, с самого своего возвращения в отчий дом, он проводил совершенно так же, но вовсе не страдал столь жестоко от пустоты своего существования и от собственного бездействия. Чем же он заполнял свой день с утра до вечера?

В часы прилива он слонялся по молу, слонялся по улицам, по кафе, торчал у Маровско — словом, не делал ровно ничего. И вдруг эта жизнь, до сих пор нисколько не тяготившая его, представилась ему отвратительной, невыносимой. Будь у него хоть немного денег, он нанял бы коляску и поехал за город покататься по дороге вдоль ферм, окруженных оградами, в тени буков и вязов; но он ведь вынужден высчитывать цену каждой кружки пива, каждой почтовой марки, и подобные прихоти ему недоступны. Он вдруг подумал о том, как тяжело в тридцать с лишком лет, краснея, просить у матери луидор на мелкие расходы, и пробормотал, царапая землю концом тросточки:

— Черт возьми, если бы только у меня были деньги!

И мысль о наследстве брата опять кольнула его, по-

добно осиному жалу, но он с досадой отогнал ее, не желая поддаваться чувству зависти.

Вокруг него в пыли дорожек играли дети. Белокурые, кудрявые, они с серьезным видом, важно и сосредоточенно сооружали маленькие песчаные горки, чтобы потом растоптать их ногами.

Пьер находился в том мрачном состоянии духа, когда человек заглядывает во все уголки своей души и перетряхивает все тайники ее.

«Наши труды подобны работе этих малышей»,— думал он. И спросил себя, не в том ли высшая мудрость жизни, чтобы произвести на свет два — три таких бесполезных существа и с любопытством и радостью следить, как они растут. У него мелькнула мысль о женитьбе. Когда ты не одинок, не чувствуешь себя таким неприкаянным. По крайней мере в часы смятения и неуверенности подле тебя будет живое существо; ведь уже много значит, если в тяжелую минуту можешь сказать женщине «ты».

И он начал думать о женщинах.

Он мало знал их: в Латинском квартале у него бывали мимолетные связи, которые обрывались, как только приходили к концу деньги, присланные из дому на месяц, и возобновлялись или уступали место новым в следующем месяце. Но есть же на свете и другие женщины — добрые, нежные, отзывчивые. Разве не была его мать душою и очарованием домашнего очага? Как он хотел бы встретить женщину, настоящую женщину!

Он вдруг встал со скамейки, решив навестить г-жу Роземильи.

Но затем так же быстро опустился на место. Нет, она ему не нравится! Почему? В ней слишком много прозаического, будничного здравого смысла; да и притом она, конечно, предпочитает Жана. Пьер не признавался себе в этом прямо, но его нелестное мнение об умственных способностях вдовы в значительной степени определялось именно этим обстоятельством. Хотя он любил брата, но все-таки считал его посредственностью и себя ставил выше.

Однако нельзя же было оставаться тут до ночи, и он, как накануне вечером, с тоскою спросил себя:

— Куда же мне деваться?

Ему хотелось внимания, нежности, хотелось, чтобы его приласкали, утешили. Утешили, но в чем? Он не мог бы сказать этого. Он чувствовал себя разбитым и обессиленным, а в такие минуты присутствие женщины, ее ласка, прикосновение ее руки, шелест платья, нежный взгляд черных или голубых глаз необходимы нашему сердцу сейчас же, сию минуту.

Ему вспомнилась одна служаночка из пивной: как-то вечером он проводил ее и зашел к ней, а потом встречался с нею время от времени.

Он снова встал со скамьи и решил пойти выпить кружку пива с этой девушкой. Что он ей скажет? Что она скажет ему? Вероятно, ничего. Не все ли равно? На несколько мгновений он задержит ее руку в своей! Она как будто расположена к нему. Почему бы ему не встречаться с нею почаще?

Он нашел ее в полупустой пивной, где она дремала на стуле. Трое посетителей, облокотясь на дубовые столы, курили трубки, кассирша читала роман, а хозяин, без пиджака, крепко спал на скамейке.

Завидев Пьера, девушка быстро вскочила и подошла к нему.

— Здравствуйте, как поживаете?

— Ничего, а ты?

— Отлично. Редко вы к нам заглядываете!

— Да, я очень занят. Ты ведь знаешь, я врач.

— Да ну! Вы этого не говорили. Кабы я знала, то к вам бы и обратилась: я хворала на прошлой неделе. Что закажете?

— Кружку пива, а тебе?

— Тоже кружку пива, если ты угощаешь.

Она перешла на «ты», как будто, предложив угостить ее, он дал на это молчаливое согласие. Сидя друг против друга, они разговорились. Время от времени она брала его за руку с привычной фамильярностью девицы, продающей свои ласки, и, глядя на него зазывающим взглядом, спрашивала:

— Почему не заходишь чаще? Ты мне нравишься, миленький.

Но он уже испытывал к ней отвращение, видя, что она глупа, груба и вульгарна. Женщины, говорил он

себе, должны являться нам в мечтах или в ореоле роскоши, скрашивающей их пошлость.

— Ты на днях проходил мимо с красивым блондином,— сказала она,— у него такая большая борода. Это брат твой, что ли?

— Брат.

— Экий красавчик!

— Ты находишь?

— Еще бы! И сразу видно, что веселый.

Какое непонятное побуждение толкнуло его вдруг рассказать служанке из пивной о наследстве Жана? Почему эта мысль, которую он гнал от себя, когда был один, которую отталкивал, страшась смятения, вносимого ею в душу,— почему теперь он не удержал ее, почему дал сорваться с языка, словно не мог побороть желания излить свое переполненное горечью сердце?

— Моему брату повезло,— сказал он, положив ногу на ногу.— Он только что получил наследство в двадцать тысяч франков ренты.

Ее голубые глаза широко раскрылись, и в них блеснул алчный огонек.

— Ого! Кто же ему оставил, бабушка или тетка?

— Нет, старый друг моих родителей.

— Всего только друг? Быть не может! А тебе ничего не оставил?

— Нет. Я очень мало знал его.

Она подумала немного и сказала с хитрой усмешкой:

— Везет же твоему брату, что у него такие друзья! Не мудрено, что он совсем на тебя не похож!

Его охватило безотчетное желание ударить ее по лицу, и губы его судорожно кривились, когда он спросил:

— Что ты хочешь сказать?

Она ответила самым невинным и простодушным тоном:

— Да ничего. Говорю, что ему счастье привалило, а тебе нет.

Он бросил на стол двадцать су и вышел.

В ушах неотступно звучали слова: «Не мудрено, что он совсем на тебя не похож».

Что она думала, что разумела под этими словами? Несомненно, в них скрывалась насмешка, какой-то злой и подлый намек. Уж не решила ли эта девка, что его брат — сын Марешаля?

Это подозрение, падавшее на его мать, так потрясло Пьера, что он остановился, ища взглядом, где бы присесть.

Перед ним было кафе. Он вошел туда и сказал гарсону:

— Кружку пива.

Сердце у него колотилось, по телу пробегала дрожь. И ему вспомнилось, что сказал накануне Маровско: «Это произведет дурное впечатление». Неужели у старика явилась та же мысль, то же подозрение, что и у этой твари?

Нагнувшись над кружкой, он смотрел, как пузырится и тает белая пена, и спрашивал себя: «Неужели кто-нибудь поверит такой нелепости?»

Причины, способные возбудить это гнусное подозрение, открывались ему одна за другой — ясные, очевидные, беспощадные. Если старый холостяк, не имеющий наследников, оставляет состояние обоим сыновьям своего друга — это вполне понятно и естественно, но если он оставляет его целиком одному из сыновей, то люди, конечно, будут удивляться, шушукаться и в конце концов лукаво улыбаться. Как он сам не предвидел этого, как не почувствовал этого отец, как не догадалась об этом мать? Нет, они слишком обрадовались неожиданному богатству, чтобы это могло прийти им в голову. И разве его родители, честные, порядочные люди, способны заподозрить такую гнусность?

Да, но окружающие, но соседи: булочник, бакалейщик, другие лавочники, все, кто их знал,— разве не будут они повторять отвратительную сплетню, смаковать ее, злорадствовать, смеяться над отцом, с презрением говорить о матери?

Заметила же служанка из пивной, что Жан — блондин, а он брюнет, что они не похожи друг на друга ни лицом, ни походкой, ни осанкой, ни характером,— ведь теперь это бросится в глаза всем, поразит всех. Когда зайдет речь об одном из сыновей Роланов, теперь будут спрашивать: «Это который, настоящий или побочный?»

Он поднялся, решив предупредить брата, предостеречь его от страшной опасности, угрожающей чести их матери. Но что может сделать Жан? Самое простое было бы, конечно, отказаться от наследства в пользу бедных, друзьям же и знакомым, узнавшим о завещании, сказать, что его статьи и условия неприемлемы, что они сделали бы Жана не наследником, а только хранителем чужого состояния.

По дороге домой он решил, что с братом ему следует поговорить наедине, но никак не при родителях.

Еще на пороге до него донесся шум голосов и смех из гостиной, а войдя туда, он увидел г-жу Роземильи и капитана Босира, которых отец привел с собой пообедать, чтобы отпраздновать радостную новость.

Для возбуждения аппетита были поданы вермут и абсент, и все пришли в хорошее настроение. Капитан Босир, маленький человечек, столько катался по морям, что стал совсем круглым; казалось, что у него и мысли круглые, как прибрежная галька; когда он смеялся, в его горле рокотал один звук «р», и он был убежден, что жизнь чудесна и ничем в ней не нужно пренебрегать.

Он чокался со стариком Роланом, а Жан подносил дамам по второй рюмке.

Г-жа Роземильи отказывалась, но капитан Босир, знавший ее покойного мужа, воскликнул:

— Смелее, смелее, сударыня; как говорят у меня на родине, «bis repetita placent», а это значит: «Два вермута никогда не повредят». С тех пор как я больше не отправляюсь в плавание, я каждый день перед обедом сам устраиваю себе легкую качку. После кофе добавляю еще немного килевой, и к вечеру у меня прямотаки волнение на море. Правда, до шторма я никогда не довожу, никогда,— боюсь крушения.

Ролан, поощряемый старым капитаном в своей страсти к мореплаванию, покатывался со смеху; от абсента лицо его раскраснелось, глаза помутнели. У него было толстое брюхо лавочника, как будто вместившее в себе все остальные части тела, дряблое брюхо, какое бывает у людей сидячего образа жизни; нельзя было различить уже ни бедер, ни груди, ни рук,

ни шеи, словно на сиденье стула взгромоздилась вся его туша.

Босир, напротив, несмотря на малый рост и толщину, был весь налитой и упругий, как мяч.

Г-жа Ролан только пригубила первую рюмку и, порозовев, с блестящими от счастья глазами любовалась младшим сыном.

Теперь и он дал полную волю своей радости. Все было кончено и подписано, он уже владел рентой в двадцать тысяч франков. В его смехе, в самом голосе, ставшем более звучным, во взгляде на собеседницу, в его движениях, более свободных и четких, уже чувствовалась самоуверенность, которую придают деньги.

Когда доложили, что обед подан, и старик Ролан собрался было предложить руку г-же Роземильи, его супруга воскликнула:

— Нет, нет, отец, сегодня все для Жана!

Стол был накрыт с непривычной роскошью: перед тарелкой Жана, сидевшего на отцовском месте, возвышался огромный букет, весь в ленточках, настоящий парадный букет, напоминавший увешанный флагами купол здания. Вокруг него стояли четыре вазы: одна с пирамидой великолепных персиков; вторая с монументальным тортом, начиненным взбитыми сливками и украшенным колокольчиками из жженого сахара,— целый собор из теста; третья с ломтиками ананаса в светлом сиропе, а четвертая — неслыханная роскошь! — с черным виноградом, привезенным из жарких стран.

— Черт возьми! — сказал Пьер, усаживаясь.— Мы празднуем восшествие на престол Жана Богатого.

После супа выпили мадеры, и тут уж все заговорили разом. Босир рассказывал, как ему случилось обедать у одного негритянского генерала в Сан-Доминго. Ролан-отец слушал его, все время стараясь вставить собственный рассказ о другом обеде, который дал один из его друзей в Медоне, после чего приглашенные хворали две недели. Г-жа Роземильи, Жан и его мать, заранее предвкушая удовольствие, говорили о прогулке в Сен-Жуэн, где можно будет и позавтракать. Пьер жалел, что не пообедал в каком-нибудь кабачке на бе-

регу моря, где был бы избавлен от этого шума, смеха и веселья, которые его раздражали.

Он обдумывал, как ему приступить к делу, как высказать брату свои опасения и заставить его отказаться от богатства, которое уже принадлежало ему, которым он упивался. Конечно, Жану будет нелегко, но так надо: могут ли быть колебания, если затронуто доброе имя матери?

Появление на столе огромного морского окуня дало Ролану повод пуститься в рассказы о рыбной ловле. Босир, со своей стороны, поведал о необыкновенных уловах в Габуне, в Сент-Мари на Мадагаскаре и в особенности у берегов Китая и Японии, где у рыб такая же забавная внешность, как и у тамошних жителей. И он стал описывать этих рыб, их большие золотистые глаза, голубое или красное брюшко, причудливые плавники, похожие на веера, хвосты, вырезанные в форме полумесяца, и все это с такими уморительными ужимками, что слушатели смеялись до слез.

Один Пьер, казалось, недоверчиво относился к этим рассказам и бурчал себе под нос:

— Верно говорят, что нормандцы — те же гасконцы, только северные.

После рыбы подали слоеный пирог, затем жареных цыплят, салат, зеленые бобы и питивьерский паштет из жаворонков. За столом прислуживала горничная г-жи Роземильи. Веселье возрастало с каждым стаканом вина. Когда откупорили первую бутылку шампанского, Ролан-отец, очень возбужденный, причмокнул, подражая звуку хлопнувшей пробки, и объявил:

— Такой выстрел я предпочитаю пистолетному.

Пьер, все больше раздражаясь, ответил насмешливо:

— А ведь для тебя такой выстрел куда опаснее пистолетного.

Ролан, собиравшийся выпить, поставил на стол полный бокал.

— Почему это?

Он уже давно жаловался на здоровье, на ощущение тяжести, на головокружение, на постоянное и необъяснимое недомогание.

Доктор продолжал:

— Потому что пуля может пролететь мимо, а бокал вина обязательно попадет к тебе в желудок.

— Ну и что же?

— А то, что вино обжигает желудок, расстраивает нервную систему, затрудняет кровообращение и подготовляет апоплексический удар, которому подвержены люди твоей комплекции.

Опьянение бывшего ювелира разом рассеялось, как дым от порыва ветра, и он уставился на сына тревожным и пристальным взглядом, стараясь понять, не шутка ли это.

Но Босир воскликнул:

— Ах, уж эти доктора, вечно одно и то же: не ешьте, не пейте, не любите, хороводов не водите. Это, извольте видеть, вредит драгоценному здоровью. А я проделывал все это, сударь, собственной персоной, во всех частях земного шара, всюду, где только мог и сколько мог, и ничуть мне это не повредило.

Пьер едко заметил:

— Во-первых, капитан, вы крепче моего отца, а, кроме того, все любители пожить говорят то же, что и вы, до того самого дня, когда... словом, когда они уже не могут наутро сказать осторожному врачу: «Вы были правы, доктор». Отец делает то, что для него всего опаснее и вреднее. Естественно, что, видя это, я его предупреждаю. Я был бы плохим сыном, если бы поступал иначе.

Огорченная г-жа Ролан тоже вступилась за старика:

— Пьер, что с тобой? От одного раза ничего не случится. Подумай, какой сегодня праздник для него, для всей семьи. Ты портишь ему удовольствие и огорчаешь нас. Это просто нехорошо!

Он пробормотал, пожимая плечами:

— Пусть делает, что хочет. Я его предупредил.

Но Ролан-отец не стал пить. Он смотрел на свой бокал, полный светлого, искристого вина, легкая, пьянящая душа которого улетала, дробясь мелкими пузырьками, возникавшими на дне и быстро, торопливо взлетавшими, чтобы испариться на поверхности; он смотрел на свой бокал с опаской, как лиса, которая нашла издохшую курицу и чует западню.

Он спросил неуверенно:

— Так ты думаешь, это мне очень вредно?

Пьеру стало стыдно, и он упрекнул себя, что из-за своего плохого настроения заставляет страдать других.

— Ну, так и быть, один раз можно; только не злоупотребляй вином, не привыкай к нему.

Ролан-отец поднял бокал, но все еще не решался поднести его к губам. Он грустно смотрел на него, томясь желанием и страхом; потом понюхал вино, пригубил и стал пить маленькими глотками, чтобы продлить наслаждение; в душе его боролись и боязнь, и слабость, и вожделение, и, наконец, раскаяние, едва он допил последнюю каплю.

Глаза Пьера встретились вдруг с глазами г-жи Роземильи; ее ясный, проницательный и жесткий взгляд был устремлен на него. Пьер почувствовал, отгадал, понял мысль, оживлявшую этот взгляд, гневную мысль женщины, прямой и бесхитростной: «Ты завидуешь. Не стыдно тебе?»

Он опустил голову и снова принялся за еду.

Но ел он без охоты, все казалось ему невкусным. Его томило желание уйти, покинуть этих людей, не слышать больше их разговоров, шуток и смеха.

Тем временем винные пары опять начали туманить голову Ролана-отца. Он уже позабыл советы сына и искоса бросал нежные взгляды на только что начатую бутылку шампанского, стоявшую рядом с его прибором. Не решаясь притронуться к ней из боязни нового выговора, он старался придумать какую-нибудь уловку, хитрый прием, чтобы завладеть ею, не вызвав замечаний Пьера. Он остановился на самом простом способе: небрежно взяв в руки бутылку и держа ее за донышко, он потянулся через стол, наполнил сначала пустой бокал доктора, затем налил по кругу всем остальным, а дойдя до своего бокала, заговорил как можно громче и под шумок налил немного и себе; можно было поклясться, что он сделал это по рассеянности. Впрочем, никто и не обратил на это внимания.

Пьер, сам того не замечая, пил много. Злой и раздраженный, он то и дело машинально подносил ко рту узкий хрустальный бокал, где в живой прозрачной

влаге взбегали пузырьки, и пил медленно, чтобы почувствовать на языке легкий и сладостный укол испаряющегося газа.

Приятная теплота понемногу растекалась по всем жилам. Исходя из желудка, где, казалось, был ее очаг, она достигла груди, охватила руки и ноги и разлилась по телу легкой, благотворной волной, радостью, согревающей душу. Ему стало легче, досада и недовольство улеглись; его решение переговорить сегодня же вечером с братом несколько поколебалось — не потому, чтобы он хоть на миг подумал отказаться от этого, но ему хотелось продлить подольше охватившую его приятную истому.

Босир встал и поднял бокал, намереваясь произнести тост.

Поклонившись всем по очереди, он начал:

— Прекрасные дамы и милостивые государи, мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать счастливое событие, выпавшее на долю одного из наших друзей. В старину говорили, что фортуна слепа; я же думаю, что она была просто близорука или коварна, но теперь она купила отличный морской бинокль, и это позволило ей различить в гаврском порту сына нашего достойного приятеля Ролана, капитана «Жемчужины».

Все закричали «браво», все захлопали оратору, и старик Ролан поднялся для ответного тоста.

Откашлявшись, потому что у него заложило горло и язык ворочался с трудом, он произнес, запинаясь:

— Благодарю вас, капитан, благодарю за себя и за сына. Я никогда не забуду вашего дружеского участия к нам. Пью за исполнение ваших желаний.

Глаза его увлажнились, в носу защипало, и он сел, не находя больше что сказать.

Жан, засмеявшись, тоже взял слово.

— Это я,— произнес он,— должен благодарить преданных друзей, прекрасных друзей (он взглянул на г-жу Роземильи), которые сегодня столь трогательно проявляют свое расположение. Но не словами могу я выразить им свою признательность. Я буду доказывать ее постоянно, и завтра и в каждое мгновение моей жизни, ибо наша дружба непреходяща.

Мать взволнованно прошептала:

— Очень хорошо, Жан.

Босир возгласил, обращаясь к г-же Роземильи:

— А теперь, сударыня, скажите и вы что-нибудь от имени прекрасного пола.

Она подняла бокал и нежно, с легким оттенком печали произнесла:

— Я пью за благословенную память господина Марешаля.

Наступило подобающее случаю сосредоточенное молчание, как после молитвы, и Босир, скорый на комплименты, заметил:

— Только женщины способны на такую чуткость.

Затем, повернувшись к Ролану-отцу, он спросил:

— Кто же он такой, этот Марешаль? Вы, стало быть, очень дружили с ним?

Старик, разомлевший от вина, заплакал; язык у него заплетался:

— Как брат родной... понимаете... такого больше не сыщешь... мы были неразлучны... по вечерам он обедал у нас... возил нас в театр... и все такое... и вообще... Это был друг, истинный друг... истинный... правда, Луиза?

Его жена ответила просто:

— Да, это был верный друг.

Пьер поглядел на отца, на мать, но заговорили о другом, и он снова принялся за вино.

Как закончился вечер, он уже не помнил. Пили кофе, потягивали ликеры, смеялись и шутили без конца. Около полуночи он лег в постель с затуманенным сознанием и тяжелой головой и проспал как убитый до девяти утра.

IV

Сон после шампанского и шартреза, очевидно, успокоил и умиротворил его, потому что проснулся он в самом благодушном настроении. Одеваясь, он разбирал, взвешивал и оценивал чувства, волновавшие его накануне, стараясь возможно более точно и полно установить их подлинные, сокровенные причины, и внутренние и внешние.

Конечно, у служанки из пивной могла явиться гадкая мысль, мысль истой проститутки, когда она узнала, что только один из сыновей Ролана получил наследство от постороннего человека; но разве эти твари не склонны всегда без всякого повода подозревать всех честных женщин? Разве они не оскорбляют, не поносят, не обливают грязью на каждом шагу именно тех женщин, которых считают безупречными? Стоит в их присутствии назвать какую-нибудь женщину неприступной, как они приходят в ярость, словно им нанесли личное оскорбление. «Как же,— кричат они,— знаем мы твоих замужних женщин! Нечего сказать, хороши! У них побольше любовников, чем у нас, только они это скрывают, лицемерки! Да, да, нечего сказать, хороши!»

При других обстоятельствах он, наверное, не понял бы, даже счел бы немыслимым подобный намек на свою мать, такую добрую, такую благородную. Но теперь в нем все сильнее и сильнее бродила зависть к брату. Смятенный ум, даже помимо его воли, словно выискивал все то, что могло повредить Жану; а что, если он сам приписал гнусные намеки той девушке, которой они и в голову не приходили?

Его воображение не подчинялось ему, беспрестанно ускользало из-под его воли, необузданно, дерзко, коварно устремлялось в свободный, бескрайний океан мыслей и порой приносило оттуда мысли позорные, постыдные, пряча их в тайниках его души, в ее сокровенных глубинах, как прячут краденое. Быть может, именно оно и создало, выдумало это страшное подозрение? В его сердце, в его собственном сердце, несомненно, были от него тайны; не нашло ли это раненое сердце в гнусном подозрении способ лишить брата того наследства, которому он завидовал? Теперь он подозревал самого себя и проверял свои потаеннейшие думы, как проверяют свою совесть благочестивые люди.

Г-жа Роземильи, при всей ограниченности своего ума, бесспорно обладала женским тактом, чутьем и проницательностью. И все же эта мысль, видимо, не приходила ей в голову, если она так искренне и просто выпила за благословенную память покойного Марешаля. Ведь не поступила бы она так, явись у нее хоть малей-

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

шее подозрение. Теперь он уже не сомневался, что невольная обида, вызванная доставшимся брату богатством, и, конечно, благоговейная любовь к матери возбудили в нем сомнения — сомнения, достойные похвалы, но беспочвенные.

Придя к такому выводу, он почувствовал удовлетворение, словно сделал доброе дело, и решил быть приветливым со всеми, начиная с отца, хотя тот беспрестанно раздражал его своими причудами, нелепыми, пошлыми изречениями и слишком явной глупостью.

Пьер явился к завтраку без опоздания, в наилучшем расположении духа и за столом развлекал шутками всех домашних.

Мать говорила, сияя радостной улыбкой:

— Ты и не подозреваешь, сынок, до чего ты забавен и остроумен, стоит тебе захотеть.

А он все острил и каламбурил, набрасывая шутливые портреты друзей и знакомых. Досталось и Босиру и даже г-же Роземильи, но только чуточку, без злости. И Пьер думал, глядя на брата: «Да вступись же за нее, олух этакий; хоть ты и богат, но я всегда сумею затмить тебя, если захочу».

За кофе он спросил отца:

— Тебе не нужна сегодня «Жемчужина»?

— Нет, сынок.

— Можно мне взять ее вместе с Жан-Бартом?

— Пожалуйста, сделай одолжение.

Пьер купил в табачной лавочке дорогую сигару и бодрым шагом направился в порт, поглядывая на ясное, сияющее небо, бледно-голубое, освеженное и точно вымытое морским ветром.

Матрос Папагри, по прозвищу Жан-Барт, дремал в лодке, которую он должен был ежедневно держать наготове к полудню, если не выезжали на рыбную ловлю с утра.

— Едем вдвоем, капитан! — крикнул Пьер.

Он спустился по железной лесенке и прыгнул в лодку.

— Какой нынче ветер? — спросил он.

— Пока восточный, сударь. В открытом море будет добрый бриз.

— Ну, так в путь, папаша.

Они поставили фок-мачту, подняли якорь, и лодка, обретя свободу, медленно заскользила к молу по спокойной воде гавани. Слабое дуновение, доносившееся с прибрежных улиц, тихонько, почти неощутимо, шевелило верхушку паруса, и «Жемчужина» словно жила своей собственной жизнью, жизнью парусника, движимого некой таинственной, скрытой в нем силой. Пьер сидел за рулем, с сигарой в зубах, положив вытянутые ноги на скамью, полузакрыв глаза под слепящими лучами солнца, и смотрел, как мимо него проплывают толстые просмоленные бревна волнореза.

Достигнув северной оконечности мола, они вышли в открытое море. Свежий ветер ласковой прохладой скользнул по лицу и рукам Пьера, проник ему в грудь, глубоко вдохнувшую эту ласку, надул коричневый парус, наполнил его, и «Жемчужина», накренившись, ускорила ход.

Жан-Барт поставил кливер, треугольник которого под ветром казался крылом, потом в два прыжка очутился на корме и отвязал гик, прикрепленный к мачте.

Лодка еще сильнее накренилась и шла теперь на полной скорости; слышался негромкий веселый рокот — это бурлила и бежала вдоль бортов вода.

Нос лодки взрезал море, точно стремительный лемех, и волна, упругая, белая от пены, вздымалась и падала, словно отваленная плугом тяжелая свежевспаханная земля.

При каждой встречной волне — они были короткие и частые — толчок сотрясал «Жемчужину» от кливера до руля, вздрагивающего в руке Пьера; когда же ветер на мгновение усиливался, волны доходили до самого борта лодки и, казалось, вот-вот зальют ее.

Ливерпульский угольщик стоял на якоре, ожидая прилива. Они обогнули его сзади, осмотрели одно за другим все суда, стоявшие на рейде, и отошли немного подальше — полюбоваться побережьем.

Целых три часа Пьер, безмятежный, спокойный и всем довольный, блуждал по чуть зыблемой воде, управляя, точно крылатым, быстрым и послушным зверем, этим сооружением из дерева и холста, ход кото-

рого он менял по своей прихоти, одним мановением руки.

Он мечтал, как мечтают во время прогулки верхом или на палубе корабля; он думал о будущем, о своем прекрасном будущем, о том, как хорошо и разумно он устроит свою жизнь. Завтра же он попросит брата одолжить ему на три месяца полторы тысячи франков и немедленно поселится в хорошенькой квартирке на бульваре Франциска I.

Вдруг Жан-Барт сказал:

— Туман поднимается, сударь, пора домой.

Пьер поднял глаза и увидел на севере серую тень, плотную и легкую; она заволакивала небо, накрывала море и неслась прямо на них, словно падающее облако.

Он переменил курс, и лодка пошла к молу, подгоняемая ветром; туман преследовал и настигал ее. Вот он догнал «Жемчужину», окутав ее бесцветной густой пеленой; холодная дрожь пробежала по телу Пьера, а запах дыма и плесени, запах морского тумана заставил его крепко сжать губы, чтобы не наглотаться влажных и холодных испарений. Когда лодка причалила на своем обычном месте, весь город уже словно затянуло пронизывающей изморосью, которая струилась по домам и улицам наподобие бегущей реки.

У Пьера озябли ноги и руки; он поспешно вернулся домой и бросился на кровать, чтобы вздремнуть до обеда.

Когда он вошел в столовую, мать говорила Жану:

— Галерея получится очаровательная. Мы поставим туда цветы, непременно. Ты увидишь. Я берусь ухаживать за ними и время от времени менять их. Когда у тебя соберутся гости, при вечернем освещении это будет просто волшебное зрелище.

— О чем это вы говорите? — спросил Пьер.

— Я только что сняла для нашего Жана очаровательную квартиру. Это находка: в бельэтаже, выходит на две улицы. Там две гостиные, застекленная галерея и маленькая круглая столовая. Для холостяка просто восхитительно!

Пьер побледнел. Сердце сжалось от обиды и гнева.

— Где эта квартира? — спросил он.

— На бульваре Франциска I.

Значит, никаких сомнений! Он сел за стол в таком бешенстве, что едва удержался, чтобы не крикнуть: «Это уж слишком! Неужели все только для одного Жана?»

А мать продолжала рассказывать, сияя от радости:

— И представь, мне уступили ее за две тысячи восемьсот франков. Запросили три тысячи, но я выторговала двести франков с условием, что заключу договор на три года, на шесть или на девять лет. Это как раз то, что нужно Жану. Адвокату, чтобы сделать карьеру, достаточно элегантной квартиры: это привлекает клиента, прельщает его, удерживает, внушает уважение и дает, наконец, ему понять, что человек, который живет с таким комфортом, должен дорого ценить каждое свое слово.

Помолчав немного, она сказала:

— Надо подыскать что-нибудь в том же роде и для тебя, Пьер. Поскромнее, конечно, ведь у тебя нет средств, но все же что-нибудь миленькое. Увидишь, это тебе очень поможет.

Пьер ответил пренебрежительно:

— Я-то добьюсь положения трудом и знаниями.

Но мать настаивала:

— Верно, а все-таки хорошенькая квартирка тебе очень и очень поможет.

Когда подали второе блюдо, Пьер вдруг спросил:

— Как вы познакомились с этим Марешалем?

Ролан-отец поднял голову и принялся рыться в памяти:

— Постой, я что-то не припомню. Это было так давно. Ага, вспомнил. Твоя мать познакомилась с ним в нашей лавке. Правда, Луиза? Он пришел заказать какую-то вещицу, а затем начал заходить довольно часто. Сперва он был просто покупателем, а потом стал нашим другом.

Пьер, насаживая бобы на вилку, словно на вертел, продолжал расспрашивать:

— Когда же именно завязалось это знакомство?

Ролан задумался, пытаясь припомнить, но все его

усилия ни к чему не привели, и он обратился за помощью к жене:

— Слушай, Луиза, в каком же году это было? Ты, наверно, помнишь, у тебя такая хорошая память. Постой, кажется... в пятьдесят пятом или пятьдесят шестом?.. Да вспомни же, ты должна знать это лучше меня!

Она немного подумала, потом уверенно и спокойно проговорила:

— Это было в пятьдесят восьмом, голубчик. Пьеру исполнилось тогда три года. Я отлично это помню: в тот самый год у мальчика была скарлатина, и Марешаль, хотя мы еще мало его знали, был нам большой поддержкой.

Ролан воскликнул:

— Верно, верно, это было прямо удивительно! Твоя мать падала от усталости, я не мог бросить лавку, и он бегал в аптеку за лекарствами для тебя. Такой отзывчивый был человек! А когда ты поправился, как он радовался, как целовал тебя! С тех пор мы и стали закадычными друзьями.

Словно смертоносный свинец, который ранит и разрывает тело, в душу Пьера стремительно ворвалась жестокая мысль: «Если он знал меня раньше, чем брата, если так самоотверженно заботился обо мне, нежно любил, целовал, если из-за меня он так подружился с моими родителями, то почему же он завещал все состояние брату, а мне не оставил ничего?»

Пьер не задавал больше вопросов; он сидел за столом мрачный и скорее сосредоточенный, чем задумчивый, тая в себе новую, еще смутную тревогу, скрытые зачатки нового недуга.

Он вышел из дому раньше обычного и опять стал бродить по улицам. Они были окутаны туманом, и ночь казалась гнетущей, непроницаемой, отвратительной. На землю точно спустился какой-то тлетворный дым. Он плыл под газовыми фонарями и порою как будто гасил их. Мостовые стали скользкими, как во время гололедицы; всевозможные зловония, словно выползавшие из утробы домов, смрад подвалов, помойных ям, сточных канав, кухонь бедного люда смешивались с удушливым запахом этого блуждающего тумана.

Пьер шел, сгорбившись, засунув руки в карманы; не желая оставаться на улице в такой холод, он направился к Маровско.

Старый аптекарь спал, как и в прошлый раз, и газовый рожок бодрствовал за него. Увидев Пьера, которого он любил любовью преданной собаки, старик стряхнул дремоту, отправился за рюмками и принес «смородиновку».

— Ну,— спросил доктор,— как же обстоит дело с вашей наливкой?

Поляк ответил, что четыре самых больших кафе города согласились торговать ею и что газеты «Береговой маяк» и «Гаврский семафор» устроят ей рекламу в обмен на кое-какие аптекарские товары, которыми он будет снабжать работников редакций.

Помолчав, Маровско спросил, вступил ли Жан уже во владение наследством, и задал по этому поводу еще два — три неопределенных вопроса. В своей ревнивой преданности Пьеру он возмущался тем, что доктору предпочли другого. И Пьеру казалось, что он слышит мысли Маровско, угадывает, понимает, читает в его уклончивых взглядах, в неуверенном тоне те слова, что вертелись у аптекаря на языке, хотя он их не произнес, да и не произнесет,— для этого он слишком осторожен, боязлив и скрытен.

Пьер уже не сомневался, что старик думает: «Вы не должны были допускать, чтобы брат принял наследство; ведь это даст повод дурно отзываться о вашей матери». Может быть, Маровско предполагает даже, что Жан — сын Марешаля? Разумеется, предполагает! Да и как же иначе? Это должно казаться ему вполне правдоподобным, вероятным, очевидным! Разве сам он, Пьер, ее сын,— разве он не борется вот уже три дня изо всех сил, всем своим сердцем пытаясь обмануть собственный рассудок, разве он не борется против этого ужасного подозрения?

И снова потребность побыть одному, чтобы разобраться в своих мыслях, чтобы без колебаний, без слабости, решительно взглянуть в лицо этой возможной и чудовищной правде, так властно овладела им, что он поднялся, даже не выпив «смородиновки», пожал руку

озадаченному аптекарю и опять вышел в туманную мглу улицы.

«Почему этот Марешаль оставил все свое состояние Жану?» — спрашивал он себя.

Теперь уже не обида, не зависть заставляла его доискиваться ответа, та не слишком благородная, но естественная зависть, которая грызла его все эти три дня и которую он пытался побороть; нет, это был страх перед ужасающей мыслью, перед необходимостью самому поверить в то, что Жан, что его брат — сын этого человека!

Нет, он не мог этому поверить, не мог даже задать себе такой кощунственный вопрос! Но ему нужно было бесповоротно, раз и навсегда, отделаться от этого подозрения, еще такого смутного, ни на чем не основанного. Ему нужна была ясность, достоверность, чтобы в сердце его не осталось места для сомнений; ведь во всем мире он только свою мать и любил.

Блуждая один по темным улицам, он произведет самое тщательное расследование, проверит свои воспоминания, призовет на помощь весь свой разум, и тогда истина откроется ему. И с этим будет покончено, он больше не станет думать об этом, никогда. И пойдет спать.

Рассуждал он так: «Хорошо, прежде всего обратимся к фактам; затем я вспомню все, что мне известно о нем, вспомню его обращение с братом и со мной; я переберу все причины, которые могли вызвать такое предпочтение с его стороны... Жан при нем родился? Да, но меня он тогда уже знал. Если бы он любил мою мать молчаливой и бескорыстной любовью, то он предпочел бы меня; ведь именно из-за моей болезни он и стал близким другом семьи. Итак, логически рассуждая, он должен был бы выбрать меня и любить меня больше, если только он не чувствовал по какой-либо причине безотчетной привязанности к младшему брату, который рос на его глазах».

Отчаянно напрягая свою мысль, всю силу ума, он попытался восстановить в памяти, представить себе, понять, разгадать этого человека, с которым он, живя в Париже, постоянно встречался, не испытывая к нему никаких особенных чувств.

Вскоре Пьер убедился, что ему трудно думать на ходу, что даже легкий шум его шагов мешает ему сосредоточиться, путает мысли, затуманивает память.

Чтобы проникнуть в прошлое и в неизвестные ему события зорким взглядом, от которого ничто не должно укрыться, ему нужен был полный покой, простор и безлюдье. И он решил пойти посидеть на молу, как в тот вечер, когда он встретился там с Жаном.

Приближаясь к порту, он услышал с моря жалобный, протяжный стон, похожий на мычание быка, но более громкий, зловещий. Это был вопль сирены, вопль кораблей, заблудившихся в тумане.

Дрожь пробежала у него по телу, сердце замерло, так сильно отдался в его душе, задел его нервы этот крик отчаяния, как будто вырвавшийся у него самого. Где-то немного дальше застонал другой такой же голос, а совсем близко портовая сирена испустила в ответ душераздирающий вой.

Широко шагая, Пьер дошел до мола, не думая больше ни о чем, радуясь тому, что его поглотила угрюмая ревущая тьма.

Усевшись на конце мола, он закрыл глаза, чтобы не видеть ни затянутых мглой электрических фонарей, открывающих ночью доступ в порт, ни красных огней маяка на южном молу, едва, впрочем, различимых.

Потом, повернувшись вполоборота, он облокотился на гранит и спрятал лицо в ладони.

Мысль его повторяла имя, которого не произносили уста: «Марешаль! Марешаль!» — как бы призывая, воскрешая, заклиная тень этого человека.

Пьер закрыл глаза, и перед ним возник Марешаль, каким он знал его. Это был мужчина лет шестидесяти, среднего роста, с седой остроконечной бородкой, с густыми бровями, тоже совершенно седыми. У него были добрые серые глаза, скромные манеры, приветливое обращение. Славный, простой и ласковый человек. Он называл Пьера и Жана «милыми детьми», никогда, казалось, не отдавал ни одному из них предпочтения перед другим и часто приглашал их обоих к обеду.

С упорством охотничьей собаки, которая идет по выдыхающемуся следу, Пьер восстанавливал в памяти слова, жесты, звук голоса, даже взгляд этого человека,

исчезнувшего с лица земли. Мало-помалу он полностью воссоздал облик Марешаля, каким видел его в квартире на улице Тронше, где Марешаль принимал у себя обоих братьев.

В доме жили две служанки, обе уже старые; они, должно быть, издавна привыкли называть их «господин Пьер» и «господин Жан».

Марешаль протягивал руку входившим молодым людям: Пьеру — правую, Жану — левую, или наоборот, как случится.

— Здравствуйте, детки,— говорил он.— Как поживают ваши родители? Мне ведь они никогда не пишут.

Беседа велась неторопливо, по-семейному, о самых обыкновенных вещах. Не отличаясь выдающимся умом, Марешаль был человек большого обаяния, воспитанный, приятный в обращении. Несомненно, он был для них добрым другом, одним из тех добрых друзей, о которых и не думают, до того в них уверены.

Воспоминания толпой нахлынули на Пьера. Заметив однажды, что он чем-то озабочен, и догадываясь о его студенческом безденежье, Марешаль по собственному почину предложил ему взаймы несколько сот франков. Они так никогда и не были возвращены, и они оба о них позабыли. Значит, человек этот всегда любил его, всегда интересовался им, если входил в его нужды. Но в таком случае... почему же он оставил все состояние Жану? Нет, внешне он никогда не проявлял к младшему большего расположения, чем к старшему, никогда не заботился об одном больше, чем о другом, не обращался ласковее с одним, чем с другим. Но тогда... тогда... значит, у него была какая-то тайная и очень веская причина отдать все, решительно все Жану и ничего не оставить Пьеру?

Чем дольше размышлял Пьер, чем ярче оживало перед ним недавнее прошлое, тем необъяснимее, невероятнее казалось ему это различие, установленное между ними.

От жгучей боли, от невыразимой тоски, сдавившей ему грудь, сердце трепетало, словно одинокий лоскут на ветру. Казалось, все пружины сердца лопнули и

кровь, сотрясая его, лилась неудержимым, бурным потоком.

И он повторял вполголоса, точно в бреду: «Я должен узнать. Боже мой, я должен, должен узнать!»

Теперь он уходил мыслью в прошлое, к тем давним временам, когда его родители еще жили в Париже. Но лица ускользали от него, и это вносило путаницу в воспоминания. Особенно настойчиво старался он представить себе, какие были волосы у Марешаля — светлые, каштановые или черные? Но это не удавалось, потому что последний его облик, облик старика, заслонял все прежние. Все же он припомнил, что Марешаль был тогда стройнее, что руки у него были нежные и что он часто, очень часто приносил цветы,— ведь отец постоянно твердил: «Опять букет! Это — безумие, дорогой мой, вы разоритесь на розах».

А Марешаль отвечал: «Пустяки, мне это доставляет удовольствие».

И вдруг голос его матери, говорившей с улыбкой: «Спасибо, друг мой»,— так явственно зазвучал в его ушах, что ему почудилось, будто он слышит его сейчас. Значит, много раз произносила она эти три слова, если они так врезались в память сына!

Итак, Марешаль, господин Марешаль, богатый покупатель, подносил цветы лавочнице, жене скромного ювелира. Любил ли он ее? Но как бы он мог подружиться с этими мещанами, если бы не любил хозяйку дома? Это был человек образованный, довольно развитого ума. Сколько раз он беседовал с Пьером о поэтах и поэзии! Он оценивал писателей не как художник, но как впечатлительный буржуа. Пьер в душе посмеивался над его восторгами, находя их несколько наивными. Теперь же он понял, что этот поклонник сентиментальной поэзии никогда, никогда не мог бы стать другом его отца, такого заурядного, будничного, тяжеловесного, для которого слово «поэзия» означало «глупость».

Итак, этот Марешаль, молодой, свободный, богатый, сердце которого жаждало любви, зашел однажды случайно в лавку ювелира, быть может, потому, что заметил миловидную хозяйку. Он что-то купил, через день — другой пришел опять, разговорился, потом стал

частым посетителем, все ближе сходясь с хозяевами и оплачивая частыми покупками право бывать у них в доме, улыбаться молодой хозяйке и пожимать руку мужа.

Ну, а потом... потом... боже мой... что же потом?

Он любил и ласкал первого ребенка, сына ювелира, до рождения второго, потом хранил свою тайну до самой смерти; когда же могила закрылась, когда его плоть обратилась в тлен, а имя было вычеркнуто из списка живых, когда все его существо исчезло навсегда и уже нечего было опасаться, нечего щадить и скрывать, он отдал все свое состояние второму ребенку!.. Почему?.. Ведь он был не глуп, ведь должен он был понять и предвидеть, что почти неизбежно подаст этим повод считать себя отцом ребенка? Он решился обесчестить имя женщины? Зачем бы ему это делать, не будь Жан его сыном?

И вдруг отчетливое, ужасное воспоминание потрясло душу Пьера: у Марешаля были светлые волосы, такие же светлые, как у Жана. Пьер вспомнил портрет-миниатюру, стоявшую на камине в их парижской гостиной; теперь портрет исчез. Где он? Утерян или спрятан? Если бы взять его в руки только на мгновение! Не убрала ли мать его в потайной ящик, где хранят реликвии любви?..

При этой мысли им овладело такое отчаяние, что он невольно вскрикнул, застонал, как стонут, испытывая невыносимую боль. И словно услышав этот стон, словно поняв его муки и отвечая ему, где-то совсем близко завыла сирена. Нечеловеческий рев, громоподобный, дикий и грозный, чье назначение — покрывать голоса ветра и волн, разнесся во тьме над невидимым морем, погребенным под туманом.

И сквозь густую мглу снова раздались в ночи близкие и дальние ответные вопли. Страшно было слушать эти призывы о помощи, посылаемые огромными слепыми пароходами.

Потом все смолкло.

Пьер, очнувшись от своего кошмара, открыл глаза и осмотрелся, удивляясь, что он здесь.

«Я сошел с ума,— подумал он,— я подозреваю родную мать». Нет, этого не может быть! И волна люб-

ви и нежности, безысходного горя, раскаяния, затопила его сердце. Мать! Мог ли он ее заподозрить в чем-нибудь? Разве душа, разве жизнь этой простой, целомудренной и честной женщины не были прозрачны, как вода? Видя ее, зная ее, можно ли было усомниться в ее непогрешимости? А он, он, ее сын, усомнился в ней! Ах, если бы он мог в эту минуту заключить ее в объятия, как бы он целовал, ласкал ее, он на коленях просил бы у нее прощения!

Чтобы она изменила его отцу, она?.. Его отец!.. Конечно, это человек порядочный, достойный уважения и честный в делах, но его умственный кругозор всегда был ограничен стенами лавки. Как же случилось, что эта женщина, некогда очень красивая,— Пьер это знал, и это было видно еще и сейчас,— одаренная нежной, привязчивой, чуткой душой, стала невестой, а потом женой человека, с которым у нее было так мало общего?

Но к чему доискиваться? Она вышла за него, как любая девушка выходит за молодого человека со средствами, выбранного ей родителями. Новобрачные обосновались в своем магазине на улице Монмартр; воцарившись за прилавком, молодая женщина, увлеченная созиданием домашнего очага, отдавая дань, быть может, неосознанному, но прочному чувству общности интересов, столь часто заменяющему любовь и даже супружескую привязанность в семьях парижских коммерсантов, принялась трудиться над благосостоянием дома со всем пылом своего деятельного и пылкого ума. И так протекала вся ее жизнь: однообразно, невозмутимо, добродетельно, без любви...

Без любви?.. Не может быть, чтобы женщина никогда не любила! Молодая красивая женщина, которая живет в Париже, читает романы, рукоплещет актрисам, умирающим на сцене от любовных мук,— могла ли она пройти весь свой жизненный путь, чтобы ее сердце ни разу не заговорило? Если бы речь шла о любой другой женщине, он не поверил бы этому. Почему же он должен поверить, если это его мать?

Конечно, и она могла полюбить, как всякая другая! Неужели она должна отличаться от других только потому, что она его мать?

Она была молода, была во власти поэтических грез, волнующих все юные сердца. Запертая, заточенная в лавке рядом со скучнейшим мужем, способным говорить лишь о торговле, она мечтала о путешествиях, о лунном свете, о поцелуях в вечерней полутьме. И вот однажды появился молодой человек, как появляются герои в романах, и заговорил так же, как говорят они.

Она полюбила его. Почему бы и нет? Она, его мать! Так что же? Неужели он настолько слеп и глуп, чтобы отвергать очевидность единственно потому, что дело касается его матери?

Отдалась ли она?.. Несомненно, не было же у этого человека другой спутницы жизни, остался же он верен разлученной с ним, стареющей женщине, оставил же наследство своему сыну, их сыну!..

Пьер встал, дрожа всем телом, охваченный такой яростью, что ему хотелось убить кого-нибудь! Он поднял руку и замахнулся, словно желая ударить, ему хотелось разить, избивать, калечить, душить! Кого? Всех на свете — отца, брата, покойника, мать!

Он бросился домой. Что теперь делать?

Когда он проходил мимо башенки у сигнальной мачты, пронзительный вопль сирены рванулся ему навстречу так неожиданно, что Пьер чуть не упал. Он попятился к гранитному парапету и сел на него, обессиленный, в полном изнеможении.

Пароход, откликнувшийся первым, был, видимо, совсем близко, где-то у входа в гавань, так как прилив уже начался.

Пьер обернулся и увидел красный глаз, тускло горевший в тумане. Потом в рассеянном свете электрических огней порта, между обоими молами, выросла большая черная тень. Голос ночного сторожа, хриплый голос старого отставного капитана, раздался за спиной Пьера:

— Название судна?

Такой же хриплый голос лоцмана, стоявшего на палубе, ответил из тумана:

— «Санта-Лючия».

— Страна?

— Италия.

— Порт?

— Неаполь.

И Пьеру почудилось, что перед его помутившимся взором встает огненный султан Везувия, а у подножия вулкана летают светляки в апельсиновых рощах Сорренто и Кастелламаре! Сколько раз твердил он в мечтах эти милые его сердцу имена, как будто ему были знакомы те волшебные края. О, если бы он мог уехать, сейчас же, куда глаза глядят, и никогда больше не возвращаться, никогда не писать, никогда не подавать вестей о себе! Но — увы! — надо было вернуться в родительский дом, вернуться и лечь в постель.

Нет, он не вернется, он будет ждать рассвета. Голоса сирен ему по душе. Он встал и принялся шагать взад и вперед, как офицер, отбывающий вахту на палубе.

За первым пароходом шел другой, огромный и таинственный.

Это был англичанин; он возвращался из Индии.

Пьер увидел еще несколько судов, возникавших одно за другим из непроницаемого мрака. Но туман не рассеивался, сырость становилась невыносимой, и он повернул к городу. Он так озяб, что зашел в матросский кабачок выпить грогу; когда пряный, горячий напиток обжег ему нёбо и горло, он почувствовал, что в нем возрождается надежда.

Не ошибся ли он? Ведь он сам хорошо знал, какие у него бывают сумасбродные и безрассудные мысли! Ну конечно же, он ошибается! Он нагромоздил улики, как в обвинительном акте против невиновного, которого всегда так легко осудить, если хочется верить в его виновность. Надо выспаться, утром все покажется другим. И он вернулся домой, лег в постель и усилием воли заставил себя заснуть.

V

Пьер только на час или два забылся тревожным сном. Проснувшись в полумраке теплой, тихой комнаты, он еще прежде, чем в нем пробудилось сознание, почувствовал ту мучительную тяжесть, ту подавленность, какую оставляет в нас горе, с которым мы за-

снули. Несчастье, только задевшее нас накануне, как будто проникает во время сна в самую нашу плоть и томит, изнуряет ее, точно лихорадка. Ему сразу вспомнилось все, и он сел в кровати.

Медленно, одно за другим, стал он перебирать все те рассуждения, которые терзали его сердце под вопли сирен на молу. Чем больше он размышлял, тем меньше оставалось сомнений. Собственная логика, подобно руке, которая тянет за собой и душит, неумолимо влекла его к жестокой истине.

Ему было жарко, во рту пересохло, сердце колотилось. Он поднялся, чтобы растворить окно и вдохнуть свежий воздух, и тут из-за стены до него донесся мирный храп.

В соседней комнате Жан спокойно спал и тихонько похрапывал. Он спал! Его не мучали предчувствия, он ни о чем не догадывался! Человек, который был другом их матери, оставил ему все свое состояние. И он взял деньги, находя это справедливым и в порядке вещей.

Он спал, обеспеченный, довольный, не зная, что рядом его брат задыхается от муки, от отчаяния. И в душе Пьера закипел гнев на безмятежно и сладко похрапывающего брата.

Еще вчера Пьер мог постучать в его дверь, войти и, сев у постели, сказать брату, едва очнувшемуся от сна:

«Жан, ты не должен принимать наследства; оно может бросить тень на нашу мать, обесчестить ее».

Но сегодня он уже не мог так поступить, не мог сказать Жану, что не считает его сыном их отца. Теперь надо было таить, хоронить в себе обнаруженный им позор, прятать от всех замеченное пятно, чтобы никто не узнал о нем, даже и брат, в особенности брат.

Теперь его уже не тревожила суетная забота о том, что скажут люди. Пусть хоть все на свете обвиняют его мать, лишь бы он был убежден в ее невиновности, один он. Как теперь жить рядом с ней изо дня в день и думать, глядя на нее, что она зачала брата в объятиях чужого человека?

Но она была так спокойна и невозмутима, так уве-

рена в себе! Возможно ли, чтобы женщина, подобная его матери, чистая сердцем и прямодушная, могла пасть, увлеченная страстью, а впоследствии ничем не выдать своего раскаяния, укоров нечистой совести?

Ах, раскаяние, раскаяние! В первое время оно, должно быть, жестоко терзало ее, но потом это прошло, как проходит все. Конечно, она оплакивала свое падение, но мало-помалу почти забыла о нем. Не обладают ли все женщины, решительно все, этой необычайной способностью забвения, так что спустя несколько лет едва узнают того, кто прижимался устами к их устам и осыпал поцелуями их тело? Поцелуй разит, точно молния, страсть проносится грозой, а потом жизнь, как и небо, снова становится безоблачной, и снова все идет по-прежнему. Разве вспоминают о туче?

Пьер не мог больше оставаться в своей комнате. Этот дом, дом отца, угнетал его. Он чувствовал тяжесть крыши над головой, стены душили его. Ему хотелось пить; он зажег свечу и пошел в кухню выпить холодной воды из-под крана.

Он спустился в нижний этаж, а потом, поднимаясь по лестнице с полным графином, присел в одной рубашке на ступеньку, где тянуло сквозняком, и стал жадно пить воду прямо из горлышка, большими глотками, как человек, запыхавшийся от бега. Он еще посидел, не двигаясь, и его поразила тишина дома; но постепенно он стал различать малейшие звуки. Сначала тиканье часов в столовой,— оно словно становилось громче с каждой минутой. Потом услышал храп, старческий храп, прерывистый, частый,— это храпел отец; Пьера передернуло от мысли, словно впервые явившейся ему, что эти двое мужчин, храпевшие под одной крышей, отец и сын, не имеют друг с другом ничего общего! Никакие узы, даже самые невесомые, не связывали их, а они этого не знали! Они дружески беседовали, обнимались, вместе радовались и печалились, как будто в их жилах текла одна кровь. И, однако, два человека, родившихся на противоположных концах земли, не могли бы быть более чужими, чем этот отец и этот сын; они думали, что любят друг

друга, потому что между ними стояла мать. Да, именно, ложь породила эту отеческую и сыновнюю любовь, ложь, которую нельзя разоблачить, о которой никто никогда не узнает, кроме него,— настоящего сына.

А все-таки, что́, если он ошибается? Как убедиться? Нет ли какого-нибудь сходства, хоть малейшего, между его отцом и Жаном, того таинственного, передающегося от дедов к правнукам сходства, которое свидетельствует, что целый род нисходит по прямой линии от одного объятия? Чтобы уловить это сходство, ему, врачу, достаточно подметить форму челюсти, горбинку носа, расстояние между глазами, строение зубов или волос, даже того меньше: жест, привычку, манеру держаться, унаследованный вкус, какой-нибудь характерный для опытного глаза признак.

Он напрягал свою память, но ничего не мог припомнить, ровно ничего. Впрочем, до сих пор он плохо всматривался, плохо наблюдал, так как не имел надобности отыскивать эти неуловимые приметы.

Он встал и начал медленно подниматься по лестнице в свою комнату, погруженный в раздумье. У двери брата он круто остановился и протянул руку, чтобы открыть ее. Его охватило неодолимое желание сейчас же увидеть Жана, вглядеться в него, застигнуть его во время сна, когда все спокойно, когда мускулы не напряжены и отдыхают, когда с лица сошли все мимолетные выражения, которые накладывает жизнь. Он овладеет тайной его спящего лица, и, если есть хоть сколько-нибудь уловимое сходство, оно не ускользнет от него.

А вдруг Жан проснется, что сказать ему? Как объяснить свое посещение?

Он все стоял, судорожно сжимая пальцами дверную ручку, подыскивая какой-нибудь предлог, чтобы войти.

Вдруг он вспомнил, что на прошлой неделе, когда у Жана разболелись зубы, он дал ему пузырек с каплями. Разве у него самого не могли болеть зубы? Вот он и придет за лекарством. И Пьер вошел в комнату, по крадучись, как вор.

Жан спал, приоткрыв рот, глубоким, здоровым

сном. Его борода и белокурые волосы выделялись на белой подушке золотым пятном. Он не проснулся, только перестал храпеть.

Склонившись над братом, Пьер жадно вглядывался в него. Нет, этот молодой человек не походил на Ролана; Пьер опять вспомнил об исчезнувшем портрете Марешаля. Надо его найти. Если он посмотрит на него, он, быть может, перестанет терзаться сомнениями.

Жан шевельнулся, почувствовав чье-то присутствие или обеспокоенный светом свечи, которую брат поднес к его лицу. Тогда Пьер на цыпочках отступил к двери и бесшумно притворил ее за собою; он вернулся в свою комнату, но в постель уже не лег.

Медленно наступал рассвет. Часы в столовой отбивали час за часом, и бой их был полнозвучным и торжественным, словно у соборного колокола. Звон поднимался по пустой лестнице, проникал сквозь двери и стены и замирал в глубине комнат, в нечутких ушах спящих. Пьер шагал взад и вперед по комнате, от кровати к окну. Что ему делать? Он был слишком потрясен, чтобы провести наступающий день в семье. Ему хотелось побыть одному по крайней мере до завтра, чтобы поразмыслить, успокоиться, найти в себе силы для той повседневной жизни, которую опять надо будет вести.

Ну что ж, он съездит в Трувиль, посмотрит на купальщиков, которыми кишит пляж. Это развлечет его, изменит ход его мыслей, даст ему время свыкнуться с ужасным открытием.

Как только забрезжил рассвет, он умылся, оделся. Туман рассеялся, погода была хорошая, очень хорошая. Пароход в Трувиль отходил только в девять часов, и Пьер подумал, что ему следовало бы перед отъездом проститься с матерью.

Дождавшись часа, когда она обычно вставала, он спустился вниз и подошел к ее двери. Сердце его билось так сильно, что он остановился перевести дыхание. Его рука, слабая и дрожащая, лежала на ручке двери, не в силах повернуть ее. Он постучал. Послышался голос матери:

— Кто там?

— Я, Пьер.

— Что тебе?

— Только попрощаться. Я узжаю на весь день в Трувиль с друзьями.

— Я еще в постели.

— Не вставай, не надо. Я поцелую тебя вечером, когда вернусь.

Он уже надеялся, что сможет уехать, не повидав ее, не коснувшись ее щеки лживым поцелуем, от которого его заранее мутило.

Но она ответила:

— Сейчас открою. Подожди только, пока я опять лягу.

Он услышал шаги ее босых ног по полу и стук отодвигаемой задвижки.

— Войди! — крикнула она.

Пьер вошел. Она сидела на постели, рядом с Роланом, который, в ночном колпаке, повернувшись к стене, упорно не желал просыпаться. Разбудить старика можно было, только тряся его изо всех сил за плечо. В дни рыбной ловли, в назначенный матросом Папагри час, приходилось вызывать служанку, чтобы она растолкала хозяина, спящего непробудным сном.

Подходя к постели, Пьер взглянул на мать, и ему вдруг показалось, что он впервые видит ее.

Она подставила ему обе щеки; поцеловав ее, он сел на низенький стул.

— Ты еще с вечера решил поехать в Трувиль? — спросила она.

— Да, с вечера.

— К обеду вернешься?

— Не знаю еще. Во всяком случае не ждите меня.

Он рассматривал ее с изумлением и любопытством. Так эта женщина — его мать! Это лицо, которое он привык видеть с детства, как только его глаза научились различать предметы, эта улыбка, голос, такой знакомый, такой родной, внезапно показались ему новыми, совсем иными, чем были для него всегда. Он понял, что, любя мать, никогда не вглядывался в нее. Между тем это была она, все мельчайшие черты ее лица были ему знакомы, только он впервые видел их так отчетливо. Он изучал дорогое ему лицо с таким тревожным

вниманием, что оно представилось ему совсем иным, каким он никогда его раньше не видел.

Он встал, собираясь уйти, но, внезапно уступив непреодолимому желанию узнать правду, терзавшему его со вчерашнего дня, сказал:

— Послушай, кажется, когда-то в Париже в нашей гостиной стоял портрет Марешаля.

Мгновение она колебалась, или ему почудилось, что она колеблется, потом ответила:

— Да, был.

— Куда же он делся?

И на этот раз она могла бы, пожалуй, ответить быстрее.

— Куда делся... постой... что-то не припомню... Наверно, он у меня в секретере.

— Может быть, ты найдешь его?

— Поищу. Зачем он тебе?

— Не мне. Я подумал, что надо бы отдать портрет Жану, это ему будет приятно.

— Ты прав, это хорошая мысль. Я поищу портрет, как только встану.

И он вышел.

День был безоблачный, тихий, без малейшего ветра. На улице, казалось, всем было весело: и коммерсантам, шедшим по своим делам, и чиновникам, шедшим в канцелярии, и молоденьким продавщицам, шедшим в магазины. Некоторые даже напевали, радуясь ясному дню.

На трувильский пароход пассажиры уже садились. Пьер устроился поближе к корме, на деревянной скамейке.

«Встревожил ее мой вопрос о портрете или только удивил? — спрашивал он себя. — Потеряла она его или спрятала? Знает, где он, или нет? А если спрятала, то почему?»

И рассудок его, следуя все тем же путем, от заключения к заключению, пришел к такому выводу.

Этот портрет, портрет друга, портрет любовника, оставался в гостиной на виду до того самого дня, пока женщина, пока мать первая, раньше всех, не заметила сходство с ее сыном. Наверно, она уже давно со страхом искала это сходство; и вот, обнаружив его, видя,

что оно проявилось, и понимая, что не сегодня-завтра его заметят и другие, она однажды вечером убрала миниатюру, но не решилась уничтожить ее, а спрятала.

Пьер припомнил теперь, что миниатюра исчезла давно, задолго до их отъезда из Парижа! Она исчезла, думалось ему, когда у Жана начала расти борода и он вдруг стал похож на молодого блондина, улыбающегося с портрета.

Пароход отчалил; его движение нарушило ход мыслей Пьера и отвлекло его внимание. Поднявшись со скамьи, он стал смотреть на море.

Маленький пароходик отошел от мола, повернул налево и, пыхтя, отдуваясь, подрагивая, направился к дальнему берегу, едва видневшемуся в утренней дымке. Там и сям маячил красный парус какой-нибудь большой рыбачьей лодки, неподвижный над морской гладью, точно большой камень, выступающий из воды. Сена, спускаясь от Руана, походила на широкий морской рукав, разделяющий две соседние полосы суши.

На переезд до Трувильского порта ушло меньше часа. Было время купанья, и Пьер отправился на пляж.

Большим садом с ослепительно яркими цветами казался этот пляж издали. На желтом песке, от мола до Черных скал, зонтики всех цветов, шляпки всех фасонов, платья всех оттенков, то собравшиеся около кабинок, то вытянутые в несколько рядов у воды, то разбросанные где придется, поистине напоминали огромные букеты на необъятном лугу. Смутный, то близкий, то далекий гул голосов, разносившийся в прозрачном воздухе, возгласы и крики купающихся детей, звонкий смех женщин — все это сливалось в непрерывный приглушенный шум, который, казалось, проникал в грудь вместе с едва ощутимым ветерком.

Если бы Пьера бросили в море с палубы корабля в сотне миль от берега, он и тогда не почувствовал бы себя более затерянным, более оторванным от всех, более одиноким, более истерзанным своими мучительными думами, чем здесь, среди этих людей. Он почти касался их, слышал, не вслушиваясь, обрывки фраз, глядел, не вглядываясь, на мужчин, любезничающих с женщинами, и на женщин, улыбающихся мужчинам.

И вдруг, словно пробудившись, он отчетливо увидел

их всех, и в нем поднялась ненависть к ним, потому что все они казались счастливыми и довольными.

Осаждаемый горькими мыслями, Пьер все подходил к гуляющим, кружил возле них. Все эти разноцветные наряды, подобные букетам, рассыпанным на песке, все эти красивые ткани, яркие зонтики, искусственная грация стянутых талий, все изобретательные ухищрения моды, начиная от крохотных башмачков до вычурных шляпок, все эти соблазнительные позы и улыбки, воркующие голоса — словом, все это выставленное напоказ кокетство внезапно представилось ему пышным цветением женской испорченности. Все эти разряженные женщины хотели одного: нравиться, обольщать, вводить в соблазн. Они разукрасили себя для мужчин, для всех мужчин, исключая мужа: его уже не нужно было покорять. Они разукрасили себя для сегодняшнего и для завтрашнего любовника, для первого встречного, который им приглянулся, которому, быть может, уже назначено здесь свидание.

А мужчины, сидя подле них, глядя им в глаза, близко наклоняясь к ним, так что уста их почти соприкасались, призывали их, желали, охотились за ними, как за ловко ускользающей дичью, такой, казалось бы, податливой и доступной. Огромный пляж был, в сущности, просто рынком любви, где одни женщины продавали себя, другие отдавались даром, эти торговались, набивая цену своим ласкам, а те еще только обещали их. Все эти женщины думали лишь о том, чтобы предложить свой товар, прельстить своим телом, уже отданным, проданным, обещанным другим мужчинам. И Пьер подумал, что повсюду на земле вечно происходит одно и то же.

Его мать поступила так же, как и другие, — вот и все! Как другие? Нет! Ведь были же исключения, и даже множество! Те женщины, которых он видел вокруг себя, богатые, взбалмошные, жаждавшие любовных приключений, принадлежали к изящному и фривольному большому свету и даже к полусвету, — ведь на таких пляжах, истоптанных легионом праздных созданий, не встретишь ни одной честной женщины: их много, но они заперты в четырех стенах.

Начинался прилив, постепенно оттеснявший к го-

роду первые ряды купальщиков. Они торопливо вскакивали и, подхватив раскладные стулья, убегали от желтых волн, окаймленных кружевом пены. Кабинки на колесах, запряженные лошадьми, тоже отъезжали, и по мосткам, проложенным вдоль пляжа из конца в конец, медленно двигался непрерывный, густой поток нарядной толпы, образуя два встречных течения, сливавшихся воедино. Пьер, усталый и злой, раздраженный этой толкотней, выбрался с пляжа, поднялся в город и зашел позавтракать в скромный кабачок на окраине, где начинались поля.

Напившись кофе, он растянулся на двух стульях у двери и задремал в тени липы, так как прошлую ночь почти не спал.

Проснувшись через несколько часов, он увидел, что пора возвращаться на пароход, и направился к пристани, чувствуя себя совершенно разбитым. Теперь ему не терпелось вернуться домой, он хотел знать, отыскала ли мать портрет Марешаля. Заговорит ли она об этом первая или придется спросить ему? Если она будет дожидаться его вопроса, значит, у нее есть тайная причина не показывать портрета.

Но, вернувшись в свою комнату, он не спешил спуститься вниз к обеду. Он слишком страдал. Растревоженное сердце еще не нашло покоя. Наконец, он решился и вошел в столовую, когда садились за стол.

Все лица сияли от радости.

— Ну как? — сказал Ролан. — Подвигается дело с покупками? Я ничего не хочу видеть, пока все не будет окончательно устроено.

Г-жа Ролан отвечала:

— Подвигается понемножку. Только нужно обдумать все как следует, чтобы не ошибиться. Нас очень беспокоит вопрос о меблировке.

Она провела весь день с Жаном в лавках обойщиков и в мебельных магазинах. Ей нравились богатые и несколько пышные, бросающиеся в глаза ткани. Сын, напротив, искал что-нибудь изящное и простое. И перед прилавком, заваленным образцами, мать и сын настаивали каждый на своем. Она утверждала, что посетителя, клиента надо сразу ошеломить, что, входя в приемную, он должен быть поражен богатством обста-

новки, Жан, напротив, мечтал привлечь только светскую и состоятельную клиентуру и хотел завоевать уважение изысканных людей строгим и безупречным вкусом.

Спор, длившийся весь день, возобновился за супом. У Ролана не было своего мнения.

— Я ни о чем не хочу слышать, — твердил он. — Я посмотрю, когда все будет готово.

Г-жа Ролан обратилась за советом к старшему сыну:

— Ну, а ты, Пьер? Что ты думаешь об этом?

Нервы у него были так натянуты, что он чуть было не выругался, и ответил сухим тоном, в котором сквозило раздражение:

— Я полностью разделяю мнение Жана. Я люблю только простоту; простота в вопросах вкуса — то же, что прямота в характере.

Мать возразила:

— Не забудь, что мы живем в городе коммерсантов, где не многие обладают хорошим вкусом.

Пьер ответил:

— Так что же? Разве это причина, чтобы подражать дуракам? Если мои сограждане глупы или нечестны, разве я обязан брать с них пример? Ведь не согрешит женщина только потому, что у ее соседок есть любовники.

— Ну и доводы у тебя! — рассмеялся Жан. — Прямо изречения какого-нибудь моралиста.

Пьер ничего не ответил. Мать и брат опять заговорили о мебели и обивке. Он глядел на них так же, как утром, перед отъездом в Трувиль, смотрел на мать; он глядел на них, как посторонний наблюдатель, и ему в самом деле казалось, что он попал в чужую семью.

Отец в особенности поражал его и внешностью и поведением. Этот толстяк, обрюзглый, самодовольный и тупой, его отец, его, Пьера! Нет, нет, Жан ничем не похож на него.

Его семья! Уже два дня чужая, злокозненная рука, рука умершего, рвала, уничтожала все узы, связывавшие этих четырех людей. Все кончено, все разрушено. У него нет больше матери, не может же он по-прежнему любить ее с тем преданным, нежным и благого-

вейным уважением, в каком нуждается сердце сына; у него больше нет брата, ведь брат — сын чужого человека; оставался только отец, этот толстый старик, которого он любить не мог, как ни старался.

И он вдруг спросил:

— Скажи, мама, ты нашла портрет?

Она удивленно раскрыла глаза:

— Какой портрет?

— Портрет Марешаля.

— Нет... то есть да... я не искала его, но, кажется, знаю, где он.

— О чем вы? — спросил Ролан.

Пьер отвечал:

— Мы говорим о портрете Марешаля, который когда-то стоял у нас в гостиной в Париже. Я подумал, что Жану будет приятно иметь его.

Ролан воскликнул:

— Как же, как же, отлично помню его, видел на прошлой неделе! Твоя мать вынула его из секретера, когда приводила в порядок бумаги. Это было в четверг или в пятницу. Помнишь, Луиза? Я как раз брился, а ты достала портрет из ящика и положила около себя на стул, вместе с пачкой писем; потом еще ты половину писем сожгла. Как странно, что всего за два — три дня до получения Жаном наследства ты держала в руках этот портрет. Я бы сказал, что это предчувствие, если бы верил в них.

Г-жа Ролан спокойно ответила:

— Да, да, я знаю, где портрет; сейчас принесу.

Итак, она солгала! Она солгала, не далее как утром, когда на вопрос сына, что сталось с портретом, ответила: «Что-то не припомню... наверно, он у меня в секретере».

Она видела портрет, прикасалась к нему, брала его в руки и рассматривала всего несколько дней тому назад и вновь спрятала в потайной ящик вместе с письмами, письмами Марешаля к ней!

Пьер смотрел на свою мать, солгавшую ему. Он смотрел на нее с исступленным гневом сына; его обманули, у него украли священную любовь к ней, и его обуяла ревность мужчины, который долго был слеп и вдруг обнаружил наконец позорную измену. Будь он

мужем этой женщины, он, ее дитя, он схватил бы ее за руки, за плечи, за волосы, бросил бы наземь, ударил, избил, растоптал бы! А он ничего не мог ни сказать, ни сделать, ни выразить, ни открыть. Он был ее сыном, ему не за что было мстить, ведь не его она обманула.

Но нет, она обманула и сына в его любви, в его благоговейном почитании. Она обязана была оставаться безупречной в его глазах, это долг каждой матери перед своими детьми. И если поднявшаяся в нем ярость доходила почти до ненависти, то именно потому, что он считал мать более преступной по отношению к нему, к сыну, чем даже по отношению к его отцу.

Любовь мужчины и женщины — это добровольный договор, и тот, кто его нарушил, виновен только в измене; но когда женщина становится матерью, ее долг возрастает, ибо природою ей вверено потомство. И если она согрешит, она поступит низко, подло и бесчестно!

— Что ни говори, — промолвил Ролан, как всегда после обеда вытянув ноги под столом и смакуя черносмородиновую наливку,— недурно жить, ничего не делая и имея небольшой достаток. Надеюсь, что Жан частенько будет угощать нас теперь изысканными обедами. Пусть даже у меня иной раз и сделается расстройство желудка.

Затем он обратился к жене:

— Поди-ка принеси портрет, душечка, раз ты кончила обедать. Мне тоже хочется взглянуть на него.

Она встала, взяла свечу и вышла. Ее отсутствие показалось Пьеру долгим, хотя не длилось и трех минут. Потом г-жа Ролан появилась снова, улыбаясь и держа за кольцо миниатюру в старинной позолоченной рамке.

— Вот он, — сказала она, — я сразу нашла его.

Пьер первый потянулся за портретом и, завладев им, стал рассматривать, держа в вытянутой руке. Потом, чувствуя, что мать смотрит на него, он медленно перевел глаза на брата, как бы для сравнения. У него чуть не вырвалось в порыве ярости: «А он похож на Жана!» Хотя он и не решился произнести эти грозные слова, но взгляд, который он переводил с живого лица на портрет, был достаточно красноречив.

Конечно, у них имелись общие черты, та же борода, тот же лоб, но ничего достаточно резко выраженного, что позволило бы утверждать: «Вот отец, а вот сын». Это было скорее фамильное сходство, что-то общее в облике, присущее людям одной и той же крови. Но для Пьера гораздо убедительней, чем этот склад лица, было то, что мать встала из-за стола, повернулась спиной и с нарочитой медлительностью стала убирать в буфет сахарницу и наливку.

Стало быть, она поняла, что он догадался или по крайней мере подозревает!

— А ну-ка, покажи мне, — сказал Ролан.

Пьер протянул отцу миниатюру, и тот, придвинув свечу, стал разглядывать ее, растроганно говоря:

— Бедняга! Подумать только, что он был таким, когда мы с ним познакомились. Черт возьми, как быстро летит время! Ничего не скажешь, в ту пору он был красивый мужчина и с такими приятными манерами. Правда, Луиза?

Жена не отвечала. Он продолжал:

— И какой ровный характер! Никогда я не видал его в плохом настроении. И вот все кончено, ничего от него не осталось... кроме того, что он завещал Жану. Что ж, не грех будет сказать, что он был нам добрым и верным другом до конца. Даже умирая, он не забыл нас.

Жан, в свою очередь, протянул руку за портретом. С минуту он рассматривал его и потом промолвил с сожалением:

— А я совсем не узнаю его. Я помню его только седым стариком.

И он вернул миниатюру матери. Она бросила на нее быстрый, как будто испуганный взгляд и тотчас отвела глаза; потом сказала обычным тоном:

— Теперь это принадлежит тебе, Жано: ты его наследник. Мы отнесем портрет на твою новую квартиру.

Все перешли в гостиную, и она поставила миниатюру на камин, около часов, на прежнее ее место.

Ролан набивал трубку, Пьер и Жан закурили папиросы. Обычно один из них курил, расхаживая по комнате, другой — сидя в кресле, положив ногу на ногу.

Отец же всегда садился верхом на стул и ловко сплевывал издали в камин.

Г-жа Ролан в низком кресле у столика с лампой вышивала, вязала или метила белье.

В этот вечер она начала вышивать коврик для спальни Жана. Это была трудная и сложная работа, требующая, особенно вначале, самого пристального внимания. Все же время от времени, не переставая считать стежки, она поднимала глаза и поспешно, украдкой, бросала взгляд на прислоненный к часам портрет покойного. И Пьер, который с папиросой в зубах, заложив руки за спину, ходил по комнате, меряя четырьмя — пятью шагами тесную гостиную, каждый раз перехватывал этот взгляд матери.

По всей видимости, они следили друг за другом, между ними завязалась тайная борьба. Щемящая тоска, тоска невыносимая, сжимала сердце Пьера. Истерзанный сам, он не без злорадства говорил себе: «Как она сейчас должна страдать, если знает, что я разгадал ее!» И каждый раз, проходя мимо камина, он останавливался и смотрел на светловолосую голову Марешаля, чтобы показать матери, что его преследует какая-то неотвязная мысль. И маленький портрет, меньше ладони, казался живым, злобным, опасным недругом, внезапно вторгшимся в этот дом, в эту семью.

У входной двери зазвенел колокольчик. Г-жа Ролан, всегда такая спокойная, вздрогнула, и Пьер понял, до чего напряжены ее нервы.

— Это, наверно, госпожа Роземильи, — сказала она, снова бросив тревожный взгляд на камин.

Пьер угадал или подумал, что угадал, причину ее страха и волнения. Взор у женщин проницателен, мысль проворна, ум подозрителен. Та, что сейчас войдет, увидит незнакомую ей миниатюру и, может быть, с первого же взгляда обнаружит сходство между портретом и Жаном. И она все узнает, все поймет! Его охватил страх, внезапный, панический страх, что позорная тайна откроется, и, в ту минуту когда отворялась дверь, он повернулся, взял миниатюру и подсунул ее под часы так, что ни отец, ни брат не заметили этого.

Когда он снова встретился глазами с матерью, ее взгляд показался ему смятенным, растерянным.

— Добрый вечер,— сказала г-жа Роземильи,— я пришла выпить с вами чашечку чаю.

Пока все суетились вокруг гостьи, справляясь об ее здоровье, Пьер выскользнул в дверь, оставшуюся открытой.

Его уход вызвал общее удивление. Жан, опасаясь, как бы г-жа Роземильи не обиделась, пробормотал с досадой:

— Что за медведь!

Г-жа Ролан сказала:

— Не сердитесь на него, он не совсем здоров сегодня и, кроме того, устал от поездки в Трувиль.

— Все равно, — возразил Ролан, — это не причина, чтобы удирать, как дикарь.

Г-жа Роземильи, желая сгладить неловкость, весело сказала:

— Да нет же, нет, он ушел по-английски; в обществе всегда так исчезают, когда хотят уйти пораньше.

— В обществе, может быть, это и принято, — возразил Жан, — но нельзя же вести себя по-английски в собственной семье, а мой брат с некоторых пор только это и делает.

VI

В течение недели или двух у Роланов не произошло ничего нового. Отец ловил рыбу, Жан с помощью матери обставлял свою квартиру, Пьер, угрюмый и злой, появлялся только за столом.

Однажды вечером отец задал ему вопрос:

— Какого черта ты ходишь с такой похоронной миной? Я замечаю это уже не первый день.

Пьер ответил:

— Это потому, что меня подавляет тяжесть бытия.

Старик не понял и продолжал сокрушенно:

— Это ни на что не похоже. С тех пор как нам посчастливилось получить наследство, все почему-то приуныли. Можно подумать, что у нас несчастье, что мы оплакиваем кого-нибудь!

— Я и оплакиваю, — сказал Пьер.

— Ты? Кого это?

— Одного человека; ты его не знал, а я его очень любил.

Ролан вообразил, что дело идет о какой-нибудь интрижке, о женщине легкого поведения, за которой волочился сын, и спросил:

— Уж не женщину ли?

— Да, женщину.

— Она умерла?

— Нет, хуже, — погибла..

— А!

Хотя старик и удивился этому неожиданному признанию, сделанному в присутствии его жены да еще таким странным тоном, он не стал допытываться, так как считал, что в сердечные дела нечего вмешиваться посторонним.

Г-жа Ролан как будто ничего не слышала; она была бледна и казалась больной. Муж с недавних пор начал замечать, что иногда она так опускается на стул, словно ее ноги не держат, и тяжело переводит дух, почти задыхается; он уже не раз говорил ей:

— Право, Луиза, ты на себя не похожа. Совсем захлопоталась с этой квартирой. Отдохни хоть немного, черт возьми! Жану спешить некуда, он теперь богат.

Она качала головой и не отвечала ни слова.

Ролан заметил, что в этот вечер она была еще бледнее, чем обычно.

— Видно, старушка моя, — сказал он, — ты совсем расхворалась, надо полечиться.

И, повернувшись к сыну, добавил:

— Ведь ты видишь, что мать заболела. Ты хоть выслушай ее.

Пьер отвечал:

— Нет, я не замечаю в ней никакой перемены.

Ролан рассердился:

— Да ведь это и слепому видно! Что ты за доктор, если не видишь даже, что мать нездорова? Посмотрика, ну, посмотри же на нее! Да тут подохнешь, пока этот доктор что-нибудь заметит!

Г-жа Ролан стала задыхаться, в лице у нее не было ни кровинки.

— Ей дурно! — крикнул Ролан.

— Нет... нет... ничего... сейчас пройдет... ничего.

Пьер подошел к матери и, глядя на нее в упор, спросил:

— Что с тобой?

Она повторяла прерывистым шепотом:

— Да ничего... ничего... уверяю тебя... ничего.

Ролан побежал за уксусом и, вернувшись, протянул пузырек сыну:

— На, держи... да помоги же ей! Ты хоть пульс-то пощупал?

Пьер нагнулся к матери, чтобы пощупать пульс, но она так резко отдернула руку, что ударилась о соседний стул.

— Если ты больна, — сказал Пьер холодно, — то дай мне осмотреть тебя.

Тогда она протянула ему руку. Рука была горячая, пульс бился неровно и учащенно. Он пробормотал:

— Ты в самом деле больна. Надо принять что-нибудь успокаивающее. Я напишу тебе рецепт.

Он начал писать, нагнувшись над бумагой, но вдруг услышал негромкие частые вздохи, всхлипывания, звук сдерживаемых рыданий. Он обернулся: мать плакала, закрыв лицо руками.

Ролан растерянно спрашивал:

— Луиза, Луиза, что с тобой? Да что же с тобой такое?

Она не отвечала и продолжала безутешно рыдать.

Муж пытался отнять ее руки от лица, но она противилась, повторяя:

— Нет, нет, нет!

Он повернулся к сыну:

— Что с ней? Я никогда не видел ее такой.

— Ничего страшного, — ответил Пьер, — просто нервный припадок.

Ему становилось легче при виде терзаний матери, и гнев его остывал, словно эти слезы смягчали ее позорную вину. Он смотрел на нее, как судья, удовлетворенный делом своих рук.

Вдруг она вскочила и бросилась к двери так порывисто и неожиданно, что ни Ролан, ни Пьер не успели остановить ее; она убежала в спальню и заперлась.

Ролан и Пьер остались одни.

— Ты понимаешь что-нибудь? — спросил Ролан.

— Да, — ответил сын, — это просто легкое расстройство нервов, которое часто дает себя знать в мамином возрасте. Такие припадки могут повторяться.

И действительно, они стали повторяться у нее почти каждый день, и Пьер умел вызывать их по своему желанию, точно владея тайной ее странного, неведомого недуга. Он подстерегал на ее лице выражение покоя и с изощренностью палача одним каким-нибудь словом пробуждал затихшую на мгновение боль.

Но и он страдал, и не меньше, чем она! Он жестоко страдал оттого, что больше не любил ее, не уважал, оттого, что мучил ее. Разбередив кровоточащую рану, нанесенную им сердцу женщины и матери, насладившись ее мукой и отчаянием, он убегал из дому и долго бродил по городу, терзаясь раскаянием, мучаясь жалостью, скорбя о том, что так унизил ее своим сыновним презрением. Уж лучше броситься в море, утопиться, чтобы положить конец всему!

С какой радостью он простил бы ее! Но это было выше его сил, он не мог забыть. Если бы хоть не мучить ее больше; но и этого он не мог, — он сам мучился беспрестанно. Он приходил к семейному обеду, полный добрых намерений, но как только видел ее, как только встречал ее взгляд, прежде такой прямой и честный, а теперь виноватый, испуганный и растерянный, он помимо своей воли наносил ей новые удары, не в состоянии удержать предательских слов, просившихся на уста.

Постыдная тайна, известная только им обоим, подстрекала его. Это был яд, который он носил в крови, и ему, как бешеной собаке, хотелось кусаться.

Ничто теперь не мешало ему истязать ее, потому что Жан уже почти переселился на новую квартиру и возвращался домой только по вечерам — пообедать и переночевать.

Жан нередко замечал язвительность и раздражение брата и приписывал их зависти. Уж не раз он решал, что пора осадить его и образумить, потому что жизнь в семье из-за постоянных сцен становилась крайне тягостной. Но он не жил теперь дома, ему меньше приходилось страдать от грубости Пьера, а любовь к покою

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

склоняла его к долготерпению. К тому же богатство вскружило ему голову, и он думал теперь только о том, что непосредственно касалось его самого. Он приходил домой, поглощенный мелкими заботами, занятый покроем нового костюма, фасоном шляпы, форматом визитных карточек. И он не переставал толковать о предметах обстановки, о полках стенного шкафа в спальне, где будет лежать белье, о вешалке в передней и об электрических звонках, установленных для того, чтобы нельзя было тайно проникнуть в его квартиру.

Чтобы отпраздновать новоселье, решено было устроить прогулку в Сен-Жуэн, а вечером отправиться к Жану пить чай. Ролану хотелось поехать на «Жемчужине», но из-за дальности расстояния и неуверенности, что можно добраться туда морем, если не будет попутного ветра, от его предложения отказались, и для прогулки был нанят открытый экипаж.

Выехали около десяти часов, чтобы поспеть к завтраку. Пыльная большая дорога тянулась среди нормандских полей; пышные купы деревьев окружали фермы, и волнистая равнина походила на парк, которому нет конца. Две крупные лошади ленивой рысцой везли экипаж; семейство Роланов, г-жа Роземильи и капитан Босир сидели молча, оглушенные шумом колес, зажмурив от пыли глаза.

Стояла пора жатвы. Оттененные темно-зеленым клевером и ярко-зеленой свекольной ботвой, желтые хлеба отливали золотом и словно светились. Казалось, они впитали в себя падавшие на них лучи солнца. Кое-где уборка уже началась, и на полях, наполовину скошенных, работали крестьяне; раскачиваясь всем телом, они взмахивали у самой земли широкими косами, похожими на крылья.

После двух часов езды экипаж свернул налево и миновал ветряную мельницу. Это была одна из последних уцелевших мельниц — печальное и полусгнившее наследие старины, — и крылья ее еще вращались. Затем путники въехали на чистенький двор и остановились перед нарядным домом — известным во всей округе трактиром.

Хозяйка, по прозвищу Красавица Альфонсина, вы-

шла, улыбаясь, на порог и протянула дамам руку, чтобы помочь им сойти с высокой подножки.

Под парусиновым навесом, на краю лужайки, в тени яблонь, уже завтракали гости — парижане, приехавшие из Этрета, и в доме слышались голоса, смех и звон посуды.

Пришлось завтракать в номере, так как все залы были переполнены. Ролан заметил прислоненные к стене сачки.

— Ага! — воскликнул он. — Уж не ловят ли здесь креветок?

— Как же, — отвечал Босир, — здесь самая лучшая ловля на всем побережье.

— Ах, черт, не заняться ли нам этим после завтрака?

Оказалось, что отлив бывает в три часа. Поэтому было решено после завтрака отправиться всей компанией за креветками.

Ели мало, чтобы кровь не бросилась в голову, когда придется шлепать босиком по воде. Кроме того, надо было сберечь аппетит для роскошного обеда, заказанного на шесть часов, ко времени возвращения домой.

Ролану не сиделось на месте от нетерпения. Он решил купить особые сачки для ловли креветок, — небольшие сетчатые мешочки, прикрепленные к деревянному обручу на длинной палке, очень похожие на те, которыми ловят бабочек. Альфонсина, все так же улыбаясь, одолжила им свои собственные сачки. Потом она помогла дамам переодеться, чтобы они не замочили платья. Она дала им юбки, толстые шерстяные чулки и плетеные башмаки. Мужчины сняли носки и надели купленные у местного сапожника деревянные сабо и туфли без задков.

Наконец двинулись в путь с сачками на плечах и корзинками за спиной. Г-жа Роземильи в этом наряде была прелестна бесхитростной и задорной прелестью крестьяночки. Юбка, взятая ею у Альфонсины, кокетливо подоткнутая и подхваченная несколькими стежками, чтобы можно было свободно бегать и прыгать по скалам, открывала щиколотки и упругие икры невысокой крепкой и гибкой женщины. Талия не была за-

тянута и не стесняла движений; а на голову г-жа Роземильи надела садовую шляпу из желтой соломы с огромными полями; ветка тамариска, придерживавшая загнутый край шляпы, придавала ей лихой мушкетерский вид.

Жан, получив наследство, каждый день задавал себе вопрос, жениться ли ему на г-же Роземильи или нет. Стоило ему увидеть ее, он принимал решение предложить ей руку и сердце, но, оставшись один, начинал раздумывать и приходил к выводу, что можно и подождать. Теперь он был богаче ее, она получала всего двенадцать тысяч франков дохода, но зато деньги ее были вложены в недвижимое имущество: ей принадлежали фермы и земельные участки в Гавре, расположенные у гавани, а они впоследствии могли сильно возрасти в цене. Состояния их были, значит, более или менее равны, а молодая вдова чрезвычайно ему нравилась.

Г-жа Роземильи шла впереди Жана, и, глядя на нее, он думал: «Да, надо решиться. Лучшей жены мне не найти».

Они шли по склону неширокой ложбины, спускавшейся от селения к прибрежным скалам; скалы в конце ложбины возвышались над морем на восемьдесят метров. Вдали в рамке зеленых берегов, раскинувшихся справа и слева, виднелся большой треугольник серебристо-голубой на солнце воды и чуть заметный далекий парус, крохотный, как насекомое. Лучезарное небо почти сливалось с морем, и трудно было различить, где кончалось одно и начиналось другое; на этом светлом фоне вырисовывались обтянутые корсажем фигуры обеих женщин, шедших впереди.

Жан смотрел горящим взглядом на мелькавшие перед ним тонкие щиколотки, стройные ноги, гибкие бедра и большую, кокетливо заломленную шляпу г-жи Роземильи. И это обостряло в нем желания, толкало его на внезапное решение, как это нередко случается с слабовольными и застенчивыми людьми. Теплый воздух, в котором к запахам дрока, клевера и трав примешивался морской запах обнаженных отливом скал, бодрил его, опьянял, и решение его крепло с каждым шагом, с каждой секундой, с каждым взглядом, брошенным

на изящный силуэт молодой женщины; он решил откинуть все сомнения и сказать ей, что любит ее, что просит ее быть его женой. Ловля креветок поможет ему, позволит остаться наедине с нею; и это будет так мило — объясниться в любви в живописном уголке, бродя в прозрачной воде и любуясь, как движутся под водорослями длинные усики креветок.

Дойдя до конца ложбины, до края пропасти, они заметили узенькую тропинку, вьющуюся по утесам; под ними, между морем и подножием горы, почти на середине спуска виднелось хаотическое нагромождение гигантских опрокинутых, перевернутых камней; они грудой лежали на каком-то подобии плато, образованном прежними обвалами, поросшем волнистыми травами и тянувшемся к югу насколько хватало глаз. На этой длинной полосе почвы, изборожденной глубокими складками, словно ее когда-то сотрясал вулкан, поросшей кустарником и травой, рухнувшие скалы казались развалинами исчезнувшего большого города, глядевшего в древности отсюда на океан, под защитой бесконечной белой гряды береговых утесов.

— Как красиво! — сказала, остановившись, г-жа Розембльи.

Жан догнал ее. У него билось сердце; волнуясь, он подал ей руку, чтобы вместе спуститься по узкой лестнице, высеченной в скале.

Они ушли вперед, а капитан Босир, крепко упираясь короткими ногами в землю, повел под руку г-жу Ролан, у которой от крутизны потемнело в глазах.

Ролан и Пьер шли позади всех, и доктору пришлось тащить отца, у которого так сильно кружилась голова, что он сел и стал съезжать таким образом со ступеньки на ступеньку.

Молодые люди, спускавшиеся первыми, шли быстро и вдруг увидели рядом с деревянной скамьей — местом отдыха на середине спуска — прозрачный родник, выбивающийся из узкой расщелины. Струйка воды стекала сначала в выбоинах величиной с лохань, которую она сама себе проточила, потом низвергалась водопадом высотой не больше двух футов, пересекала тропинку, заросшую крессом, и, наконец, исчезала в траве и

кустарнике на берегу, взрытом обвалами и загроможденном обломками.

— Ах, как хочется пить! — воскликнула г-жа Роземильи.

Но как напиться? Она попыталась зачерпнуть воду горстью, но вода стекала между пальцев. Жан догадался положить поперек тропинки камень; она встала на него коленями и принялась пить прямо из источника, который был теперь на уровне ее губ.

Напившись, она подняла голову; тысячи блестящих брызг усеяли ее щеки, волосы, ресницы, корсаж. Жан, склонясь к ней, прошептал:

— Вы прелестны!

Она ответила тоном, каким обычно бранят детей:

— Извольте молчать!

Это были первые их слова, хоть сколько-нибудь напоминающие разговор влюбленных.

— Давайте уйдем отсюда, пока нас не догнали, — сказал Жан в сильном смущении.

И в самом деле, неподалеку от них показалась спина капитана Босира, который спускался, пятясь, поддерживая обеими руками г-жу Ролан, а повыше и подальше — старик Ролан медленно сползал сидя, упираясь ногами и локтями; Пьер шел впереди, следя за его движениями.

Спуск становился более отлогим, и они вышли на тропинку, огибавшую огромные каменные глыбы, которые некогда низверглись с вершины горы. Г-жа Роземильи и Жан пустились бегом и скоро достигли берега, покрытого галькой. Они пересекли его и добрались до прибрежных скал, тянувшихся длинной и плоской, поросшей водорослями грядой, на которой поблескивали бесчисленные лужицы; море было еще далеко-далеко — за этой полосой темно-зеленой, липкой, лоснящейся морской травы.

Жан, высоко подвернув брюки и засучив рукава до локтя, чтобы не промочить одежду, крикнул: «Вперед!» — и решительно прыгнул в первую попавшуюся лужу.

Г-жа Роземильи, более осторожная, все еще медлила входить в воду и, боязливо ступая, чтобы не по-

скользнуться на слизистых водорослях, обходила узкую лужицу.

— Вы что-нибудь видите? — спрашивала она.

— Да, вижу, как ваше лицо отражается в воде.

— Если вы видите только это, ваш улов будет не из блестящих.

Он нежно прошептал:

— Из всех видов ловли я предпочел бы именно эту.

Она засмеялась.

— Попробуйте, и вы увидите, как рыбка проскользнет сквозь ваши сети.

— А все-таки... если бы вы захотели...

— Я хочу видеть, как вы ловите креветок... и больше ничего... пока больше ничего.

— Какая вы злая! Пойдемте дальше, здесь ничего нет.

И он протянул ей руку, чтобы помочь пройти по скользким камням. Она оперлась на него, и он вдруг почувствовал, что весь охвачен нежной страстью, что томится желанием, что жить без нее не может, как будто гнездившийся в нем любовный недуг ждал только этого дня, чтобы прорваться наружу.

Вскоре они подошли к более глубокой расселине. Под водой, которая, журча, убегала в далекое море через невидимую трещину, колыхались и, казалось, уплывали розовые и зеленые травы, похожие на пряди длинных, тонких, причудливо окрашенных волос.

Г-жа Роземильи воскликнула:

— Смотрите, смотрите, креветка, толстая-претолстая!

Жан тоже увидел ее и смело прыгнул в расселину, хоть и промок до пояса.

Шевеля длинными усиками, маленькое животное медленно пятилось от сетки. Жан оттеснял креветку к водорослям, надеясь захватить ее там. Но она, почуяв опасность, молниеносно скользнула над сачком, мелькнула в воде и исчезла.

У г-жи Роземильи, с волнением следившей за ловлей, невольно вырвалось:

— Ах, какой неловкий!

Ему стало обидно, и он с досады сунул сачок в самую гущу водорослей. Вытащив его на поверхность,

он увидел в нем трех крупных прозрачных креветок, случайно извлеченных из их тайного убежища.

Он с торжеством поднес их г-же Роземеньи, но она не решалась к ним прикоснуться, боясь острых зубчатых шипов, которыми вооружены их узкие головки.

Наконец, пересилив страх, она захватила их двумя пальцами за кончики длинных усов и переложила одну за другой в свою плетушку вместе с пучком водорослей, чтобы сохранить их живыми. Потом, найдя лужу помельче, она нерешительно вошла в воду; у нее слегка захватило дух от холода, леденящего ноги, но она храбро принялась за ловлю. Она обладала нужной ловкостью, хитростью, быстрой хваткой и чутьем охотника; то и дело она вытаскивала сачком застигнутых врасплох креветок, обманутых рассчитанной медлительностью ее движений.

Жану больше не попадалось ничего, но он следовал за ней по пятам, прикасался к ней, склонялся над нею, притворяясь, что в отчаянии от своей неловкости и хочет поучиться у нее.

— Покажите же мне, — говорил он, — покажите, как ловить.

Их головы отражались рядом в прозрачной воде, которую черные водоросли, росшие на самом дне, превращали в зеркало, и Жан улыбался ее лицу, смотревшему на него снизу, а иногда кончиками пальцев посылал поцелуй, падавший, казалось, на отражение его спутницы.

— Ах, как вы мне надоели! — говорила молодая женщина. — Дорогой мой, никогда не нужно делать два дела зараз.

Он ответил:

— Я только одно и делаю. Я люблю вас.

Она выпрямилась и сказала серьезным тоном:

— Послушайте, что с вами вдруг случилось? Вы потеряли голову?

— Нет, я не потерял голову. Просто я люблю вас и решился наконец вам в этом признаться.

Они стояли по колено в соленой воде и, опираясь на сачки мокрыми руками, смотрели друг другу в глаза.

Она заговорила несколько недовольно, но шутливо:

— Неудачно вы выбрали время для таких признаний. Разве нельзя было подождать другого дня и не портить мне ловлю?

Он прошептал:

— Простите, но я не мог больше молчать. Я давно люблю вас. А сегодня вы так обворожительны, что я без ума от вас.

Тогда она вдруг сдалась, как бы нехотя покоряясь необходимости и отказываясь от приятного развлечения ради делового разговора.

— Сядем вон на тот выступ,— сказала она,— там можно побеседовать спокойно.

Они вскарабкались на гору и уселись рядом на самом солнце, свесив ноги.

— Дорогой мой, вы уже не мальчик и я не девочка, — начала она. — Мы оба прекрасно понимаем, о чем идет речь, и можем взвесить все последствия наших поступков. Раз вы решились сегодня объясниться мне в любви, я, естественно, предполагаю, что вы хотите жениться на мне?

Он никак не ожидал такого ясного и четкого изложения всех обстоятельств дела и отвечал простодушно:

— Конечно.

— Вы уже говорили об этом с родителями?

— Нет, я хотел сначала знать, примете ли вы мое предложение.

Она протянула ему влажную руку и, когда он порывисто сжал ее, сказала:

— Я согласна. Мне кажется, вы человек добрый и честный. Но помните, что я не пойду за вас против воли ваших родителей.

— Неужели вы думаете, моя мать ничего не подозревает? Она не любила бы вас так, если бы не желала этого брака.

— Вы правы, я просто немного смущена.

И они умолкли. Жан, напротив, в душе удивлялся, что она так мало смущена и столь рассудительна. Он ожидал милого кокетства, отказов, подразумевающих согласие, трогательной любовной комедии с ловлей креветок и плесканием в воде! И вот все уже кончено, он уже связан, женат, в одну минуту, после какого-нибудь десятка слов. Им больше нечего было сказать друг дру-

гу, они уже объяснились; в замешательстве от того, что все произошло так быстро, даже несколько сконфуженные, они сидели молча, не решаясь заговорить, не решаясь вернуться к ловле, не зная, что им делать.

Голос Ролана выручил их:

— Сюда, сюда, дети! Посмотрите-ка на Босира. Вот молодец! Он прямо-таки опустошает море.

У капитана и в самом деле был чудесный улов. По пояс мокрый, он ходил от лужи к луже, с одного взгляда угадывая лучшие места, и медленными, точными движениями своего сачка обшаривал скрытые под водорослями ямы.

Красивые прозрачные серовато-палевые креветки трепетали на его ладони, когда он уверенным жестом вынимал их, чтобы бросить в плетушку.

Восхищенная г-жа Роземильи не отставала от капитана ни на шаг и всячески старалась подражать ему; почти забыв о своей помолвке, о Жане, задумчиво сопровождавшем их; она всей душой отдавалась ловле и с детской радостью вытаскивала креветок из-под плавающих трав.

Вдруг Ролан воскликнул:

— Вот и госпожа Ролан идет к нам!

Сначала она вместе с Пьером осталась на пляже, так как ни ему, ни ей не хотелось лазать по скалам и мокнуть в лужах; но они решились на это не без колебаний. Она боялась сына, а он боялся за нее и за себя, боялся своей жестокости, преодолеть которой не мог.

Они сели друг подле друга на прибрежные камни.

И, греясь на солнце, зной которого умерялся морской прохладой, любуясь широким, безмятежным простором и голубой, отливающей серебром гладью вод, оба они одновременно думали: «Как хорошо нам было бы здесь в прежние времена».

Она не осмеливалась заговорить с Пьером, зная наперед, что он ответит резкостью, а он не решался заговорить с матерью, также зная, что будет груб против своей воли.

Концом трости он ворошил круглую гальку, разбрасывал ее, колотил по ней. Г-жа Ролан, рассеянно глядя перед собой, взяла пригоршню мелких камешков и медленно машинально пересыпала их с ладони на ладонь.

Когда ее блуждающий без цели взгляд заметил Жана, ловившего среди водорослей креветок с г-жой Роземильи, она стала наблюдать за ними, следить за их движениями, угадывая материнским чутьем, что они разговаривают между собою совсем не так, как обычно. Она видела, как они наклонялись и глядели в воду, как стояли друг против друга, когда вопрошали свои сердца, как взобрались и сели на камень, чтобы там объясниться в любви.

Силуэты их были ясно видны; казалось, на всем горизонте нет никого, кроме них; и эти две фигуры на фоне неба, моря и прибрежных скал словно являли собой некий великий символ.

Пьер тоже смотрел на них; внезапно у него вырвался недобрый смешок.

Не оборачиваясь к нему, г-жа Ролан спросила:

— Что с тобой?

Он продолжал смеяться.

— Просвещаюсь. Изучаю, как готовятся носить рога.

Оскорбленная грубым выражением, она вздрогнула от гнева и возмущения, понимая скрытый смысл его слов.

— О ком ты это?

— О Жане, черт возьми! Не смешно ли смотреть на них?

Она прошептала глухим, дрожащим от волнения голосом:

— Как ты жесток, Пьер! Эта женщина — сама честность. Лучшего выбора твой брат не мог бы сделать.

Он громко рассмеялся, но смех его был деланный и отрывистый.

— Ха! ха! ха! Сама честность! Всякая женщина — сама честность... и все-таки все мужья рогаты. Ха! ха! ха!

Она молча встала, быстро спустилась по склону, усеянному галькой, и, рискуя поскользнуться, упасть в яму, скрытую водорослями, рискуя сломать ногу или руку, ушла от него, почти убежала, ступая по лужам, ничего не видя вокруг, ушла туда, к другому сыну.

Увидев ее, Жан крикнул:

— Мама, наконец-то и ты решилась?

Не отвечая, она схватила его за руку, как бы говоря: «Спаси меня, защити!»

Он заметил ее волнение и удивился:

— Как ты бледна! Что с тобой?

Она пролепетала:

— Я чуть не упала, мне страшно среди этих скал.

Тогда Жан повел ее, поддерживая, объясняя, как надо ловить креветок, стараясь заинтересовать ее. Но так как она не слушала, а его мучило желание поделиться с кем-нибудь своей тайной, то он увлек ее подальше и тихо проговорил:

— Угадай, что я сделал?

— Не знаю... не знаю...

— Угадай же.

— Я не... я не знаю...

— Я просил госпожу Роземильи быть моей женой.

Она не ответила; мысли у нее путались, она была в таком отчаянии, что едва понимала его слова. Она переспросила:

— Твоей женой?

— Да. Я хорошо сделал? Она очаровательна, верно?

— Да... очаровательна... ты хорошо сделал...

— Значит, ты одобряешь?

— Да... одобряю...

— Как ты странно говоришь. Можно подумать, что... что... ты недовольна.

— Да нет же... я... довольна...

— Правда?

— Правда.

Как бы в подтверждение своих слов она порывисто обняла сына и осыпала его лицо горячими материнскими поцелуями.

Когда она вытерла полные слез глаза, она увидела, что вдали, на пляже, кто-то лежит ничком неподвижно, как труп, уткнувшись лицом в гальку; то был другой ее сын, Пьер, мучимый горькими мыслями.

И она увела своего маленького Жана подальше, к самой воде, и они долго еще говорили о его женитьбе, в которой искало утешения ее истерзанное сердце.

Начавшийся прилив заставил их отступить и присоединиться к остальным; все вместе поднялись на

берег, по дороге разбудив Пьера, притворившегося спящим. Потом долго сидели за обедом, обильно запивая его вином.

VII

В экипаже, на обратном пути, все мужчины, кроме Жана, дремали. Босир и Ролан каждые пять минут валились на плечо соседа, а когда их отталкивали, они выпрямлялись, переставали храпеть, приоткрыв глаза, бормотали: «Хороша погодка»,— после чего тотчас же клонились на другую сторону.

При въезде в Гавр они спали таким глубоким сном, что растолкать их стоило немалых трудов, а Босир даже отказался идти к Жану, где их ожидал чай. Пришлось завезти его домой.

Молодому адвокату предстояло в первый раз провести ночь на новой квартире; бурная, почти мальчишеская радость охватила его при мысли, что именно сегодня вечером покажет он невесте квартиру, в которой она скоро поселится.

Служанку отпустили; г-жа Ролан сказала, что сама вскипятит воду и подаст чай: опасаясь пожаров, она не любила, чтобы прислуга поздно засиживалась.

Кроме нее, Жана и рабочих, в новую квартиру никого еще не пускали. Тем сильнее будет общее изумление, когда увидят, как все здесь красиво.

Жан попросил гостей подождать в передней. Он хотел зажечь свечи и лампы и оставил в потемках г-жу Роземильи, отца и брата; потом распахнул двери настежь и крикнул:

— Входите!

Стеклянная галерея, освещенная люстрой и цветными фонариками, скрытыми среди пальм, фикусов и цветов, походила на театральную декорацию. Все были поражены. Ролан, в восторге от такой роскоши, пробормотал: «Ах, дьявол!» — и чуть не захлопал в ладоши, словно смотрел феерию.

Затем они прошли в первую гостиную, маленькую, обтянутую материей цвета потемневшего золота, такой же, как обивка мебели. Большой, очень простой кабинет, выдержанный в розовато-красных тонах, производил внушительное впечатление.

Жан сел в кресло за письменным столом, уставленным книгами, и произнес нарочито торжественным тоном:

— Да, сударыня, статьи закона не допускают сомнений, и, поскольку я выразил согласие быть вам полезным, они дают мне полную уверенность, что не пройдет и трех месяцев, как дело, о котором мы сейчас беседовали, получит благоприятное разрешение.

Он посмотрел на г-жу Роземильи. Она улыбалась, поглядывая на г-жу Ролан, а та взяла ее руку и крепко пожала.

Жан, сияя радостью, подпрыгнул, как школьник, и воскликнул:

— Как хорошо звучит здесь голос! Вот бы где держать защитительную речь.

Он начал декламировать:

— Если бы лишь человеколюбие, лишь естественная потребность сострадать любому несчастью могли побудить вас вынести оправдательный приговор, который мы испрашиваем, то мы, господа присяжные, взывали бы к вашему милосердию, к вашим чувствам отцов и мужей; но закон на нашей стороне, и поэтому мы ставим перед вами только вопрос о справедливости.

Разглядывая квартиру, которая могла бы принадлежать ему, Пьер злился на ребячества Жана, находя его непозволительно глупым и бездарным.

Г-жа Ролан открыла дверь направо.

— Вот спальня, — сказала она.

В убранство этой комнаты она вложила всю свою материнскую любовь. Обивка стен и мебели была из руанского кретона, под старинное нормандское полотно. Узор в стиле Людовика XV — пастушка в медальоне, увенчанном двумя целующимися голубками, — придавал стенам, занавесям, пологу кровати, креслам оттенок изящной и милой сельской простоты.

— Это просто очаровательно, — сказала г-жа Роземильи без улыбки, проникновенным голосом, входя в спальню.

— Вам нравится? — спросил Жан.

— Очень.

— Если бы вы знали, как я рад.

Они взглянули друг другу в глаза нежно и доверчиво.

Все же она испытывала некоторое стеснение, неловкость в этой комнате, своей будущей спальне. Еще с порога она заметила широкую кровать, настоящее супружеское ложе, и поняла, что г-жа Ролан предвидела скорую женитьбу сына и желала ее; эта материнская предусмотрительность обрадовала г-жу Роземильи, ибо говорила о том, что ее ждут в семье Жана.

Когда все вернулись в гостиную, Жан распахнул левую дверь, и взорам открылась круглая столовая с тремя окнами, обставленная в японском стиле. Мать и сын отделывали эту комнату со всей фантазией, на которую были способны: бамбуковая мебель, китайские болванчики, вазы, шелковые драпировки, затканные золотыми блестками, шторы из бисера, прозрачного, как капли воды, веера, прибитые на стенах поверх вышивок, ширмочки, сабли, маски, цапли из настоящих перьев, всевозможные безделушки из фарфора, дерева, папье-маше, слоновой кости, перламутра, бронзы — это пышное убранство отдавало той аляповатой претенциозностью, которой неискусные руки и неопытный глаз наделяют все то, что требует наибольшего умения, вкуса и художественного такта. Тем не менее именно этой комнатой восхищались больше всего. Только Пьер сделал несколько едких иронических замечаний, очень обидевших его брата.

На столе пирамидами стояли фрукты, а торты высились, словно монументы. Есть никому не хотелось, гости посасывали фрукты, лениво грызли печенье. Через час г-жа Роземильи стала собираться домой.

Было решено, что Ролан-отец проводит ее до дому, а г-жа Ролан останется, чтобы в отсутствие служанки осмотреть квартиру материнским оком и убедиться, что для сына приготовлено все, что нужно.

— Вернуться за тобой? — спросил Ролан.

Она помедлила, потом сказала:

— Нет, старичок, ложись спать. Я приду с Пьером.

Как только г-жа Роземильи и Ролан ушли, она погасила свечи, заперла в буфет торты, сахар и ликеры и отдала ключ Жану, потом прошла в спальню, откры-

ла постель и проверила, налита ли в графин свежая вода, плотно ли закрыто окно.

Братья остались одни в маленькой гостиной. Жан все еще чувствовал себя уязвленным замечаниями о его вкусе, а Пьера все сильнее душила злоба оттого, что эта квартира досталась брату. Они сидели друг против друга и молча курили. Вдруг Пьер поднялся.

— Сегодня, — сказал он, — у вдовы был изрядно помятый вид. Пикники ей не на пользу.

Жаном внезапно овладел тот яростный гнев, который вспыхивает в добродушных людях, когда оскорбляют их близких.

Задыхаясь от бешенства, он проговорил с усилием:

— Я запрещаю тебе произносить слово «вдова», когда ты говоришь о госпоже Роземильи!

Пьер высокомерно взглянул на него.

— Ты, кажется, приказываешь мне? Не сошел ли ты с ума?

Жан вскочил с кресла.

— Я не сошел с ума, но мне надоело твое обращение со мной!

Пьер злобно рассмеялся.

— С тобой? Уж не составляешь ли ты одно целое с госпожой Роземильи?

— Да будет тебе известно, что госпожа Роземильи будет моей женой.

Пьер засмеялся еще громче.

— Ха! ха! Отлично. Теперь понятно, почему я не должен больше называть ее «вдовой». Однако у тебя странная манера объявлять о своей женитьбе.

— Я запрещаю тебе издеваться... понял? Запрещаю!..

Жан выкрикнул эти слова срывающимся голосом, весь бледный, вплотную подойдя к брату, вне себя от насмешек над женщиной, которую он любил и избрал себе в жены.

Но Пьер тоже вышел из себя. Накопившийся в нем за последний месяц бессильный гнев, горькая обида, долго обуздываемое возмущение, молчаливое отчаяние — все это бросилось ему в голову и оглушило его, как апоплексический удар.

— Как ты смеешь?.. Как ты смеешь?.. А я приказываю тебе замолчать, слышишь, приказываю!

Жан, пораженный запальчивостью брата, умолк на мгновение; в помутившемся от бешенства уме он подыскивал слово, выражение, мысль, которые ранили бы брата в самое сердце.

Силясь овладеть собой, чтобы больней ударить, и замедляя речь для большей язвительности, он продолжал:

— Я уже давно заметил, что ты мне завидуешь, — с того самого дня, как ты начал говорить «вдова». Ты прекрасно понимал, что мне это неприятно.

Пьер разразился своим обычным резким и презрительным смехом.

— Ха! ха! Бог ты мой! Завидую тебе!.. Я?.. я?.. я?.. Да чему же, чему! Твоей наружности, что ли? Или твоему уму?..

Но Жан ясно чувствовал, что нащупал рану в сердце брата.

— Да, ты завидуешь мне, завидуешь с самого детства; и ты пришел в ярость, когда увидел, что эта женщина предпочитает меня, а тебя знать не хочет.

Пьер, не помня себя от обиды и злости, едва мог выговорить:

— Я... я... завидую тебе? Из-за этой дуры, этой куклы, этой откормленной гусыни?!

Жан, видя, что его удары попадают в цель, продолжал:

— А тот день, когда ты старался грести лучше меня на «Жемчужине»? А все, что ты говоришь в ее присутствии, чтобы порисоваться перед нею? Да ведь ты лопнуть готов от зависти! А с тех пор, как я получил наследство, ты просто взбесился: ты возненавидел меня, ты высказываешь это мне на все лады, ты всем отравляешь жизнь, ты только и делаешь, что изливаешь желчь, которая тебя душит!

Пьер сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на брата и не схватить его за горло.

— Замолчи! Постыдился бы говорить о своем наследстве!

Жан воскликнул:

— Да ведь зависть так и сочится из тебя! Ты слова

не можешь сказать ни отцу, ни матери, чтобы она не прорвалась наружу. Делаешь вид, что презираешь меня, а сам завидуешь! Ко всему придираешься, потому что завидуешь! А теперь, когда я стал богат, ты уже не в силах сдерживаться, ты брызжешь ядом, ты мучаешь мать, точно это ее вина!..

Пьер попятился к камину; рот его был полуоткрыт, глаза расширены; им овладело то состояние слепого, неистового гнева, в каком человек способен на убийство.

Он повторил тише, задыхаясь:

— Замолчи! Да замолчи же!

— Нет! Я уже давно хочу все тебе высказать. Ты сам дал мне к этому повод — теперь пеняй на себя. Ты знаешь, что я люблю эту женщину, и нарочно высмеиваешь ее передо мной, приводишь меня в бешенство. Так пеняй на себя. Я обломаю твои змеиные зубы! Заставлю уважать меня!

— Уважать тебя!

— Да, меня!

— Уважать... тебя... того, кто опозорил всех нас своей жадностью?

— Что ты говоришь? Повтори... повтори!..

— Я говорю, что нельзя принимать наследство от постороннего человека, когда слывешь сыном другого.

Жан замер на месте, не понимая, ошеломленный намеком, боясь угадать его смысл.

— Что такое? Что ты говоришь?.. Повтори!

— Я говорю то, о чем все шепчутся, о чем все сплетничают, — что ты сын того человека, который оставил тебе состояние. Так вот, честный человек не примет денег, позорящих его мать.

— Пьер... Пьер... подумай, что ты говоришь? Ты... ты... как ты можешь повторять такую гнусность?

— Да... я... я... Неужели ты не видишь, что уже целый месяц меня грызет тоска, что я по ночам не смыкаю глаз, а днем прячусь, как зверь, что я сам не понимаю, что говорю и что делаю, не знаю, что со мной будет, потому что я невыносимо страдаю, я обезумел от стыда и горя, ибо сначала только догадывался, а теперь знаю наверное.

— Пьер... замолчи... Мама рядом в комнате! Ведь она может нас услышать... она слышит нас...

Но Пьеру надо было облегчить душу! И он рассказал обо всем: о своих подозрениях, догадках, внутренней борьбе, о том, как он в конце концов убедился, и о случае с портретом, исчезнувшим во второй раз.

У него вырывались короткие, отрывистые, почти бессвязные фразы, как в горячечном бреду.

Он, казалось, забыл о Жане и о том, что мать в соседней комнате. Он говорил так, как будто его не слушал никто, говорил, потому что должен был говорить, потому что слишком исстрадался, слишком долго зажимал свою рану. А она все увеличивалась, воспалялась, росла, как опухоль, и опухоль теперь прорвалась, всех обрызгав гноем. По своей привычке Пьер шагал из угла в угол; глядя прямо перед собой, в отчаянии ломая руки, подавляя душившие его рыдания, горько, с ненавистью упрекая самого себя, он говорил, словно исповедуясь в своем несчастье и в несчастье своих близких, словно бросая свое горе в невидимое и глухое пространство, где замирали его слова.

Жан, пораженный, уже готовый верить обвинениям брата, прислонился спиной к двери, за которой, как он догадывался, их слушала мать.

Уйти она не могла — другого выхода из спальни не было; в гостиную она не вышла, — значит, не решилась.

Вдруг Пьер топнул ногой и крикнул:

— Какая же я скотина, что рассказал тебе все это!

И он с непокрытой головой выбежал на лестницу.

Громкий стук захлопнувшейся входной двери вывел Жана из оцепенения. Прошло всего несколько мгновений, долгих, как часы, когда ум его пребывал в полном бездействии; он сознавал, что сейчас надо будет думать, что-то делать, но выжидал, отказываясь понимать, не желая ни знать, ни помнить — из боязни, из малодушия, из трусости. Он был из числа людей нерешительных, всегда откладывающих дела на завтра, и когда надо было на что-нибудь решиться тотчас же, инстинктивно старался выиграть хотя бы несколько минут. Теперь, когда Пьер убежал и Жан не слышал больше его криков отчаяния, глубокое безмолвие, окружавшее его, это внезапное безмолвие стен и мебели в ярком свете шести свечей и двух ламп, вдруг испугало его так сильно, что ему тоже захотелось убежать.

Но он стряхнул с себя оцепенение, сковавшее ему ум и сердце, и попытался обдумать случившееся.

Никогда в жизни он не встречал никаких препятствий. Он был из тех людей, которые плывут по течению. Он прилежно учился, чтобы избежать наказаний, и усердно изучал право, потому что жизнь его протекала спокойно. Все на свете казалось ему вполне естественным, и ничто особенно не останавливало его внимания. Так как ум у него был бесхитростный, он любил порядок, рассудительность, покой; разразившаяся катастрофа застала его врасплох, точно человека, который упал в воду и не умеет плавать.

Сначала он пробовал усомниться. Уж не солгал ли ему брат от злости и зависти?

Но мог ли Пьер дойти до такой низости и сказать подобную вещь о матери, если бы сам не был доведен до отчаяния? И потом в ушах Жана, в его глазах, в каждом нерве и, казалось, во всем теле запечатлелись некоторые слова, горестные стоны, звук голоса и жесты Пьера, полные такого страдания, что они были неопровержимы и неоспоримы, как сама истина.

Жан был слишком подавлен, чтобы сделать хоть шаг, принять хоть какое-нибудь решение. Отчаяние все сильней овладевало им, и он чувствовал, что за дверью стоит его мать, которая все слышала и ждет.

Что она делает? Ни единое движение, ни единый шорох, ни единый вздох не обнаруживал присутствия живого существа за этой стеной. Не убежала ли она? Но как? А если убежала — значит, выпрыгнула в окно!

Его охватил страх, такой внезапный, такой непреодолимый, что он скорее высадил, чем открыл, дверь и ворвался в комнату.

Она оказалась пустой. Ее освещала единственная свеча на комоде.

Жан бросился к окну; оно было затворено, ставни закрыты. Обернувшись, он обвел испуганным взглядом все темные углы и вдруг заметил, что полог кровати задернут. Он подбежал и отдернул его. Мать лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку, которую она прижимала к ушам судорожно сведенными руками, чтобы ничего не слышать. Сначала он подумал, что она задохнулась. Обхватив мать за плечи, он повернул ее, но

она не выпускала подушки, прятала в нее лицо, кусала ее, чтобы не закричать. Ее горе, ее неизъяснимая мука передалась ему, когда он коснулся ее неестественно напряженного тела, ее судорожно сжатых рук. Сила отчаяния, с какой ее пальцы и зубы вцепились в подушку, которой она зажимала рот, глаза и уши, чтобы сын не видел ее, не говорил с ней, потрясла его, и он понял, до какой степени может дойти страдание. И его сердце, его бесхитростное сердце разрывалось от жалости. Он не был судьей, даже милосердным судьей, он был только слабый человек и любящий сын. Он уже не помнил ничего из слов брата, он не рассуждал, не спорил — он только провел обеими руками по неподвижному телу матери и, не имея сил оторвать ее лицо от подушки, крикнул, целуя ее платье:

— Мама, мама, бедная моя мама, посмотри на меня!

Ее можно было бы принять за мертвую, если бы не чуть уловимый трепет, который пробегал по ее членам, словно дрожание натянутой струны. Жан повторял:

— Мама, мама, выслушай меня. Это неправда. Я знаю, что это неправда.

Спазмы сдавили ей горло, ей не хватало воздуха; и вдруг она разрыдалась. Тогда судорожное напряжение ослабело, сведенные мускулы обмякли, пальцы разжались, выпустили подушку, и он увидел ее лицо.

Она была бледная, совсем бледная; из-под опущенных век катились слезы. Он обнял ее и стал осторожно целовать ей глаза долгими, горестными поцелуями, чувствуя на губах ее слезы, и все повторял:

— Мама, дорогая моя, я знаю, что это неправда. Не плачь, я знаю! Это неправда!

Она приподнялась, села, взглянула на него и с тем мужеством, какое в иных случаях необходимо, чтобы убить себя, сказала:

— Нет, это правда, дитя мое.

Они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. С минуту она еще задыхалась, вытягивала шею, запрокидывала голову, чтобы легче было дышать, потом снова поборола себя и продолжала:

— Это правда, дитя мое. К чему лгать? Это правда. Ты не поверил бы мне, если бы я солгала.

Казалось, она сошла с ума. Охваченный ужасом, он упал на колени перед кроватью, шепотом повторяя:

— Молчи, мама, молчи!

Она поднялась с пугающей решимостью и энергией.

— Да мне и нечего больше сказать тебе, дитя мое. Прощай.

И она направилась к двери. Он обхватил ее обеими руками и закричал:

— Что ты, мама, куда ты?

— Не знаю... Откуда мне знать?.. Мне больше нечего делать... ведь я теперь совсем одна...

Она стала вырываться. Он крепко держал ее и только повторял:

— Мама... мама... мама.

А она, силясь разомкнуть его руки, говорила:

— Нет, нет, теперь я больше тебе не мать, теперь я чужая для тебя, для всех вас, чужая, совсем чужая! Теперь у тебя нет ни отца, ни матери, бедный ты мой... прощай!

Он вдруг понял, что если даст ей уйти, то никогда больше ее не увидит; подняв мать на руки, он отнес ее в кресло, насильно усадил, потом стал на колени и обхватил ее обеими руками, как кольцом.

— Ты не уйдешь отсюда, мама; я люблю тебя, ты останешься со мной. Останешься навсегда, ты моя, я не отпущу тебя.

Она ответила с глубокой скорбью.

— Нет, бедный мой мальчик, это уже невозможно. Сегодня ты плачешь, а завтра выгонишь меня. Ты тоже не простишь.

Он ответил с таким искренним порывом: «Что ты! Я? я? Как мало ты меня знаешь!» — что она вскрикнула, обняла голову сына обеими руками, с силой притянула к себе и стала покрывать его лицо страстными поцелуями. Потом она затихла, прижавшись щекой к его щеке, ощущая сквозь бороду теплую кожу лица, и шепнула:

— Нет, мальчик. Завтра ты меня уже не простишь. Ты веришь, что это не так, но ошибаешься. Ты простил меня сегодня, и твое прощение спасло мне жизнь; но тебе не надо больше меня видеть.

Он повторял, сжимая ее в объятиях:

— Мама, не говори этого!

— Нет, это так, мой мальчик. Я должна уйти. Не знаю, куда я пойду, не знаю, что буду делать, что скажу, но так нужно. Я не посмею больше ни взглянуть на тебя, ни поцеловать тебя, понимаешь?

Тогда он шепнул, в свою очередь:

— Мамочка, ты останешься; я этого хочу, ты мне необходима. И сейчас же дай слово, что будешь слушаться меня.

— Нет, дитя мое.

— Мама, так нужно, слышишь? Так нужно.

— Нет, дитя мое, невозможно. Это значило бы создать ад для всех нас. За этот месяц я узнала, что это за пытка. Сейчас ты растроган, но когда это пройдет, когда ты будешь смотреть на меня, как Пьер, когда ты вспомнишь то, что я тебе сказала... Ах!.. Жан, мальчик мой, подумай, ведь я твоя мать!..

— Я не хочу, чтобы ты покидала меня, мама. У меня никого нет, кроме тебя.

— Но подумай, сынок, что мы не сможем больше смотреть друг на друга, не краснея, что меня истерзает стыд, что я буду опускать глаза, встречаясь с твоим взглядом.

— Это неправда, мама.

— Нет, нет, это правда! Я хорошо поняла, как мучился твой бедный брат с самого первого дня. Теперь, как только я заслышу его шаги в доме, у меня так стучит сердце, что разрывается грудь, а когда я слышу его голос, я почти теряю сознание. До сих пор у меня еще оставался ты! Теперь я и тебя потеряла. Мой маленький Жан, неужели ты думаешь, что я могу жить рядом с вами обоими?

— Да, мама. Я буду так любить тебя, что ты и думать забудешь об этом.

— Разве это возможно?

— Да, возможно.

— Но как я могу не думать об этом, живя бок о бок с тобой и твоим братом? Разве вы сами не будете думать о том же?

— Я не буду, клянусь тебе!

— Ты непрестанно будешь думать об этом.

— Нет, клянусь тебе. И знай: если ты уйдешь, я вступлю в армию и пусть меня убьют.

Она испугалась этой ребяческой угрозы и прижала сына к груди, лаская его со страстной нежностью. Он продолжал:

— Я люблю тебя сильнее, чем ты думаешь, гораздо, гораздо сильнее! Ну, будь же умницей. Останься со мной хоть на неделю. Обещаешь мне неделю? Неужели ты откажешь мне в этом?

Она положила руки на плечи Жана и слегка отстранила его:

— Дитя мое... постараемся быть спокойными и твердыми. Сначала дай мне сказать. Если хоть раз я услышу из твоих уст то, что уже месяц слышу от твоего брата, если хоть раз увижу в твоих глазах то, что читаю в его глазах, если хоть по одному слову, по одному взгляду пойму, что стала ненавистна тебе, как и ему... тогда не пройдет и часа, слышишь, и часа... как я уйду навсегда.

— Мама, клянусь тебе...

— Дай мне сказать... За этот месяц я выстрадала все, что только может выстрадать живое существо. С той минуты, как я поняла, что твой брат, другой мой сын, подозревает меня, что он шаг за шагом угадывает истину, каждое мгновение моей жизни превратилось в такую муку, какую никакими словами не описать.

В ее голосе слышалось столько горя, что Жану передалась ее боль и глаза его наполнились слезами.

Он хотел ее поцеловать, но она оттолкнула его.

— Погоди... слушай... мне еще так много нужно сказать тебе, чтобы ты понял... но ты не поймешь... а между тем... если мне остаться... то нужно... Нет, не могу!..

— Говори, мама, говори.

— Хорошо! По крайней мере я тебя не обману. Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, да? Так вот для того, чтобы мы могли видеться, разговаривать, встречаться изо дня в день,— ведь я иногда не решаюсь открыть дверь, боясь столкнуться с твоим братом,— так вот для этого нужно не то, чтобы ты простил меня,— нет ничего мучительнее прощения,— но чтобы ты не считал меня виноватой перед тобой... Нужно, чтобы ты нашел в себе достаточно сил, вопреки общему мнению, не краснея и

не презирая меня, признать, что ты не сын Ролана!.. Я довольно страдала... слишком много страдала и больше не могу, нет, больше уж не могу! И это не со вчерашнего дня, это началось давно... Тебе никогда не понять этого! Чтобы мы могли жить вместе, чтобы мы могли раскрывать друг другу объятия, мой маленький Жан, надо, чтобы ты понял, что если я и была любовницей твоего отца, то в гораздо большей степени я была его женой, его настоящей женой; что в глубине души я не стыжусь этого, что я ни о чем не жалею и все еще люблю его, хоть он и умер, и всегда буду любить его; что я никого, кроме него, не любила, что в нем была вся моя жизнь, вся радость, вся надежда, все утешение, что он был для меня всем, всем долгие годы! Слушай, мой мальчик: перед богом, который слышит меня, клянусь тебе, что у меня в жизни не было бы ничего, ничего отрадного, если бы я его не встретила, ничего — ни ласки, ни нежности, ни одной из тех минут, которые заставляют так жалеть об уходящей молодости. Я всем обязана ему! У меня на свете был только он да вы двое — твой брат и ты. Без вас троих все было бы пусто, темно и пусто, как ночной мрак. Я никогда ничего бы не любила, ничего бы не испытала, ничего бы не пожелала и даже слез не проливала бы, а я много слез пролила, мой маленький Жан. Я только и делаю, что плачу с тех пор, как мы переехали сюда! Я отдалась ему вся, телом и душой, навсегда, с радостью, и более десяти лет я была его женой, как и он был моим мужем перед богом, создавшим нас друг для друга. А потом я поняла, что он уже меньше меня любит. Он все еще был мил и внимателен, но я уже не была для него всем, как раньше. Наступил конец! Как я плакала... Как убога, как обманчива жизнь! Ничто в ней не вечно... И мы переехали сюда, и больше я его уже не видела, он не приехал к нам ни разу... В каждом письме он обещал это!.. Я все ждала его... Но так и не увидела больше... А теперь он умер!.. Но он все еще любил нас, потому что подумал о тебе. А я, я буду любить его до последнего моего вздоха, никогда от него не отрекусь, и тебя я люблю потому, что ты его сын, я не стыжусь этого перед тобой! Понимаешь? Не стыжусь и никогда не буду стыдиться! Если ты хочешь, чтобы я осталась, надо, чтобы

ты признал себя его сыном, чтобы мы иногда говорили о нем с тобою, чтобы ты постарался немного полюбить его и чтобы мы думали о нем, когда будем встречаться глазами. Если ты не хочешь, если не можешь принять это условие, прощай, мой мальчик, нам невозможно оставаться вместе. Я сделаю так, как ты решишь.

Жан тихо ответил:

— Останься, мама.

Она стиснула его в объятиях и опять заплакала; потом, прижавшись щекой к его щеке, спросила:

— Да, но как же нам быть с Пьером?

Жан прошептал:

— Придумаем что-нибудь. Ты не можешь больше жить бок о бок с ним.

Вспомнив о старшем сыне, она вся съежилась от страха.

— Нет, не могу, нет, нет!

И, бросившись на грудь Жану, воскликнула в отчаянии:

— Спаси меня от него, мой мальчик, спаси меня, сделай что-нибудь, не знаю что... придумай... спаси меня!..

— Да, мама, я придумаю.

— Сейчас же... сейчас же... не покидай меня! Я так боюсь его... так боюсь!..

— Хорошо, придумаю. Обещаю

— Только скорей, скорей! Ты не знаешь, что творится со мной, когда я вижу его.

Потом она чуть слышно прошептала ему на ухо:

— Оставь меня здесь, у тебя.

Он помялся, задумался и понял своим трезвым умом всю опасность такого шага.

Но ему долго пришлось доказывать, спорить и преодолевать вескими доводами ее отчаяние и ужас.

— Хоть на сегодня,— говорила она,— хоть только на эту ночь! Завтра ты дашь знать Ролану, что мне стало дурно.

— Это невозможно, ведь Пьер вернулся домой. Соберись с силами. Завтра я все устрою. В девять часов я уже буду у тебя. Ну, надень шляпу. Я провожу тебя.

— Я сделаю все, как ты скажешь,— прошептала она благодарно и робко, с детской доверчивостью.

Она хотела встать; но испытанное ею потрясение было слишком сильно, и она не могла сделать ни шагу.

Тогда он дал ей выпить сахарной воды, понюхать нашатырного спирта, натер ей виски уксусом. Она подчинялась, разбитая, но чувствуя облегчение, как после родов.

Наконец она оправилась настолько, что могла идти, и взяла его под руку. Когда они проходили мимо городской ратуши, пробило три часа.

Проводив ее до дому, он поцеловал ее и сказал:

— До свидания, мама, не падай духом.

Она крадучись поднялась по лестнице, вошла в спальню, быстро разделась и скользнула в постель рядом с храпящим Роланом,— так, бывало, в дни молодости возвращалась она с любовного свидания.

В доме не спал один Пьер. Он слышал, как она вернулась.

VIII

Придя домой, Жан в изнеможении опустился на диван; горе и заботы, внушавшие его брату желание убежать, скрыться, подобно затравленному зверю, совсем по-другому действовали на апатичную натуру Жана. Он чувствовал себя разбитым, обессиленным, подавленным, не мог ни двигаться, ни даже лечь в постель; он ослаб телом и духом; им овладело смятение. Он не был, как Пьер, оскорблен в самом святом своем чувстве — в сыновней любви, в суровом целомудрии своего гордого сердца; Жан был раздавлен ударом судьбы, грозившим погубить его самые заветные мечты.

Когда волнение наконец улеглось, когда мысль прояснилась, как отстаивается взбаламученная вода, он попытался разобраться в том, что ему стало известно. Узнай он тайну своего рождения другим путем, он, конечно, возмутился бы, испытал бы глубокое горе; но после ссоры с братом, после этого грубого и жестокого разоблачения, после мучительной сцены с матерью и ее страстной исповеди он уже не мог возмущаться. Потрясение, испытанное его чувствительным сердцем, было так велико, что порыв неудержимой нежности смел все предрассудки, все священные правила челове-

ческой морали. Впрочем, Жан и не умел сопротивляться. Он не любил борьбы, тем более с самим собою; поэтому он смирился, а его врожденная любовь к покою, к тихой и мирной жизни заставила его задуматься об опасности, грозившей его спокойствию и спокойствию его семьи. Он ясно чувствовал эту опасность и, чтобы предотвратить ее, решил напрячь все свои силы и всю свою энергию. Ему хотелось немедленно, завтра же, найти выход: как все слабовольные люди, неспособные на упорное, настойчивое желание, он испытывал непреодолимую потребность, составляющую единственную силу слабых людей, принимать решения безотлагательно. К тому же его ум юриста, привыкший разбирать и изучать сложные положения, интимные обстоятельства в семьях, где мирный уклад жизни нарушен, тотчас же предусмотрел ближайшие последствия душевного состояния брата. Он невольно рассматривал эти последствия с профессиональной точки зрения, словно устанавливал будущие взаимоотношения своих клиентов после пережитой ими моральной катастрофы. Разумеется, постоянное общение с Пьером впредь для него невозможно, и он легко избежит этого, живя в своей квартире. Но мать тоже не должна больше оставаться под одной кровлей со старшим сыном.

Он долго размышлял, не двигаясь с места, откинувшись на подушки дивана, изобретая и отвергая различные планы, но не находил приемлемого решения.

Вдруг у него мелькнула мысль: «Оставил бы у себя честный человек то состояние, которое я получил?»

Сначала он ответил: «Нет!» — и решил отдать его бедным. Тяжело, но что делать! Он продаст свою обстановку и будет работать, как все, как работает каждый начинающий. Это мужественное и трудное решение приободрило его, он встал, подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Он был беден и снова станет бедным. Ну что ж, он не умрет от этого. Он смотрел на газовый рожок, горевший против него, на той стороне улицы. Но вот по тротуару прошла женщина, и он вспомнил о г-же Роземильи; сердце у него замерло от той острой боли, какую причиняет пришедшая на ум жестокая мысль. Все пагубные последствия такого решения сразу открылись ему. Он должен будет отказаться от же-

нитьбы на молодой вдове, отказаться от счастья, отказаться от всего. Но можно ли так поступить, когда он уже связан с ней? Она согласилась стать его женой, зная, что он богат. Будь он беден, она все равно согласилась бы, но вправе ли он принуждать ее к такой жертве? Не лучше ли сохранить деньги как вверенное ему имущество, которое он впоследствии вернет бедным? И в душе Жана, где эгоизм скрывался под личиной нравственности, все затаенные устремления вступили в ожесточенную борьбу; первоначальные упреки совести отступали перед хитроумными доводами, опять появлялись и стушевывались вновь. Он опять сел на диван и стал искать такой довод, такой убедительный предлог, который рассеял бы все сомнения и убедил бы его природную честность. Раз двадцать уже он задавал себе вопрос: «Если я сын этого человека, если я это знаю и признаю, то не естественно ли принять от него наследство?» Но этот довод не мог заглушить слова «нет», которое нашептывала ему совесть. Вдруг он подумал: «Но если я не сын того человека, кого до сих пор считал своим отцом, то я не должен больше ничего принимать от него ни при его жизни, ни после его смерти. Это было бы неблагородно и несправедливо. Это значило бы ограбить брата». Эта новая точка зрения успокоила его, облегчила совесть, и он снова подошел к окну. «Да,— говорил он себе,— я должен отказаться от наследства Ролана и оставить его целиком Пьеру, если я не сын его отца. Это справедливо. Но тогда справедливо, чтобы я оставил себе деньги моего отца».

Таким образом, признав себя не вправе воспользоваться состоянием Ролана и решив полностью отказаться от этого наследства, он согласился и примирился с тем, чтобы оставить себе состояние Марешаля, ибо, отвергнув то и другое, обрек бы себя на полную нищету.

Уладив это щекотливое дело, он обратился к вопросу о пребывании Пьера в семье. Как удалить брата? Он уже отчаялся было найти какое-нибудь практическое решение, как вдруг гудок входившего в порт парохода словно подсказал ему ответ, подал новую мысль.

Тогда он, не раздеваясь, растянулся на кровати и в раздумье пролежал до утра.

В девятом часу он вышел из дому, чтобы узнать, осуществим ли его план. Потом, предприняв кое-какие шаги и сделав несколько визитов, отправился в родительский дом. Мать ожидала его, запершись в спальне.

— Если бы ты не пришел,— сказала она,— я никогда не решилась бы сойти вниз.

Тут раздался голос Ролана, кричавшего с лестницы:

— Что же, черт побери, мы сегодня совсем есть не будем?

Ему не ответили, и он заорал:

— Жозефина, где вас нелегкая носит? Что вы делаете?

Из подвала донесся голос служанки:

— Я здесь, сударь, что угодно?

— Где хозяйка?

— Хозяйка наверху с господином Жаном.

Задрав голову, Ролан проревел:

— Луиза!

Г-жа Ролан приоткрыла двери и ответила:

— Что, дружок?

— Завтракать пора, черт побери!

— Идем, дружок.

И она спустилась вниз вместе с Жаном.

Ролан, увидев сына, воскликнул:

— Ты откуда? Уже соскучился на новой квартире?

— Нет, отец, мне просто нужно было поговорить с мамой.

Жан подошел к нему поздороваться и от отеческого рукопожатия старика почувствовал вдруг щемящую тоску, тоску разлуки и безвозвратного прощания.

Г-жа Ролан спросила:

— Пьер не пришел?

Ролан пожал плечами:

— Нет еще. Да он постоянно опаздывает. Начнем без него.

Она обернулась к Жану:

— Позвал бы ты его; он обижается, когда его не подождут.

— Хорошо, мама.

Жан вышел. Он поднялся по лестнице с лихорадоч-

ной решимостью малодушного человека, идущего на бой.

Он постучал в дверь. Пьер ответил:

— Войдите.

Жан вошел. Пьер писал, склонившись над столом.

— Здравствуй,— сказал Жан.

Пьер встал.

— Здравствуй.

И они обменялись рукопожатием, как будто ничего не произошло.

— Ты разве не пойдешь завтракать?

— Я... дело в том... что я очень занят.

Голос старшего брата дрожал, и его тревожный взор, казалось, спрашивал у младшего, как поступить.

— Тебя ждут.

— Да?.. Мама внизу?

— Внизу. Она и послала меня за тобой.

— Да?.. Ну тогда... пойдем.

У двери столовой он остановился, не решаясь войти первым, потом рывком открыл дверь и увидел отца и мать, сидящих за столом друг против друга.

Сначала он подошел к матери, не поднимая глаз, не произнося ни слова, и, наклонившись, подставил ей лоб для поцелуя, как делал это с некоторых пор, вместо того, чтобы самому поцеловать ее, как бывало, в обе щеки. Он догадался, что ее губы приблизились к его лицу, но не ощутил их прикосновения и с бьющимся сердцем выпрямился после этой мнимой ласки.

Он спрашивал себя: «О чем они говорили после моего ухода?»

Жан нежно повторял «мама», «мамочка», ухаживал за ней, передавал ей кушанья, наполнял стакан. Пьер понял, что они плакали вместе, но не мог проникнуть в их мысли. Осуждал ли Жан свою мать, считал ли брата негодяем?

И все упреки, которые Пьер делал себе за то, что открыл ужасную тайну, снова стали осаждать его, сдавливая ему горло, зажимая рот, не давая ни есть, ни говорить.

Теперь им владело страстное желание — бежать, покинуть этот дом, который стал ему чужим, бежать от этих людей, которых связывали с ним лишь едва

уловимые нити. И ему захотелось уехать тотчас же, все равно куда: он чувствовал, что все кончено, что он не может больше оставаться с ними, что он невольно мучил бы их одним своим присутствием и что они обрекли бы его на непрестанную, невыносимую пытку.

Жан разговаривал с Роланом, о чем-то рассказывая. Пьер пропускал мимо ушей его слова и не вникал в их смысл. Но ему почудилось что-то особенное в голосе брата, и он наконец заставил себя прислушаться.

Жан говорил:

— Это будет, по-видимому, самое красивое судно во всем флоте. Водоизмещением в шесть тысяч пятьсот тонн. Через месяц оно пойдет в первое плавание.

Ролан удивился:

— Уже! А я думал, что его этим летом еще не спустят на воду.

— Работы ускорили, чтобы уйти в первый рейс еще до осени. Сегодня утром я заходил в контору Компании и беседовал с одним из директоров.

— А-а! С кем же?

— С господином Маршаном, личным другом председателя правления.

— Вот как, ты с ним знаком?

— Да. Кроме того, у меня была к нему небольшая просьба.

— Ага! Значит, ты смог бы устроить, чтобы мне разрешили осмотреть «Лотарингию», как только она войдет в порт?

— Конечно, ничего нет легче.

Жан явно мялся, подыскивая слова, не зная, как перейти к дальнейшему. Он продолжал:

— Надо сказать, что жизнь, которую ведут на этих океанских пароходах, не лишена приятности. Больше половины времени экипаж проводит на суше в двух великолепных городах — Нью-Йорке и Гавре, остальное же время — в море, среди очень милых людей. Можно завязывать знакомства среди пассажиров, весьма интересные и полезные для будущего, да, да, очень полезные. Подумать только, что капитан, экономя на угле, может заработать двадцать пять тысяч франков в год, если не больше...

Ролан произнес: «Здóрово!» — и присвистнул, что

свидетельствовало о глубоком его уважении и к сумме и к капитану.

Жан продолжал:

— Судовой комиссар получает около десяти тысяч жалованья, а врач — до пяти тысяч, не считая квартиры, стола, освещения, отопления, услуг и так далее, и так далее. В общей сложности по крайней мере тысяч десять. Весьма и весьма недурно!

Пьер поднял голову, встретился с братом глазами — и понял.

Немного погодя он спросил:

— А трудно получить место врача на океанском пароходе?

— И да и нет. Все зависит от обстоятельств и от протекции.

Наступило длительное молчание, потом Пьер продолжал:

— Так «Лотарингия» уходит в будущем месяце?

— Да, седьмого числа.

И снова наступило молчание.

Пьер размышлял. Да, все разрешится само собой, если он станет врачом на этом пароходе. Что будет дальше, покажет время; потом можно и бросить эту службу. Теперь же ему надо зарабатывать себе на жизнь, не одолжаясь у родителей. Позавчера он продал часы, потому что уже не попросит денег у матери. И нет у него иного крова, иной постели, нет никаких средств к существованию: он вынужден есть только тот хлеб и спать только в той постели, которые ему дают в этом доме, а жить в этом доме он больше не в силах! И он сказал нерешительно:

— Если возможно, я охотно уехал бы на «Лотарингии».

Жан спросил:

— Что же тут невозможного?

— Я никого не знаю в Трансатлантической компании.

Ролан недоумевал:

— А все твои великие планы, твоя карьера? Как же с ними?

Пьер негромко ответил:

— Иногда нужно идти на жертвы и отказываться

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

от самых заветных надежд. Впрочем, это — только начало, только средство сколотить несколько тысяч франков, чтобы затем устроиться.

Отец тотчас же согласился с его доводами:

— Это верно. За два года ты скопишь шесть — семь тысяч франков, и если их удачно поместить, то можно далеко пойти. Как ты думаешь, Луиза?

Она тихо, чуть слышно ответила:

— Я думаю, что Пьер прав.

Ролан воскликнул:

— Ну, так я поговорю об этом с господином Пуленом, я с ним хорошо знаком! Он судья в коммерческом суде и ведет дела Компании. Кроме того, я знаю еще господина Леньяна, судовладельца, который близок с одним из вице-председателей.

Жан спросил брата:

— Если хочешь, я сегодня же узнаю кое-что у господина Маршана?

— Пожалуйста.

Подумав немного, Пьер продолжал:

— Может быть, хорошо будет написать моим бывшим учителям в Медицинской школе; они были ко мне очень расположены. На эти суда нередко попадают круглые невежды. Благоприятные отзывы профессоров Ма-Русселя, Ремюзо, Флаша и Борикеля решат дело быстрей всяких сомнительных рекомендаций. Достаточно будет предъявить эти письма правлению через твоего приятеля, господина Маршана.

Жан горячо одобрил это:

— Блестящая, просто блестящая мысль!

И он уже улыбался, успокоенный, почти довольный, уверенный в успехе; долго огорчаться было не в его характере.

— Напиши им сегодня же,— сказал он.

— Непременно... Сейчас же займусь этим. Я сегодня не буду пить кофе, у меня что-то нервы разгулялись.

Он встал и вышел. Жан повернулся к матери:

— А ты, мама, что делаешь сегодня?

— Право, не знаю... Ничего...

— Не хочешь ли зайти со мной к госпоже Роземильи?

— Да... хочу... да...

— Ты же знаешь... я сегодня непременно должен быть у нее.

— Да... да... верно.

— Почему непременно? — спросил Ролан, по обыкновению не понимая того, что говорилось в его присутствии.

— Потому что я обещал.

— Ага, вот что. Тогда другое дело.

И он принялся набивать трубку, а мать и сын поднялись наверх, чтобы надеть шляпы.

Когда они вышли на улицу, Жан предложил:

— Возьми меня под руку, мама.

Раньше он никогда этого не делал: у них была привычка идти рядом. Но она согласилась и оперлась на его руку.

Некоторое время они шли молча. Потом он сказал:

— Видишь, Пьер охотно согласился уехать.

Она прошептала:

— Бедный мальчик!

— Почему бедный? Он отлично устроится на «Лотарингии».

— Да... знаю, но я думаю о другом...

Она молчала, идя в ногу с сыном, опустив голову, в глубокой задумчивости; потом промолвила тем особенным тоном, каким подводят итог долгой и тайной работе мысли:

— Какая мерзость — жизнь! Если когда-нибудь и выпадет тебе на долю немного счастья, то насладиться им грешно, и за него расплачиваешься после дорогой ценой.

Он прошептал чуть слышно:

— Не надо больше об этом, мама.

— Разве это мыслимо? Я только об этом и думаю.

— Ты забудешь.

Она помолчала и прибавила, тяжело вздохнув:

— Ах, как бы я могла быть счастлива, если бы вышла замуж за другого человека!

Теперь она чувствовала озлобление против Ролана; она винила в своих грехах, в своем несчастье его уродство, глупость, простоватость, тупоумие, вульгарную внешность. Именно этому, именно заурядности этого че-

ловека она обязана тем, что изменила ему, что довела до отчаяния одного из своих сыновей и сделала другому сыну мучительнейшее признание, от которого исходило кровью ее материнское сердце.

Она прошептала:

— Как ужасно для молодой девушки выйти замуж за человека вроде моего мужа!

Жан не отвечал. Он думал о том человеке, чьим сыном до сих пор считал себя; смутное представление о посредственности старика, давно уже сложившееся у него, постоянная ирония брата, высокомерное равнодушие посторонних, вплоть до презрительного отношения к Ролану их служанки,— все это, может быть, уже подготовило его к страшному признанию матери. Ему не так уж трудно было привыкнуть к мысли, что он сын другого отца, и если после вчерашнего потрясения в нем не поднялись негодование и гнев, как того боялась г-жа Ролан, то именно потому, что он уже издавна, безотчетно страдал от сознания, что он сын этого простоватого увальня.

Они подошли к дому г-жи Роземильи.

Она жила на дороге в Сент-Адресс, в третьем этаже собственного большого дома. Из окон ее открывался вид на рейд гаврского порта.

Г-жа Ролан вошла первой, и г-жа Роземильи, вместо того чтобы, как обычно, протянуть ей обе руки, раскрыла объятия и поцеловала гостью, ибо догадалась о цели ее посещения.

Мебель в гостиной, обитая тисненым плюшем, всегда стояла под чехлами. На стенах, оклеенных обоями в цветочках, висели четыре гравюры, купленные ее первым мужем, капитаном дальнего плавания. На них были изображены чувствительные сцены из жизни моряков. На первой жена рыбака, стоя на берегу, махала платочком, а на горизонте исчезал парус, увозивший ее мужа. На второй та же женщина, на том же берегу, под небом, исполосованным молниями, упав на колени и ломая руки, вглядывалась вдаль, в море, где среди непомерно высоких волн тонула лодка ее мужа.

Две другие гравюры изображали подобные же сцены, но из жизни высшего класса общества. Молодая блондинка мечтает, облокотясь на перила большого

отходящего парохода. Полными слез глазами она с тоскою смотрит на уже далекий берег.

Кого покинула она?

Дальше та же молодая женщина сидит в кресле у открытого окна, выходящего на океан. Она в обмороке. С ее колен соскользнуло на ковер письмо.

Итак, он умер! Какое горе!

Посетителей всегда трогала и восхищала немудреная поэзия этих печальных картин. Все сразу было понятно, без объяснений и догадок, и бедных женщин жалели, хотя и нельзя было точно установить, в чем заключалось горе более нарядной из них. Но эта неизвестность даже способствовала игре воображения. Она, наверно, потеряла жениха! С самого порога эти четыре гравюры притягивали к себе взор; он приковывался к ним, как завороженный, а если его отводили, он опять возвращался к ним и опять созерцал различные выражения лиц двух женщин, похожих друг на друга, как сестры. Четкий, законченный, тщательно выполненный рисунок, изящный, на манер модной картинки, лакированные рамочки, мебель — все дышало чистотой и педантической аккуратностью. Стулья и кресла были выстроены в неизменном порядке — одни вдоль стены, другие у круглого стола. Складки белых, без единого пятнышка занавесок падали так прямо и ровно, что их невольно хотелось измять; ни пылинки не было на стеклянном колпаке, под которым золоченые часы в стиле ампир — земной шар, поддерживаемый коленопреклоненным Атласом,— казалось, дозревали, как дыня в теплице.

Г-жа Ролан и г-жа Роземильи, усаживаясь, несколько нарушили обычный строй стульев.

— Вы сегодня не выходили? —спросила г-жа Ролан.

— Нет. Признаться, я еще чувствую себя немного усталой.

И, как бы желая поблагодарить Жана и его мать, г-жа Роземильи заговорила об удовольствии от прогулки и ловли креветок.

— Знаете,— говорила она,— я съела сегодня своих креветок. Они были восхитительны. Если хотите, мы как-нибудь повторим прогулку...

Жан прервал ее:

— Прежде чем начинать вторую, мы, быть может, закончим первую?

— Как это? Мне кажется, она закончена.

— Сударыня, среди утесов Сен-Жуэна мне тоже кое-что удалось поймать, и я очень хочу унести эту добычу к себе домой.

Она спросила с наивным и лукавым видом:

— Вы? Что же именно? Что вы там нашли?

— Жену! И мы с мамой пришли спросить, не переменила ли она за ночь своего решения.

Она улыбнулась.

— Нет, сударь, я никогда не меняю своего решения.

Он протянул ей руку, и она быстрым и уверенным движением вложила в нее свою.

— Как можно скорее, не правда ли? — спросил он.

— Когда хотите.

— Через шесть недель?

— Я на все согласна. А что скажет моя будущая свекровь?

Г-жа Ролан ответила с немного грустной улыбкой:

— Что же мне сказать? Я только благодарна вам за Жана, потому что вы сделаете его счастливым.

— Постараюсь, мама.

Г-жа Роземильи, впервые слегка умилившись, поднялась, заключила г-жу Ролан в объятия и стала целовать ее, как ребенок; от этой непривычной ласки наболевшее сердце бедной женщины забилось сильнее. Она не могла бы объяснить свое волнение. Ей было грустно и радостно. Она теряла сына, взрослого сына, и получала вместо него взрослую дочь.

Женщины снова сели, взялись за руки, с улыбкой глядя друг на друга, и, казалось, забыли о Жане. Потом они заговорили о том, что́ следовало обдумать и предусмотреть для будущей свадьбы; когда все было решено и условлено, г-жа Роземильи, как бы случайно вспомнив об одной мелочи, спросила:

— Вы, конечно, посоветовались с господином Роланом?

Краска смущения залила щеки матери и сына.

— О, это не нужно! — ответила мать.

Она замялась, чувствуя, что какое-то объяснение необходимо, и добавила:

— Мы все решаем сами, ничего ему не говоря. Достаточно сообщить ему об этом после.

Г-жа Роземильи нисколько не удивилась и улыбнулась, находя это вполне естественным: Ролан-отец значил так мало!

Когда г-жа Ролан с сыном опять вышли на улицу, она сказала:

— Не зайти ли нам к тебе? Мне так хочется отдохнуть!

Она чувствовала себя лишенной приюта и крова, потому что страшилась собственного жилища.

Они вошли в квартиру Жана. Как только дверь закрылась, г-жа Ролан глубоко вздохнула, словно за этими стенами была в полной безопасности; потом, вместо того чтобы отдохнуть, она принялась отворять шкафы, считать стопки белья, проверять количество носовых платков и носков. Она изменила порядок, разложила вещи по своему вкусу, разделила белье на носильное, постельное и столовое, и когда все полотенца, кальсоны и рубашки были разложены по соответствующим полкам, она отступила на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, и сказала:

— Жан, поди-ка посмотри, как теперь красиво.

Он встал и похвалил, чтобы доставить ей удовольствие.

Когда он снова сел в кресло, она бесшумно подошла сзади и поцеловала его, обняв за шею правой рукой; в то же время она положила на камин какой-то небольшой предмет, завернутый в белую бумагу, который держала в левой руке.

— Что это? — спросил он.

Она не отвечала; по форме рамки он понял, что это такое.

— Дай! — сказал он.

Но она притворилась, что не слышит, и вернулась к бельевому шкафу. Он встал, взял в руки предательскую реликвию и, пройдя в другой конец комнаты, запер портрет в ящик письменного стола, дважды повернув ключ в замке. Кончиком пальца смахнув с ресниц

набежавшую слезу, г-жа Ролан сказала чуть дрожащим голосом:

— Пойду посмотрю, хорошо ли убирает кухню твоя новая служанка. Сейчас она ушла, и я как следует все проверю.

IX

Рекомендательные письма профессоров Ма-Русселя, Ремюзо, Флаша и Борикеля были написаны в выражениях, самых лестных для их ученика, доктора Пьера Ролана. Г-н Маршан представил их правлению Трансатлантической компании, где кандидатура Пьера получила поддержку со стороны гг. Пулена, председателя коммерческого суда, Леньяна, крупного судовладельца, и Маривaля, помощника гаврского мэра и личного друга капитана Босира.

Место врача на «Лотарингии» еще было свободно, и Пьеру за несколько дней удалось получить назначение.

Письмо, уведомившее его об этом, было вручено ему однажды утром Жозефиной, когда он кончал одеваться.

В первую минуту он почувствовал себя, словно осужденный на казнь, которому объявляют о смягчении кары; душевная боль сразу притупилась, стоило ему подумать о предстоящем отъезде, о том, как спокойно он будет жить, убаюканный морской волной, вечно кочующей, вечно бегущей.

Он жил теперь в отчем доме словно чужой, молчаливо и обособленно.

С того вечера, когда он в порыве гнева открыл брату позорную тайну их семьи, он чувствовал, что его последние связи с родными порвались. Его мучило раскаяние, оттого что он проговорился об этом Жану. Он считал свой поступок отвратительным, подлым, злым, и в то же время это принесло ему облегчение.

Теперь он никогда не встречался глазами с матерью и с братом. Их взоры избегали друг друга, а их глаза приобрели необыкновенную подвижность, научились хитрить, как противники, не смеющие скрестить оружие. Все время он спрашивал себя: «Что она сказала

Жану? Призналась или отрицала? Что думает брат? Что он думает о ней, обо мне?» Он не мог угадать, и это приводило его в отчаяние. Впрочем, он почти не разговаривал с ними, разве только в присутствии Ролана, чтобы избежать вопросов старика.

Получив письмо о назначении, он в тот же день показал его семье. Отец, склонный радоваться решительно всему, захлопал в ладоши. Жан, скрывая ликование, сказал сдержанно:

— Поздравляю тебя от всего сердца; я ведь знаю, как много у тебя было соперников. Назначением ты обязан, конечно, письмам своих профессоров.

А мать, опустив голову, чуть слышно прошептала:

— Я очень счастлива, что тебе это удалось.

После завтрака он пошел в контору Компании, чтобы навести все справки; он спросил там и фамилию врача уходящей на следующий день «Пикардии», чтобы осведомиться у него об условиях своей новой жизни и о тех особенностях, с которыми придется столкнуться.

Так как доктор Пирет находился на борту, Пьер отправился на пароход, где в маленькой каюте его принял молодой человек с белокурой бородой, похожий на Жана. Беседа их длилась долго.

В гулких недрах гигантского судна слышался неясный непрерывный шум; к стуку от падения ящиков с товарами, опускаемых в трюм, примешивались топот ног, звуки голосов, скрип погрузочных машин, свистки боцманов, лязг цепей лебедок, приводимых в движение хриплым дыханием паровых котлов, от которого содрогался весь огромный корпус судна.

Когда Пьер распрощался со своим коллегой и очутился на улице, тоска вновь охватила его, обволокла, точно морской туман, который примчался с края света и таит в своей бесплотной толще что-то неуловимое и нечистое, как зачумленное дыхание далеких вредоносных болот.

Никогда еще, даже в часы самых страшных мук, Пьер не сознавал с такой остротой, как затягивает его омут отчаяния. Последняя нить была порвана; ничто больше его не удерживало. Когда он исторгал из сердца все, что связывало его с родными, он еще не испы-

тывал того гнетущего чувства заблудившейся собаки, которое внезапно охватило его теперь.

Это была уже не мучительная нравственная пытка, но ужас бездомного животного, физический страх бездомного скитальца, на которого готовы обрушиться дождь, ветер, бури, все жестокие силы природы. Когда он ступил на пароход, вошел в крошечную каюту, качаемую волнами, вся его плоть, плоть человека, привыкшего спать в неподвижной и покойной постели, возмутилась против неустойчивости грядущих дней. До сих пор его защищала крепкая стена, глубоко врытая в землю, уверенность в отдыхе на привычном месте, под крышей, которой не страшен напор ветра. Теперь же все то, что не пугает нас, когда мы сидим в тепле и уюте, за запертыми дверями, превратится для него в опасность, в постоянное страдание.

Уже не будет земли под ногами — только море, бурное, ревущее, готовое поглотить. Не будет простора, где можно гулять, бродить, блуждать по дорогам, а лишь несколько метров деревянного настила, где придется шагать, словно преступнику, среди других арестантов. Не будет больше ни деревьев, ни садов, ни улиц, ни зданий — ничего, кроме воды и облаков. И все время он будет чувствовать, как под ним качается корабль. В непогоду придется прижиматься к стенкам, хвататься за двери, цепляться за край узкой койки, чтобы не упасть на пол. В дни штиля он будет слышать прерывистый храп винта и ощущать ход своего корабля — безостановочный, ровный, однообразный до одурения.

И на эту жизнь каторжника-бродяги он осужден только за то, что мать его отдавалась чьим-то ласкам.

Он шел куда глаза глядят, изнемогая от безысходной тоски, которая гложет человека, навеки покидающего родину.

Он уже не смотрел с высокомерным пренебрежением, с презрительной неприязнью на незнакомых прохожих: теперь ему хотелось заговорить с ними, сказать им, что он скоро покинет Францию, ему хотелось, чтобы его выслушали и пожалели. Это было унизительное чувство нищего, протягивающего руку, робкое, но

неодолимое желание убедиться, что кто-то скорбит о его отъезде.

Он вспомнил о Маровско. Один лишь старый поляк любил его настолько, чтобы искренне огорчиться. Пьер решил зайти к нему.

Когда он вошел в аптеку, старик, растиравший порошки в мраморной ступке, встрепенулся и бросил работу.

— Вас что-то совсем не видно,— сказал он.

Пьер ответил, что у него было много хлопот, не объяснив, однако, в чем они состояли; потом сел на стул и спросил аптекаря:

— Ну, как дела?

Дела были плохи: конкуренция отчаянная, больных мало, да и то бедняки — ведь это рабочий квартал. Лекарства покупают только дешевые, и врачи никогда не прописывают тех редких и сложных снадобий, на которых можно нажить пятьсот процентов. В заключение старик сказал:

— Если так продолжится еще месяца три, лавочку придется прикрыть. Я только на вас и рассчитываю, милый доктор, а то давно уже стал бы чистильщиком сапог.

У Пьера сжалось сердце, и он решил, раз уж это неизбежно, нанести удар сразу:

— Я... я больше ничем не могу вам помочь. В начале будущего месяца я уезжаю из Гавра.

Маровско от волнения даже снял очки.

— Вы... вы... что вы сказали?..

— Я сказал, что уезжаю, друг мой...

Старик был потрясен,— рушилась его последняя надежда; и внезапно он возмутился. Он последовал за этим человеком, любил его, доверял ему, а тот вдруг покидает его.

Он пробормотал:

— Неужели и вы измените мне?

Пьера тронула преданность старика, и он чуть было не обнял его:

— Но я вам вовсе не изменяю. Мне не удалось устроиться здесь, и я уезжаю врачом на океанском пароходе.

— Ах, господин Пьер! Вы же обещали поддержать меня!

— Что поделаешь! Мне самому жить надо. У меня ведь нет ни гроша за душой.

Маровско повторял:

— Нехорошо, нехорошо вы поступаете. Теперь мне остается только умереть с голоду. В мои годы не на что больше надеяться. Нехорошо. Вы бросаете на произвол судьбы несчастного старика, который приехал сюда ради вас. Нехорошо.

Пьер хотел объясниться, возразить, привести свои доводы, доказать, что он не мог поступить иначе, но поляк не слушал его, возмущенный отступничеством друга, и в конце концов сказал, намекая, видимо, на политические события:

— Все вы, французы, таковы: не умеете держать слово.

Тогда Пьер, тоже задетый за живое, встал и ответил несколько высокомерно:

— Вы несправедливы, папаша Маровско. Чтобы решиться на то, что я сделал, нужны были очень веские причины, и вам бы следовало это понять. До свидания. Надеюсь, в следующую нашу встречу вы будете более благоразумны.

И Пьер вышел.

«Итак,— подумал он,— нет никого, кто бы обо мне искренне пожалел».

Мысль его продолжала искать, перебирая всех знакомых или людей, которых он знавал когда-то, и среди вспомнившихся ему лиц перед ним вдруг мелькнуло лицо той служанки из пивной, которая впервые заронила в него подозрение против матери.

Пьер колебался; он еще питал к ней невольную неприязнь, но потом подумал: «Все-таки она ведь оказалась права!» И он стал соображать, какою улицей пройти в пивную.

День был праздничный; в пивной на этот раз было полно народу и табачного дыма. Посетители — лавочники и рабочие — требовали пива, смеялись, кричали; сам хозяин сбился с ног, перебегая от столика к столику, забирая пустые кружки и принося их налитые, с пеною по края.

Найдя себе место неподалеку от стойки, Пьер уселся и стал ждать, надеясь, что служанка заметит его и узнает.

Но она пробегала мимо, кокетливо покачиваясь, шурша юбкой, семеня ножками, и ни разу не взглянула на него.

В конце концов он постучал монетой о стол.

Она подбежала:

— Что угодно, сударь?

Она не смотрела на него, поглощенная подсчетом поданных кружек.

— Вот тебе на! — заметил он.— Разве так здороваются с друзьями?

Она взглянула на него и сказала торопливо:

— Ах, это вы! Сегодня вы интересный. Но только мне некогда. Вам кружку пива?

— Да.

Когда она принесла пиво, он проговорил:

— Я пришел проститься с тобой. Я уезжаю.

Она равнодушно ответила:

— Вот как? Куда же?

— В Америку.

— Говорят, это чудная страна.

Только и всего. Дернуло его заводить с нею разговор в такой день, когда кафе переполнено!

Пьер направился к морю. Дойдя до мола, он увидел «Жемчужину», на которой возвращались на берег его отец и капитан Босир. Матрос Папагри греб, а друзья-рыболовы, сидя на корме, попыхивали трубками; лица их так и сияли счастьем. Глядя на них с мола, доктор подумал: «Блаженны нищие духом». Он сел на одну из скамей у волнореза в надежде подремать, забыться, уйти в тупое оцепенение.

Когда вечером он вернулся домой, мать сказала ему, не решаясь поднять на него глаза:

— Тебе к отъезду понадобится много вещей, и я в затруднении. Я уже заказала тебе белье и условилась с портным относительно платья; но, может быть, нужно еще что-нибудь, чего я не знаю?

Он открыл было рот, чтобы ответить: «Нет, мне ничего не нужно». Но тут же подумал, что ему необходи-

мо по крайней мере прилично одеться, и ровным голосом ответил:

— Я еще точно не знаю, справлюсь в Компании.

Он так и сделал, и ему дали список необходимых вещей. Принимая этот список из его рук, мать в первый раз за долгое время взглянула на него; в ее глазах было покорное, кроткое и молящее выражение, как у побитой собаки, которая просит пощады.

Первого октября «Лотарингия» прибыла из Сен-Назэра в Гаврский порт с тем, чтобы седьмого числа того же месяца отправиться к месту назначения, в Нью-Йорк; Пьеру Ролану предстояло перебраться в тесную плавучую каморку, в которой отныне будет заточена его жизнь.

На другой день, выходя из дому, он столкнулся на лестнице с поджидавшей его матерью.

— Хочешь, я помогу тебе устроиться в твоей каюте? — еле внятно спросила она.

— Нет, спасибо, все уже сделано.

Она прошептала:

— Мне так хотелось бы взглянуть на нее.

— Не стоит. Там очень неуютно и тесно.

Он прошел мимо, она же прислонилась к стене, сраженная, мертвенно бледная.

Ролан, уже успевший посетить «Лотарингию», за обедом шумно восторгался ее великолепием и не мог надивиться, что жена не проявляет желания осмотреть пароход, на котором уезжает их сын.

В последующие дни Пьер почти не виделся с родными. Он был угрюм, раздражителен, груб; его резкие слова, казалось, бичевали решительно всех. Но накануне отъезда он вдруг отошел, смягчился. Ночь он должен был в первый раз провести на борту парохода; вечером, прощаясь с родителями, он спросил:

— Придете завтра на судно проститься со мной?

Ролан вскричал:

— Еще бы, еще бы, черт побери! Правда, Луиза?

— Разумеется,— тихо сказала она.

Пьер продолжал:

— Мы снимаемся в одиннадцать. Надо быть там самое позднее в половине десятого.

— Знаешь что? — воскликнул отец.— Блестящая

мысль! Когда мы простимся с тобой, мы побежим, сядем на «Жемчужину» и будем поджидать «Лотарингию» за молом, чтобы увидеть тебя еще раз. Как ты думаешь, Луиза?

— Да, конечно.

Ролан продолжал:

— Если стоять на молу со всей толпой, которая придет поглазеть на океанский пароход, ты ни за что нас не разглядишь. Одобряешь мою мысль?

— Конечно, одобряю. Отлично.

Час спустя Пьер лежал на своей морской койке, узкой и длинной, как гроб. Он долго лежал с открытыми глазами, думая обо всем, что произошло за эти два месяца в его жизни и особенно в его душе. Он так мучился сам и так мучил других, что в конце концов воинственное, мстительное горе истощило себя, как притупившееся лезвие. У него уже не хватало сил сердиться на кого-либо за что бы то ни было; он махнул рукой на свой праведный гнев и на свою жизнь. Он так устал бороться, наносить удары, ненавидеть, так устал от всего, что совсем обессилел, и только пытался усыпить свои чувства, погрузиться в забвение, как погружаются в беспробудный сон. Он слышал вокруг себя невнятные, непривычные шумы корабля, легкие шорохи, едва различимые в тихую ночь стоянки, и глубокая рана, которая два месяца так жестоко жгла ему душу, теперь только ныла, как заживающий рубец.

Он крепко спал до тех пор, пока топот ног матросов не разбудил его. Было уже утро, и на пристань прибыл поезд. Он привез пассажиров из Парижа.

Пьер стал бродить по пароходу среди озабоченных, суетящихся людей, которые разыскивали свои каюты, перекликались, спрашивали о чем-то и отвечали невпопад в суматохе предстоящего путешествия. Поздоровавшись с капитаном, пожав руку своему сослуживцу, судовому комиссару, он вошел в кают-компанию, где несколько англичан уже дремали по углам. Это была большая комната с облицованными белым мрамором стенами и с золоченым багетом; в высоких зеркалах отражались казавшиеся бесконечными ряды длинных столов и вращающихся стульев, крытых алым бархатом. Словом, это был плавучий холл, огромный плаву-

чий космополитический холл, где собираются за общим столом богачи всех частей света. Бьющая в глаза роскошь была та же, что в больших отелях, в театрах, в общественных местах,— крикливая и безвкусная, ласкающая глаз миллионеров.

Пьер уже собирался пройти в ту часть корабля, которая была отведена для второго класса, как вдруг вспомнил, что накануне вечером на судно погрузили большую партию эмигрантов, и спустился в межпалубное помещение. Когда он очутился там, у него перехватило дыхание от тошнотворного запаха, свойственного нищему и грязному люду, от зловония человеческого тела, зловония более отвратительного, чем запах звериной шерсти или щетины. В каком-то подобии подземелья, темном и низком, как забои в рудниках, сотни мужчин, женщин и детей лежали на дощатых нарах или, сбившись в кучу, сидели на полу. Пьер не мог рассмотреть их лица; он видел только толпу грязных, оборванных людей, толпу отверженных, наголову разбитых жизнью. Измученные, раздавленные, они уезжали вместе с изможденными женами и детьми-заморышами в неведомые края, теша себя надеждой, что там, быть может, они не умрут с голоду.

Пьер думал о многолетнем труде этих людей, труде упорном и напрасном, об их бесплодных усилиях, об ожесточенной, ежедневно и тщетно возобновляемой борьбе, об энергии, растраченной этими несчастными, которые намеревались заново начать неведомо где такую же жизнь безысходной нужды, и ему хотелось крикнуть им: «Да бросайтесь вы лучше в воду со своими самками и детенышами!» И сердце его так заныло от жалости, что он поспешил уйти, не в силах больше выносить этого зрелища.

Отец, мать, брат и г-жа Роземильи уже поджидали его в каюте.

— Так рано? — сказал он.

— Да,— дрожащим голосом ответила г-жа Ролан,— нам хотелось побыть с тобою подольше.

Он взглянул на нее. Она была в черном, точно в трауре, и он заметил вдруг, что ее волосы, месяц назад

только начинавшие седеть, теперь почти совсем побелели.

Ему стоило больших трудов усадить четверых гостей в своей тесной каюте; сам он сел на койку. Дверь оставалась открытой, и мимо нее толпами сновали люди, точно по улице в праздничный день; огромный пароход кишел провожающими и целой армией любопытных. Они расхаживали по коридорам, салонам и даже просовывали голову в каюту, а за дверью раздавался шепот: «Это — помещение врача».

Пьер задвинул дверь, но, как только очутился наедине со своими, ему захотелось опять открыть ее, потому что в суете, царившей на пароходе, не так заметно было, что все смущены и не знают, о чем говорить.

Г-жа Роземильи решилась наконец прервать молчание.

— Сквозь эти оконца проходит очень мало воздуха,— заметила она.

— Это иллюминатор,— ответил Пьер.

Он показал, какое у иллюминатора толстое стекло, способное выдерживать самые сильные толчки, а затем пространно объяснил систему затвора. Ролан, в свою очередь, спросил:

— У тебя здесь и аптечка?

Пьер открыл шкаф и показал целый набор склянок с латинскими названиями на белых бумажных наклейках.

Он вынул одну из склянок, перечисляя все свойства содержащегося в ней вещества, потом вторую, третью и прочел настоящий курс терапии, который все слушали, казалось, с большим вниманием.

Ролан приговаривал, покачивая головой:

— До чего же это интересно!

В дверь тихо постучали.

— Войдите! — крикнул Пьер.

Вошел капитан Босир. Он сказал, пожимая руки:

— Я пришел попозже, не хотел мешать излияниям родственных чувств.

Ему тоже пришлось сесть на койку. И снова воцарилось молчание.

Вдруг капитан насторожился. Через перегородку до него долетели слова команды, и он объявил:

— Пора идти. А то не успеем сесть на «Жемчужину» и вовремя попрощаться с вами в открытом море.

Ролан-отец, который очень на этом настаивал, вероятно, потому, что хотел произвести впечатление на пассажиров «Лотарингии», вскочил с места:

— Ну, прощай, сынок.

Он поцеловал Пьера в бакенбарды и отворил дверь.

Г-жа Ролан не двинулась с места; глаза ее были опущены, лицо еще больше побледнело.

Муж тронул ее за локоть:

— Скорей, скорей, нельзя терять ни минуты.

Она встала, шагнула к сыну и подставила ему сначала одну, потом другую щеку восковой белизны; он поцеловал ее, не говоря ни слова. Потом он пожал руку г-же Роземильи и брату, спросив при этом:

— Когда свадьба?

— Еще точно не знаем. Мы приурочим ее к одному из твоих приездов.

Наконец все вышли из каюты и поднялись на палубу, запруженную пассажирами, носильщиками и матросами.

Пар громко шипел в огромном чреве парохода, казалось, дрожавшего от нетерпения.

— Прощай, — торопливо сказал Ролан.

— Прощайте,— ответил Пьер, стоя у деревянных сходней, соединявших «Лотарингию» с пристанью.

Он еще раз пожал руки родным, и они ушли.

— Скорей, скорей садитесь! — кричал Ролан.

Поджидавший фиакр доставил их к внешней гавани, где Папагри уже держал «Жемчужину» наготове.

Не было ни малейшего ветра; стоял один из тех ясных, тихих осенних дней, когда морская гладь кажется холодной и твердой, как сталь.

Жан схватил одно весло, Папагри другое, и они принялись грести. На волнорезе, на обоих молах, даже на гранитном парапете огромная толпа, суетливая, шумная, поджидала «Лотарингию».

«Жемчужина», пройдя между двумя людскими валами, вскоре очутилась за молом.

Капитан Босир, сидя между обеими женщинами, правил рулем, то и дело повторяя:

— Вот увидите, мы окажемся как раз на его пути, точка в точку.

Оба гребца изо всех сил налегали на весла, чтобы уйти подальше. Вдруг Ролан воскликнул:

— Вот она! Я вижу ее мачты и обе трубы. Она выходит из гавани.

— Живей, ребята! — подгонял Босир.

Г-жа Ролан достала носовой платок и приложила его к глазам.

Ролан стоял, уцепившись за мачту, и возглашал:

— Сейчас она лавирует во внешней гавани... Остановилась... Опять пошла... Пришлось взять буксир... Идет... Браво! Проходит между молами!.. Слышите, как кричит толпа?.. браво!.. Ее ведет «Нептун»... Уже виден нос... вот она, вот она... Черт возьми, какая красота! Черт возьми! Вы только поглядите!..

Г-жа Роземильи и Босир обернулись; мужчины перестали грести; одна только г-жа Ролан не шевелилась.

Гигантский пароход, влекомый мощным буксиром, который рядом с ним походил на гусеницу, медленно и величественно выходил из порта. И жители Гавра, сгрудившиеся на молах, на берегу, у окон, внезапно охваченные патриотическим порывом, стали кричать: «Да здравствует «Лотарингия»!» — приветствуя корабль и рукоплеща этому великолепному спуску на воду, этому разрешению от бремени большой морской гавани, отдавшей морю самую прекрасную из своих дочерей. Пройдя узкий проход между двумя гранитными стенами, «Лотарингия» почувствовала себя наконец на свободе, бросила буксир и пошла одна, как огромное, бегущее по воде чудовище.

— Вот она!.. Вот она!.. — все еще кричал Ролан.— Идет прямо на нас!

Сияющий Босир повторял:

— Что я вам говорил, а? Мне ли не знать ее курса!

Жан потихоньку сказал матери:

— Смотри, мама, идет!

Г-жа Ролан отняла платок от глаз, залитых слезами.

«Лотарингия» быстро приближалась; сразу же по выходе из порта она развила полную скорость: день был ясный, безветренный. Босир, наведя подзорную трубу, объявил:

— Внимание! Господин Пьер стоит на корме, совсем один. Его отлично видно. Внимание!

Высокий, как гора, быстрый, как поезд, пароход проходил мимо «Жемчужины», почти касаясь ее.

И г-жа Ролан, забыв обо всем, вне себя простерла к нему руки и увидела своего сына, своего Пьера: он стоял на палубе, в фуражке с галунами, и обеими руками посылал ей прощальные поцелуи.

Но он уже удалялся, уходил прочь, исчезал вдали, становился маленьким, превращался в едва заметное пятнышко на гигантском корабле. Она пыталась увидеть его, но уже не могла разглядеть.

Жан взял ее за руку.

— Ты видела? — сказал он.

— Да, видела. Какой он добрый!

И «Жемчужина» повернула к набережной.

— Черт побери! Вот это скорость! — восклицал Ролан в полном восхищении.

Пароход и в самом деле уменьшался с каждой секундой, словно таял в океане. Г-жа Ролан, обернувшись, смотрела, как судно уходит за горизонт, в неведомый край, на другой конец света. На этом корабле, который ничто уже не могло остановить, на этом корабле, который вот-вот скроется из глаз, был ее сын, ее бедный сын. Ей казалось, что половина ее сердца уходит вместе с ним, что жизнь кончена, и еще ей казалось, что никогда больше не увидит она своего первенца.

— О чем ты плачешь? — спросил муж.— Не пройдет и месяца, как он вернется.

Она прошептала:

— Не знаю. Я плачу потому, что мне больно.

Когда они сошли на берег, Босир попрощался и отправился завтракать к приятелю. Жан ушел вперед с г-жой Роземильи; Ролан сказал жене:

— А что ни говори, у нашего Жана красивая фигура!

— Да,— ответила мать.

И так как она была слишком взволнована, чтобы думать о том, что говорит, то добавила:

— Я очень рада, что он женится на госпоже Роземильи.

Старик опешил:

— Что? Как? Он женится на госпоже Роземильи?

— Да. Мы как раз сегодня хотели спросить твоего мнения.

— Вот оно что! И давно это вы решили?

— Нет, нет, всего несколько дней. Жан, прежде чем говорить с тобой, хотел увериться, что его предложение будет принято.

Ролан сказал, потирая руки:

— Очень хорошо, очень хорошо! Великолепно. Я вполне одобряю его выбор.

Сворачивая с набережной на углу бульвара Франциска I, г-жа Ролан еще раз обернулась и бросила последний взгляд на океан; но она увидела только серый дымок, такой далекий и неуловимый, что он казался клочком тумана.

СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Дневной свет падал в просторную мастерскую из открытого в потолке окна — большой квадрат яркого голубого сияния, просвет в бесконечную лазурную даль, где мелькали быстро пролетающие птицы.

Но едва проникнув в высокую, строгую, задрапированную коврами комнату, радостное сияние дня тотчас же ослабевало, смягчалось, угасало в складках тканей, потухало в портьерах, меркло в темных углах, где лишь золоченые рамы загорались яркими бликами. Казалось, сон и покой были замкнуты здесь, покой, присущий жилищу художника, где творчески трудился человек. В этих стенах, где мысль живет, где мысль волнуется, истощаясь в мопучих усилиях, лишь только она успокаивается, все начинает казаться усталым, подавленным. После ярких вспышек жизни все как бы замирает, отдыхает — и мебель, и драпировки, и неоконченные портреты знаменитостей,— словно и жилище истомлено усталостью хозяина, словно оно трудилось с ним вместе, участвуя в ежедневно возобновляющейся борьбе.

Еле уловимый дурманящий запах красок, скипидара и табака, пропитавший ковры и кресла, носился в воздухе. Глубокая тишина нарушалась лишь резкими, отрывистыми криками ласточек, мелькавших над открытым окном, и беспрерывным невнятным гулом Парижа, глухо отдававшимся над крышами. Все было неподвижно, только время от времени уносилось

к потолку облачко голубого дыма: растянувшись на диване, Оливье Бертен медленно курил папиросу.

Задумчиво глядя в далекое небо, он искал сюжета для новой картины.

Что напишет? Он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником; это была натура беспокойная, и его неустойчивое вдохновение беспрестанно колебалось между разнообразными проявлениями его художественных исканий. Он был богат, знаменит, добился всяческих почестей, но до сих пор, уже на склоне жизни, не знал в сущности, к какому идеалу шел. Он получил римскую премию, отстаивал традиции, воссоздавал, подобно многим своим предшественникам, великие исторические события, но потом, модернизируя свои искания, начал писать современников, придерживаясь классических приемов. Умница, энтузиаст, упорный труженик, хотя и подвластный переменчивой мечте, влюбленный в свое искусство и владея им в совершенстве, одаренный тонкой интуицией, он достиг замечательного мастерства в исполнении и большой гибкости таланта, развившейся отчасти благодаря колебаниям и попыткам работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение светского общества изящными, изысканными и корректными произведениями художника также повлияло на него и помешало ему быть таким, каким он стал бы при других условиях. После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. Впрочем, это желание проявлялось у него во всевозможных формах и немало способствовало его славе.

Приветливость его манер, все его житейские привычки, старательный уход за собою, давняя репутация сильного и ловкого фехтовальщика и наездника тоже кое в чем содействовали его возрастающей известности. После *Клеопатры,* первого полотна, прославившего его в свое время, Париж внезапно влюбился в него, сделал своим избранником, окружил почестями, и он вдруг сразу стал одним из тех блестящих светских художников, которых встречаешь на прогулках

в Булонском лесу, которых оспаривают друг у друга гостиные, которых еще молодыми принимают в институт. И он вступил туда как победитель, признанный всем городом.

Так, балуя и лаская, вела его Фортуна до самого приближения старости.

Сейчас, под обаянием чудесного ликующего дня, он пытался найти поэтический сюжет. Слегка отяжелев от завтрака и папиросы, он мечтал, глядя в пространство, и перед ним, на фоне лазурного неба, возникали фигуры грациозных женщин в аллеях парка или на тротуаре улицы, влюбленные пары на берегу реки, изящные видения, пленявшие его мысль. Один за другим вырисовывались на небе изменчивые образы, расплываясь и ускользая, как в красочной галлюцинации, а ласточки, подобно пущенным стрелам, в беспрерывном полете рассекая пространство, казалось, хотели стереть эти образы, перечеркнуть их взмахами крыльев.

Он ни на чем не мог остановиться! Мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны, все представлявшиеся ему женщины были дочерьми или сестрами тех, которых когда-то уже создала его прихоть художника; страх, пока еще смутный, но преследовавший его уже целый год, страх перед тем, что он выдохся, что круг его сюжетов замкнулся, что его вдохновение иссякло, стал ощутимее при этом обзоре уже созданного им, при этом бессилии придумать что-то новое, открыть что-то еще неизвестное.

Он лениво поднялся, чтобы поискать в папках, среди незаконченных набросков, что-нибудь, что подало бы ему какую-то идею.

Дымя папиросой, он принялся перелистывать эскизы, наброски, рисунки, хранившиеся под ключом в большом старинном шкафу, но ему скоро наскучили эти тщетные поиски, он устал от них; бросив папиросу, он засвистал какой-то избитый уличный мотив и, нагнувшись, вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирю.

Откинув драпировку с трюмо, служившего ему для наблюдения за правильностью позы, для проверки

перспективы и верности изображения, он стал перед зеркалом и начал упражняться.

Когда-то он славился в мастерских своей силой, как потом в светском обществе — своею красотою. Теперь, с возрастом, он отяжелел. Высокий, широкоплечий, с могучей грудью, он, как старый цирковой борец, обзавелся брюшком, несмотря на то, что продолжал ежедневно фехтовать и много ездил верхом. Голова, как и раньше, была замечательно красива, хотя время оставило на ней свой след. Седые волосы, густые и короткие, подчеркивали живость его черных глаз под густыми седеющими бровями. Длинные темные усы, настоящие усы старого солдата, почти не поседели и придавали лицу редкое выражение энергии и гордости.

Выпрямившись перед зеркалом, сдвинув пятки, он проделывал все предписанные упражнения чугунными шарами, держа их на вытянутой мускулистой руке, и следил довольным взглядом за ее размеренными мощными усилиями.

Но вдруг он увидел в зеркале, где отражалась вся его мастерская, как шевельнулась портьера, а затем показалось женское лицо. За его спиною раздался голос:

— Дома?

Обернувшись, он ответил:

— Да.

И, бросив гирю на ковер, побежал к двери с несколько деланной легкостью.

Вошла женщина в светлом платье. Они пожали друг другу руки.

— Занимались гимнастикой? — спросила она.

— Да, я красовался тут, как павлин, и вы застигли меня врасплох.

Она засмеялась.

— В швейцарской никого не было; я знаю, что вы в это время всегда одни, и вошла без доклада.

Он смотрел на нее.

— Черт возьми! Как вы хороши! Что за шик!

— Да, на мне новое платье. Как вы находите? Красиво?

— Очаровательно, какая гармония! Надо сказать, что теперь понимают толк в оттенках.

Он ходил вокруг нее, ощупывал ткань, поправлял кончиками пальцев расположение складок, как знаток женских туалетов, который не уступит дамскому портному. Недаром в течение всей жизни он все свое художественное воображение и атлетические мускулы употреблял на то, чтобы тонкою бородкой кисти передавать изменчивые и прихотливые моды, раскрывая женственную грацию, то скованную бархатной или шелковой кольчугой, то скрытую под снегом кружев.

Наконец он объявил:

— Весьма удачно. Очень вам к лицу.

Она не мешала любоваться собою, радуясь, что хороша и нравится ему.

Уже не первой молодости, но еще красивая, не очень высокого роста, немного полная, она блистала той яркой свежестью, которая придает сорокалетнему телу сочную зрелость, и была похожа на одну из тех роз, которые распускаются все пышнее и пышнее, пока не расцветут слишком роскошно и не опадут за один час.

Светлая блондинка, она сохранила резвую юную грацию парижанок, которые никогда не стареют; обладая поразительной жизненной силой, каким-то неисчерпаемым запасом сопротивляемости, они в течение двадцати лет остаются все такими же, несокрушимыми и торжествующими, прежде всего заботясь о своем теле и оберегая здоровье.

Она приподняла вуаль и прошептала:

— Что же, меня не поцелуют?

— Я только что курил.

— Фу! — сказала она, но протянула губы.— Все равно!

И уста их встретились.

Он взял у нее зонтик и снял с нее весенний жакет быстрыми, уверенными движениями, привычными к этой интимной услуге. А когда она села на диван, он заботливо спросил:

— Как поживает ваш муж?

— Превосходно. Он, должно быть, произносит сейчас речь в палате.

— А! О чем это?

— Наверно, о свекле или репейном масле, как всегда.

Ее муж, граф де Гильруа, депутат от департамента Эры, избрал своей специальностью вопросы сельского хозяйства.

Заметив в углу незнакомый эскиз, она прошла через мастерскую и спросила:

— Что это?

— Начатая мною пастель, портрет княгини де Понтев.

— Знаете,— серьезно сказала она,— если вы опять приметесь писать портреты женщин, я закрою вашу мастерскую. Мне слишком хорошо известно, к чему ведет такая работа.

— О,— сказал он,— дважды портрета Ани не напишешь.

— Надеюсь.

Она рассматривала начатую пастель как женщина, понимающая толк в искусстве. Отошла немного, затем приблизилась, приложив щитком руку к глазам, отыскала место, откуда эскиз был всего лучше освещен, и наконец выразила свое удовлетворение:

— Очень хорошо. Пастель вам отлично удается.

Польщенный, он прошептал:

— Вы думаете?

— Да, это тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для маляров.

Уже двенадцать лет она поощряла в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его возвратами к простой действительности и, высоко ценя светское изящество, мягко направляла его к идеалу несколько манерной и нарочитой красоты.

Она спросила:

— А какова собой эта княгиня?

Начав с замечаний о туалете, он перешел к оценке ума и сообщил множество подробностей, тех мелких подробностей, которые так смакует изощренное и ревнивое женское любопытство.

Она спросила вдруг:

— А не кокетничает она с вами?

Он рассмеялся и побожился, что нет.

Положив обе руки на плечи художника, она пристально посмотрела на него. В ее взгляде был такой жгучий вопрос, что зрачки дрожали в синеве ее глаз, испещренной еле заметными черными крапинками, похожими на чернильные брызги.

Она снова прошептала:

— Правда не кокетничает?

— Да нет же.

Она прибавила:

— Впрочем, меня это не беспокоит. Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите. Никого... Кончено, слишком поздно, мой бедный друг.

Он почувствовал ту мимолетную щемящую боль, которая отдается в сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал:

— Ни сегодня, ни завтра — никогда в моей жизни не было и не будет никого, кроме вас, Ани.

Она взяла его под руку и, вернувшись к дивану, усадила рядом с собою.

— О чем вы думали?

— Искал сюжет для картины.

— В каком роде?

— Сам не знаю, вот и ищу.

— А что вы делали за последние дни?

Ему пришлось рассказать ей обо всех гостях, которые у него перебывали, об обедах и вечерах, разговорах и сплетнях. Впрочем, все эти суетные и обыденные мелочи светского быта одинаково занимали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или подозреваемые связи, раз навсегда установившиеся суждения, тысячу раз высказанные и тысячу раз выслушанные по поводу все тех же лиц, тех же происшествий, тех же мнений, занимали их ум и втягивали их в течение мутной, бурливой реки, которую называют парижской жизнью. Зная всех, принятые повсюду,— он как художник, перед которым были раскрыты все двери, она как изящная женщина, жена депутата-консерватора,— они были искушены в этом спорте французской болтовни, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовни, которая создает своеобразную и весьма

завидную репутацию всякому, чей язык особенно изощрился в этом злоречивом пустословии.

— Когда вы придете к нам обедать? — спросила она вдруг.

— Когда хотите. Назначьте день.

— В пятницу. У меня соберутся герцогиня де Мортмэн, Корбели и Мюзадье; будем праздновать возвращение моей дочурки — она приезжает сегодня вечером. Но никому не говорите. Это секрет.

— О, конечно, я приду. Мне будет очень приятно снова увидеть Аннету. Я ведь не видел ее уже три года.

— Правда! Уже три года.

Аннета, которая воспитывалась сначала в Париже, у родителей, стала последней и страстной привязанностью своей полуслепой бабушки г-жи Параден, жившей круглый год в имении зятя, усадьбе Ронсьер, в департаменте Эры. Старушка с течением времени все дольше удерживала при себе ребенка, и так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом поместье, куда их постоянно призывали всевозможные дела, хозяйственные или избирательные, то в конце концов они стали лишь изредка привозить девочку в Париж, да и сама она предпочитала свободную и привольную деревенскую жизнь городской жизни взаперти.

За последние три года она ни разу не приезжала в город: графиня предпочитала держать ее вдали — чтобы не пробудить в ней какой-нибудь неожиданной склонности,— пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Г-жа де Гильруа приставила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и стала чаще ездить к своей матери и дочке. К тому же пребывание Аннеты в поместье было почти необходимо ради старухи-бабушки.

Прежде Оливье Бертен каждое лето проводил полтора — два месяца в Ронсьере, но последние три года он был вынужден лечить ревматизм на отдаленных курортах, и эти поездки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он не в силах был снова покинуть его.

Первоначально было решено, что девушка вернется лишь осенью, но у отца вдруг возник проект отно-

сительно ее замужества, и теперь он вызывал ее домой, чтобы немедленно познакомить с маркизом де Фарандалем, которого наметил ей в женихи. Однако этот план держался в большой тайне: графиня доверила ее одному Бертену.

— Итак, ваш муж решил осуществить свою идею? — спросил он.

— Да, я даже думаю, что это очень счастливая идея.

И они заговорили о другом.

Она опять вернулась к живописи, ей хотелось уговорить его написать Христа. Он не соглашался, доказывая, что картин на эту тему и так уже достаточно, но она упрямо стояла на своем и горячилась:

— О, если бы я умела рисовать, я бы изобразила вам мой замысел: это будет очень ново, очень смело. Его снимают с креста; человек, который освободил руки Христа, не может удержать верхнюю часть его тела. Оно валится и падает прямо на толпу, а та протягивает руки, чтобы принять и поддержать его. Вы вполне понимаете меня?

Да, он понимал, он даже находил это оригинальным, но в настоящее время им владело влечение к современности, и, глядя на свою подругу, которая лежала на диване, свесив одну ногу, обутую в изящный ботинок и казавшуюся сквозь полупрозрачный чулок почти обнаженной, он воскликнул:

— Нет, нет, вот что надо писать, вот в чем жизнь: женская ножка, которая виднеется из-под платья. В это можно вложить все: правду, желание, поэзию. Ничего нет грациозней и красивей женской ножки,— а какая таинственность в том, что чуть повыше нога скрыта от взоров, ее лишь угадываешь под тканью платья!

Усевшись на полу по-турецки, он снял с нее ботинок, и ножка, выйдя из своего кожаного футляра, зашевелилась, как беспокойный зверек, неожиданно выпущенный на свободу.

Бертен повторял:

— Как это тонко, как изысканно, и вместе с тем — как чувственно! Чувственнее руки. Дайте вашу руку, Ани!

На ней были длинные, до локтя, перчатки. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за верхний край и быстро сдернула, выворачивая наизнанку, как сдирают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, круглая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникала мысль о наготе всего тела, дерзкой и неприкрытой.

Г-жа де Гильруа протянула руку, свесив кисть. На белых пальцах сверкали кольца, и длинные розовые ногти казались коготками, выпущенными этой маленькой женской лапкой в любовном упоении.

Оливье Бертен нежно поворачивал руку, любуясь ею. Он перебирал пальцы, как живые игрушки, и говорил:

— Какая это забавная штука — рука! Ужасно забавная! Какая она умная и искусная! Руками создано все на свете: книги, кружева, дома, пирамиды, локомотивы, пирожки; рука ласкает, и это — лучший из всех ее трудов.

Он снимал по одному ее кольца и, когда вслед за другими упало гладкое золотое обручальное кольцо, прошептал, улыбаясь:

— Закон. Преклонимся перед ним.

— Глупо! — сказала она, несколько задетая.

Он всегда отличался насмешливостью, этой чисто французской склонностью примешивать показную иронию к самым серьезным чувствам, и часто огорчал ее, сам того не желая, не умея разбираться в тонких женских чувствах и вторгаясь в границы ее святая святых. Особенно же сердилась она всякий раз, когда он с оттенком фамильярной шутки заводил речь об их связи, которая была так длительна, что он называл ее прекраснейшим примером любви девятнадцатого столетия. Помолчав, она спросила:

— Вы поведете нас с Аннетой на вернисаж?

— Конечно.

Тогда она стала расспрашивать его о лучших картинах предстоящей выставки: открытие ожидалось через две недели.

Но вдруг, вспомнив, должно быть, о том, что ей надо куда-то съездить, она сказала:

— Ну, давайте ботинок. Я ухожу.

Он задумчиво играл легким башмачком, рассеянно вертя его в руках.

Нагнувшись, он поцеловал ножку, казалось, парившую в воздухе, между ковром и платьем, уже не двигавшуюся и слегка похолодевшую, и надел на нее башмачок. Г-жа де Гильруа встала и подошла к столу: рядом с чернильницей, в которой, как водится у художников, давно уже высохли чернила, валялись бумаги и распечатанные письма, давние и только что полученные. Она с любопытством перебирала листки, приподнимая их, чтобы увидеть, что под ними.

— Вы расстроите мой беспорядок,— сказал он, подходя к ней.

Не отвечая, она спросила:

— Кто это хочет купить ваших *Купальщиц?*

— Какой-то американец; я его не знаю

— А договорились насчет *Уличной певицы?*

— Да. Десять тысяч.

— Умно сделали. Это мило, но ничего особенного. Прощайте, дорогой.

Она подставила ему щеку, которой он коснулся спокойным поцелуем, и исчезла за портьерой, сказав вполголоса:

— В пятницу, в восемь. Я не хочу, чтобы вы меня провожали, вы ведь знаете. Прощайте.

Когда она ушла, он закурил папиросу, а потом принялся медленно шагать по мастерской. Все прошлое их связи развертывалось перед ним. Он вспоминал давно минувшие подробности, восстанавливая их в памяти, связывая одну с другой, и увлекся в одиночестве этой погоней за воспоминаниями.

В ту пору он был восходящим светилом на горизонте художественного Парижа; художники тогда всецело завладели благорасположением публики и занимали великолепные особняки, которые доставались им ценою нескольких мазков кистью.

Возвратившись из Рима в 1864 году, Бертен не сразу добился успеха и известности; но в 1868 году он выставил свою *Клеопатру,* и тотчас же публика и критика превознесли его до небес.

В 1872 году, после войны, после смерти Анри Реньо, послужившей всем его собратьям как бы пьедесталом

для славы, Бертен был отнесен к числу самых дерзновенных художников за рискованный сюжет своей *Иокасты,* хотя его благоразумно-оригинальная манера исполнения была оценена даже академиками. В 1873 году первая медаль, присужденная ему за *Алжирскую еврейку,* написанную по возвращении из поездки в Африку, поставила его «вне конкурса», а после портрета княгини де Салиа в 1874 году высший свет стал смотреть на него как на первоклассного современного портретиста. С этих пор он стал самым любимым живописцем парижан и парижанок, самым изобретательным и самым искусным истолкователем их изящества, манер, характера. Несколько месяцев спустя все более или менее видные парижские женщины уже добивались, как милости, чтобы он запечатлел их черты. Он выказал себя недоступным, и ему платили очень дорого.

Так как он был в моде и делал визиты просто в качестве светского человека, он встретил однажды у герцогини де Мортмэн молодую женщину в глубоком трауре; она прощалась, когда он входил, и, столкнувшись с нею в дверях, он был поражен ею, словно каким-то прекрасным видением, исполненным изящества и грации.

Он спросил, кто она, и узнал, что ее зовут графиней де Гильруа, что она жена захудалого нормандского дворянчика, агронома и депутата, что траур она носит по свекру, что она умна и пользуется в обществе поклонением и успехом.

Взволнованный этой встречей, пленившей его как художника, он воскликнул:

— Ах, вот с кого я охотно написал бы портрет!

На другой день эти слова были переданы молодой женщине, и в тот же вечер он получил голубое, чуть надушенное письмецо, в котором ровным и тонким почерком, немного взбегающим вверх, сообщалось:

«Милостивый государь,

Герцогиня де Мортмэн, только что посетившая меня, уверяет, что вы желали бы изобразить мою скромную особу и создать из этого шедевр. Я охотно предоставила бы себя в ваше распоряжение, если бы знала

наверное, что вы сказали это серьезно и действительно видите во мне нечто такое, что может быть вами воспроизведено и поднято до идеальной высоты.

Примите уверение в моем совершенном уважении.

Анна де Гильруа».

Он послал ответ, спрашивая, когда сможет представиться графине, и был запросто приглашен на завтрак в ближайший понедельник.

Она жила на бульваре Мальзерб, во втором этаже большого роскошного дома новейшего стиля. Через обширную гостиную, обтянутую голубым шелком в белых с позолотой багетах, художника провели в будуар, отделанный во вкусе минувшего века, обитый светлыми, кокетливыми штофными обоями в стиле Ватто; их нежные тона и грациозные рисунки, казалось, были задуманы и исполнены мастерами, замечтавшимися о любви.

Не успел он сесть, как появилась графиня. Ее походка была так легка, что он не слышал, как она прошла через соседнюю комнату, и был удивлен, вдруг увидев ее. Она непринужденно протянула ему руку.

— Значит, это правда,— сказала она,— что вам хотелось бы написать мой портрет?

— Я был бы очень счастлив, сударыня.

Узкое черное платье делало ее очень худощавой и придавало ей совсем юный и в то же время строгий вид, который противоречил ее улыбающемуся лицу, озаренному сиянием светлых волос. Вошел граф, держа за руку девочку лет шести.

Г-жа Гильруа представила его:

— Мой муж.

Это был человек небольшого роста, без усов, со впалыми щеками, гладко выбритыми и отливавшими синевою.

Он несколько походил на священника или на актера: длинные, зачесанные назад волосы, учтивые манеры и полукруглые, глубокие складки по обеим сторонам рта, от щек к подбородку, как бы образовавшиеся от привычки говорить публично.

Он поблагодарил живописца с многоречивостью, которая выдавала в нем оратора. Давно уже хотелось

ему заказать портрет супруги, и, конечно, его выбор остановился бы на г-не Оливье Бертене, если бы он не боялся отказа: ведь ему известно, как осаждают художника подобными просьбами.

Обменявшись множеством взаимных любезностей, собеседники условились, что на другой день граф привезет жену в мастерскую художника. Впрочем, г-н де Гильруа спрашивал, не лучше ли отложить сеансы ввиду глубокого траура графини, но художник заявил, что ему хотелось бы передать первое свое впечатление и этот поразительный контраст между таким живым, таким тонким, сияющим под золотистыми волосами лицом и строгостью черного платья.

И вот на другой день она явилась вместе с мужем, а в следующие дни приходила с дочкой, которую усаживали за стол, заваленный книжками с картинками.

Оливье Бертен, по своему обыкновению, выказывал большую сдержанность. Светские женщины немного смущали его, потому что он их совсем не знал. Он считал их плутовками и в то же время дурочками, лицемерными и опасными, легкомысленными и докучливыми. У него бывали мимолетные приключения с женщинами полусвета, которых привлекали его известность, остроумие, прекрасная фигура атлета и энергичное смуглое лицо. Этих женщин он даже предпочитал, он любил их развязное обращение и свободные разговоры, так как привык к легким, забавным и веселым нравам мастерских и кулис, где был завсегдатаем. В свете он бывал ради славы, а не по влечению сердца, он тешил там свое честолюбие, получал комплименты и заказы, блистал перед льстившими ему прекрасными дамами, но никогда не ухаживал за ними. Не позволяя себе в их обществе ни смелых шуток, ни двусмысленностей, так как считал их ханжами, он прослыл за человека хорошего тона. Всякий раз, когда какая-нибудь дама приезжала к нему позировать, он, несмотря на всю предупредительность, которую она выказывала, чтобы понравиться ему, чувствовал то неравенство породы, которое не позволяет смешивать художника со светскими людьми, хотя бы они и общались между собою. За улыбками, за восхищением, всегда немного неискренним у женщин, он угадывал

скрытую внутреннюю сдержанность существа, причисляющего себя к высшему разряду. Самолюбие его возмущалось, он усвоил чрезвычайно учтивые, почти надменные манеры и наряду с затаенным тщеславием выскочки, которого признают за равного себе принцы и принцессы, проявлял гордость человека, обязанного своему уму тем положением, которое другие занимают в силу происхождения. О нем говорили, слегка удивляясь: «Он чрезвычайно благовоспитан». Это удивление, с одной стороны, льстившее ему, в то же время коробило его, так как указывало на какие-то границы.

Нарочитая и церемонная важность художника несколько смущала г-жу де Гильруа: она не могла придумать, о чем бы заговорить с этим человеком, таким холодным и слывшим умницей.

Усадив дочку, она тоже садилась в кресло, рядом с начатым эскизом, и старалась, по просьбе художника, придать своему лицу то или иное выражение.

В середине четвертого сеанса он вдруг бросил рисовать и спросил:

— Что вас больше всего занимает в жизни?

Она пришла в недоумение.

— Право, не знаю! Почему вы спрашиваете?

— Мне нужно, чтобы в ваших глазах было выражение счастья, а я этого еще не видел.

— В таком случае постарайтесь, чтобы я разговорилась, я очень люблю поболтать.

— Вы веселая?

— Очень.

— Так давайте болтать, сударыня.

Это «давайте болтать, сударыня» он произнес самым серьезным тоном и, опять принявшись за работу, коснулся некоторых вопросов, стараясь найти какую-нибудь точку соприкосновения. Начали они с обмена наблюдениями над общими знакомыми, а затем заговорили о себе, что всегда составляет наиболее приятную и наиболее привлекательную тему для беседы.

Встретившись на следующий день, они почувствовали себя свободнее, и Бертен, видя, что он ей нравится и ей с ним не скучно, стал рассказывать кое-какие

подробности из своей жизни художника и, с присущей ему склонностью фантазировать, дал волю своим воспоминаниям.

Привыкнув к надуманному остроумию салонных литераторов, она была поражена его бьющей через край живостью, откровенными и ироническими высказываниями и тотчас стала отвечать в том же тоне, очень мило, тонко и смело.

В одну неделю она пленила и покорила его своей жизнерадостностью, искренностью, простотой. Он совсем отказался от предубеждения против светских женщин и готов был утверждать, что только они одни обладают привлекательностью и обаянием. Стоя перед полотном и усердно работая, он то приближался к нему, то отступал, как бы сражаясь с кем-то, и продолжал высказывать свои любимые мысли, словно давно уже знал эту красивую светловолосую женщину в черном, как будто созданную из солнца и траура, которая сидела перед ним, смеялась, слушая его, и отвечала так весело, с таким оживлением, что поминутно теряла свою позу.

Порою он отходил от нее и, зажмурив один глаз, наклонялся, чтобы схватить всю совокупность черт своей модели, порою подходил к ней совсем близко, чтобы подметить малейшие оттенки ее лица, мимолетное выражение, чтобы уловить и передать все, что таится в женском лице за видимой внешностью,— то излучение идеальной красоты, тот отблеск чего-то неведомого, то интимное и опасное, каждой женщине присущее очарование, которое внушает безумную любовь к ней именно этому, а не другому мужчине.

Однажды девочка с величайшей детской серьезностью остановилась перед полотном.

— Ведь это мама? — спросила она.

Он взял ее на руки и расцеловал, польщенный этою наивной похвалой сходству его картины с натурой.

В другой раз, когда она, казалось, сидела вполне спокойно, послышался вдруг ее печальный голосок:

— Мама, мне скучно.

Художника так растрогала эта первая жалоба, что на другой день, по его заказу, в мастерскую принесли массу игрушек.

Маленькая Аннета, удивленная, довольная и по-прежнему задумчивая, заботливо расставила игрушки, а затем стала брать одну за другой, какую хотелось. За этот подарок она полюбила художника, как любят дети, и стала относиться к нему с той инстинктивной и ласковой дружбой, которая делает их такими милыми и пленительными.

Г-же де Гильруа стали нравиться сеансы. По случаю траура она была лишена этой зимой светских развлечений, не знала, чем заняться, и теперь весь интерес ее жизни сосредоточился в мастерской художника.

Ее отец, очень богатый и гостеприимный парижский коммерсант, давно умер, а так как всегда хворавшая мать почти половину года проводила в постели, г-жа де Гильруа еще с детских лет стала настоящей хозяйкой дома; она умела принимать гостей, улыбаться, вести беседу, разбираться в людях, понимала, как с кем говорить, быстро приспособлялась к обстоятельствам, была гибка и предусмотрительна. Когда граф де Гильруа был ей представлен в качестве жениха, она тотчас же сообразила, какие выгоды принесет ей это замужество, и дала согласие без малейшего принуждения, как рассудительная девушка, прекрасно знающая, что нельзя иметь все и что в любом положении приходится взвешивать хорошие и дурные стороны.

Она была красива и умна и, вступив в свет, завладела всеобщим вниманием; у нее появилось множество поклонников, но она ни разу не утратила своего сердечного спокойствия: ее сердце было столь же рассудительно, как и ум.

Однако она была кокетка, но ее задорное и осмотрительное кокетство никогда не заходило слишком далеко. Она любила слушать комплименты, ей было приятно возбуждать желания, лишь бы только можно было делать вид, что не замечаешь их; и, пробыв целый вечер в какой-нибудь гостиной, где ей курили фимиам, она затем отлично спала, как женщина, выполнившая свое земное назначение. Такая жизнь, длившаяся вот уже семь лет, не утомляла ее, не казалась ей однообразной; ей нравилась эта нескончаемая светская суета,

но, тем не менее, иногда она желала чего-то другого. Мужчины ее круга, адвокаты, политики, финансисты или праздные завсегдатаи клубов, забавляли ее, как актеры, и она относилась к ним не особенно серьезно, хотя питала уважение к их деятельности, служебному положению и титулам.

Художник понравился ей прежде всего тем, что было в нем для нее нового. Ей было весело в его мастерской, она смеялась от всей души, чувствовала себя остроумной и была благодарна ему за то удовольствие, какое доставляли ей эти сеансы. Ее привлекало, что он был красив, мужествен и знаменит: ведь ни одна женщина, что бы ни говорили, не может оставаться равнодушной к физической красоте и славе. Польщенная вниманием такого мастера и готовая, со своей стороны, ставить его очень высоко, она открыла в нем живую восприимчивость, деликатность, фантазию, поистине обаятельный ум и красочную речь, как бы освещавшую все, что он высказывал.

Между ними быстро возникла близость, и рукопожатие, которым они обменивались при встрече, с каждым днем становилось все более и более сердечным.

Это не было ни расчетом, ни обдуманным намерением, она просто почувствовала, как в ней растет естественное желание прельстить его, и она уступила этому желанию. Она ничего не предвидела, не строила никаких планов: она была лишь кокетлива, проявляла несколько больше внимания,— как инстинктивно ведут себя женщины по отношению к мужчине, который нравится им больше других,— и в ее обращении с ним, во взгляде, улыбке сквозил тот манящий соблазн, который исходит от женщины, почувствовавшей, что в ней пробуждается потребность быть любимой.

Она высказывала ему много лестного, что означало: «Я нахожу вас очень красивым, сударь», — и заставляла его говорить подолгу, чтобы, слушая с вниманием, показать ему, какой интерес он ей внушает. Он переставал писать, садился подле нее, испытывая тот умственный подъем, который вызывается опьяняющим желанием нравиться, и им овладевало поэтическое на-

строение, или на него находили приступы дурашливости или философского раздумья, каждый день по-иному.

Она радовалась, когда ему было весело, а когда он углублялся в размышления, она старалась следить за развитием его мысли, хотя это ей не всегда удавалось; но если она и задумывалась о чем-нибудь другом, то делала вид, будто слушает его, будто так хорошо понимает и так наслаждается его откровениями, что он приходил в восторг от ее внимания, взволнованный, что нашел душу утонченную, открытую и послушную, в которую мысль западала, как зерно.

Портрет подвигался вперед и обещал быть очень удачным, так как художник обрел душевное состояние, необходимое, чтобы выявить все качества модели и выразить их с той страстной убежденностью, которая и составляет вдохновение истинного мастера.

Наклонившись к ней, он пристально следил за игрой ее лица, вглядывался в оттенки ее кожи, в блеск и выражение ее глаз, в каждую неуловимую черточку, он пропитывался ею, как губка, взбухающая от воды; когда же он переносил на полотно сияние ее чарующей прелести, которое вбирал его взгляд, переливавшееся, как волна в его кисть, он чувствовал себя ошеломленным, опьяненным ее пленительной женственностью.

Она сознавала, что он влюбляется в нее, забавлялась этой игрой, своей все более очевидной победой и сама увлекалась ею.

Что-то новое придавало ее жизни новый привкус, будило в ней таинственную радость. Когда при ней заходила речь об Оливье, ее сердце билось слегка учащеннее, и она испытывала желание сказать — одно из тех желаний, которые никогда не доходят до уст: «Он влюблен в меня». Она бывала довольна, когда превозносили его талант, и, пожалуй, еще более довольна, когда его находили красивым. А думая о нем наедине, без докучных гостей, она и в самом деле воображала, что обрела в нем доброго друга, который всегда будет довольствоваться только сердечным рукопожатием.

Часто, среди сеанса, он вдруг откладывал палитру, брал на руки малютку Аннету и нежно целовал ее глаза или волосы, глядя на мать, словно говоря: «Не ребенка, а вас я так целую».

Иногда г-жа де Гильруа приходила одна, без девочки. В такие дни работа совсем не ладилась, и время проходило в разговорах.

Однажды графиня опоздала. Погода стояла холодная: был конец февраля. Оливье вернулся домой заблаговременно, как он делал теперь каждый раз, когда г-жа де Гильруа должна была прийти, ибо постоянно надеялся, что она явится несколько раньше. Ожидая ее, он расхаживал взад и вперед по комнате, курил, удивлялся тому, что в сотый раз в течение недели задает себе все тот же вопрос: «Неужели я влюблен?» Он не мог решить этого, потому что никогда еще не был влюблен по-настоящему. У него бывали сильные, даже довольно длительные увлечения, но он не считал их любовью. И теперь его удивляло то, что он чувствовал.

Любил ли он ее? Он не желал ее страстно, он даже не думал о возможности обладать ею. Прежде, когда какая-нибудь женщина нравилась ему, вожделение тотчас овладевало им, и он уже протягивал к ней руки, словно для того, чтобы сорвать плод,— но была ли она с ним или отсутствовала, это никогда не затрагивало глубоко его затаенных дум.

Между тем страсть к этой женщине еле коснулась его и как будто мгновенно спряталась, притаилась за другим чувством, более сильным, но еще смутным, едва пробудившимся. Прежде Оливье думал, что любовь начинается мечтаниями, поэтическими восторгами. То, что он испытывал теперь, происходило, казалось ему, от какого-то неопределенного ощущения, скорее физического, чем морального. Он стал нервным, беспокойным, как человек, у которого начинается какая-то болезнь. Но к лихорадочному брожению крови, которое заражало своим волнением и его мозг, не примешивалось, однако, ничего болезненного. Он не мог не сознавать, что причина этой тревоги заключалась в г-же де Гильруа, в воспоминании о ней, в ожидании ее прихода. Он не чувствовал, что рвется к ней в порыве всего существа, но постоянно ощущал ее присутствие в себе, словно она не покидала его: она оставляла в нем частицу самой себя, нечто неуловимое и неизъяснимое. Что же? Не любовь ли? Чтобы увидеть и понять это, он обращался теперь к собственному сердцу. Он находил

ее очаровательной, но она не отвечала тому типу идеальной женщины, который когда-то создала его слепая надежда. Всякий, кто призывает любовь, заранее уже предугадывает, как одарена духовно и физически женщина, которая его обольстит, но г-жа де Гильруа хотя и нравилась ему бесконечно, казалось, не была этой женщиной.

Однако почему же он беспрестанно думал о ней, гораздо больше, чем о других женщинах, и совсем по-иному?

Не попался ли он просто-напросто в сети ее кокетства, которое уже давно почуял и понял; обманутый ее уловками, не подпал ли он под то особое очарование, какое свойственно женщинам, желающим понравиться?

Он ходил, садился, опять принимался ходить, закуривал папиросу, тотчас же бросал ее и поминутно смотрел на стрелку стенных часов, медлительно и невозмутимо приближавшуюся к обычному часу.

Не раз уже порывался он приподнять ногтем выпуклое стекло, прикрывавшее движущиеся золотые стрелки, и подтолкнуть большую стрелку к цифре, к которой она ползла так лениво.

Ему казалось, что этого будет достаточно, чтобы дверь отворилась и появилась та, которую он ждал, обманутая и привлеченная этой хитростью. Но это упрямое и нелепое детское желание вызвало у него улыбку.

Наконец он задал себе вопрос: «Могу ли я стать ее любовником?» Эта мысль показалась ему странной, почти неосуществимой, да и вовсе неисполнимой из-за тех осложнений, какие это могло внести в его жизнь.

Однако эта женщина ему очень нравилась, и он пришел к выводу: «Право, я очутился в дурацком положении».

Часы пробили назначенное время, и он вздрогнул, услышав их бой, который потряс его нервы больше, чем душу. Он ждал г-жу Гильруа с тем нетерпением, которое возрастает с каждой секундой опоздания. Она всегда была аккуратна; стало быть, не пройдет и десяти минут, как он увидит ее на пороге. Когда же эти десять минут прошли, он встревожился, словно от пред-

чувствия какого-то горя, затем рассердился на то, что теряет время, а потом вдруг понял, что будет жестоко страдать, если она не придет. Что делать? Он будет ждать ее! Или нет, он уйдет, чтобы она не застала никого в мастерской, если все же явится с большим опозданием.

Он уйдет, но когда? Надолго ли оставлять ее одну? Не лучше ли не уходить и в учтивых, холодных словах дать ей понять, что он не из тех, кого заставляют дожидаться? А что, если она не может прийти? Но тогда он получил бы телеграмму, записку с лакеем или посыльным. Если же она так и не придет, что делать? День пропал, работать он уже не сможет. И что же тогда?.. Тогда он пойдет узнать, что с ней, потому что видеть ее было ему необходимо.

Это была правда: он чувствовал необходимость видеть ее, глубокую, гнетущую, мучительную. Что же это такое? Любовь? Но он не испытывал ни возбуждения мысли, ни взволнованности чувств, ни мечтательности в душе, когда удостоверился, что будет жестоко страдать, если она сегодня не придет.

На лестнице особняка раздался звонок с улицы; Бертен почувствовал, что у него захватило дыхание. Он так обрадовался, что сделал пируэт, подбросив кверху папиросу.

Она вошла; она была одна.

Он сразу ощутил прилив смелости.

— Знаете ли, о чем я спрашивал себя, ожидая вас?

— Нет, не знаю.

— Я спрашивал себя, не влюблен ли я в вас.

— Влюблены в меня! Да вы с ума сходите!

Но она улыбалась, и улыбка говорила: «Это мило, я очень довольна».

Она продолжала:

— Ну, вы это не серьезно. Зачем вы так шутите?

Он ответил:

— Напротив, я вполне серьезен. Я не утверждаю, что влюблен, но спрашиваю себя не на пути ли я к тому, чтобы в вас влюбиться?

— Что внушает вам такую мысль?

— Волнение, которое я испытываю, когда вас здесь нет, и чувство счастья, когда вы приходите.

Она села.

— О, не волнуйтесь из-за таких пустяков. Пока вы будете крепко спать и с аппетитом обедать, до тех пор это не опасно.

Он рассмеялся.

— А если я потеряю сон и аппетит?

— Дайте мне знать.

— И тогда?

— Я вас оставлю в покое, чтобы вы поправились.

— Премного благодарен.

Они острили на эту тему весь сеанс. В следующие дни было то же самое. Относясь к этому как к остроумной и не имеющей значения шутке, она, здороваясь с ним, каждый раз весело спрашивала:

— Как поживает сегодня ваша любовь?

И полушутя, полусерьезно он подробно рассказывал ей об усилении этой болезни, о непрерывной, глубокой внутренней работе возникшего и растущего чувства. Он обстоятельно анализировал свои переживания, час за часом после того, как они расстались накануне, пародируя профессора, читающего лекцию, а она внимательно слушала его, слегка взволнованная и смущенная,— это было похоже на повесть, героиней которой была она сама. Когда он с любезным и непринужденным видом перечислял ей терзавшие его горести, его голос по временам дрожал, выражая одним только словом или даже одной интонацией все, что он выстрадал в душе.

А она не переставала расспрашивать его, трепеща от любопытства, не сводя с него глаз, жадно внимая этому рассказу, который и волновал ее и пленял.

Иногда, подходя к ней, чтобы исправить позу, он брал ее руку и пытался поцеловать. Она быстрым движением отдергивала пальцы от его губ и слегка хмурила брови.

— Довольно, работайте,— говорила она.

Он снова брался за кисть, но не проходило и пяти минут, как она задавала ему какой-нибудь вопрос, чтобы ловко навести его опять на единственную занимавшую их тему.

Теперь она начинала чувствовать опасения. Ей очень хотелось быть любимой, но не слишком сильно.

Уверенная, что сама не увлечена, она боялась, что он зайдет слишком далеко, и она потеряет его: ведь ей придется отнять у него надежду, после того как она сама, видимо, поощряла его. Однако, если бы ей пришлось отказаться от этой нежной, игривой дружбы, от этой болтовни, которая текла, неся с собою крупинки любви, как ручей золотоносный песок, ей было бы очень грустно, грустно и тоскливо до боли.

Выходя из дому, чтобы отправиться в мастерскую художника, она чувствовала, что ее переполняет живая, жгучая радость, ей было легко и весело. Когда у дверей дома Оливье рука ее притрагивалась к звонку, сердце ее билось от ожидания, а ковер на лестнице казался ей самым мягким, по какому ступали когда-нибудь ее ноги.

Но Бертен становился мрачным, нервничал, нередко бывал раздражителен.

У него прорывалось нетерпение, он тотчас подавлял его, но это повторялось все чаще и чаще.

Однажды, как только она вошла, он сел рядом с нею, вместо того, чтобы взяться за работу, и сказал:

— Сударыня, теперь вы, конечно, должны знать, что это не шутка и что я безумно люблю вас.

Смущенная этим вступлением и видя, что кризис, который ее пугал, приближается, она попыталась остановить Бертена, но он уже не слушал ее. Сердце его было переполнено — и она, бледная, дрожащая, испуганная, должна была его выслушать. Он говорил долго, ничего не требуя, нежно, печально, с каким-то безнадежным смирением, и она позволила ему взять и удержать ее руки в своих. Он опустился на колени, прежде чем она могла остановить его, и, глядя на нее глазами галлюцинирующего человека, молил ее не причинять ему страдания! Какого страдания? Она не понимала, да и не старалась понять, оцепенев от жестокого горя при виде его мучений, но это горе было почти счастьем. Вдруг она увидела слезы в его глазах, и это так растрогало ее, что у нее вырвалось: «О!» — и она готова была поцеловать его, как целуют плачущих детей. Он тихо повторял: «Послушайте, послушайте, я слишком страдаю»,— и вдруг ее захватило его страдание, его слезы передались ей, и она разрыдалась, не

владея собой, чувствуя, что ее трепещущие руки готовы протянуться ему навстречу.

Когда она очутилась в его объятиях и он страстно целовал ее в губы, она хотела закричать, бороться, оттолкнуть его, но тут же поняла, что погибла, потому что сопротивляясь — уступала, защищаясь — отдавалась и, восклицая: «Нет, нет, не хочу!» — обнимала его.

И она замерла, потрясенная, закрыв лицо руками, а потом вдруг вскочила, подняла шляпу, упавшую на ковер, надела ее и выбежала, несмотря на мольбы Оливье, удерживавшего ее за платье.

Едва она очутилась на улице, ей захотелось сесть прямо на тротуар, до того она была разбита, до того у нее подкашивались ноги. Мимо проезжал фиакр; она подозвала его и сказала кучеру:

— Поезжайте потише, везите меня, куда хотите.

Бросившись в карету, она захлопнула дверцу и забилась поглубже, чтобы за поднятыми стеклами экипажа, в полном одиночестве отдаться своим мыслям.

Сначала она ничего не воспринимала, кроме стука колес и толчков на тряской мостовой. Пустыми, невидящими глазами смотрела она на дома, на пешеходов, на фиакры с седоками, на омнибусы и совсем ни о чем не думала, словно желая передохнуть, дать себе отсрочку, пока не соберется с духом поразмыслить над тем, что произошло.

Однако ум у нее был живой, отнюдь не трусливый, и она сказала себе: «Вот я и погибшая женщина». И несколько минут она оставалась под властью этого ощущения, в уверенности, что произошло непоправимое несчастье, в ужасе, как человек, который упал с крыши и еще не шевелится, догадываясь, что у него переломаны ноги, и боясь удостовериться в этом.

Но вместо того, чтобы почувствовать отчаяние от муки, которую она ждала и которой страшилась, ее сердце, пройдя сквозь катастрофу, оставалось спокойным и безмятежным: медленно, тихо билось оно после этого падения, лежавшего бременем на ее душе, и, казалось, не принимало участия в смятении ее духа.

Громко, как бы желая сама себя услышать и убедить, она повторила:

— Вот я и погибшая женщина.

Но никаким страдальческим откликом не отозвалось ее тело на эту жалобу совести.

На некоторое время она отдалась убаюкивающему покачиванию кареты, не желая пока думать о создавшемся мучительном положении. Нет, она не страдала. Она боялась думать, вот и все, боялась осознавать, понимать, рассуждать; напротив, в непроницаемых глубинах того таинственного бытия, которое возникает в нас под влиянием непрестанной борьбы наших склонностей и нашей воли, она ощущала, казалось ей, удивительное спокойствие.

Около получаса длилось это состояние странной безмятежности; поняв, наконец, что желанное отчаяние не наступит, она стряхнула с себя оцепенение и прошептала:

— Удивительно, я почти не огорчена.

Тогда она стала упрекать себя. В ней поднимался гнев против собственного ослепления и слабости. Как она раньше этого не предвидела? Как не поняла, что час борьбы должен наступить, и этот человек нравится ей настолько, что может довести ее до позорного поступка, и что дуновение страсти в самом честном сердце иногда подобно порыву ветра, сметающему волю?

Осыпав себя этими жестокими и презрительными упреками, она с ужасом подумала, что же будет дальше.

Сначала она решила порвать с художником и никогда больше с ним не видеться.

Но не успела она прийти к этой мысли, как тотчас же нашла множество возражений.

Чем объяснит она этот разрыв? Что скажет мужу? Разве не станут шушукаться, догадываясь о правде, разве потом не разнесут это повсюду?

Не лучше ли будет, для соблюдения приличий, разыграть перед самим Бертеном лицемерную комедию равнодушия и забвения, показать ему, что она вычеркнула эту минуту из своей памяти и жизни?

Но хватит ли у нее на это сил? Хватит ли у нее смелости сделать вид, будто она ничего не помнит, и сказать: «Что вам от меня угодно?» — глядя с него-

дующим удивлением на мужчину, внезапный и грубый порыв которого она, в сущности говоря, разделила?

Она долго размышляла и все же остановилась на этом решении, так как всякое другое казалось ей невозможным.

Завтра она смело пойдет к нему и сразу же даст ему понять, чего она хочет и требует от него. Пусть ни одно слово, ни намек, ни взгляд никогда не напоминают ей об этом позоре.

Это причинит страдание и ему, но, как человек честный и благовоспитанный, он, конечно, согласится с нею и впредь будет для нее тем же, чем был до сих пор.

Придя к этому новому решению, она дала кучеру свой адрес и возвратилась домой разбитая, с единственным желанием лечь в постель, никого не видеть, уснуть, забыться. Запершись у себя, она до обеда пролежала в оцепенении, не желая больше обдумывать эту мысль, чреватую опасностями.

В обычное время она сошла вниз, сама удивляясь тому, что так спокойна и ждет мужа, не меняясь в лице. Он вошел, неся на руках дочку; она пожала ему руку и поцеловала ребенка без малейшего волнения.

Г-н де Гильруа спросил, что она делала. Она равнодушно ответила, что позировала, как все эти дни.

— И что же, портрет хорош? — осведомился он.

— Должен быть очень удачным.

Граф, любивший за обедом говорить о своих делах, стал рассказывать о заседании палаты и прениях по поводу проекта закона о фальсификации предметов питания.

Эта болтовня, которую она обыкновенно переносила легко, привела ее в раздражение, и она стала внимательно вглядываться в этого вульгарного фразера, который интересовался подобными вещами; но слушала она с улыбкой, отвечала любезно, даже любезнее обычного, и с большей снисходительностью относилась к его банальностям. Глядя на него, она думала: «Я обманула его. Он мой муж, а я его обманула. Не странно ли это? Ничто уже не может помешать этому, ничто не может это зачеркнуть. Я закрыла глаза. На несколько секунд, всего на несколько секунд, я отдалась поцелуям чужого

мужчины, и вот я перестала быть честной женщиной. Несколько секунд в моей жизни, несколько невозвратных секунд, привели меня к этому мгновенному, но непоправимому событию, такому важному и такому мимолетному, к самому постыдному для женщины преступлению... а я совсем не испытываю отчаяния. Если бы мне это сказали вчера, я не поверила бы. Если бы меня стали в этом настойчиво уверять, я тотчас подумала бы об ужасных угрызениях совести, которые будут меня терзать сегодня. А у меня их нет, почти нет».

После обеда г-н Гильруа, как обычно, уехал из дому.

Тогда она взяла дочурку на колени и, целуя ее, заплакала; она плакала искренними слезами, слезами совести, но это не были слезы сердца.

Всю ночь она не сомкнула глаз.

Ночью, в темноте спальни, она терзалась еще сильнее, представляя себе, какими опасностями может грозить ей поведение художника; ей стало страшно при мысли о завтрашней встрече и о том, что придется говорить с ним с глазу на глаз.

Поднявшись рано, она все утро пролежала в шезлонге и, пытаясь предугадать, чего ей остерегаться, как отвечать, старалась приготовиться ко всевозможным неожиданностям.

Из дому вышла она рано, чтобы еще поразмыслить по дороге.

Он никак не ждал ее, а со вчерашнего дня только и спрашивал себя, как ему теперь быть с нею.

После ее ухода, после этого бегства, которому он не посмел воспротивиться, он остался один, и долго еще в его ушах отдавались шум ее шагов, шелест платья и стук стремительно захлопнутой двери.

Он стоял, охваченный пылкой, глубокой, кипучей радостью. Он взял ее! Она принадлежала ему! Неужели это правда? После первой неожиданности победы он теперь наслаждался ею и, чтобы насладиться вполне, сел, почти лег на диван, на котором овладел графиней.

Он долго пробыл так, весь поглощенный мыслью о том, что она его любовница, что между ними, между ним и этой женщиной, которую он так желал, в несколько мгновений завязалась таинственная связь,

незримо соединяющая два существа. Во всем своем еще трепещущем теле он хранил острое воспоминание о том быстром миге, когда их губы встретились, тела соединились, сплелись и содрогнулись великим содроганием жизни.

Чтобы вдосталь насытиться этой мыслью, он в этот вечер не выходил из дому и лег рано, весь трепеща от счастья.

Наутро, едва проснувшись, он задал себе вопрос: «Что я теперь должен делать?» Какой-нибудь кокотке или актрисе он послал бы цветы, даже драгоценность, но перед этим новым для него положением мучился в нерешительности.

Разумеется, ему надо было написать... но что?.. Он набросал писем двадцать, перечеркивал их, разрывал,— начинал писать снова, но все они казались ему оскорбительными, мерзкими, смешными.

Ему хотелось в утонченных, пленительных словах излить всю благодарность своей души, порывы безумной нежности, обеты безграничной преданности, но для передачи этих страстных чувств со всеми их оттенками он не находил ничего, кроме избитых фраз и банальных, грубых, беспомощных выражений.

Тогда он оставил намерение написать и решил пойти к ней, как только минет время сеанса,— он был уверен, что она не придет.

Запершись в мастерской, он замер в восторге перед портретом; его губы горели, ему хотелось целовать полотно, на котором было запечатлено нечто от нее, и он поминутно подходил к окну и смотрел на улицу. Как только вдали показывалось женское платье, сердце его начинало учащенно биться. Двадцать раз казалось ему, что это она, а когда женщина проходила мимо, он присаживался на минуту, подавленный грустью, словно кем-то обманутый.

И вдруг он увидел ее; он не поверил своим глазам, схватил бинокль, убедился, что это она, и, весь охваченный бурным волнением, сел в ожидании.

Когда она вошла, он бросился на колени, хотел взять ее руки, но она быстро отдернула их; он остался у ее ног, с глубокой тоской глядя на нее, а она надменно проговорила:

— Что вы делаете, сударь? Я не понимаю такого поведения.

Он пробормотал:

— О сударыня, умоляю вас...

Она резко перебила:

— Встаньте, вы смешны.

Он встал, ошеломленный, шепча:

— Что с вами? Не обращайтесь так со мною, я вас люблю!..

Тогда она в нескольких быстрых и сухих словах объявила ему свою волю.

— Не понимаю, что вы хотите сказать. Не говорите мне о вашей любви, или я уйду из этой мастерской и никогда не вернусь. Если вы хоть раз забудете, что я нахожусь здесь только при этом условии, вы меня больше не увидите.

Он смотрел на нее в отчаянии от этой жестокости, которую не предвидел; потом он понял и тихо сказал:

— Я повинуюсь, сударыня.

Она ответила:

— Превосходно, я этого и ждала от вас. Теперь за работу; вы слишком затянули окончание портрета.

Он взял палитру и стал писать, но рука его дрожала, отуманенные глаза ничего не видели, ему хотелось плакать, так тяжело у него было на сердце.

Он попробовал заговорить с нею, она едва отвечала. Когда он попытался сказать какую-то любезность по поводу цвета ее лица, она оборвала его таким резким тоном, что он вдруг ощутил прилив того гнева, какой у влюбленных превращает любовь в ненависть. Всей душою и телом он испытал сильное нервное потрясение и тотчас же, без перехода, почувствовал, что она стала ему отвратительна. Да, да, вот они, женщины! Она такая же, как и другие, такая же! А почему бы и нет? Она лжива, изменчива и малодушна, как все женщины. Она увлекла его, соблазнила уловками продажной девки, стараясь вскружить ему голову и ничего потом не дать, подстрекая его, чтобы затем оттолкнуть, применяя к нему все приемы подлых кокеток, всегда, кажется, готовых раздеться, пока мужчина, ставший из-за них похожим на уличного пса, не начнет задыхаться от страсти.

В конце концов тем хуже для нее: он обладал ею, он взял ее. Она может сколько угодно вытирать себе тело губкой и дерзко отвечать ему; ей ничего не стереть, а он ее забудет. Вот еще была бы нелепая история, если бы он связался с такой любовницей, которая капризными зубками хорошенькой женщины изгрызла бы его жизнь, посвященную искусству!

Ему хотелось засвистать, как он делал в присутствии натурщиц, но, чувствуя растущее раздражение и опасаясь выкинуть какую-нибудь глупость, он сократил сеанс, сославшись на свидание. Прощаясь, они, несомненно, чувствовали себя гораздо более далекими друг другу, чем в день их первой встречи у герцогини де Мортмэн.

Как только она удалилась, он взял шляпу, пальто и вышел из дому. С голубого, словно ватою обложенного неба холодное солнце бросало на город бледный свет, обманчивый и печальный.

Несколько времени он шел быстрой, нервной походкой, толкая прохожих, и его страшная злоба против нее понемногу перешла в горечь и сожаление. Повторив про себя все упреки по ее адресу, он вспомнил, глядя на других женщин, проходивших по улице, как она красива и соблазнительна. Подобно многим мужчинам, которые в этом не признаются, он всегда ждал невозможной встречи, редкой, единственной, поэтической и страстной привязанности, мечта о которой витает над нашим сердцем. Разве он не был близок к тому, чтобы найти это? Разве она не была той женщиной, которая могла бы дать ему это почти невозможное счастье? Почему же ничего не сбывается? Почему так и не поймаешь то, за чем гонишься, и тебе удается ухватить только жалкие крохи, и отчего эта погоня за разочарованиями причиняет еще больше страданий?

Уже не на графиню сердился он, а на самую жизнь. Теперь, по зрелом размышлении, за что стал бы он сердиться на г-жу де Гильруа? В сущности, в чем он мог упрекнуть ее — в том, что она была с ним любезна, добра и ласкова? А вот она могла бы упрекнуть его: ведь он вел себя, как негодяй!

Глубоко опечаленный, вернулся он домой. Ему хотелось просить у нее прощения, посвятить ей свою

жизнь, заставить ее забыть о случившемся, и он старался что-нибудь придумать, чтобы дать ей понять, что отныне он до гроба будет покорен всем ее желаниям.

На другой день она пришла в сопровождении дочери; она явилась с такой печальной улыбкой, такая грустная, что в этих бедных голубых глазах, до сих пор столь веселых, художнику почудились все муки, все угрызения совести, все отчаяние этого женского сердца. Охваченный жалостью, стремясь заставить ее забыть все, он стал относиться к ней с самой деликатной сдержанностью, с самой тонкой предупредительностью. Она отвечала на это кротко и ласково, с усталым и разбитым видом страдающей женщины.

И он, глядя на нее и снова охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым, спрашивал себя, как может она не сердиться, как могла снова прийти к нему, слушать его, отвечать; ведь между ними вставало такое воспоминание...

Но если она в силах снова видеться с ним, слышать его голос, если мирится в его присутствии с единственной мыслью, которая, несомненно, в душе не покидает ее, значит, эта мысль не кажется ей невыносимой и ненавистной. Когда женщина ненавидит мужчину, который насильно овладел ею, она не может, очутившись перед ним, не почувствовать к нему прилива ненависти. И оставаться равнодушной к этому человеку она тоже не может. Она непременно либо ненавидит его, либо прощает. А от прощения недалеко и до любви.

Медленно водя кистью, он размышлял и подбирал мелкие, точные, ясные, убедительные доводы; он чувствовал себя прозревшим, сильным и отныне господином положения.

Ему следовало только быть осторожным, терпеливым, преданным, и не сегодня-завтра она опять будет принадлежать ему.

Он умел ждать. Чтобы успокоить и снова покорить ее, он, в свою очередь, пустился на хитрости, скрывал нежные чувства под наружным раскаянием, был робко внимателен к ней, принимал равнодушный вид. Раз он был уверен в том, что счастье близко, не все ли равно, наступит оно днем раньше или позже! Он даже испытывал своего рода странное и утонченное удовольствие

в том, чтобы не спешить, чтобы подстерегать ее и думать: «Она боится», — видя, что она приходит каждый раз с ребенком.

Он чувствовал, что между ними медленно происходит сближение, что во взоре графини появляется что-то странное, напряженное, страдальчески-кроткое, тот призыв борющейся души, ослабевающей воли, который словно говорит: «Так бери же меня силой!»

Спустя некоторое время, успокоенная его сдержанностью, она опять стала приходить одна. Тогда он начал обращаться с нею, как друг, как товарищ, и рассказывал ей, словно брату, о своей жизни, планах, о своем искусстве.

Эта простота обращения пленила ее, и она охотно взяла на себя роль советчицы; ей льстило, что он выделил ее из ряда других женщин, и она была убеждена, что его талант выиграет в изяществе от такой духовной близости. И то, что он с ней советовался и выказывал ей крайнее уважение, естественно внушило ей стремление, не довольствуясь ролью советчицы, утвердиться в священном призвании вдохновительницы. Ее пленяла мысль оказывать таким образом влияние на великого человека, и она почти уже согласилась с тем, чтобы он любил ее как художник, раз она вдохновляет его творчество.

Однажды вечером, после долгого разговора о любовницах знаменитых живописцев, она как-то незаметно очутилась в его объятиях. На этот раз она уже не пыталась вырваться и возвращала ему поцелуи.

Теперь она уже испытывала не угрызения совести, но лишь смутное ощущение падения и, чтобы избавиться от упреков рассудка, поверила, что такова воля рока. Она тянулась к Оливье девственным сердцем и пустующей душою, и постепенно власть его любовных ласк покорила ее тело, и мало-помалу она привязалась к нему, как привязываются нежные женщины, полюбившие в первый раз.

А он переживал острый приступ любви, чувственной и поэтической. Иногда ему казалось, что он взлетел на небо и, протянув руки, заключил в объятия великолепную и крылатую мечту, вечно реющую над нашими надеждами.

Он закончил портрет графини, бесспорно, лучший из всех написанных им, ибо сумел увидеть и запечатлеть то невыразимое, что почти никогда не удается раскрыть художнику: отблеск, тайну, тот образ души, который почти неуловим в лице.

Прошли месяцы, затем годы, но они почти не ослабили уз, связывавших графиню де Гильруа с живописцем Оливье Бертеном. В нем уже не было первоначальной пылкости, ее сменило спокойное, глубокое чувство, своего рода любовная дружба, которая стала для него привычкой.

В ней же, наоборот, непрестанно росла страстная, упрямая привязанность, какая бывает у некоторых женщин, отдающих себя одному мужчине всецело и навсегда. Такие же честные и прямые в прелюбодеянии, какими они могли бы быть в супружестве, эти женщины посвящают себя единственной любви, от которой ничто их не отвратит. Они не только любят своего любовника, но хотят любить его, не видят никого, кроме него, и настолько полны мыслями о нем, что ничто постороннее не может войти в их сердце. Они связывают свою жизнь так же решительно, как связывает себе руки, готовясь броситься с моста в воду, умеющий плавать человек, который решил утонуть.

Однако с того момента, как графиня отдала себя всю Оливье Бертену, она стала сомневаться в его постоянстве. Ничто ведь не удерживало его, кроме мужской воли, каприза, мимолетного влечения к женщине, которую он встретил случайно, как встречал уже столько других! Она чувствовала, что он, не имея никаких обязательств, привычек, предрассудков, как все мужчины, был так мало связан и так легко доступен искушению! Он хорош собою, знаменит, всюду его дарили вниманием; его быстро загорающемуся желанию доступны все светские женщины, целомудрие которых так хрупко, и все женщины полусвета или кулис, охотно расточающие свои милости таким людям, как он. В один прекрасный вечер, после ужина, какая-нибудь из них может последовать за ним, понравиться ему, овладеть им, удержать при себе.

Поэтому г-жа де Гильруа жила в постоянном страхе потерять его, внимательно следила за его поступками

и настроениями, волнуясь от одного слова, испытывая тревогу, как только он начинал восхищаться какой-нибудь другой женщиной, восхвалять прелесть чьего-нибудь лица или изящество фигуры. Все, что было ей неизвестно о его жизни, заставляло ее трепетать, а все, что она знала, приводило в ужас. При каждой их встрече она осторожно и ловко задавала ему разные вопросы, стараясь узнать, что он думает о людях, с которыми встречался, о домах, где обедал, выведать самые ничтожные его впечатления. Лишь только она подозревала чье-либо влияние, она с изумительной изворотливостью стремилась побороть его, прибегая для этого к бесчисленным уловкам.

О, как часто она уже заранее предчувствовала те легкие мимолетные интрижки, какие время от времени завязываются и длятся неделю — другую в жизни каждого видного художника!

Она бессознательно чуяла опасность прежде, чем ее предупреждало о пробуждающемся в нем новом желании то праздничное выражение, какое появляется в глазах и в лице мужчины, возбужденного мыслью о галантном приключении.

Это заставляло ее страдать, и сон ее часто прерывался тоскливыми думами. Чтобы застигнуть художника врасплох, она неожиданно приходила к нему, роняла наивные на первый взгляд вопросы, выстукивала его сердце, выслушивала его мысль, как выстукивают и выслушивают больного, чтобы определить скрытую болезнь.

А как только она оставалась одна, она принималась плакать, уверяя себя, что уж на этот раз его отнимут у нее, похитят эту любовь, за которую она держалась так цепко, потому что вложила в нее по желанию сердца всю силу своей привязанности, все надежды и все свои мечты.

Зато, когда после такого кратковременного побега он снова возвращался к ней, когда она снова забирала его обратно, снова завладевала им, как потерянной и найденной вещью, она испытывала такое глубокое безмолвное счастье, что порой, проходя мимо церкви, она бросалась туда воздать благодарение богу.

Постоянная забота о том, чтобы нравиться Оливье

больше всех других женщин и уберечь его от них, превратила ее жизнь в непрерывную борьбу: она беспрестанно боролась за него своей грацией, красотой, изяществом, кокетством. Она хотела, чтобы всюду, где бы он ни услышал о ней, превозносили ее обаяние, вкус, ум и наряды. Ради него она хотела нравиться другим и сводить их с ума, чтобы он гордился ею и ревновал. И всякий раз, угадывая его ревность, заставив его немного помучиться, она затем доставляла ему торжество, которое, возбуждая его тщеславие, оживляло в нем любовь.

Понимая также, что мужчина всегда может встретить в обществе такую женщину, физическое очарование которой будет сильнее в силу новизны, она прибегала к другим средствам: льстила ему и баловала его.

Постоянно и незаметно она расточала ему похвалы, убаюкивала лестью, окружала поклонением, чтобы всюду в другом месте дружба и даже нежность казались ему несколько холодными и недостаточно полными, чтобы он заметил в конце концов, что если другие его и любят, то ни одна женщина не понимает его так, как она.

Свой дом, обе свои гостиные, где он появлялся очень часто, она превратила в такой уголок, куда его одинаково влекло честолюбие художника и сердце мужчины, в такой уголок Парижа, где он бывал особенно охотно, потому что здесь он мог удовлетворить все свои вожделения сразу.

Она не только изучила его привычки, чтобы, угождая ему у себя в доме, создать у него чувство ничем незаменимого довольства, но сумела пробудить в нем и новые вкусы, внушить влечение к всевозможным утехам материальным или духовным, привычки к мелким знакам внимания, к преданности, к обожанию, к лести! Она всячески старалась усладить его зрение изяществом, обоняние — ароматами, слух — комплиментами, вкус — лакомыми блюдами.

Но когда она вложила в душу и тело этого эгоистичного и избалованного холостяка множество мелких тиранических потребностей и когда вполне уверилась, что никакая любовница не станет так заботливо, как она, ухаживать за ним, угождать ему, чтобы опу-

тать его всевозможными маленькими житейскими удовольствиями, — она вдруг испугалась, увидя, что ему опротивел его собственный дом, что он вечно жалуется на одинокую жизнь и, не имея возможности бывать у нее иначе, как с соблюдением всех требуемых обществом ограничений, пытается разогнать тоску одиночества то в клубе, то в разных других местах; она испугалась, как бы он не вздумал жениться.

Бывали дни, когда она так страдала от всех этих тревог, что начинала мечтать о старости, чтобы покончить с этой мукой и найти успокоение в охладевшей и спокойной привязанности.

Годы шли, но не разъединяли их. Скованная ею цепь была прочна, и по мере того как звенья изнашивались, она восстанавливала их. Но вечно озабоченная, она следила за сердцем художника, как следят за ребенком, который переходит запруженную экипажами улицу, и еще до сих пор она каждый день со страхом ждала какого-нибудь неведомого несчастья, угроза которого всегда висит над нами.

Граф, не питая ни подозрений, ни ревности, находил естественной эту близость жены с знаменитым художником, которого всюду принимали с большим почетом. Часто встречаясь, они с художником привыкли один к другому и кончили тем, что полюбили друг друга.

II

Когда Бертен явился в пятницу к своей подруге на обед по случаю возвращения Аннеты де Гильруа, он не нашел в маленькой гостиной в стиле Людовика XV никого, кроме только что приехавшего г-на де Мюзадье.

Это был умный старик, который мог, по-видимому, стать в свое время человеком выдающимся и теперь был неутешен, что это не сбылось.

Бывший хранитель императорских музеев, он и при республике сумел добиться должности инспектора изящных искусств, что не мешало ему прежде всего быть другом принцев, всех принцев, принцесс и герцогинь европейской аристократии и присяжным покровителем всевозможных талантов. Обладая живым умом,

умением все предусмотреть, даром слова, позволявшим ему с приятностью говорить самые избитые вещи, гибкой мыслью, благодаря которой он прекрасно чувствовал себя во всяком обществе, и тонким чутьем дипломата, помогавшим ему судить о людях с первого взгляда, он целые дни, с утра до вечера неутомимо расточал в гостиных свое просвещенное и бесполезное красноречие.

Мастер на все руки, он говорил обо всем с внушительным видом знатока и простотой популяризатора, за что его весьма ценили светские дамы, для которых он служил ходячей энциклопедией. Он действительно знал много, хотя никогда ничего не читал, кроме самых необходимых книг; но он был в лучших отношениях со всеми пятью академиями, с учеными, писателями, специалистами во всех областях знания и внимательно к ним прислушивался. Он умел немедленно забывать слишком технические или бесполезные для его знакомых сведения, но отлично запоминал другие, которые излагал так общепонятно, ясно и занимательно, что они легко воспринимались как поучительные анекдоты. Он напоминал собою склад идей, один из тех огромных магазинов, где никогда не найдешь редкую вещь, но где зато имеется богатый запас всякой дешевки самого разнообразного назначения и происхождения, от кухонной утвари и до простейших приборов занимательной физики и домашней хирургии.

Художники, с которыми он постоянно имел дело по службе, трунили над ним и побаивались его. Он, впрочем, оказывал им всяческие услуги, помогал сбывать картины, устраивал им светские связи, любил знакомить, выводить их в люди, покровительствовать им; казалось, он посвятил себя таинству взаимного сближения светских людей и художников, гордился тем, что интимно знаком с одними и запросто вхож к другим, что в один и тот же день завтракал с принцем Уэльским во время его пребывания в Париже и обедал с Полем Адельмансом, Оливье Бертеном и Амори Мальданом.

Бертен питал к нему симпатию. но подсмеивался над ним и говорил:

— Это занимательная энциклопедия в духе Жюля Верна, но переплет из ослиной кожи.

Пожав друг другу руки, они завели разговор о политике, о слухах насчет войны. По мнению Мюзадье, эти слухи вызывали явную тревогу, причины которой он изложил весьма обстоятельно: Германии нужно во что бы то ни стало раздавить Францию и ускорить этот момент, которого г-н Бисмарк выжидает уже восемнадцать лет. А Оливье Бертен неопровержимыми доводами доказывал, что эти опасения призрачны, так как Германия не настолько безумна, чтобы скомпрометировать свою победу сомнительной авантюрой, а канцлер не настолько опрометчив, чтобы в последние дни своей жизни разом поставить на карту все созданное им и свою славу.

Однако г-н де Мюзадье, по-видимому, знал что-то, чего не хотел сказать. К тому же он виделся сегодня днем с одним министром и беседовал с великим князем Владимиром, возвратившимся накануне из Канн.

Художник стоял на своем и со спокойной иронией оспаривал компетентность наиболее осведомленных людей. Под шумок всех этих слухов готовятся биржевые спекуляции! И определенное мнение на этот счет имеется, пожалуй, только у г-на Бисмарка.

Вошел г-н де Гильруа, с предупредительностью пожал им руки, извиняясь в слащавых выражениях, что оставил их одних.

— А вы, дорогой депутат, — спросил живописец, — что вы думаете по поводу слухов о войне?

Г-н де Гильруа тут же начал целую речь. В качестве члена палаты он знает об этом больше, чем кто бы то ни было, но не разделяет мнения большинства своих коллег. Нет, он не верит в возможность столкновения в близком будущем, если только оно не будет вызвано французской шумливостью и бахвальством так называемых патриотов Лиги. И он набросал в общих чертах портрет г-на Бисмарка, портрет в духе Сен-Симона. Этого человека не хотят понять: люди всегда приписывают другим собственный образ мыслей и считают их готовыми поступить так, как поступили бы они сами на их месте. Г-н Бисмарк не какой-нибудь

бесчестный и лживый дипломат: наоборот, он откровенен, груб, всегда говорит правду во всеуслышание, всегда прямо объявляет о своих намерениях. «Я хочу мира», — сказал он. И это правда, он хочет мира, только мира, и вот уже восемнадцать лет самым явным образом дает доказательство этому решительно во всем, вплоть до его вооружений, вплоть до его союзов, вплоть до этого объединения народов против французского задора И г-н де Гильруа закончил тоном глубокого убеждения:

— Это большой, очень большой человек, который хочет спокойствия, но верит только в угрозы и в насильственные средства для его достижения. В общем, господа, он великий варвар.

— Цель оправдывает средства,—вставил г-н де Мюзадье. — Охотно соглашусь с вами, что он обожает мир, если вы, в свою очередь, согласитесь со мною, что для достижения его он все время стремится вызвать войну. Впрочем, это неоспоримая и феноменальная истина: война на этом свете всегда затевается только ради мира!

Слуга доложил:

— Герцогиня де Мортмэн.

Дверь отворилась настежь; высокая полная женщина с властным видом вошла в комнату.

Гильруа бросился к ней, поцеловал ей руку и спросил:

— Как поживаете, герцогиня?

Оба гостя поклонились с некоторой почтительной фамильярностью; герцогиня относилась к людям с грубоватой сердечностью.

Вдова генерала, герцога де Мортмэна, дочь маркиза де Фарандаль и мать единственной дочери, бывшей замужем за князем Салиа, происходя из знатного рода и царственно богатая, она принимала в своем особняке на улице Варенн знаменитостей всего мира, которые встречались у нее и обменивались любезностями. Ни одна высочайшая особа не могла проследовать через Париж, не пообедав за ее столом, и как только кто-нибудь начинал входить в моду, герцогиня сейчас же изъявляла желание познакомиться с этим человеком. Ей необходимо было увидеть его, заставить разговориться, создать себе о нем представление. Все это чрез-

вычайно занимало ее, оживляло ее жизнь, питало горевшее в ней пламя надменного и благожелательного любопытства.

Едва она уселась, как тот же слуга доложил:

— Барон и баронесса де Корбель.

Вошла молодая пара; барон лысый и толстый, баронесса — хрупкая, элегантная, жгучая брюнетка.

Эта супружеская чета занимала среди французской аристократии особое положение, которым обязана была единственно тщательному выбору своих знакомств. Происходя из мелкого дворянства, не отличаясь ни умом, ни достоинствами, руководствуясь во всех своих поступках неумеренным пристрастием к тому, что признается фешенебельным, безукоризненным и изысканным, посещая только самые знатные дома, выказывая роялистские чувства, набожность и крайнюю корректность, уважая все, что полагается уважать, презирая все, что полагается презирать, никогда не ошибаясь ни в одном пункте светских догм, никогда не отступая ни от одной детали этикета, — они добились того, что в глазах многих прослыли сливками high lif'a [1]. Их мнения составляли в некотором роде кодекс хорошего тона, а их присутствие в чьем-нибудь доме служило ему бесспорным патентом на почтенность.

Корбели были в родстве с графом де Гильруа.

— А где же ваша жена? — с удивлением спросила герцогиня.

— Минуту, одну минуту, — попросил граф. — Готовится сюрприз, она сейчас придет.

Когда г-жа де Гильруа, спустя месяц после замужества, вступила в свет, она была представлена герцогине де Мортмэн, которая сразу полюбила ее, приблизила к себе и стала ей покровительствовать.

Двадцать лет оставалась неизменной эта дружба, и когда герцогиня говорила «моя малютка», в ее голосе еще слышалось волнение внезапно возникшей и непроходящей влюбленности. У нее-то и произошла первая встреча графини с художником.

Мюзадье спросил:

— Были вы, герцогиня, на выставке Неумеренных?

[1] Великосветское общество *(англ.)*.

— Нет, а что это такое?

— Группа новых художников, импрессионистов, в состоянии опьянения. Там есть двое очень сильных.

Знатная дама презрительно бросила:

— Не нравятся мне шутки этих господ.

Властная, резкая, не допускающая никаких других мнений, кроме собственного, а это собственное основывая только на сознании своего общественного положения, она, не отдавая себе в том отчета, смотрела на художников и ученых как на интеллигентных наемников, которым самим богом предназначено развлекать светских людей или оказывать им услуги; во всех своих суждениях об искусстве она исходила лишь от той или иной степени удивления и ничем не объяснимого удовольствия, которое доставлял ей вид какой-нибудь вещи, чтение книги или рассказ о каком-нибудь открытии.

Высокая, толстая, тяжеловесная, краснолицая, с громким голосом, она прослыла важной дамой, так как ничто ее не смущало, она осмеливалась говорить все и оказывала покровительство не только всем низложенным государям, устраивая в их честь приемы, но и всевышнему, щедро одаряя духовенство и жертвуя на церкви.

Мюзадье продолжал:

— Известно ли вам, герцогиня, что, по слухам, убийца Мари Ламбур арестован?

Она сразу заинтересовалась:

— Нет, не знаю, расскажите.

И он стал рассказывать со всеми подробностями. Высокий, тощий, в белом жилете, сверкая алмазными запонками манишки, он говорил без жестов, с тем корректным видом, который позволял ему высказывать весьма рискованные вещи, на что он был большой мастер. Он был очень близорук и носил пенсне, но, казалось, никого никогда не видел, а когда садился, можно было подумать, что весь его костяк изгибается по форме кресла. Его торс в согнутом положении становился совсем маленьким и весь оседал, словно позвоночник был резиновый; заложенные одна на другую ноги походили на две перекрученные ленты, а бледные руки с длинными-предлинными пальцами свисали по обе стороны кресла. Его усы и волосы, артистически выкра-

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

Худ. Альбер Линш. 1888. «ПЬЕР И ЖАН».

шенные, с умышленно оставленными седыми прядями, служили предметом постоянных шуток.

В то время, когда он рассказывал герцогине, что убийца, обдуманно совершивший преступление, подарил драгоценности, принадлежавшие убитой девке, другой особе легких нравов, дверь гостиной снова распахнулась, и две женщины в белых, легких, как пена, кружевных платьях, обе блондинки, похожие друг на друга, как две сестры, хотя и разного возраста, одна зрелая, другая юная, одна полная, другая худенькая, вошли улыбаясь, обняв друг друга за талию.

Раздались возгласы, аплодисменты. Никто, кроме Оливье Бертена, не знал о возвращении Аннеты Гильруа, и когда девушка появилась рядом с матерью, которая издали казалась почти такою же свежею и даже более красивой, потому что, как вполне распустившийся цветок, все еще была ослепительна, а дочь, едва раскрывшийся бутон, только начинала становиться хорошенькой,— все нашли их обеих очаровательными.

Герцогиня, восторженно хлопая в ладоши, воскликнула:

— Боже! Как они восхитительны и забавны рядом друг с другом. Посмотрите, господин де Мюзадье, до чего они похожи!

Стали сравнивать, и сейчас же образовались два мнения. Мюзадье, Корбели и граф де Гильруа находили, что графиня и ее дочь схожи между собою только цветом лица, волосами и особенно глазами, совершенно одинаковыми у обеих, одинаково испещренными черными крапинками, напоминающими крошечные брызги чернил, упавшие на голубой ирис. Но очень скоро, когда молодая девушка станет женщиной, сходство между ними почти совсем исчезнет.

Но, по мнению герцогини и Оливье Бертена, мать и дочь, напротив, во всем были похожи друг на друга — разница только в возрасте.

Художник сказал:

— Как она изменилась за эти три года! Я бы не узнал ее, я не посмею теперь говорить ей «ты».

Графиня рассмеялась:

— Ну вот еще! Посмотрела бы я, как вы станете говорить Аннете «вы».

Молодая девушка, в застенчивом лукавстве которой уже проглядывала будущая самоуверенность, сказала:

— Это я не посмею теперь говорить «ты» господину Бертену.

Мать улыбнулась:

— Можешь сохранить эту дурную привычку, я позволяю. Вы скоро возобновите знакомство.

Но Аннета покачала головой:

— Нет, нет. Мне неловко.

Герцогиня расцеловала ее и оглядывала с любопытством знатока.

— Ну, малютка, посмотри на меня. Да, у тебя совершенно такой же взгляд, как у матери; еще немного, и, когда ты приобретешь лоск, ты будешь недурна. Тебе надо пополнеть, не очень, а немножко. Ты худышка.

Графиня воскликнула:

— О, не говорите ей этого!

— А почему?

— Так приятно быть худенькой. Я непременно хочу похудеть.

Но г-жа де Мортмэн рассердилась, забывая в пылу гнева о присутствии девочки:

— Вечная история! У вас все еще не выходят из моды кости, потому что их легче одевать, чем мясо. Вот я из поколения толстых женщин! А теперь пошло поколение тощих. Это напоминает мне египетских коров. Решительно не понимаю мужчин: они притворяются, что в восторге от ваших костяков. В наше время им требовалось кое-что получше.

Она замолчала, вызвав общую улыбку, а затем продолжала:

— Взгляни на свою маму, малютка: она очень хороша, как раз в меру. Бери пример с нее.

Перешли в столовую. Когда сели за стол, Мюзадье возобновил спор:

— А я скажу, что худощавы должны быть мужчины. Они созданы для упражнений, требующих ловкости и подвижности, несовместимых с брюшком. Что касается женщин, это — другое дело. Как по-вашему, Корбель?

Корбель находился в замешательстве, потому что герцогиня была толста, а его собственная жена слиш-

ком тонка. Но баронесса пришла на выручку мужу и решительно высказалась в пользу стройности. Год тому назад ей пришлось бороться с начинавшейся полнотой, и она скоро с ней справилась.

Г-жа де Гильруа спросила:

— Скажите, как вы этого добились?

Баронесса стала объяснять систему, которую применяют теперь все элегантные женщины. Во время еды ничего не пить. Лишь через час после обеда можно чашку очень горячего, обжигающего чая. Это помогает всем. Она привела несколько удивительных примеров того, как толстые женщины в течение трех месяцев становились тоньше лезвия ножа. Герцогиня в отчаянии воскликнула:

— Боже! Как глупо так себя мучить! Вы просто ничего не любите, ровно ничего, даже шампанского. Бертен, вы художник, что вы об этом думаете?

— Боже мой, сударыня, я — живописец, я могу задрапировать натуру, мне все равно! Вот на месте скульптора я стал бы жаловаться.

— Но вы мужчина. Что вы предпочитаете?

— Я... я... слегка упитанную, но изящную женщину, то, что моя кухарка называет славненьким, откормленным цыпленочком. Чтобы он был нежирный, мясистый и нежный.

Сравнение вызвало смех, но графиня недоверчиво посмотрела на дочь и тихо проговорила:

— Нет, быть худощавой очень приятно: худые женщины не так стареют.

Этот пункт тоже вызвал спор и разделил общество на два лагеря. Впрочем, в одном сошлись почти все: очень полным не следует худеть слишком быстро.

Это наблюдение дало повод произвести смотр знакомым светским женщинам и еще раз высказаться об их грации, их шике и красоте. Мюзадье находил бесподобно очаровательной белокурую маркизу де Локрист, тогда как Бертен выше всех ставил брюнетку г-жу Мандельер, с низким лбом, темными глазами, довольно крупным ртом и ослепительными зубами.

Он сидел возле молодой девушки и вдруг, повернувшись к ней, сказал:

— Слушай хорошенько, Нанета. Все, что мы сейчас

говорим, ты будешь выслушивать по меньшей мере раз в неделю до самой твоей старости. Дней через десять ты будешь знать наизусть все, что думают в свете о политике, о женщинах, о театральных пьесах и обо всем прочем. Тебе придется только время от времени менять имена людей или заглавия произведений. Когда мы все изложим перед тобою и защитим наши мнения, ты, выслушав нас, спокойно выберешь для себя то, которого будешь придерживаться, и затем тебе уже не надо будет ни о чем думать; останется только отдыхать.

Девушка молча подняла на него лукавый взгляд, в котором светился живой, юный ум, пока еще не самостоятельный, но готовый сбросить все путы.

Однако герцогиня и Мюзадье, которые перебрасывались мыслями, как мячами, не замечая, что эти мысли— все одни и те же, запротестовали во имя человеческой деятельности и разума.

Тогда Бертен стал доказывать, до чего ничтожен, бессодержателен и мелок ум светских людей, даже наиболее образованных, как безразличны они к явлениям духа, до чего необоснованны их взгляды, неустойчивы и сомнительны их вкусы.

Он был охвачен тем полуискренним, полупритворным негодованием, которое бывает вызвано сначала желанием блеснуть красноречием, но затем внезапно выливается в ясное суждение, обычно прикрытое благодушием. Художник стал доказывать, что люди, занятые в жизни исключительно визитами и зваными обедами, неодолимою силою рока превращаются в беспечные и милые, но банальные существа, которых не волнуют ни тяжелые заботы, ни убеждения, ни большие желания.

Он доказывал, что в этих людях нет ни глубины, ни огня, ни искренности, что их духовная культура ничтожна, а ученость — просто внешний лоск, что, в общем, это манекены, выдающие себя за избранных людей или копирующие их жесты. Он доказывал, что чахлые корни их инстинктов вросли в почву условностей, а не в действительность, и потому они ничего не любят по-настоящему, что роскошь, которой они себя окружают, служит лишь удовлетворению тщеславия, а вовсе не утолению их утонченных потребностей, так как едят они плохо и вина пьют скверные, хотя платят за них очень дорого.

— Они живут,— говорил он,— рядом со всем, что есть в мире, но ничего не видят, ни во что не вникают: рядом с наукой, которой они не знают, рядом с природой, на которую не умеют смотреть, рядом со счастьем, ибо сами-то они не в силах страстно наслаждаться чем бы то ни было; они не замечают красоты мира или красоты искусства, о которой толкуют, и даже не верят в нее, потому что им неведомо упоение радостями бытия и духовной деятельностью. Они неспособны полюбить что-либо настолько, чтобы эта любовь заполнила все их существование, неспособны заинтересоваться чем-нибудь в такой степени, чтобы их озарила радость понимания.

Барон де Корбель счел своей обязанностью выступить на защиту хорошего общества.

Он приводил те несостоятельные, но неопровержимые доводы, которые тают перед здравым смыслом, как снег от огня, и которых никак не уловишь — нелепые, но торжествующие доводы деревенского кюре, доказывающего существование бога. В заключение он сравнил светских людей с беговыми лошадьми, которые, в сущности говоря, не приносят пользы, но зато поддерживают славу лошадиной породы.

Бертен, чувствуя себя неудобно перед таким противником, хранил презрительно-учтивое молчание. Но вдруг глупость барона вывела его из себя, и, ловко прервав речь собеседника, он стал подробно рассказывать, как проводит день — от утреннего вставания до отхода ко сну — благовоспитанный, светский человек.

Метко схваченные черточки обрисовали невыразимо комичный образ. Все как бы воочию видели перед собою этого господина: в то время как камердинер одевает его, он высказывает некоторые общие идеи парикмахеру, явившемуся побрить его; затем, собираясь на утреннюю прогулку, он расспрашивает конюхов о здоровье лошадей; потом проезжает рысцой по аллеям Булонского леса единственно для того, чтобы раскланиваться со знакомыми; завтракает в обществе супруги, которая, в свою очередь, выезжала сегодня в карете, и весь их разговор состоит из перечня встреченных утром лиц; затем посещает до вечера гостиные, чтобы освежить ум общением с себе подобными, обедает у какого-

нибудь князя, где обсуждается европейская политика, и заканчивает вечер в танцевальном фойе Оперы, где его робкие попытки стать прожигателем жизни невинно удовлетворены одним лишь внешним видом неприличного места.

Портрет был необычайно точен, но ирония его никого не задевала. Все за столом смеялись.

Толстая герцогиня вся тряслась от еле сдерживаемого желания расхохотаться, и грудь ее слегка вздрагивала. Наконец она сказала:

— Нет, право, это ужасно смешно, вы меня уморите.

Бертен, все еще возбужденный, тотчас же подал реплику:

— О сударыня! В свете не умирают со смеху. Там смеются еле-еле. Из любезности и как того требует хороший тон, делают вид, что веселятся, и притворяются, будто смеются. Гримасу смеха воспроизводят довольно удачно, но это не настоящий смех. Пойдите в народный театр — и вы увидите, как люди смеются. Пойдите к простым обывателям, когда они веселятся,— и вы увидите, как люди покатываются со смеху. Пойдите в солдатские казармы — и вы увидите, как люди, задыхаясь, хохочут до слез и корчатся на койках, глядя на проделки какого-нибудь штукаря. Но в наших гостиных не смеются. В них, повторяю вам, все фальшиво, даже смех.

Мюзадье перебил его:

— Позвольте, вы слишком строги! Ведь вы сами, дорогой мой, как мне кажется, не пренебрегаете этим высшим светом, который так хорошо высмеиваете.

Бертен улыбнулся:

— Да, я его люблю.

— Как же так?

— Я отчасти презираю себя как существо сомнительной породы.

— Все это только рисовка,— сказала герцогиня.

И когда он стал уверять, что не рисуется, она закончила спор заявлением, что все художники любят делать из мухи слона.

Затем завязался общий разговор, банальный и спокойный, дружеский и сдержанный, касающийся всего понемногу, и так как обед подходил к концу, графиня,

указывая вдруг на стоявшие перед ней нетронутые бокалы, воскликнула:

— Ну вот, я ничего не пила, ничего, ни капли. Посмотрим, похудею ли я.

Герцогиня, рассердившись, хотела заставить ее выпить глоток — другой минеральной воды, но все было тщетно, и она воскликнула:

— Ах, глупенькая! Теперь из-за дочери у нее голова кругом пойдет. Пожалуйста, Гильруа, запретите вашей жене безумствовать.

Граф, объяснявший в это время Мюзадье устройство изобретенной в Америке механической молотилки, не расслышал.

— О каком безумии вы говорите, герцогиня?

— О ее сумасбродном желании похудеть.

Он бросил на жену благосклонно-равнодушный взгляд.

— Я ведь не привык стеснять ее свободу.

Графиня поднялась из-за стола и взяла под руку своего соседа, граф предложил руку герцогине, и все перешли в большую гостиную, так как будуар был предназначен для дневных приемов.

Это была просторная и очень светлая комната. Ее стены в красивых широких панно бледно-голубого шелка, расшитых старинными узорами и окаймленных белыми с золотом багетами, отливали при свете ламп и люстры нежным и ярким лунным сиянием. Портрет графини, работы Оливье Бертена, висевший здесь, казалось, наполнял комнату своей жизнью. Он был тут у себя дома, и самый воздух гостиной был напоен улыбкою молодой женщины, прелестью ее взгляда, очарованием ее белокурых волос. И у всех стало почти привычкой, своего рода светским обрядом,— подобно тому, как крестятся при входе в церковь,— каждый раз останавливаться перед портретом и осыпать комплиментами его оригинал.

Мюзадье никогда не упускал этого случая. Его мнение как знатока, облеченного доверием государства, было равносильно официальной экспертизе, и он считал своим долгом неизменно и с глубоким убеждением подтверждать высокое достоинство этой живописи.

— Вот,— сказал он,— поистине лучший из всех со-

временных портретов, какие я знаю. Он полон какой-то чудесной жизни.

Граф де Гильруа, постоянно выслушивавший похвалы этому полотну и давно уже уверенный, что обладает шедевром, подошел поближе, чтобы подогреть восторг Мюзадье, и минуты две они наперебой повторяли всевозможные общеизвестные и технические термины для прославления видимых и скрытых достоинств этой картины.

Все глаза, обращенные на стену, казалось, сияли восторгом, и Оливье Бертен, привыкший к этим похвалам и обращавший на них так же мало внимания, как на вопрос о здоровье при случайной уличной встрече, тем не менее поправил помещенную перед портретом и освещавшую его лампу с рефлектором, которую слуга по небрежности поставил немного криво.

Затем все расселись. Граф подошел к герцогине, и она сказала:

— Вероятно, мой племянник заедет за мною и выпьет у вас чаю.

С некоторых пор у них появились общие желания, которые они взаимно угадывали, хотя еще не обмолвились о них даже намеком.

Брат герцогини де Мортмэн, маркиз де Фарандаль, почти совершенно разоренный игрою, умер после падения с лошади, оставив вдову и сына. Этот молодой человек, которому теперь было двадцать восемь лет, считался одним из самых модных дирижеров котильона в Европе, его приглашали даже иногда в Вену и в Лондон, чтобы украсить придворные балы несколькими турами вальса; не имея почти никаких средств, он благодаря своему положению, имени и родственным связям чуть не с королевскими домами являлся одним из тех избранных парижан, знакомства с которыми больше всего добиваются и которым больше всего завидуют.

Эту еще слишком юную славу, добытую на поприще танцев и спорта, необходимо было укрепить и — после богатой, очень богатой женитьбы — сменить светские успехи на политические. Стоит только маркизу пройти в депутаты, и он тем самым сделается одним из столпов будущего престола, одним из советников короля и одним из главарей партии.

Герцогиня, располагавшая точными сведениями, знала об огромном состоянии графа де Гильруа, расчетливого скопидома, занимавшего обыкновенную наемную квартиру, тогда как он мог бы жить на широкую ногу в одном из прекраснейших парижских особняков. Она знала об его неизменно удачных спекуляциях, об его тонком нюхе в финансовых делах, об его участии в самых доходных предприятиях, пущенных в ход за последнее десятилетие, и ей пришла мысль женить своего племянника на дочери нормандского депутата, которому этот брак мог бы дать преобладающее влияние в аристократическом обществе, окружающем принцев. Гильруа, взявший за женою большое приданое и ловко умноживший собственное прекрасное состояние, лелеял теперь новые честолюбивые планы.

Он верил в возвращение короля, и ему хотелось в надлежащий момент использовать это событие как можно лучше.

Как простой депутат, он не имел большого веса. Но в качестве тестя маркиза де Фарандаля, предки которого были верными и любимейшими приближенными французского королевского дома, он выдвигался в первые ряды.

Сверх того дружба герцогини с его женою придавала этому союзу характер интимной близости, что также было очень важно, и, боясь, что маркиз может встретить другую девушку, которая ему вдруг понравится, граф выписал свою дочь, чтобы ускорить ход событий.

Г-жа де Мортмэн, предугадывая его планы, безмолвно им содействовала, и в этот день, хотя ее и не уведомили о внезапном возвращении девушки, она посоветовала племяннику заехать к супругам Гильруа, чтобы затем постепенно приучить его бывать в этом доме почаще.

В первый раз граф и герцогиня заговорили намеками о своих желаниях, и когда они расставались, договор о союзе между ними уже был заключен.

На другом конце гостиной раздавался смех. Г-н де Мюзадье рассказывал баронессе де Корбель о приеме президентом республики какого-то негритянского посольства. Но тут доложили о приезде маркиза де Фарандаля

Он появился в дверях и остановился. Быстрым, привычным жестом вставил в правый глаз монокль, как будто желая рассмотреть гостиную, куда попал впервые, а также, может быть, для того, чтобы подчеркнуть свое появление и дать присутствующим время разглядеть его.

Затем неуловимым движением щеки и брови он сбросил стеклышко, висевшее на черном шелковом шнурке, поспешно направился к г-же де Гильруа и, глубоко поклонившись, поднес к губам протянутую ему руку.

Он поцеловал также руку своей тетке, затем пожал руки всем остальным присутствующим, переходя от одного к другому с изящной непринужденностью.

Это был молодой человек высокого роста, с рыжими усами, уже немного полысевший, с выправкой военного и с замашками английского спортсмена. При взгляде на него чувствовалось, что это один из тех людей, которые работают головою меньше, чем прочими частями тела, и любят только такие занятия, при которых развиваются физическая сила и подвижность. Однако он был образован, так как давно изучал и с великим напряжением ума до сих пор продолжал изучать все то, что ему впоследствии могло пригодиться: историю, тщательно зазубривая даты, не углубляясь в смысл событий, и необходимые депутату элементарные сведения из политической экономии, азбуку социологии, приспособленной для правящих классов.

Мюзадье уважал его, говоря: «Этот человек пойдет в гору». Бертен ценил его ловкость и силу. Они посещали один и тот же фехтовальный зал, часто вместе охотились и встречались в аллеях Булонского леса, катаясь верхом. Общность вкусов вызывала в них симпатию друг к другу, устанавливала ту инстинктивную масонскую связь, какую создает между мужчинами любая тема для разговора, одинаково приятная тому и другому.

Когда маркиза представили Аннете де Гильруа, он сразу же заподозрил о теткиных комбинациях и, поклонившись девушке, окинул ее быстрым взглядом знатока.

Он нашел ее миленькой и, главное, многообещающей; ведь он на своем веку продирижировал таким множеством котильонов и так хорошо разбирался в девушках, что мог с первого взгляда предсказать их будущую красоту, как эксперт, пробующий молодое вино.

Обменявшись с нею всего лишь несколькими незначащими фразами, он подсел затем к баронессе де Корбель и принялся вполголоса сплетничать с нею.

Гости удалились рано, и, когда все разъехались, когда девушка легла спать, лампы были погашены и слуги поднялись в свои комнаты, граф де Гильруа, шагая по гостиной, где горели только две свечи, долго еще не отпускал дремавшую в кресле графиню, развивая перед нею свои надежды, подробно объясняя, как надо действовать, предусматривая всевозможные комбинации, шансы и принимая необходимые предосторожности.

Было уже поздно, когда он ушел к себе, весьма довольный своим вечером и бормоча:

— Мне кажется, дело слажено.

III

«Когда же вы придете, друг мой? Я вас не видела уже три дня, и мне кажется, это было так давно. Я очень занята дочерью, но вы знаете, что я не могу обойтись без вас».

Художник набрасывал карандашом эскизы, как всегда, в поисках нового сюжета; он перечитал записку графини и, выдвинув ящик письменного стола, положил ее на груду других писем, накопившихся там за время их связи.

Пользуясь свободой светской жизни, они привыкли встречаться почти каждый день. Время от времени она бывала у него и, не мешая ему работать, просиживала час — другой в кресле, в котором когда-то позировала. Но, опасаясь болтовни прислуги, она предпочитала назначать такие ежедневные свидания — эту разменную монету любви,— принимая его у себя или видясь с ним у кого-нибудь в гостях.

Они уславливались заранее об этих встречах, которые г-ну де Гильруа всегда казались естественными.

Не реже двух раз в неделю художник обедал у графини в обществе нескольких друзей, каждый понедельник заходил к ней в ее ложу в Опере, затем они назначали друг другу свидание в том или другом доме, куда случай приводил их в один и тот же час. Он знал, в какие вечера она никуда не выезжает, и заходил к ней выпить чашку чая, чувствуя себя подле нее как дома: до того тепла, уютна и надежна была эта давняя привязанность. А власть привычки встречаться где-нибудь с нею, проводить вместе хоть несколько минут, обмениваться двумя — тремя словами, делиться некоторыми мыслями была в нем так сильна, что он испытывал непрестанную потребность видеть ее, хотя пламень его страсти давно уже угас.

Потребность чувствовать себя в семье, в многолюдном и оживленном доме, обедать за общим столом, проводить вечера в неутомимой болтовне с людьми, давным-давно знакомыми, та эгоистическая потребность в близости, в тесной связи, в интимном общении, которая дремлет в сердце каждого человека и которую всякий старый холостяк таскает с собой по своим друзьям из дома в дом, устраивая в каждом из них свой домашний уголок, еще сильнее укрепляла его привязанность. В этом доме, где его любили, баловали, где он получал все, он мог отдыхать и нежить свое одиночество.

Уже три дня не виделся он со своими друзьями, которые, должно быть, совсем захлопотались с возвращением дочери; он уже скучал и даже немного обиделся, что они до сих пор не позвали его к себе, но считал не совсем удобным сделать первый шаг.

Письмо графини подстегнуло его словно удар хлыста. Было три часа дня. Он решил немедленно идти к ней, чтобы застать ее еще дома.

Бертен позвонил, явился лакей.

— Какая погода, Жозеф?

— Очень хорошая, сударь.

— Тепло?

— Да, сударь.

— Белый жилет, синий сюртук, серую шляпу.

Одевался он всегда очень элегантно, и, хотя на него шил безукоризненный портной, по одному тому, как он носил костюм, как ходил, стянув живот белым жилетом, по серому цилиндру, сдвинутому немного на затылок, в нем, казалось, сразу же можно было узнать художника и холостяка.

Графиня собиралась на прогулку в Булонский лес. Бертен был раздосадован и стал ждать.

По привычке он зашагал по обширной, полутемной от драпировок гостиной, переходя от кресла к креслу, от окна к стене. На легких столиках с золочеными ножками были разбросаны в нарочитом беспорядке всевозможные безделушки, бесполезные, красивые и дорогие. То были старинные чеканного золота коробочки, табакерки с миниатюрами, статуэтки из слоновой кости и современные вещицы из матового серебра, в строгом комизме которых проявлялся английский вкус: крошечная кухонная плита, а на ней кошка, лакающая из кастрюльки, ящик для папирос в виде большого хлеба, кофейник-спичечница, и в особом футляре полный убор для куклы: ожерелья, браслеты, перстни, брошки, серьги, осыпанные бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами,— микроскопическая фантазия, выполненная, казалось, руками ювелиров Лилипутии.

Время от времени он брал какую-нибудь вещицу, им же самим подаренную по случаю того или иного семейного праздника, задумчиво вертел ее в руках, рассматривал и равнодушно клал на место.

В углу, на одноногом столике перед круглым диванчиком, лежало несколько книг в роскошных переплетах; их открывали редко. Здесь же лежала книжка *Ревю де Де Монд,* слегка потрепанная и измятая, с загнутыми углами, словно ее не раз читали и перечитывали, и другие, еще не разрезанные журналы: *Современное искусство,* который принято было выписывать только потому, что журнал дорого стоил,— его подписная цена составляла четыреста франков в год,— и *Свободный листок,* тощая брошюрка в голубой обложке, где изливались новейшие поэты, так называемые «Взвинченные».

Между окнами стоял письменный столик графини, кокетливое изделие минувшего века; за этим столи-

ком она писала ответы на неотложные записки, полученные во время приема гостей. Тут же было несколько любимых книг, вывеска ума и сердца женщины: *Мюссе, Манон Леско, Страдания молодого Вертера* и, чтобы показать, что здесь не чуждались сложных ощущений и психологических глубин,— *Цветы зла, Красное и черное, Женщины в XVIII веке и Адольф.*

Рядом с книгами, на куске вышитого бархата, лежало прелестное ручное зеркало, шедевр ювелирного мастерства; оно было повернуто стеклом вниз, чтобы можно было восхищаться любопытной работой из золота и серебра на его спинке.

Бертен взял зеркало и стал глядеться в него. За последние годы он сильно постарел и хотя находил свое лицо теперь более оригинальным, чем прежде, его начинали огорчать дряблость щек и глубокие морщины.

За его спиною отворилась дверь.

— Здравствуйте, господин Бертен,— сказала Аннета.

— Здравствуй, малютка. Как поживаешь?

— Очень хорошо, а вы?

— Как, ты решительно отказываешься говорить мне «ты»?

— Право, мне неловко.

— Ну, полно.

— Нет, неловко. Я при вас робею.

— Это почему же?

— Потому... потому, что вы недостаточно молоды и еще недостаточно стары...

Живописец рассмеялся.

— После такого довода я не настаиваю.

Она вдруг залилась румянцем вплоть до той белой полоски лба, где начинаются волосы, и смущенно продолжала:

— Мама поручила мне сказать вам, что она сейчас сойдет вниз; она спрашивает, не хотите ли поехать с нами в Булонский лес.

— Конечно. Вы одни?

— Нет, с нами будет герцогиня де Мортмэн.

— Прекрасно, и я с вами.

— Тогда, если позволите, я пойду за шляпой.

— Иди, дитя мое.

Не успела она выйти, как появилась графиня под вуалью, готовая к выезду. Она протянула ему руки.

— Что это вас не видно, Оливье? Чем вы заняты?

— Я не хотел мешать вам эти дни.

Она произнесла «Оливье» тоном, в который вложила всю силу упрека и всю привязанность.

— Вы самая лучшая женщина в мире,— сказал он, тронутый ее интонацией.

Когда эта маленькая сердечная размолвка была улажена, она заговорила тоном светской болтовни:

— Мы заедем за герцогиней к ней домой, а потом покатаемся по Лесу. Надо показать все это Нанете.

Коляска ожидала их под аркою ворот.

Бертен занял место против дам, лошадиные копыта зацокали под гулким сводом, и экипаж покатился.

На большом бульваре, ведущем к церкви Мадлен, все живое, казалось, ощущало нисходившую с неба радость ранней весны.

Теплый воздух и солнце придавали праздничный вид мужчинам, настроение влюбленности женщинам, заставляли прыгать ребятишек и белых поварят, которые, поставив свои корзины на скамьи, бегали и играли с уличными мальчишками, своими сверстниками; собаки, казалось, торопились куда-то, канарейки у привратниц заливались во все горло, и только старые извозчичьи клячи плелись, словно еле живые, своей обычной унылой рысцой.

Графиня прошептала:

— О, какой прекрасный день! Как хорошо жить!

При ярком дневном свете художник рассматривал поочередно мать и дочь. Конечно, между ними была разница, но вместе с тем и такое сходство, что одна казалась продолжением другой, казалась созданной из той же крови и той же плоти, одухотворенной тою же жизнью. В особенности их глаза, усеянные черными крапинками, ярко-синие у дочери и чуть поблекшие у матери, устремляли на него, когда он говорил что-нибудь, до такой степени похожий взгляд, что он готов был услышать от них обеих один и тот же ответ. И, заставляя их смеяться и болтать, он не без удивления замечал, что перед ним две совсем разные женщины,

одна уже в летах, а другая лишь начинающая жить. Нет, он не мог предсказать, что выйдет из этой девочки, когда ее юный ум под влиянием еще не проснувшихся вкусов и инстинктов раскроется для жизни. Сейчас это хорошенькая молоденькая девушка, никому не известная и ничего еще не знающая, готовая идти навстречу случайностям и любви, подобно кораблю, выходящему из родной гавани, тогда как ее мать, совершившая свой жизненный путь и уже любившая, возвращалась к тихой пристани.

Он умилился, подумав, что именно его избрала и ему доныне еще отдает предпочтение перед всеми эта все еще красивая женщина, мягко покачивающаяся в коляске теплым весенним днем.

Бертен бросил на нее признательный взгляд, она угадала его смысл, и в прикосновении ее платья художник почувствовал ответную благодарность.

И вслед за ней он прошептал:

— О да, какой прекрасный день!

Заехав за герцогиней, жившей в улице Варенн, они направились к Дому инвалидов, пересекли Сену и, подхваченные волною других карет, достигли Елисейских Полей, следуя к Триумфальной арке Звезды.

Молодая девушка, сидевшая рядом с Оливье, спиною к лошадям, смотрела на этот поток экипажей широко открытыми, жадными и наивными глазами. По временам, когда герцогиня или графиня легким кивком отвечали на чей-нибудь поклон, она спрашивала: «Кто это?» — Бертен отвечал: «Понтэглены», или «Пюисельси», или «Графиня де Локрист», или «Прекрасная госпожа Мандельер».

Теперь коляска катилась по проспекту Булонского леса, среди грохота и мелькания колес. Экипажи, уже не так теснясь, как у Триумфальной арки, казалось, состязались в бесконечном беге. Фиакры, тяжелые ландо, величавые восьмирессорные кареты то и дело обгоняли друг друга, но вдруг впереди всех оказалась быстро мчавшаяся виктория, запряженная одним рысаком, с бешеной быстротою уносившая сквозь всю эту катящуюся буржуазную и аристократическую толпу, сквозь все общественные слои, все классы, все иерархии небрежно развалившуюся молодую женщину, от

светлого и рискованного туалета которой пахнуло на проезжавшие вблизи экипажи странным ароматом неведомого цветка.

— А эта дама кто такая? — спросила Аннета.

— Не знаю,— ответил Бертен, а герцогиня и графиня обменялись улыбками.

Листья распускались; соловьи, завсегдатаи этого парижского парка, уже перекликались в молодой листве, и когда, приближаясь к озеру, экипаж поплелся шагом за другими, почти задевая их колесами, из кареты в карету полетели поклоны, улыбки и любезности. Теперь это было похоже на скользящую флотилию лодок, в которых сидят учтивые дамы и господа. Герцогиня, ежеминутно кивавшая в ответ на приподнятую шляпу или чей-нибудь поклон, как будто производила смотр, и по мере того, как эти люди проезжали мимо, припоминала все, что знала, думала и предполагала о них.

— Смотри, малютка, вот опять прекрасная госпожа Мандельер, первая красавица в республике.

Сидя в легкой, кокетливой коляске, первая красавица республики, притворно равнодушная к этой всеми признанной славе, предоставляла любоваться своими большими темными глазами, низким лбом под шлемом черных волос и властным, довольно крупным ртом.

— Все-таки она очень хороша,— сказал Бертен.

Графиня не любила, когда он расточал при ней хвалы другим женщинам. Она слегка пожала плечами и ничего не ответила.

Но девушка, в которой вдруг проснулся инстинкт соперничества, осмелилась сказать:

— А я этого вовсе не нахожу.

Художник повернулся к ней:

— Как, ты вовсе не находишь ее красивой?

— Нет, у нее такой вид, словно ее обмакнули в чернила.

Герцогиня в восторге засмеялась.

— Браво, малютка, вот уже шесть лет, как половина мужчин в Париже млеет перед этой негритянкой! Можно подумать, что они смеются над нами. Посмотрика лучше на графиню де Локрист.

Одна в ландо, с белым пуделем, изящная, как ми-

ниатюра, блондинка с карими глазами, графиня, тонкие черты которой уже пять или шесть лет также служили предметом восторженных восклицаний ее поклонников, раскланивалась с застывшей на губах улыбкой.

Однако Нанета и тут не выказала никакого восхищения.

— О! — вырвалось у нее.— Она уже не первой свежести.

Бертен, который в ежедневных спорах об этих двух соперницах обыкновенно вовсе не разделял мнения г-жи де Гильруа, вдруг рассердился на такую разборчивость девчонки.

— Черт возьми,— сказал он,— нравится она тебе или нет, но она очаровательна, и я желаю тебе быть такой же красивой.

— Полноте,— заговорила герцогиня,— вы отмечаете только тех женщин, которым уже за тридцать. Девочка права, вы превозносите их, лишь когда они увядают.

Он воскликнул:

— Позвольте, женщина становится действительно красивой в более позднем возрасте, потому что именно в это время весь ее облик приобретает полную выразительность.

И, отстаивая мысль, что первая свежесть — это только лак на созревающей красоте, он стал доказывать, что светские мужчины не ошибаются, не обращая внимания на молодых женщин в пору их блеска и провозглашая их красавицами лишь в последний период их расцвета.

Графиня, польщенная этим, проговорила:

— Он прав, он судит, как художник. Юное лицо — это очень мило, но всегда немного банально.

Художник продолжал утверждать, что в известное время лицо постепенно утрачивает неопределенную прелесть юности и получает свою окончательную форму, свой характер, свое выражение.

Графиня подтверждала каждое его слово, убежденно кивая головою, и чем больше он настаивал, с жаром адвоката, произносящего защитительную речь, с одушевлением обвиняемого, отстаивающего свою правоту, тем решительнее она ободряла его взглядом и

жестом, как будто они заключили между собою союз для взаимной поддержки против какой-то опасности, для защиты от угрожающего им ложного суждения. Аннета, всецело поглощенная созерцанием, не слушала их. Ее смеющееся личико стало серьезным, и она примолкла, одурманенная радостью этой сутолоки. Это солнце, листва, экипажи, эта прекрасная, роскошная и веселая жизнь — все это было для нее!

Она тоже будет приезжать сюда каждый день, ее тоже будут знать, ей будут кланяться, завидовать, и мужчины, указывая на нее, может быть, будут называть ее красавицей. Она выискивала глазами самых элегантных мужчин и дам и все время спрашивала их имена, интересуясь только теми сочетаниями слогов, которые, нередко попадаясь ей в газетах или в учебнике истории, вызывали в ней известное уважение и преклонение. Но она не могла свыкнуться с этим кортежем знаменитостей и даже не вполне верила, что они настоящие,— она словно присутствовала на каком-то спектакле. Извозчики внушали ей презрение, смешанное с отвращением, угнетали и раздражали ее, и она сказала вдруг:

— По-моему, сюда следовало бы пускать только собственные выезды.

Бертен ответил:

— Прекрасно, мадмуазель, а как же быть со свободой, равенством и братством?

Она сделала гримасу, означавшую: «Толкуйте об этом кому-нибудь другому»,— и продолжала:

— Для извозчиков нашелся бы другой лес, например, Венсенский.

— Ты отстаешь, дитя. Ты и не знаешь, что мы теперь с головой ушли в демократию. Впрочем, если хочешь видеть Булонский лес свободным от всякой примеси, приезжай утром: ты найдешь здесь только цвет, тончайший цвет общества.

И он набросал одну из тех картин, какие обыкновенно так ему удавались,— картину утреннего Леса с его всадниками и амазонками, этого изысканнейшего клуба, где все знают друг друга даже по уменьшительным именам, знают родственные связи, титулы, добродетели и пороки, словно все они живут в одном и том

же квартале или в одном и том же захолустном городишке.

— Вы часто здесь бываете? — спросила она.

— Очень часто; это, право, самое очаровательное место в Париже.

— По утрам вы ездите верхом?

— Конечно.

— А после, днем, делаете визиты?

— Да.

— Когда же вы работаете?

— Я работаю... когда придется, и притом я избрал себе специальность по своему вкусу! Так как я пишу портреты красивых дам, мне приходится их посещать и часто сопровождать чуть ли не повсюду.

— Пешком и верхом? — по-прежнему без улыбки спросила она.

Он бросил на нее искоса довольный взгляд, казалось, говоривший: «Эге, уже острит! Из тебя выйдет прок».

Пролетел порыв холодного ветра, примчавшийся издалека, с простора полей, еще не совсем стряхнувших с себя зимнее оцепенение, и под свежим дыханием вздрогнул весь этот кокетливый зябкий великосветский лес.

В течение нескольких секунд колебалась скудная листва на деревьях, колыхались ткани на плечах. Все женщины почти одинаковым движением натянули на руки и на грудь спустившиеся с плеч накидки, а лошади побежали рысью, словно налетевший резкий ветер подхлестнул их своим дуновением.

Обратно ехали быстро, под серебристое позвякиванье конской сбруи, в потоке косых лучей пылающего заката.

— Разве вы едете к себе домой? — спросила художника графиня, знавшая все его привычки.

— Нет, я в клуб.

— В таком случае мы завезем вас туда.

— Прекрасно, благодарю вас.

— А когда вы пригласите нас с герцогиней к себе завтракать?

— Назначьте день.

Этот присяжный живописец парижанок, которого поклонники окрестили «реалистическим Ватто», а

хулители называли «фотографом дамских платьев и накидок», часто устраивал у себя завтраки или обеды для прекрасных особ, черты которых он воспроизводил, а также для других дам, непременно знаменитых, непременно известных, и им очень нравились эти маленькие праздники в доме холостяка.

— Послезавтра! Вам удобно послезавтра, дорогая герцогиня? — спросила г-жа де Гильруа.

— Да, да. Вы очень любезны. Господин Бертен в подобных случаях никогда не думает обо мне. Ясно, что я уже немолода.

Графиня, привыкшая смотреть на дом художника отчасти как на свой собственный, сказала:

— Никого не будет, кроме нас четверых: герцогиня, Аннета, я да вы,— не так ли, великий художник?

— Никого, кроме нас,— сказал он выходя,— и я вас угощу раками по-эльзасски.

— О, вы привьете малютке всяческие прихоти.

Стоя у дверцы экипажа, он раскланялся, быстро вошел в парадный вестибюль клуба, бросил пальто и трость роте лакеев, вскочивших, как солдаты перед офицером, затем поднялся по широкой лестнице, прошел мимо другой бригады лакеев в коротких панталонах, толкнул какую-то дверь и внезапно ощутил в себе юношескую бодрость, услышав в конце коридора непрерывный лязг скрещивающихся рапир, топот выпадов и выкрики громких голосов.

— Задет.

— Мне.

— Мимо.

— Имею.

— Задет.

— Вам.

В зале состязались фехтовальщики в серых полотняных куртках и стянутых у щиколотки штанах, в кожаных безрукавках и нагрудниках, спускающихся в виде фартука на живот; подняв левую руку, согнув ее в кисти, а в правой, которая казалась огромной из-за надетой перчатки, держа тонкую гибкую рапиру, они выпадали вперед и выпрямлялись с быстротой и гибкостью заводных паяцев.

Другие отдыхали, разговаривали, еще тяжело ды-

ша, красные, потные, вытирая носовым платком лоб и шею; третьи, сидя на четырехугольном диване, тянувшемся вдоль стен всего зала, наблюдали за схватками. Ливерди был против Ланда, а фехтовальный учитель клуба Тальяд — против высокого Рокдиана.

Бертен улыбался, чувствуя себя как дома, и пожимал руки.

— Вы со мной,— крикнул ему барон де Баври.

— К вашим услугам, дорогой мой.

И он прошел в гардеробную переодеться.

Давно не ощущал он себя таким бодрым и крепким и, предчувствуя, что будет упражняться отлично, торопился с нетерпением школьника, который бежит поиграть. Очутившись лицом к лицу с противником, он сразу атаковал его с чрезвычайной горячностью и, задев одиннадцать раз в течение десяти минут, настолько утомил его, что барон запросил пощады. Затем он сразился с Пюизероном и со своим собратом Амори Мальданом.

Подставив свое разгоряченное тело под холодный душ, он вспомнил, как в двадцать лет купался глубокой осенью в Сене, бросаясь вниз головой с моста, чтобы ошеломить буржуа.

— Ты здесь обедаешь? — спросил его Мальдан.

— Да.

— У нас с Ливерди, Рокдианом и Ланда отдельный стол. Поторопись, уже четверть восьмого.

Переполненная столовая жужжала, как улей.

Здесь были все парижские полуночники, все те, кто после семи часов вечера не знают, чем бы еще заняться, и идут обедать в клуб, рассчитывая случайно прицепиться к кому-нибудь или чему-нибудь.

Когда пятеро приятелей уселись, банкир Ливерди, крепкий и приземистый человек лет сорока, сказал Бертену:

— Вы сегодня прямо бешеный.

Художник ответил:

— Да, нынче я наделал бы удивительных дел.

Остальные улыбнулись, а пейзажист Амори Мальдан, тощий, плешивый, седобородый человечек, лукаво сказал:

— Я тоже в апреле всегда чувствую новый прилив

жизненных соков, и на мне появляется с полдюжины листочков, а потом все выливается в чувство; но плодов не бывает никогда.

Маркиз де Рокдиан и граф де Ланда выразили ему сожаление. Будучи старше его, хотя ничей опытный взгляд не мог бы определить их возраста, оба эти завсегдатая клуба, наездник и фехтовальщик, у которых от постоянных упражнений тело сделалось как стальное, хвалились, что они во всех отношениях гораздо моложе расслабленных повес нового поколения.

Рокдиан, происходивший из хорошей семьи, принятый во всех гостиных, хотя его и подозревали во всевозможных темных денежных плутнях,— что, по словам Бертена, было не удивительно, так как он много лет провел в игорных домах,— был женат, но не жил с женою, которая выплачивала ему ренту; он состоял директором бельгийских и португальских банков и, судя по его энергичной донкихотской внешности, гордился своей несколько потускневшей честью ничем не брезгующего дворянина, время от времени омывая ее кровью царапины, полученной на дуэли.

Граф де Ланда, добродушный великан, гордившийся своим ростом и плечами, имел жену и двоих детей, но, несмотря на это, лишь с большим трудом заставлял себя обедать дома раза три в неделю, а в прочие дни после упражнений в фехтовальном зале оставался с приятелями в клубе.

— Клуб — это семья,— говорил он,— семья для тех, у кого еще нет семьи, для тех, у кого никогда не будет семьи, и для тех, кому скучно в собственной семье.

Заговорили о женщинах и тут перешли от анекдотов к воспоминаниям и от воспоминаний к хвастовству, вплоть до нескромных откровенностей.

Маркиз де Рокдиан не называл фамилий своих любовниц: это были светские женщины,— но описывал их с большой точностью, чтобы их легко было узнать, предоставляя собеседникам догадаться, о ком он говорил. Банкир Ливерди называл своих любовниц по именам. Он рассказывал:

— Я был в то время очень близок с женою одного дипломата. И вот как-то вечером, расставаясь с нею, говорю ей: «Малютка моя Маргарита...»

Он останавливался, видя вокруг улыбки, и продолжал:

— Гм! Я проговорился... Следовало бы завести обычай называть всех женщин Софи.

Оливье Бертен, очень сдержанный, обыкновенно заявлял, когда его спрашивали:

— Я ограничиваюсь моими натурщицами

Приятели притворялись, что верят этому, а Ланда, гонявшийся попросту за уличными девками, приходил в возбуждение при мысли о всех лакомых кусочках, бегающих по улицам, и о всех молодых особах, раздевающихся перед живописцем за десять франков в час.

По мере того, как бутылки пустели, все эти старички, как называла их клубная молодежь,— все эти раскрасневшиеся старички разгорячались, охваченные подогретыми желаниями и забродившими страстями.

После кофе Рокдиан пустился в откровенности, казавшиеся более правдоподобными, и, позабыв о светских женщинах, принялся славить простых кокоток.

— Париж,— говорил он, держа в руке рюмку кюммеля,— единственный город, где мужчина не стареет, где он в пятьдесят лет, если только еще крепок и хорошо сохранился, всегда найдет хорошенького ангелочка, восемнадцатилетнюю резвушку, которая будет его любить.

Ланда, видя, что Рокдиан после ликеров стал прежним Рокдианом, восторженно поддакивал ему и перечислял миленьких девочек, которые и до сих пор еще обожали его.

Но Ливерди, настроенный более скептически и утверждавший, что знает настоящую цену женщинам, бормотал:

— Они вам только говорят, что обожают вас.

Ланда возразил:

— Они мне это доказывают, дорогой мой.

— Эти доказательства в счет не идут.

— С меня их довольно.

Рокдиан закричал:

— Да они и сами так думают, черт возьми! Неужели вы полагаете, что этакая хорошенькая двадцатилетняя потаскушечка, уже лет пять — шесть ведущая развеселую жизнь в Париже, где все наши усы сначала

привили ей вкус к поцелуям, а потом совсем отбили, что она еще умеет отличить тридцатилетнего мужчину от шестидесятилетнего? Полно, какой вздор! Она всего навидалась и слишком много узнала. Бьюсь об заклад, что в глубине души она предпочитает, да, безусловно предпочитает старого банкира, а не молодого повесу. Но разве она думает об этом? Разве у здешних мужчин есть возраст? Э, милый, с сединой мы молодеем, и чем больше седеешь, тем чаще тебе говорят, что тебя любят, тем больше это доказывают и тем больше этому верят.

Они поднялись из-за стола, побагровевшие, возбужденные алкоголем, готовые пуститься на поиски всяческих побед, и стали обсуждать вопрос, как провести вечер. Бертен предлагал цирк, Рокдиан — ипподром, Мальден — Эден, а Ланда — Фоли-Бержер. В это время до них донеслись легкие, отдаленные звуки настраиваемых скрипок.

— Стойте,— сказал Рокдиан,— кажется, сегодня в клубе музыка?

— Да,— ответил Бертен,— заглянем туда минут на десять перед уходом?

— Идем.

Они прошли гостиную, бильярдную, игорный зал и добрались до ложи, устроенной над эстрадой для оркестра. Четыре господина, погрузившись в кресла, уже сосредоточенно ожидали начала, а внизу, среди пустых рядов стульев, еще человек десять беседовали сидя и стоя.

Дирижер отрывисто постучал палочкой по пюпитру: начинали.

Оливье Бертен обожал музыку, как обожают опиум. Она навевала ему мечты.

Как только доходила до него волна музыкальных звуков, он чувствовал, что как бы хмелеет: все его существо наполнялось необыкновенным трепетом, и опьяненное мелодиями воображение, как безумное, уносилось в сладких мечтах и приятных грезах. Закрыв глаза, положив ногу на ногу, опустив в истоме руки, он внимал звукам, а перед его взором и в его сознании проходила вереница образов.

Оркестр играл симфонию Гайдна, и как только веки

художника сомкнулись, он опять увидел лес, множество экипажей вокруг, а напротив себя в коляске графиню и ее дочь. Он слышал их голоса, следил за их словами, чувствовал колыхание экипажа, вдыхал воздух, наполненный запахом листвы.

Три раза его сосед, заговаривая с ним, прерывал это видение, и три раза оно возобновлялось, как возобновляется после морского переезда корабельная качка, хотя кровать, на которой вы лежите, неподвижна.

Затем оно расширилось, растянулось в какое-то далекое путешествие с этими двумя женщинами; они попрежнему сидели против него то в вагоне железной дороги, то за столиком заграничного отеля. Так они сопровождали его все время, пока длилась музыка, словно за время прогулки в этот солнечный день их лица запечатлелись в глубине его зрачков.

Тишина, затем шум голосов и передвигаемых стульев развеяли его туманные грезы, и он заметил, что его четыре приятеля дремали рядом и бесхитростные их позы выражали внимание, побежденное сном.

Разбудив их, он спросил:

— Ну, что же мы будем делать теперь?

— Мне,— откровенно ответил Рокдиан,— хотелось бы еще немножко поспать здесь.

— И мне тоже,— сказал Ланда.

Бертен встал:

— Ну, а я иду домой, я немного устал.

Он чувствовал, наоборот, большой подъем, но ему хотелось уйти: он боялся, что вечер кончится, как всегда в клубе, за столом для игры в баккара.

Поэтому он вернулся домой, а на следующий день после нервного напряжения, пережитого в эту ночь,— одну из тех ночей, что вызывают у художников интенсивную мозговую деятельность, которую окрестили именем вдохновения,— он решил не выходить из дому и работать до вечера.

Это был прекрасный день, день, когда работается легко, когда идея как будто передается руке и сама собой закрепляется на полотне.

Затворив двери, отгородившись от внешнего мира, среди безмолвия особняка, запертого для всех, в дружественной тишине мастерской, возбужденный, бод-

рый, с зорким взглядом и ясной головой, он наслаждался счастьем, дарованным только одним художникам,— счастьем в радости зачать свое произведение. В эти часы работы ничто не существовало для него, кроме куска полотна, где под ласковым прикосновением его кисти зарождался образ, и во время этих приступов творческой плодовитости он испытывал странное, но радостное чувство бьющей через край, хмельной и разливающейся вокруг жизни. К вечеру он был совсем разбит, как после здорового физического утомления, и лег спать с приятной мыслью о завтраке, назначенном на следующий день.

Стол был уставлен цветами, меню составлено очень заботливо в расчете на г-жу де Гильруа, тонкую лакомку, и, несмотря на энергическое, хотя и краткое, сопротивление, художник заставил своих гостей выпить шампанского.

— Малютка опьянеет! — говорила графиня.

Герцогиня снисходительно отвечала:

— Боже мой, надо же когда-нибудь начать!

Перейдя в мастерскую, все чувствовали себя немного возбужденными той легкой, поднимающейся радостью, от которой как будто вырастают крылья на ногах.

Герцогиня и графиня, которым надо было ехать на заседание комитета французских матерей, собирались предварительно отвезти Аннету домой, но Бертен предложил пройтись с нею пешком и проводить ее до бульвара Мальзерб, и они вышли.

— Выберем дорогу подлиннее,— сказала она.

— Хочешь побродить по парку Монсо? Это премилый уголок, посмотрим на детишек и кормилиц.

— Да, да, с удовольствием!

Они миновали со стороны проспекта Веласкеса монументальную золоченую решетку, которая служит вывеской и входом в этот изящный цветущий прелестный парк, с манерной грацией расположившийся посреди Парижа и опоясанный аристократическими особняками.

Вдоль широких аллей, затейливыми изгибами перерезающих лужайки и купы деревьев, женщины и мужчины, сидя на железных стульях, следят за вереницей прохожих, а на узеньких дорожках, извивающихся

подобно ручейкам и уходящих в тень, детвора кучками копошится в песке, бегает, прыгает через веревочку под ленивым присмотром нянек или под беспокойными взглядами матерей. Огромные, куполообразно подстриженные деревья, похожие на монументы из листьев, гигантские каштаны, тяжелая зелень которых обрызгана красными и белыми кистями цветов, благородные сикоморы, декоративные платаны с замысловато изогнутыми стволами украшают широкие волнистые газоны, создавая пленительные перспективы.

Жарко. Дикие голуби воркуют в листве деревьев, перелетая с верхушки на верхушку, а воробьи купаются в радуге, зажженной солнцем на водяной пыли, осыпавшей росинками нежную, только что политую траву. Кажется, что белые статуи блаженствуют на своих пьедесталах среди этой зеленой прохлады. Мраморный мальчик все вытаскивает из ноги невидимую занозу, будто он только что укололся, догоняя Диану, которая бежит вон туда, к пруду, окаймленному рощицей, где приютились развалины храма.

А другие статуи целуются, влюбленные и холодные, на опушке рощи или мечтают, обхватив рукою колено. По красивым скалам струится, пенясь, каскад. Вокруг дерева, усеченного в виде колонны, вьется плющ; на надгробном камне начертана какая-то надпись. Но каменные столбики на газонах напоминают Акрополь не больше, чем этот элегантный маленький парк напоминает девственный лес.

Это искусственный и очаровательный уголок, куда горожане ходят любоваться цветами, выращенными в теплицах, и восхищаться, словно театральным представлением, тем приятным зрелищем, которое устраивает в самом сердце Парижа красавица-природа.

Оливье Бертен любил этот парк; уже много лет почти ежедневно приходил он сюда смотреть на парижанок в самой подходящей для них рамке. «Этот парк,— говорил он,— создан для прекрасных туалетов; плохо одетые люди внушают здесь ужас». И он часами бродил тут, изучая все растения и всех постоянных посетителей.

Он шел рядом с Аннетой по аллеям, рассеянно глядя на пеструю, кипучую жизнь парка.

— О, какой ангелочек! — воскликнула девушка.

Она залюбовалась белокурым кудрявым мальчуганом с голубыми глазами, который удивленно и с восхищением уставился на нее.

Затем она оглядела всех детей и от удовольствия при виде этих разряженных живых кукол стала общительной и разговорчивой.

Она шла неторопливым шагом и делилась с Бертеном замечаниями и мыслями о детях, няньках, матерях. Упитанные дети вызывали у нее радостное восклицание, бледные пробуждали жалость.

Он слушал ее, но больше забавлялся ею самою, чем малышами, и, не забывая о своей живописи, шептал про себя: «Чудесно!» Какую прекрасную картину мог бы он написать, взяв уголок этого парка и цветник матерей, нянек и детей. Как он раньше не подумал об этом?

— Тебе нравятся эти детишки? — спросил он.

— Я обожаю их.

Видя, как она смотрит на них, он чувствовал, что ей хочется взять их на руки, целовать, тормошить — естественное и нежное желание будущей матери. И он дивился этому тайному инстинкту, скрытому в женском теле.

Так как она не прочь была поболтать, он стал расспрашивать о ее вкусах. С милой наивностью она поведала ему свои надежды на успех и славу в высшем свете и выразила желание иметь хороших лошадей, в которых она знала толк не хуже барышника, так как в Ронсьере ряд ферм был занят под конский завод; но о женихе она беспокоилась не больше, чем о квартире, которую всегда можно выбрать из множества сдаваемых внаем.

Они подошли к пруду, где тихо плавали два лебедя и полдюжины уток, чистенькие и спокойные, как фарфоровые, и прошли мимо молодой женщины, которая сидела на стуле с раскрытой книгой на коленях, устремив глаза в пространство, витая в мечтах.

Она была неподвижна, точно восковая фигура. Некрасивая, незаметная, одетая плохо, как девушка, которая и не мечтает нравиться, быть может, какая-ни-

будь учительница, она унеслась в царство грезы, захваченная фразой или словом, заворожившим ее сердце. Начавшееся в книге приключение она, очевидно, развивала дальше, связывая его со своими собственными надеждами.

Бертен в изумлении остановился.

— Как хорошо, когда можно так замечтаться,— сказал он.

Они прошли мимо нее, затем вернулись и еще раз прошли, но она их не заметила,— с таким напряженным вниманием следила она за далеким полетом своей мысли.

— Слушай, малютка, тебе не будет скучно позировать мне? — спросил Аннету художник.

— Нет, нет.

— Так посмотри хорошенько на эту девушку, блуждающую где-то в идеальном мире.

— На ту, что сидит там на стуле?

— Да. Ты тоже сядешь на стул с раскрытой книгой на коленях и постараешься изобразить ее. Ты когда-нибудь грезила наяву?

— Еще бы.

— О чем?

И он попробовал выведать у нее о странствиях в стране мечты, но она не хотела отвечать, увертывалась от его расспросов, смотрела на уток, плывших за хлебом, который бросала им какая-то дама, и, казалось, ей было неловко, как будто он затронул в ней какое-то чувствительное место.

Затем, чтобы переменить разговор, она стала рассказывать о своей жизни в Ронсьере, о бабушке, которой она каждый день подолгу читала вслух и которая теперь, наверно, очень одинока и грустит.

Слушая ее, художник чувствовал себя веселым, словно птица, так весело ему еще не бывало никогда. Все, что Аннета говорила ему, все эти мелкие, малозначительные и банальные подробности несложного существования девочки забавляли и занимали его.

— Сядем,— сказал он.

Они сели у самой воды. Лебеди подплыли к ним и ждали подачки.

Бертен чувствовал, как в нем пробуждаются воспо-

минания, те исчезнувшие, потонувшие в забвении воспоминания, которые вдруг возвращаются неизвестно почему. Они возникали так стремительно, с таким разнообразием и в таком обилии, что ему казалось, будто чья-то рука всколыхнула тину, обволакивавшую его память.

Он доискивался, откуда появилось в нем это биение пережитой жизни, которое он ощущал и замечал уже много раз, но не с такой силой, как сегодня. Всегда случался какой-нибудь повод к этому внезапному пробуждению воспоминаний, материальный и простой повод, чаще всего аромат, запах духов. Сколько раз женское платье, мимоходом пахнув на него легкой струей духов, вызывало в памяти давно уже стершиеся события! На дне старых туалетных флаконов он также не раз находил частицы своего былого существования. Всякие блуждающие запахи — запахи улиц, полей, домов, мебели, приятные и дурные, теплые запахи летних вечеров, морозный запах зимних ночей — всегда оживляли в нем забытое прошлое, словно эти ароматы, подобно тем благовониям, в которых сберегаются мумии, сохранили в себе забальзамированными умершие события.

Не политая ли трава, не цветущие ли каштаны оживили теперь прошедшее? Нет. Так что же? Не увидел ли он чего-нибудь, что могло быть причиною этой тревоги? Нет. Может быть, черты одной из встреченных им женщин напомнили ему былое и, хотя он не узнал их, заставили зазвучать в его сердце все колокола минувшего?

Не был ли это, вернее, какой-нибудь звук? Очень часто, услышав случайно фортепьяно, или незнакомый голос, или даже шарманку, играющую на площади старомодный мотив, он вдруг молодел лет на двадцать, и грудь его переполнялась позабытым умилением.

Но этот призыв прошлого продолжался настойчиво, неуловимо, почти раздражающе. Что же такое вокруг и возле него могло оживить угасшие чувства?

— Становится немного прохладно,— сказал он,— пойдем.

Они поднялись и снова стали ходить.

Он рассматривал сидевших на скамьях бедняков,

для которых платить за стул было слишком большим расходом.

Аннета тоже теперь наблюдала их, участливо расспрашивала об их жизни, об их профессии и удивлялась, что, несмотря на свой жалкий вид, они приходят бездельничать в этот прекрасный парк.

И еще явственнее вспоминал Оливье протекшие годы. Ему казалось, будто какая-то муха жужжит у него в ушах и наполняет их смутным гулом прожитых дней.

Видя, что он задумался, девушка спросила:

— Что с вами? Вам, кажется, взгрустнулось?

Его охватил трепет. Кто сказал это? Она или ее мать? Нет, это не теперешний голос матери, это ее прежний голос, но настолько изменившийся, что он узнал его только сейчас.

Он ответил улыбаясь:

— Нет, ничего. Мне с тобою превесело, ты очень мила, ты мне напоминаешь маму.

Как он не заметил раньше этого странного эха некогда столь знакомой ему речи, которую он слышал теперь из новых уст.

— Поговори еще,— сказал он.

— О чем?

— Расскажи, чему учили тебя твои учительницы. Ты их любила?

Она опять принялась болтать.

А он слушал, охваченный возрастающим волнением, подстерегая, ловя среди фраз этой девочки, почти чуждой его сердцу, какое-нибудь слово, звук, взрыв смеха, казалось, сохранившиеся в ее горле такими, какими были у ее матери в молодости. Некоторые интонации порою заставляли его вздрагивать от удивления. Конечно, в их речи было такое различие, что он и не мог сразу заметить сходства и часто даже совсем не улавливал его; но это различие только еще более подчеркивало всю необычайность внезапного пробуждения говора матери. До сих пор Бертен дружеским и пытливым глазом подмечал сходство их лиц, но тайна этого воскресавшего голоса настолько смешивала их воедино, что, отвернувшись, чтобы не видеть больше девушки, он спрашивал себя иной раз, не графиня ли

Иллюстрация конца XIX века. «СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ».

Рисунок Ги де Мопассана. 1889. «СВИДАНИЕ».

это говорит с ним, как говорила двенадцать лет тому назад.

И когда, околдованный этим воскрешением былого, он опять смотрел на нее, то при встрече с ее взглядом вновь испытывал частицу того томления, в какое повергал его взор ее матери в первые дни их любви.

Они уже три раза обошли парк, каждый раз проходя мимо тех же лиц, тех же нянек и детей.

Теперь Аннета рассматривала особняки, окружавшие парк, и спрашивала, кто в них живет.

Ей хотелось все знать об этих людях, она расспрашивала с жадным любопытством, как будто наполняя сведениями свою женскую память, слушала не только ушами, но и зрением, и на лице ее светился живой интерес.

Но, подойдя к павильону, разделяющему оба выхода на внешний бульвар, Бертен заметил, что скоро пробьет четыре часа.

— О! — сказал он.— Пора домой.

И они тихо дошли до бульвара Мальзерб.

Расставшись с девушкой, художник спустился к площади Согласия: ему надо было кое-кого навестить на том берегу Сены.

Он напевал, ему хотелось бегать, он готов был прыгать через скамейки, так бодро он себя чувствовал. Париж казался ему каким-то сияющим, более красивым, чем когда бы то ни было. «Решительно,— подумал он,— весна покрывает все новым лаком».

Он переживал один из тех моментов, когда возбужденный ум впитывает все с особенным наслаждением, когда зрение более восприимчиво и более ясно, когда живее испытываешь радость оттого, что видишь и чувствуешь, будто некая всемогущая рука вдруг освежила краски земли, одушевила движения живых существ и снова подвинтила в нас живость ощущений, как подводят останавливающиеся часы.

Ловя взглядом множество занятных вещей, он удивлялся: «И подумать только, что бывает время, когда я не нахожу сюжетов для картин!»

Он почувствовал в себе такую свободу, такую проницательность ума, что все его творчество показалось ему пошлым, и он начал постигать новый способ изображе-

ния жизни, более верный и более оригинальный. И вдруг желание возвратиться домой и взяться за работу заставило его повернуть назад и запереться у себя в мастерской.

Но как только он очутился один перед начатым полотном, жар, воспламенявший в нем кровь, разом утих. Он почувствовал усталость, сел на диван и снова предался мечтам.

Счастливое спокойствие, в котором он жил, беззаботность довольного человека, удовлетворенного почти во всех своих потребностях, мало-помалу уходили из его сердца, словно он чего-то лишился. Он чувствовал пустоту своего дома, пустынность обширной мастерской. Он огляделся вокруг, и ему показалось, будто мимо него прошла тень женщины, присутствие которой было ему сладостно. Давно уже забыл он нетерпение любовника, ожидающего прихода возлюбленной, и вот он почувствовал вдруг, что она далеко, и с юношеским трепетом пожелал, чтобы она оказалась тут, подле него.

С умилением думал он о том, как они любили друг друга, и в этой просторной комнате, куда она так часто приходила, все напоминало ему о ней, о ее привычных движениях, ее словах, ее поцелуях. Он вспоминал некоторые дни, некоторые часы, некоторые минуты и всем своим существом ощущал ее былые ласки.

Он не мог усидеть на месте, встал и принялся шагать, снова думая о том, что, несмотря на эту связь, которой было наполнено его существование, он все-таки был одинок, всегда одинок. Когда, после долгих часов работы, он оглядывался вокруг себя растерянным взглядом человека, очнувшегося и возвращающегося к жизни, он не видел и не чувствовал ничего, кроме стен, и только к ним он мог прикоснуться, только они могли услышать его голос. Так как у него в доме не было женщин и ему приходилось прибегать к воровским предосторожностям, чтобы встречаться с той, которую он любил, он вынужден был проводить часы своего досуга во всевозможных публичных местах, где можно найти или купить какие-нибудь способы убить время. У него была привычка к клубу, привычка к цирку и к скачкам, привычка в определенные дни к опере,

привычка бывать везде понемногу, лишь бы не оставаться дома, где он, несомненно, с радостью проводил бы свободное время, если бы жил вместе с нею.

Бывало, в иные часы любовного исступления он жестоко страдал оттого, что не может просто оставить ее у себя; погом, когда его пыл стал утихать, он безропотно принимал разлуку с нею и свою свободу; теперь они снова вызывали в нем сожаление, как будто он начал любить ее вновь.

И этот возврат нежности нахлынул на него так внезапно, почти беспричинно, потому что нынче была хорошая погода и еще, быть может, потому, что он только что услышал помолодевший голос этой женщины. Как мало нужно, чтобы взволновать сердце мужчины, стареющего мужчины, у которого воспоминания переходят в сожаления!

Опять, как когда-то, потребность видеть ее вернулась к нему, проникла в его душу и тело, подобно лихорадке, и он стал думать о ней почти так, как думают влюбленные юноши, превознося ее в своем воображении и разжигая этим самого себя, чтобы тем сильнее жаждать ее; потом решил, несмотря на то, что видел ее утром, зайти к ней сегодня же вечером к чаю.

Время тянулось бесконечно долго, и, когда он вышел из дому, чтобы отправиться на бульвар Мальзерб, его обуял страх, что он не застанет ее и будет вынужден провести и этот вечер в полном одиночестве, как провел, впрочем, немало вечеров.

Когда на его вопрос: «Графиня дома?» — слуга ответил: «Да, сударь»,— радость наполнила его сердце.

— Это опять я! — сказал он ликующим тоном, появляясь на пороге маленькой гостиной, где обе женщины работали под розовыми абажурами стоявшей на высоком тонком стержне двойной лампы из белого металла.

Графиня воскликнула:

— Как, это вы? Вот чудесно!

— Да. Я почувствовал себя очень одиноким и вот пришел.

— Как это мило!

— Вы ждете кого-нибудь?

— Нет... может быть... не знаю.

Он сел и презрительно посмотрел на серые полосы из грубой шерсти, которые они быстро вязали длинными деревянными спицами.

— Что это такое? — спросил он.

— Одеяла.

— Для бедных?

— Конечно.

— Какие безобразные.

— Зато теплые.

— Возможно, но они ужасно безобразны, особенно на фоне комнаты в стиле Людовика XV, где все ласкает глаз. Если не ради бедных, то ради друзей вам следовало бы заняться более изящной благотворительностью.

— Господи! Эти мужчины! — проговорила она, пожимая плечами.— Да ведь такие одеяла теперь вяжут всюду.

— Мне это хорошо известно, слишком хорошо. Куда теперь ни приди вечером, непременно увидишь эту ужасную серую тряпку рядом с самыми красивыми туалетами и на самой кокетливой мебели. Нынешней весной благотворительность приобрела дурной вкус

Чтобы удостовериться, правду ли он говорит, графиня растянула свое вязанье на стоявшем рядом шелковом стуле и равнодушно согласилась:

— Да, действительно это некрасиво.

И снова принялась за работу. Две головы, склонившиеся рядом под лампой, были озарены потоком розового света, который разливался по волосам, лицам, по платьям, по движущимся рукам. Мать и дочь смотрели на свою работу с поверхностным, но неослабевающим вниманием женщин, привыкших к этим рукоделиям, за которыми глаз следит без всякого участия мысли.

Еще четыре лампы из китайского фарфора, на старинных деревянных колонках с позолотой, стоявшие по углам комнаты, струили на драпировки мягкий, ровный свет, ослабленный кружевными транспарантами, накинутыми на круглые абажуры.

Бертен выбрал низенькое, миниатюрное креслице, в котором еле помещался, но он всегда предпочитал его, так как мог разговаривать с графиней, сидя почти у ее ног.

Она сказала ему:

— Вы совершили сегодня с Нанэ большую прогулку по парку.

— Да. Мы болтали, как старые друзья. Я очень люблю вашу дочь. Она точь-в-точь похожа на вас. Когда она произносит некоторые фразы, можно подумать, будто в горле у нее звучит ваш голос.

— Муж говорил мне это уже не раз.

Он смотрел, как они работают, залитые светом ламп, и мысль, от которой он страдал так часто, от которой страдал еще нынче днем,— мысль о пустынной, недвижной и безмолвной жизни его особняка, холодного во всякую погоду, как бы ни грели камины и калориферы, так опечалила его, словно он впервые вполне понял свое одиночество.

О, как сильно хотелось ему быть мужем, а не любовником этой женщины! Когда-то он хотел похитить, отнять ее у мужа, безвозвратно завладеть ею. Теперь он испытывал чувство ревности к обманутому супругу, который навсегда основался при ней, в привычной обстановке ее дома, в ее ласкающей близости. Бертен глядел на нее, и сердце его снова переполнялось вернувшимися воспоминаниями, и ему хотелось рассказать ей о них. В самом деле, он еще очень любил ее, даже немного больше прежнего, а сегодня гораздо больше, как не любил уже давно, и потребность сказать об этом обновлении чувства, которое так ее обрадовало бы, внушало ему желание, чтобы девочку как можно скорее отослали спать.

Он мучился желанием остаться наедине с любимой женщиной, прильнуть к ее коленям, склонить на них голову, взять ее руки, из которых выскользнули бы и одеяло для бедных и деревянные спицы, а клубок шерсти, разматывая нить, укатился бы под кресло; он смотрел на часы, не произносил больше ни слова и находил, что, право, нехорошо приучать девочек проводить вечера со взрослыми.

Чьи-то шаги нарушили безмолвие соседней гостиной, показался слуга и доложил:

— Господин де Мюзадье.

Оливье Бертен едва сдерживал раздражение; он

пожимал руку инспектору изящных искусств, но ему хотелось схватить его за шиворот и вышвырнуть вон.

Мюзадье принес массу новостей: министерство вот-вот должно пасть, ходят слухи о каком-то скандале с маркизом де Рокдианом. Взглянув на девушку, он прибавил:

— Об этом я расскажу потом.

Графиня подняла глаза на часы и увидела, что скоро десять.

— Тебе пора спать, дитя мое,— сказала она дочери.

Аннета молча сложила вязанье, смотала клубок шерсти, поцеловала мать в обе щеки, протянула руку мужчинам и ушла так быстро, точно скользнула, не всколыхнув и воздуха.

Когда она вышла, графиня спросила:

— Так что же у вас за скандал?

Утверждали, что маркиз де Рокдиан, который полюбовно разошелся с женою и получал от нее ренту, нашел теперь эту ренту недостаточною и придумал верное и оригинальное средство ее удвоить. Маркиза, за которой он поручил следить, была изобличена в супружеской измене, и ей пришлось откупиться новой рентой от протокола, составленного полицейским комиссаром.

Графиня перестала вязать и, позабыв о работе, с интересом слушала.

Бертен, которого после ухода Аннеты присутствие Мюзадье выводило из себя, рассердился и с негодованием человека, который знал об этой клевете, но ни с кем не хотел говорить о ней, стал утверждать, что это подлая ложь, одна из тех гнусных сплетен, которых светские люди никогда не должны ни слушать, ни повторять. Стоя у камина, он нервничал, злился, и вид у него был такой, точно он готов сделать из этого приключения личное дело.

Рокдиан был его другом, и если можно было в некоторых случаях упрекать его в легкомыслии, то нельзя ни обвинять, ни даже подозревать его в каком бы то ни было действительно неблаговидном поступке. Мюзадье, озадаченный и смущенный, защищался, отступал, извинялся.

— Позвольте,— говорил он,— я только что слышал об этом у герцогини де Мортмэн.

Бертен спросил:

— Кто вам рассказал это? Очевидно, женщина?

— Нет, вовсе нет. Маркиз де Фарандаль.

И художник, поморщившись, ответил:

— С его стороны это меня не удивляет!

Водворилось молчание. Графиня снова принялась за работу. Потом Оливье заговорил более спокойным тоном:

— Я достоверно знаю, что это ложь.

Он ничего не знал и слышал об этой истории впервые.

Чувствуя опасность положения, Мюзадье уже готовился отступить и заговорил о том, что ему еще надо побывать у Корбелей, но тут появился граф де Гильруа, возвратившийся с какого-то обеда.

Бертен сел на свое место, удрученный, с отчаянием видя, что отделаться от мужа уже не удастся.

— Вы не знаете,—сказал граф,— о каком это большом скандале толкуют сегодня повсюду?

Так как никто не ответил, он продолжал:

— Кажется, Рокдиан застал свою жену за некими предосудительными делами, и ей пришлось весьма дорого поплатиться за эту нескромность.

Тогда Бертен, с огорченным видом положив руку на колено де Гильруа, с печалью в голосе повторил в дружеских и мягких выражениях все, что он за минуту перед тем как бы швырнул в лицо Мюзадье.

И граф, наполовину убежденный, досадуя на себя, что так легкомысленно повторял сомнительные и, может быть, компрометирующие вещи, стал оправдываться своим неведением и отсутствием дурного умысла. В самом деле, мало ли ходит лживых и злых слухов!

Все вдруг согласились на том, что свет обвиняет, подозревает и клевещет с прискорбным легкомыслием. И в течение пяти минут все четверо, казалось, были убеждены, что всякий слух, о котором шепчутся втихомолку, лжив, что у женщин никогда не бывает любовников, которых за ними подозревают, что мужчины никогда не совершают приписываемых им подлостей и

что, в общем, с виду все кажется значительно хуже, чем на самом деле.

Бертен, переставший после прихода де Гильруа сердиться на Мюзадье, наговорил последнему лестных вещей и, затронув его любимые темы, открыл шлюз для его красноречия. И граф был, по-видимому, доволен, как человек, всюду приносящий с собою умиротворение и сердечность.

Появились два лакея. Неслышно ступая по коврам, они внесли чайный столик; в ярко блестевшем красивом кипятильнике над голубым пламенем спиртовой лампы клокотала вода, от которой шел пар.

Графиня встала, приготовила горячий напиток с тщательностью и предосторожностями, которые завезли к нам русские, подала одну чашку Мюзадье, другую Бертену, предложила им сандвичи с паштетом и разное английское и венское печенье.

Граф подошел к передвижному столику, где выстроились сиропы, ликеры и стаканы, сделал себе грог, а потом незаметно выскользнул в соседнюю комнату и исчез.

Бертен опять очутился лицом к лицу с Мюзадье, и вдруг в нем снова вспыхнуло желание выставить за дверь этого докучного гостя, который, придя в хорошее настроение, ораторствовал, сыпал анекдотами, повторял свои и чужие остроты. И художник беспрестанно посматривал на стенные часы, большая стрелка которых приближалась к полуночи. Графиня заметила его взгляд и поняла, что он хочет поговорить с нею. С ловкостью светской женщины, привыкшей неуловимыми переходами изменять тон беседы и атмосферу гостиной и, ни слова не говоря, давать понять гостю, следует ли ему остаться, или уйти, она одною своею позой, выражением лица и скучающим взором распространила вокруг себя такой холод, словно распахнула окно.

Мюзадье почувствовал, что от этого сквозного ветра у него застыли мысли, и, сам не зная почему, ощутил потребность встать и уйти.

Бертен из приличия последовал его примеру. Мужчины прошли вместе обе гостиные в сопровождении графини, все время говорившей с художником. Она задержала его на пороге прихожей, чтобы о чем-то рас-

спросить, пока Мюзадье с помощью лакея надевал пальто. Так как г-жа Гильруа продолжала разговаривать с Бертеном, инспектор изящных искусств, подождав несколько секунд перед дверью на лестницу, отворенной ему другим слугою, решил выйти один, чтобы не стоять перед лакеем.

Дверь тихо затворилась за ним, и графиня совершенно непринужденно сказала художнику:

— В самом деле, зачем вам так рано уходить? Еще нет двенадцати. Побудьте еще немного.

И они вернулись в малую гостиную.

Как только они сели, он сказал:

— Боже, как злил меня этот скот!

— Чем это?

— Он отнимал у меня частицу вас.

— О, самую небольшую!

— Возможно, но он мне мешал.

— Вы ревнуете?

— Находить кого-нибудь лишним еще не значит ревновать.

Он снова опустился в низенькое кресло и, сидя теперь рядом с ней, перебирая пальцами ткань ее платья, стал рассказывать, какое горячее дуновение пронеслось сегодня в его сердце.

Она слушала с удивлением, с восхищением и, нежно положив руки на его седые волосы, ласково гладила их, словно благодаря его.

— Мне так хотелось бы жить подле вас! — сказал он.

Он все время думал о муже, который лег в постель и, должно быть, уже спит в соседней комнате, и добавил:

— Только брак действительно соединяет два существа.

Полная жалости и к нему и к себе самой, она прошептала:

— Бедный друг мой!

Прижавшись щекою к коленям графини, он смотрел на нее с нежностью, чуть грустной, чуть тоскливой нежностью, уже не такой пылкой, как недавно, когда его отделяли от любимой женщины дочь, муж и Мюзадье.

Легким прикосновением пальцев поглаживая волосы Оливье, она сказала с улыбкой:

— Боже, какой вы седой! У вас не осталось ни одного черного волоса.

— Увы! Я это знаю, это происходит быстро.

Она испугалась, что огорчила его.

— О! Вы ведь стали седеть совсем молодым. Я всегда знала вас с проседью.

— Да, это правда.

Чтобы окончательно изгладить вызванную ее словами легкую печаль, она склонилась к нему и, приподняв обеими руками его голову, покрыла его лоб медленными и нежными поцелуями, теми долгими поцелуями, которым, кажется, нет конца.

Потом они посмотрели друг другу в глаза, стараясь в глубине их увидеть отражение своего чувства.

— Мне хотелось бы,— сказал он,— провести возле вас целый день.

Его смутно томила неизъяснимая потребность близости.

Недавно еще он думал, что стоит лишь уйти бывшим здесь людям, и этого будет достаточно, чтобы осуществилось желание, проснувшееся в нем с утра, а теперь, оставшись наедине со своей любовницей и ощущая лбом теплоту ее рук, а щекою, сквозь платье, теплоту ее тела, он опять почувствовал в себе ту же тревогу, ту же тоску по неведомой и ускользающей любви.

И теперь ему представлялось, что вне этого дома, может быть, в лесу, где они были бы совсем одни и никого не было бы возле них, это беспокойство его сердца нашло бы себе удовлетворение и успокоение.

Она ответила:

— Какой вы ребенок! Мы ведь встречаемся почти каждый день.

Он стал умолять ее придумать способ, чтобы поехать с ним позавтракать куда-нибудь за город, как ездили они когда-то, раза четыре или пять.

Она удивлялась этой прихоти: ее так трудно было исполнить теперь, когда вернулась дочь.

Однако она попытается, как только муж уедет в

Ронсьер, но это возможно лишь после открытия выставки, которое состоится в следующую субботу.

— А до тех пор,— спросил он,— когда я вас увижу?

— Завтра вечером у Корбелей. Потом приходите ко мне в четверг, в три часа, если свободны, а затем, кажется, нам предстоит обедать вместе в пятницу у герцогини.

— Да, совершенно верно.

Он встал.

— Прощайте.

— Прощайте, друг мой.

Он все еще стоял, не решаясь уйти, так как не сумел выразить почти ничего из того, что пришел сказать ей, и голова его по-прежнему была полна невысказанных мыслей, неясных порывов, рвущихся наружу и не нашедших себе выхода.

Он повторял, взяв ее за руки:

— Прощайте.

— Прощайте, друг мой.

— Я вас люблю.

Она бросила ему одну из тех улыбок, которой женщина дает понять мужчине, как много она ему отдала.

С дрожью в сердце он повторил в третий раз:

— Прощайте.

И ушел.

IV

Можно было подумать, что все парижские экипажи совершали в этот день паломничество к дворцу Промышленности. С девяти часов утра съезжались они со всех улиц, проспектов и мостов к этому рынку изящных искусств, куда Весь-Париж художников пригласил Весь-Париж светских людей на условное «покрытие лаком» трех тысяч четырехсот картин.

Огромная толпа теснилась у дверей и, не обращая внимания на скульптуру, устремлялась прямо наверх, в галереи живописи. Поднимаясь по ступеням, посетители уже глядели вверх, на полотна, размещенные на стенах лестницы, где вешают картины так называемых «вестибюльных» живописцев, приславших произведения либо необычных размеров, либо такие, которых

не посмели отвергнуть. В квадратном зале толпилась и шумела масса народу. Живописцев, пребывавших здесь весь день, сразу можно было узнать по их суетливости, громкому голосу и авторитетным жестам. Они хватали своих приятелей за полы, тащили к картинам, указывая на них с громкими восклицаниями и энергичной мимикой знатоков. У художников была самая разнообразная внешность: одни высокие и длинноволосые в мягких серых или черных шляпах неописуемой формы, круглых и широких, как крыши, с отвисшими полями, отбрасывавшими тень на все туловище; другие — низенькие, проворные, тощие или приземистые, с фуляровыми платками вместо галстука, в пиджаках или в странных мешкообразных костюмах, какие носит специально класс пачкунов.

Был здесь также клан художников-щеголей, франтов, бульварных завсегдатаев; клан академиков, корректных, украшенных алыми розетками Почетного легиона, огромными или микроскопическими, сообразно их представлению об изяществе и хорошем тоне; клан буржуазных живописцев, которые явились в сопровождении семьи, окружавшей отца в качестве торжественного хора.

Картины, удостоенные чести быть выставленными в квадратном зале на четырех гигантских панно, сразу же бросались в глаза яркостью тонов, сверканием рам, резкостью свежих красок, оживленных лаком, ослепительных под падающим сверху сильным освещением.

Прямо против входа висел портрет президента республики, а на другой стене, в соседстве с совершенно голыми нимфами под ивой и с погибающим, почти поглощенным волной кораблем, помещался какой-то генерал, весь расшитый золотом, в шляпе со страусовыми перьями и в красных суконных штанах. Епископ былых времен, отлучающий от церкви варварского короля, восточная улица, заваленная трупами умерших от чумы, тень Данте, странствующая по аду, привлекали и пленяли взор неотразимой силой экспрессии.

В огромном зале можно было видеть также: кавалерийскую атаку; стрелков в лесу; коров на пастбище;

двух знатных господ минувшего века, дерущихся на дуэли на углу улицы; сумасшедшую, сидящую на тумбе; священника, совершающего соборование над умирающим; жнецов, реки, солнечные закаты, лунный свет — словом, образцы всего, что писали, пишут и будут писать художники до скончания мира.

Оливье, стоя посреди группы знаменитых собратьев, академиков и членов жюри, обменивался с ними мнениями. Ему было не по себе, его тревожила выставленная им картина, успеха которой он не чувствовал, несмотря на горячие поздравления.

Вдруг он бросился вперед. В дверях показалась герцогиня де Мортмэн.

Она спросила:

— Графиня не приехала?

— Я ее не видел.

— А господин де Мюзадье?

— Тоже нет.

— Он обещал быть в десять часов на площадке лестницы и проводить меня по залам.

— Не позволите ли мне заменить его, герцогиня?

— Нет, нет. Вы нужны вашим друзьям. Но мы с вами вскоре увидимся; я рассчитываю, что мы позавтракаем вместе.

Подбежал Мюзадье. Его на несколько минут задержали в отделе скульптуры, и он, запыхавшись, попросил извинения.

— Сюда, герцогиня, сюда,— говорил он.— Мы начнем справа.

Только они скрылись в пучине голов, как вошла графиня де Гильруа об руку с дочерью, отыскивая глазами Оливье Бертена.

Он увидел их, подошел и сказал, здороваясь:

— Боже, как они красивы! Право, Нанета очень хорошеет. Она изменилась за одну неделю.

Он смотрел на нее своим наблюдательным взглядом. Потом прибавил:

— Линии стали нежнее, мягче, цвет лица ярче. Она повзрослела и гораздо больше похожа на парижанку.

Затем сразу перешел к главному, что их сейчас интересовало.

— Начнем справа, тогда мы догоним герцогиню.

Графиня, хорошо знавшая все, что происходило в области живописи, и озабоченная, словно сама выставляла картину, спросила:

— Что говорят?

— Прекрасная выставка. Замечательный Бонна, два превосходных Каролюса Дюрана, чудесный Пюви де Шаванн, поразительный и совершенно в новом роде Ролль, прелестный Жервекс и множество других, Беро, Казен, Дюез — словом, масса хороших вещей.

— А вы? — спросила она.

— Мне говорят комплименты, но я недоволен.

— Вы никогда не бываете довольны.

— Нет, иной раз случается. Но сегодня мне положительно кажется, что я прав.

— Почему?

— Абсолютно не знаю.

— Посмотрим.

Когда они подошли к его картине — две крестьянские девочки, купающиеся в ручье,— перед нею стояла, любуясь, группа зрителей... Обрадованная графиня тихо сказала:

— Да ведь это прелестно, мастерская работа. Лучшее из всего, что вы пока сделали.

Он прижался к ней, полный любви и признательности за каждое слово, которое успокаивало его боль и накладывало повязку на рану. И в уме его быстро проносились всевозможные доводы, убеждавшие его, что она права, что ее умные глаза парижанки, несомненно, не ошибаются. Стараясь успокоить свои сомнения, он забывал, что все двенадцать лет как раз в том и упрекал ее, что она чрезмерно восхищается безделушками, изящными пустячками, дешевою чувствительностью, случайными капризами моды, но никогда не приходит в восторг от самого искусства, чистого искусства, искусства, свободного от предвзятых идей, тенденций и светских предрассудков.

— Будем продолжать,— сказал он, увлекая их дальше.

И он довольно долго водил их по залам, показывая им полотна, объясняя сюжеты, чувствуя себя счастливым со своими спутницами, счастливым благодаря им.

Вдруг графиня спросила:

— Который час?

— Половина первого.

— О! Скорее идем завтракать. Герцогиня, должно быть, ждет нас у Ледуайена; она поручила мне привести вас, если мы не встретимся с нею здесь.

Ресторан, посреди островка деревьев и кустов, напоминал переполненный, гудящий улей. Из всех его окон и настежь раскрытых дверей несся смешанный гул голосов, окликов, звяканье стаканов и тарелок. Тесно расставленные столики, за которыми сидела завтракавшая публика, длинными рядами растянулись вдоль соседних дорожек, вправо и влево от узкого прохода, по которому сновали оглушенные, растерянные гарсоны, держа на отлете блюда с мясом, рыбой или фруктами.

Под круглой галереей теснилось такое множество народу, что казалось, там всходит какое-то живое тесто. Все смеялись, перекликались, пили и ели, веселея от вина, в одном из тех приливов радости, какая в иные дни изливается на Париж вместе с лучами солнца.

Гарсон проводил графиню, Аннету и Бертена в заранее заказанный отдельный кабинет, где их ждала герцогиня.

Рядом с герцогиней художник увидел ее племянника, маркиза де Фарандаля, который с любезной улыбкой поспешил взять у графини и ее дочери их зонтики и накидки. Бертен почувствовал при этом такое раздражение, что ему захотелось вдруг сказать что-нибудь обидное и грубое.

Герцогиня объяснила, что встретилась с племянником, а Мюзадье увел с собою министр изящных искусств. При мысли о том, что этот красавчик-маркиз женится на Аннете, что он пришел сюда ради нее, что он уже смотрит на нее как на женщину, предназначенную для его ложа, Бертен разволновался, возмутился, как будто игнорировали и попирали его права, таинственные и священные права.

Как только уселись за стол, маркиз, которого поместили рядом с девушкой, стал ухаживать за нею с предупредительностью мужчины, получившего на это разрешение.

Он бросал на нее любопытные взгляды, которые казались художнику наглыми и раздевающими, улыбался почти любовно и самодовольно, любезничал с ней фамильярно и открыто. В его манерах и словах уже проявлялось какое-то решение, как будто он оповещал о согласии владеть ею.

Герцогиня и графиня, казалось, покровительствовали ему, одобряли его поведение и с видом заговорщиц переглядывались между собою.

После завтрака вернулись на выставку. В залах было так тесно, что пробраться туда казалось невозможным. От скученных человеческих тел и противного запаха заношенных фраков и платьев воздух стал удушливым до тошноты. Смотрели уже не на картины, а на лица и туалеты, отыскивали знакомых; порою в этой густой толпе начиналась давка,— публика расступалась, чтобы пропустить высокую стремянку лакировщиков, кричавших:

— Посторонитесь, господа, посторонитесь!

Не прошло и пяти минут, как графиня и Оливье оказались отрезанными от своих спутников. Он хотел разыскать их, но графиня, опираясь на его руку, сказала:

— Ведь нам хорошо и так, не правда ли? Оставим их; мы же все равно условились встретиться в четыре часа в буфете, если потеряем друг друга.

— Да, верно,— согласился он.

Но его поглощала мысль, что маркиз сопровождает Аннету и продолжает увиваться около нее с фатовской галантностью.

Графиня прошептала:

— Так вы меня все еще любите?

Он с озабоченным видом ответил:

— Ну, конечно.

И старался разглядеть поверх голов серую шляпу г-на де Фарандаля.

Чувствуя, что он рассеян, и желая опять привлечь к себе его мысли, она продолжала:

— Если бы вы знали, как меня восхищает выставленная вами картина. Это ваш шедевр.

Он улыбнулся, сразу забыв о молодых людях и думая только о том, что так тревожило его утром.

— Правда? Вы находите?

— Да, я ставлю ее выше всего.

— Она мне далась нелегко.

Она продолжала говорить ему ласковые слова, ибо давно уже хорошо знала: ничто не имеет такой власти над художником, как нежная и постоянная лесть. Захваченный, воодушевленный, обрадованный этими милыми словами, он снова разговорился, не видя и не слыша никого, кроме нее, в этой огромной бурлящей людской массе.

Чтобы отблагодарить ее, он шепнул ей на ухо:

— Мне до безумия хочется вас поцеловать.

Горячая волна затопила ее всю, и, подняв на него сияющие глаза, она повторила свой вопрос:

— Итак, вы меня все еще любите?

И он ответил с той интонацией, которую она хотела слышать и не слышала раньше:

— Да, я люблю вас, моя дорогая Ани.

— Приходите почаще ко мне по вечерам. Теперь при мне дочь, и я не буду много выезжать.

С тех пор как она почувствовала в нем это неожиданное пробуждение любви, она испытывала огромное счастье. Теперь, когда волосы Оливье совсем поседели и с годами он угомонился, она уже меньше опасалась, что он может увлечься какой-нибудь другой женщиной, но ее ужасно тревожила мысль, как бы из страха перед одиночеством он не вздумал жениться. Эта боязнь, зародившаяся в ней уже давно, беспрестанно росла. У нее возникали невыполнимые планы, как бы подольше оставлять Оливье при себе, не давая ему проводить долгие вечера в холодном безмолвии его пустого особняка. Она не всегда имела возможность привлекать и удерживать художника и потому подсказывала ему развлечения, настаивала на том, чтобы он бывал в театре, выезжал в свет, предпочитая даже, чтобы он находился в обществе женщин, только не в своем тоскливом доме.

Она продолжала, отвечая на свою затаенную мысль:

— Ах, если бы вы могли всегда быть со мной, как бы я вас баловала! Обещайте мне приходить как можно чаще, ведь я теперь совсем не буду выезжать.

— Обещаю вам.

Над ее ухом раздался шепот:

— Мама.

Графиня вздрогнула и обернулась. Аннета, герцогиня и маркиз подошли к ним.

— Четыре часа,— сказала герцогиня,— я очень устала, мне хочется уйти.

Графиня ответила:

— Я тоже ухожу, я совсем без сил.

Они подошли к внутренней лестнице, идущей от галереи, где висели акварели и рисунки, и поднимающейся над огромным зимним садом, в котором выставлены были произведения скульптуры.

С площадки лестницы видна была с одного конца до другого гигантская оранжерея, уставленная статуями; они стояли на дорожках вокруг густых зеленых кустов, высясь над толпой, заливавшей проходы черным потоком. Над темным ковром из шляп и плечей, разрывая его в тысяче мест, мраморные статуи, казалось, светились своей белизной.

Когда Бертен у выхода откланялся дамам, графиня тихо спросила его:

— Значит, вы придете сегодня вечером?

— О, да.

И он вернулся на выставку, чтобы поделиться с художниками впечатлениями этого дня.

Живописцы и скульпторы стояли группами вокруг статуй, у буфета и спорили, как бывало из года в год, защищая или опровергая те же идеи, теми же доводами, по поводу приблизительно таких же произведений. Оливье обыкновенно оживлялся во время этих диспутов, обладая особым умением приводить в замешательство противника и пользуясь репутацией остроумного теоретика, которой он гордился; он хотел бы и теперь увлечься спором, но то, что он по привычке отвечал, так же мало занимало его, как и то, что он слышал, и ему захотелось уйти, ничего не слышать, ничего не воспринимать, так как он заранее знал все, что может быть сказано по этим извечным вопросам искусства, знакомого ему во всех тонкостях.

Все же он любил эти темы, очень любил до сих пор, но сегодня его отвлекала от них одна из тех мелких и назойливых забот, одна из тех ничтожных тревог, ко-

торые, казалось бы, совсем не должны затрагивать нас и, тем не менее, что бы мы ни говорили, что бы ни делали, они впиваются в мысль, как вонзившаяся в тело незаметная заноза.

Он даже забыл о своем беспокойстве относительно купальщиц и помнил только о раздражавшем его обращении маркиза с Аннетой. Но в конце концов какое ему до этого дело? Какие у него права на нее? Отчего ему хотелось бы помешать этому выгодному браку, заранее предрешенному и во всех отношениях приличному? Но никакие доводы не могли изгладить того чувства досады и недовольства, которое овладело им, когда он увидел, что Фарандаль беседует и улыбается с видом жениха, лаская взглядом лицо девушки.

Когда вечером художник вошел к графине и опять застал ее наедине с дочерью у лампы, за тем же вязанием для бедных, он едва удержался, чтобы не сделать насмешливых и злых замечаний насчет маркиза и не раскрыть Аннете глаза на всю его пошлость, прикрытую внешним шиком.

Вот уже несколько лет, как он приобрел привычку лениво молчать во время этих послеобеденных посещений, сидя в небрежной позе, как старый друг, который чувствует себя свободно. И теперь, усевшись в глубокое кресло, заложив ногу на ногу и запрокинув голову, он мечтал, отдыхая душою и телом в этой уютной тишине. Но вот он внезапно оживился, к нему вернулась активность мужчины, который в присутствии иных женщин изо всех сил старается понравиться, обдумывает свои слова, выбирает самые блестящие и самые изысканные выражения, чтобы придать красоту и изящество своим мыслям. Он уже не довольствовался вялым разговором, но поддерживал его, оживлял горячностью и остроумием. Когда ему случалось вызвать у графини и ее дочери веселый смех, почувствовать, что они растроганы, или увидеть, что они удивленно поднимают на него глаза и оставляют работу, чтобы внимательнее слушать его, он испытывал какое-то приятное щекотание, легкую дрожь успеха, которые были ему наградой за его старания.

Теперь он являлся всякий раз, когда знал, что они

будут одни, и никогда еще, быть может, не проводил таких приятных вечеров.

Благодаря этим частым визитам постоянные опасения г-жи де Гильруа рассеялись, и она прилагала все усилия, чтобы он бывал у нее как можно чаще. Она отказывалась от званых обедов, балов, спектаклей и, выйдя из дому в три часа, с радостью опускала в телеграфный ящик маленькую голубую депешу, гласившую: «До скорой встречи». Первое время, стремясь скорее доставить ему желанное свидание наедине, она отсылала дочь спать, как только начинало бить десять часов. Но увидев однажды, что он удивился этому и, смеясь, попросил не обращаться больше с Аннетой, как с неразумным ребенком, она согласилась дать ей льготные четверть часа, затем полчаса, затем час. После ухода девушки он оставался недолго, словно вместе с нею исчезала половина очарования, которое удерживало его в этой гостиной. Придвинув тотчас же к ногам графини свое любимое низенькое кресло, он подсаживался поближе к ней и по временам нежно припадал щекою к ее коленам. Она протягивала ему руку, которую он брал в свои, и его лихорадочный подъем внезапно гас, он умолкал и в этом нежном молчании, казалось, отдыхал от минувшего напряжения.

Мало-помалу она поняла своим женским чутьем, что Аннета привлекает его почти так же, как она сама. Она ничуть не сердилась на это, она была рада, что в их обществе он находит для себя какую-то замену семьи, которой лишился из-за нее, и старалась как можно крепче держать его в плену рядом с собой и дочерью, играя роль мамы, чтобы он чувствовал себя почти отцом Аннеты и ко всему, что привязывало его к этому дому, прибавился бы еще новый оттенок нежности.

Ее кокетство, всегда бдительное, но беспокойное с тех пор, как она почувствовала со всех сторон, пока еще в виде еле заметных уколов, бесчисленные атаки надвигающейся старости, приобрело более активный характер. Чтобы стать такой же стройной, как Аннета, графиня ничего не пила, и действительно так похудела, что фигурой вновь походила на девушку, и со спины их почти нельзя было отличить. Но этот режим отра-

зился на ее исхудавшем лице. Растянутая кожа морщинилась и принимала желтоватый оттенок, еще заметнее подчеркивавший великолепную свежесть дочери. Тогда графиня стала ухаживать за своим лицом, прибегая к приемам, какими пользуются актрисы, и хотя белизна его казалась днем несколько подозрительной, зато при вечернем освещении оно приобретало ту чарующую, искусственную яркость, которая придает умело накрашенным женщинам несравненную свежесть.

Обнаружив эти признаки подкрадывающейся старости и начав прибегать к таким уловкам, госпожа де Гильруа изменила свои привычки. Она стала по возможности избегать сравнения с дочерью при солнечном свете и старалась показываться с Аннетой при свете ламп — тут преимущество было за нею. Когда она чувствовала себя усталой, бледной, более постаревшей, чем обычно, на помощь приходила услужливая мигрень, давая ей возможность пропускать балы или спектакли, но в те дни, когда она чувствовала себя красивой, она ликовала и с гордой скромностью молодой матери разыгрывала роль старшей сестры. Чтобы всегда носить почти такие же платья, какие носила дочь, она одевала ее, как молодую женщину, что придавало Аннете чересчур солидный для нее вид, но девушка, у которой все отчетливее проявлялся резвый и насмешливый характер, носила эти туалеты с искрящейся жизнерадостностью, от которой становилась еще милее. Она от всего сердца поддерживала кокетливые уловки матери, инстинктивно разыгрывала с нею грациозные сценки, умела вовремя поцеловать ее, нежно обнять за талию и одним каким-нибудь движением, лаской, какой-нибудь искусной выдумкой показать, как они обе красивы и как похожи друг на друга.

Оливье Бертен, постоянно видя их вместе и сравнивая между собою, иной раз даже не мог различить их. Порою, когда девушка обращалась к нему, а он в это время смотрел в другую сторону, ему приходилось задавать себе вопрос: «Которая из них сказала это?» Часто, когда они сидели втроем в малой гостиной, убранной драпировками в стиле Людовика XV, он забавлял-

ся этими ошибками, как веселой игрой. Он закрывал глаза и просил их задать ему по очереди один и тот же вопрос, чтобы он мог узнать их по голосу. И они с такой ловкостью ухитрялись находить одни и те же интонации, произносить с одной и той же акцентировкой одни и те же фразы, что он не всегда угадывал. Они действительно достигли столь одинакового произношения, что слуги отвечали девушке: «Да, мадам», а матери: «Да, мадмуазель».

Постоянно подражая одна другой забавы ради и копируя движения друг друга, они приобрели такое сходство в манерах и жестах, что сам г-н де Гильруа нередко ошибался, когда одна из них проходила в глубине темной гостиной, и спрашивал:

— Это ты, Аннета, или мама?

Этим природным и намеренным, действительным и искусственным сходством они вызывали в уме и сердце художника странное впечатление двойственного существа, прежнего и нового, хорошо знакомого и почти неведомого, двух тел, созданных одно после другого из одной и той же плоти, впечатление одной и той же женщины, продолжающей самое себя, помолодевшей и снова ставшей такою же, какою она была прежде. И он жил в их близости, деля себя между обеими, встревоженный, смятенный, пылая вновь пробудившейся страстью к матери и окутывая дочь тайной нежностью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

20 июля. Париж, 11 часов вечера

«Друг мой! В Ронсьере умерла моя мать. В полночь мы отправляемся туда. Не приезжайте, потому что мы никого не извещаем. Но пожалейте меня и думайте обо мне.

Ваша Анн».

21 июля. Полдень.

«Бедный друг мой, я приехал бы все-таки к вам, если бы не привык смотреть на ваши желания, как на закон. Со вчерашнего дня думаю о вас с какой-то щемящею болью. Представляю себе ваше безмолвное ночное путешествие вместе с дочерью и мужем в полуосвещенном вагоне, который медленно вез вас к усопшей. Я видел вас всех троих под масляной лампой, видел, как вы плачете и как рыдает Аннета. Я видел ваше прибытие на станцию, ужасный переезд в карете, прибытие в усадьбу, встречающих слуг, видел, как вы взбегаете по лестнице в ту комнату, к той постели, где лежит она, как вы глядите на нее, как целуете ее исхудалое, неподвижное лицо. И я думал о вашем сердце, о вашем бедном сердце, об этом бедном сердце, половина которого принадлежит и мне и которое разрывается на части и так страдает, так

теснит вам грудь, что и мне в эту минуту становится больно.

С глубоким состраданием целую ваши полные слез глаза.

Оливье».

24 июля. Ронсьер.

«Ваше письмо утешило бы меня, друг мой, если хоть что-нибудь могло бы облегчить обрушившееся на меня страшное горе. Вчера мы ее похоронили, и с тех пор, как ее бедное, бездыханное тело покинуло этот дом, мне кажется, что я одна на свете. Человек любит свою мать, почти не сознавая, не чувствуя, потому что это так же естественно, как сама жизнь, и лишь в момент последнего расставания замечает он, как глубоки корни этой любви. Никакая другая привязанность не сравнима с этой, потому что все другие — случайны, а эта врожденная, все другие навязаны нам позднее разными житейскими обстоятельствами, а эта живет с первого нашего дня в самой нашей крови. И потом, потом теряешь ведь не только мать, а вместе с нею наполовину уходит само наше детство, ведь наша жизнь, маленькая детская жизнь, принадлежит ей столько же, сколько нам самим. Она одна знала ее так, как мы сами, знала множество далеких, незначительных и милых мелочей, которые были и навсегда остаются первыми сладостными волнениями нашего сердца. Ей одной я еще могла сказать: «Помнишь, мама, тот день, когда... Помнишь, мама, фарфоровую куклу, которую подарила мне бабушка?» Вдвоем с нею мы перебирали длинные, милые четки простых и смешных воспоминаний, неизвестных теперь никому на свете, кроме меня. Значит, умерла часть меня, самая старая, самая лучшая часть. Я лишилась бедного сердца, где еще жила целиком та маленькая девочка, которою я была когда-то. Теперь уже никто больше не знает, никто не помнит маленькую Анну, ее короткие юбочки, ее смех, ее капризы.

И придет день, и, быть может, он уже не так далек, когда и я уйду, оставив мою дорогую Аннету одну на

свете, как теперь меня оставила мама. До чего все это грустно, тяжко, жестоко! Однако об этом никогда не думаешь, не замечаешь, что смерть каждую минуту уносит кого-нибудь, как унесет вскоре и нас. Если бы мы замечали, если бы думали об этом, если бы не рассеивались, не развлекались, не ослепляли себя всем проходящим перед нами, невозможно было бы жить, потому что зрелище такой бесконечной бойни свело бы нас с ума.

Я так разбита, я в таком отчаянии, что у меня нет больше сил за что-либо приняться. День и ночь думаю я о бедной маме, заколоченной в этот ящик, зарытой в землю, в поле, под дождем, о том, что ее старое лицо, которое я с такою радостью целовала,— теперь уже только страшная гниющая масса. О, какой ужас, друг мой, какой ужас!

Когда я потеряла папу, я только что вышла замуж и не чувствовала всего этого так остро, как в настоящее время. Пожалейте же меня, думайте обо мне, пишите. Вы так нужны мне теперь.

Анна».

Париж. 25 июля.

«Мой бедный друг!

Ваше горе причиняет мне страшное страдание. Жизнь представляется мне теперь тоже не в розовом свете. После вашего отъезда я одинок, заброшен, у меня нет ни привязанности, ни убежища. Все утомляет меня, раздражает, все мне надоело. Беспрестанно думаю о вас и о нашей Аннете, чувствуя, как далеко от меня вы обе, а между тем мне необходимо, чтобы вы были подле меня.

Удивительно даже, до чего далекою чувствую я вас и до чего мне вас недостает. Никогда, даже в дни моей молодости, не были вы для меня до такой степени всем, как в настоящую минуту. С некоторых пор я уже предчувствовал этот кризис, который должен быть как солнечный удар в дни моего бабьего лета. То, что я испытываю, так странно, что мне хочется рассказать вам об этом. Представьте себе, что после вашего отъезда я

не могу больше гулять. Раньше и даже в последние месяцы я очень любил одиноко бродить по улицам без цели, развлекаясь людьми и вещами, наслаждаясь радостью глазеть по сторонам, с удовольствием бодро шагая по мостовой. Я шел куда глаза глядят, лишь бы идти, дышать, мечтать. А теперь, как только я выхожу на улицу, меня одолевает тоска, страх слепца, упустившего свою собаку. Я начинаю волноваться, точь-в-точь как путник, потерявший тропинку в лесу, и должен возвращаться домой. Париж кажется мне пустым, жутким, тревожным. Я спрашиваю себя: «Куда пойти?» И отвечаю: «Никуда, ведь это прогулка». И вот я не могу, не могу больше гулять без цели. При одной мысли, что я иду неведомо куда, я изнемогаю от усталости, меня гнетет тоска. И я тащусь со своей меланхолией в клуб.

И знаете ли, почему это? Единственно потому, что вас нет больше здесь. Я в этом уверен. Когда я знаю что вы в Париже, мои прогулки уже не бесцельны, потому что я могу встретиться с вами на любой улице. Я хожу всюду, потому что и вы можете оказаться всюду. Если не увижу вас, то, быть может, встречу хотя бы Аннету, а ведь она ваше отображение. Вы обе наполняете для меня улицы надеждой, надеждой узнать вас, когда вы издали будете направляться ко мне или когда я догадываюсь, что это вы, идя вслед за вами. И город становится для меня очаровательным, и женщины, похожие фигурой на вас, волнуют мое сердце, вовлекая его в вихрь уличной жизни, занимают мое зрение, облегчают мне ожидание и возбуждают чисто физическую жажду видеть вас.

Вы сочтете меня большим эгоистом, бедный друг мой, я тут толкую о своем одиночестве, как старый, воркующий голубь, в то время, как вы плачете такими горькими слезами. Простите меня, я так привык, чтобы вы баловали меня, что, оставаясь один, кричу: «Помогите!»

Целую ваши ноги, чтобы вы пожалели меня.

Оливье».

Ронсьер. 30 июля.

«Друг мой!

Благодарю за ваше письмо! Мне так нужно знать, что вы любите меня! Я пережила ужасные дни. Право, я думала, что тоже умру от горя. Горе было во мне, лежало в груди тяжелым камнем, все возрастало, давило, душило меня. Чтобы успокоить нервные припадки, случавшиеся со мной по четыре — пять раз в день, врач впрыскивал мне морфий; я от него чуть не сошла с ума, а палящая жара, которая стоит у нас, еще ухудшала мое состояние, доводила до острого возбуждения, граничившего с бредом. После сильной грозы в пятницу я немного успокоилась. Надо сказать, что со дня похорон я ни разу не плакала, и вот во время грозы, приближение которой взбудоражило меня, из глаз моих вдруг полились слезы, медленные, редкие, мелкие, жгучие. О, эти первые слезы, как от них больно! Они терзали меня, словно когтями, и горло мое так сжималось, что я не могла перевести дыхание. Потом слезы стали чаще, крупнее, стали менее жгучими. Они ручьем исторгались из глаз, и их было столько, столько, столько, что платок весь вымок и пришлось взять другой. И огромная глыба горя, казалось, размягчалась, таяла и, растаяв, вытекала.

С этой минуты я плачу с утра до вечера, и это меня спасает. Если бы я не могла плакать, в конце концов я действительно сошла бы с ума или умерла. Я тоже очень одинока. Муж разъезжает по округе, и я уговорила его брать с собою Аннету, чтобы развлечь и успокоить ее. Они уезжают в экипаже или верхом миль за восемь, за десять от Ронсьера, и она возвращается ко мне свежая, розовая, несмотря на свою печаль, с блеском жизни в глазах, оживленная деревенским воздухом и поездкой. Как прекрасно быть в этом возрасте! Я думаю, что мы останемся здесь еще на две — три недели, а потом, хотя август еще не кончится, возвратимся в Париж по известной вам причине.

Посылаю вам все, что осталось у меня от моего сердца.

Ани».

Париж. 4 августа.

«Не могу больше вынести, дорогой мой друг. Вы должны вернуться, иначе со мною, наверно, что-нибудь случится. Задаю себе вопрос, не болен ли я,— до того сильно во мне отвращение ко всему, что так долго я проделывал с некоторым удовольствием или с равнодушной покорностью. Прежде всего, в Париже такая жара, что по ночам чувствуешь себя, как в турецкой бане. Я встаю, изнемогая от усталости после такого сна в раскаленной печи, и час или два расхаживаю перед белым холстом с намерением что-нибудь нарисовать. Но мой ум теперь бессилен, глаз бессилен, бессильна рука. Я уже не художник!.. Этот бесплодный порыв к работе приводит меня в отчаяние. Зову натурщиц, ставлю их, но у них те же позы, жесты, та же экспрессия, что я уже писал до пресыщения, и я велю им одеваться и выставляю их за дверь. Право, я уже не способен увидеть что-нибудь новое и страдаю от этого, точно я ослеп. Что это такое? Усталость глаз или мозга, истощение способности творить или переутомление зрительного нерва? Как знать! Мне кажется, что я уже перестал совершать открытия в той области неисследованного, в которую мне дано было проникнуть. Теперь я замечаю только то, что известно всем; делаю то, что делали все плохие живописцы; зоркость и наблюдательность теперь у меня не выше, чем у любого пошляка. Бывало, еще совсем недавно, количество новых тем казалось мне беспредельным, и я располагал такими разнообразными способами для их выражения, что затруднялся в выборе из-за этого обилия. И вот мир представлявшихся мне сюжетов вдруг оскудел, а моя пытливость стала бессильной и бесплодной. Проходящие мимо люди уже лишены для меня смысла; я не нахожу больше во всяком человеческом существе того характера и того вкуса, которые так любил распознавать и делать видимым для всех. Однако я думаю, что мог бы написать прекрасный портрет вашей дочери. Не потому ли, что вы так схожи друг с другом, я и смешиваю вас воедино в моих мыслях? Да, может быть.

Итак, устав от попытки изобразить мужчину или

женщину, которые не напоминали бы мне всех знакомых натурщиков и натурщиц, я решаю позавтракать где-нибудь, ибо у меня больше не хватает мужества сидеть одному в своей столовой. Бульвар Мальзерб похож на лесную просеку, замкнутую в мертвом городе. От всех домов веет пустотою. Поливальщики раскидывают по улицам белые султаны воды, и от торцовой мостовой поднимаются испарения мокрой смолы и вымытой конюшни, а на всем протяжении от парка Монсо до церкви Сент-Огюст только и заметишь пять—шесть темных фигур каких-нибудь незначительных прохожих, разносчиков или слуг. Тени платанов стелются у подножия деревьев, на раскаленных тротуарах, причудливыми пятнами, которые кажутся жидкими, как подсыхающие лужи. В неподвижности листьев на ветвях и их серых силуэтов на асфальте сказывается утомление города, который жарится, дремлет и потеет, как рабочий, заснувший на скамье под солнцем. Да, он потеет, подлый город, и отвратительно воняет отверстиями своих сточных труб, отдушинами подвалов и кухонь, уличными канавками, по которым течет его грязь. И я думаю о летних утренних часах в вашем саду, где столько полевых цветов, придающих воздуху медвяный привкус. Затем я вхожу с отвращением в ресторан, где насыщаются плешивые и брюхастые люди в полурасстегнутых жилетах; вид у них подавленный, лбы блестят от пота. Всей снеди здесь тоже жарко — и дыне, оплывающей подо льдом, и раскисшему хлебу, и дряблому филе, и перепрелой зелени, и гниющему сыру, и фруктам, перезревшим в витрине. И я ухожу с тошнотворным чувством и возвращаюсь к себе, чтобы попытаться соснуть до обеда. Обедаю я в клубе.

Там я всегда застаю Адельманса, Мальдана, Рокдиана, Ланда и многих других; они надоедают мне и утомляют, как шарманки. У каждого свой мотив или несколько мотивов, которые я слышу уже пятнадцать лет, и они наигрывают их в этом клубе все вместе каждый вечер, а ведь клуб все-таки должен быть таким местом, куда люди ходят развлекаться. Мне следовало бы переменить свое поколение, мои глаза, уши и ум сыты им по горло. У этих людей каждый раз новые

победы, они хвастают ими и при этом обмениваются поздравлениями.

Зевнув столько же раз, сколько минут от восьми часов вечера до полуночи, я иду домой спать и ложусь с мыслью, что завтра все это придется начинать сначала.

Да, дорогая, я в том возрасте, когда жизнь холостяка становится невыносимой, ибо для меня уже нет ничего нового под солнцем. Холостяк должен быть молодым, любопытным, жадным. А перестанешь быть таким — и оставаться свободным становится опасно. Боже, как я любил мою свободу когда-то, прежде чем полюбил вас больше, чем ее! Как она тяжка мне теперь! Для старого холостяка, вроде меня, свобода — это пустота, повсюду пустота, это путь к смерти, свободный от всего, что мешало бы видеть конец, это беспрестанно встающий вопрос: «Что мне делать, куда бы пойти, чтобы не быть одному?» И я иду от приятеля к приятелю, от рукопожатия к рукопожатию, нищенски вымаливая немножко дружбы. Я собираю крошки ее, но целого куска из них не выходит. У меня есть вы, вы, мой друг, но принадлежите вы не мне. Даже, может быть, вы-то и есть причина терзающей меня тоски, потому что именно желание близости с вами, вашего присутствия, одной кровли над нашими головами, одних и тех же стен, замыкающих наше существование, одних и тех же интересов, заставляющих сильнее биться наши сердца, потребность иметь общие с вами надежды, печали, удовольствия, радости, огорчения и даже общие предметы обихода — вот что так томит меня. Вы моя, то есть от времени до времени я краду небольшую частицу вас. Но я хотел бы беспрестанно дышать одним воздухом с вами, все делить с вами, употреблять лишь такие вещи, которые принадлежали бы нам обоим, и чувствовать, что все, чем я живу, столь же ваше, как и мое: и стакан, из которого я пью, и стул, на котором я отдыхаю, и хлеб, который я ем, и огонь, у которого я греюсь.

Прощайте, возвращайтесь поскорее. Мне слишком тяжело вдали от вас.

Оливье».

Ронсьер. 8 августа.

«Друг мой, я нездорова и так утомлена, что вы не узнали бы меня. Вероятно, я слишком много плакала. Мне надо немного отдохнуть перед возвращением, потому что я не хочу показаться вам в таком виде. Муж едет послезавтра в Париж и расскажет вам, как мы живем. Он собирается предложить вам вместе пообедать где-нибудь и поручил мне просить вас, чтобы вы ждали его у себя дома к семи часам.

Что касается меня, то как только я почувствую себя немного лучше, как только у меня не будет этого лица покойницы, которого я боюсь сама, я вернусь к вам. У меня тоже никого нет на свете, кроме Аннеты и вас, и я хочу отдать каждому из вас все, что могу, не обкрадывая при этом другого.

Подставляю вам для поцелуя мои глаза, которые столько плакали.

Анна».

Когда Оливье Бертен получил это письмо, извещавшее, что возвращение опять откладывается, у него возникло желание, неудержимое желание поехать на вокзал и отправиться поездом в Ронсьер; но, подумав, что г-н Гильруа должен завтра вернуться, он смирился и стал желать приезда мужа почти с таким же нетерпением, как если бы это был приезд самой жены.

Никогда еще он не любил Гильруа так, как за эти двадцать четыре часа ожидания.

Когда тот вошел, он бросился к нему, протягивая руки и восклицая:

— Ах, дорогой друг, как я счастлив, что вижу вас!

Тот, казалось, был тоже очень доволен, а главное, рад своему возвращению в Париж, потому что последние три недели жизнь его в Нормандии была невеселой.

Они сели на двухместный диванчик в углу мастерской, под балдахином из восточных тканей, и снова с умилением протянули и пожали друг другу руки.

— А графиня? — спросил Бертен.— Как она поживает?

— Неважно! Она была очень опечалена, потрясена и теперь оправляется, но слишком медленно. Признаюсь, она меня даже немного беспокоит.

— Почему же она не возвращается?

— Не знаю... Мне не удалось уговорить ее вернуться сюда.

— Что она делает целый день?

— Боже мой! Плачет и думает о матери. Это нехорошо для нее. Мне очень бы хотелось, чтобы она переменила обстановку, покинула место, где это произошло.

— А что Аннета?

— О, Аннета цветет!

Оливье радостно улыбнулся и спросил снова:

— Сильно она горевала?

— Да, очень, очень, но вы знаете, горе в восемнадцать лет длится недолго.

Они помолчали, и Гильруа продолжал:

— Где бы нам пообедать, дорогой мой? Мне необходимо рассеяться, слышать шум, видеть движение.

— Летом, пожалуй, самое подходящее место — Посольское кафе.

И они отправились, под руку, в Елисейские Поля. Гильруа, возбужденный, как всякий парижанин, которому после каждой отлучки город кажется помолодевшим и полным всевозможных сюрпризов, забрасывал художника вопросами обо всем, что произошло здесь и о чем шли толки, а Оливье отвечал ему с равнодушием, в котором отражалась вся тоска его одиночества; потом он заговорил о Ронсьере. Он старался уловить в Гильруа, схватить в нем то почти осязаемое, что оставляют в каждом из нас люди, только что нас покинувшие, еле ощутимую эманацию, которую мы уносим, сохраняем в себе несколько часов и которая улетучивается в новой атмосфере.

Тяжелое небо летнего вечера нависло над городом и над широкой улицей, где под деревьями уже взлетали бойкие мотивы уличных концертов. Граф и художник, сидя на балконе Посольского кафе, смотрели вниз на пустые пока скамьи и стулья за оградой перед театриком, где певицы при тусклом свете электрических шаров, сливавшемся с дневным светом, выставляли напоказ свои кричащие туалеты и розовое тело. В еле

уловимых дуновениях ветерка, посылаемых друг другу каштановыми деревьями, носились запахи пригоревшего масла, соусов, разных горячих кушаний, а когда проходила какая-нибудь женщина в сопровождении мужчины во фраке, разыскивая заказанное место, она оставляла за собой манящий и свежий аромат своего платья и тела.

Гильруа, весь сияя, прошептал:

— О, я предпочитаю быть здесь, а не там.

— А я бы,— ответил Бертен,— предпочел быть там, а не здесь.

— Оставьте!

— Ей-богу! Я нахожу, что нынешним летом Париж омерзителен.

— Э, дорогой мой! И все-таки это Париж.

Депутат, по-видимому, был в отличном настроении, в том редком состоянии игривого возбуждения, когда серьезные люди делают глупости. Он смотрел на двух кокоток, обедавших за соседним столом с тремя худощавыми, в высшей степени корректными молодыми людьми, и исподволь расспрашивал Оливье обо всех известных продажных женщинах, имена которых он слышал каждый день. Затем он прошептал тоном глубокого сожаления:

— Вам повезло, что вы остались холостяком. Вы можете смотреть и делать все, что вам заблагорассудится.

Но художник стал горячо возражать и, как все, кого неотступно преследует одна какая-нибудь мысль, поведал Гильруа о своих печалях и своем одиночестве. Когда он высказался, до конца допел похоронную песнь своей грусти и, томясь потребностью облегчить сердце, наивно рассказал, как жаждет любви и постоянной близости женщины, которая жила бы с ним вместе, граф, в свою очередь, согласился, что в браке есть и хорошая сторона. И, прибегнув для описания прелестей своей семейной жизни к парламентскому красноречию, он произнес похвальное слово графине; слушая его, Оливье серьезно и часто с одобрением кивал головой.

Радуясь, что речь идет о ней, но завидуя тому интимному счастью, которое Гильруа восхвалял по обя-

занности, художник сказал наконец тихо и с искренним убеждением:

— Да, вам повезло!

Депутат был польщен и согласился с этим; потом он продолжал:

— Я очень хотел бы, чтобы она вернулась; право, она сейчас внушает мне беспокойство. Послушайте, если вам скучно в Париже, отчего бы вам не съездить в Ронсьер и не привезти ее сюда? Вас-то она послушается, ведь вы ее лучший друг, тогда как муж... знаете...

Оливье радостно ответил:

— Да я ничего лучшего и не желал бы. Однако... как вы думаете, не рассердится она, если я так неожиданно явлюсь?

— Нет, ничуть, поезжайте, дорогой мой.

— В таком случае я согласен. Я выеду завтра с поездом в час. Не послать ли телеграмму?

— Нет, это я беру на себя. Я дам знать, чтобы за вами на станцию выслали экипаж.

Пообедав, они опять вышли на бульвары, но не прошло и получаса, как граф вдруг покинул художника под предлогом какого-то спешного дела, о котором он чуть было совсем не забыл.

II

Графиня с дочерью, обе в глубоком трауре, только что сели завтракать друг против друга в просторной столовой Ронсьера. На стенах висели в ряд, в старых рамах с облупившейся позолотой, наивно выписанные портреты предков, целая галерея былых Гильруа: один — в латах, другой — в камзоле, этот — в форме гвардейского офицера и в пудреном парике, тот — в полковничьем мундире времен Реставрации. Два лакея, неслышно ступая, подавали молчавшим женщинам; вокруг висевшей над столом хрустальной люстры носились мухи облачком вертящихся и жужжащих черных точек.

— Отворите окно, — сказала графиня, — здесь немного свежо.

Три широких, как ворота, окна, высотою от пола до потолка, распахнулись настежь. Дуновение теплого воздуха ворвалось в эти три огромных отверстия, припо-

ся запахи нагретой травы, отдаленные звуки полей, и смешалось с сыроватым воздухом просторной комнаты, заключенной в толстых стенах замка.

— Ах, как хорошо! — сказала Аннета, вдыхая воздух полной грудью.

Глаза обеих женщин обратились к открытым окнам, к длинной зеленой лужайке в парке, с разбросанными на ней купами деревьев; там и сям открывалась далекая перспектива желтых полей, которые сверкали до самого горизонта золотым ковром созревших хлебов; над ними сияло ясное голубое небо, чуть подернутое легкой полуденной дымкой, дрожавшей над напоенною солнцем землей.

— После завтрака мы отправимся на прогулку подальше, — сказала графиня. — Можно пойти пешком до Бервиля по берегу реки, потому что в открытом поле будет слишком жарко.

— Да, мама, и возьмем с собою Джулио; он будет спугивать куропаток.

— Ты знаешь, что отец это запрещает.

— Да ведь папа в Париже! Джулио на стойке такой забавный. Смотри, вот он дразнит коров. Боже, какой он смешной!

Оттолкнув стул, она вскочила и подбежала к окну, крича:

— Смелее, Джулио, смелее!

На лугу три неповоротливые коровы, наевшись до отвала и изнемогая от жары, отдыхали, лежа на боку, с раздутыми животами. Стройный, белый, с рыжими подпалинами спаньель с притворной и веселой яростью метался от одной коровы к другой, лаял, выделывал безумные прыжки, так что его мохнатые уши каждый раз разлетались в стороны, и из кожи лез вон, чтобы заставить подняться тучных животных, которым этого вовсе не хотелось. Это была, конечно, любимая игра собаки, которую она, должно быть, затевала всякий раз, когда замечала лежащих коров. А коровы с неудовольствием, но без страха глядели на нее круглыми влажными глазами и, следя за нею, поворачивали головы.

Аннета крикнула из окна:

— Апорт, Джулио, апорт!

Собака, подстрекаемая этим криком, становилась все смелее, лаяла еще громче и отваживалась подбегать к самому крупу животных, делая вид, что хочет укусить. Это начинало беспокоить коров, и нервные подергивания кожи, которыми они сгоняли мух, становились чаще и продолжительней.

Вдруг собака, разбежавшись и не успев вовремя остановиться, подлетела с размаху к одной из коров так близко, что должна была перескочить через нее, чтобы не споткнуться и не упасть. Слегка задетое прыжком неповоротливое животное испугалось и сперва подняло голову, а затем медленно поднялось на все четыре ноги, тяжело сопя. Видя, что одна корова встала, две другие тотчас же последовали ее примеру, и Джулио заплясал вокруг них победный танец, причем Аннета поздравляла его:

— Браво, Джулио, браво!

— Ну, — сказала графиня, — иди же завтракать, детка.

Но девушка, заслонив рукою глаза от солнца, объявила:

— Что такое? Посыльный с телеграфа!

Невидимая тропинка терялась во ржи и в овсах, и казалось, что синяя блуза посыльного, направлявшегося к усадьбе размеренным шагом, скользит над колосьями.

— Боже мой, — прошептала графиня, — лишь бы не какое-нибудь дурное известие!

Она все еще трепетала от ужаса, который надолго оставляет в нас телеграмма, извещающая о смерти любимого существа. Она не могла бы теперь сорвать наклейку и развернуть синюю бумажку без дрожи в пальцах и волнения в душе, не опасаясь заранее, что в этом так медленно разворачивающемся листке бумаги таится горе, которое заставит ее снова проливать слезы.

Аннета, наоборот, полная молодого любопытства, любила все неожиданное. Ее сердце, которому жизнь только впервые причинила страдание, могло ждать лишь радостей от черной и жуткой сумки, висящей на боку у почтальонов, которая сеет столько волнений по городским улицам и сельским дорогам.

Графиня перестала есть и мысленно следила за шед-

шим к ней человеком, который нес несколько написанных слов; только несколько слов, а быть может, они поразят ее, словно удар ножом в грудь. Она задыхалась от тревоги, стараясь угадать, каково было это спешное известие. По какому поводу? От кого? Вдруг ей пришла мысль об Оливье. Не болен ли он? Может быть, тоже умер?

Десять минут ожидания показались ей нескончаемыми; потом, вскрыв телеграмму и увидев подпись мужа, она прочла: «Наш друг Бертен выезжает в Роспьер поездом в час дня. Вышли фаэтон на станцию. Целую».

— Ну что, мама? — спросила Аннета.

— К нам приезжает господин Оливье Бертен.

— Ах, как хорошо! А когда?

— Сейчас.

— В четыре?

— Да.

— Ах, какой он милый!

Но графиня побледнела, так как с некоторых пор перед ней вырастала новая забота, и внезапный приезд художника показался ей такой же серьезной угрозой, как и все то страшное, что за минуту перед тем представлялось ее воображению.

— Поезжай встретить его,— сказала она дочери.

— А ты, мама, не поедешь?

— Нет, я буду ждать вас здесь.

— Почему? Это его огорчит.

— Я чувствую себя не совсем хорошо.

— Ты только что хотела идти пешком в Бервиль.

— Да, но после завтрака мне стало плохо.

— К тому времени это пройдет.

— Нет, я сейчас подымусь к себе. Как только вы приедете, вели доложить мне.

— Хорошо, мама.

Затем, распорядившись, чтобы к назначенному часу был подан фаэтон и приготовлена комната, графиня ушла к себе и заперлась.

До сих пор ее жизнь протекала почти без всяких страданий, и единственным событием в ней была любовь к Оливье, а единственной тревогой — забота о том, чтобы сохранить эту любовь. Это ей удавалось, в

этой борьбе она всегда побеждала. После того как она согласилась на блистательный брак, в котором склонность не играла никакой роли, а затем приняла любовь как дополнение к счастливому существованию, после того как она решилась на преступную связь, главным образом вследствие увлечения, а отчасти потому, что благоговела перед самим этим чувством, вознаграждавшим ее за пошлую монотонность жизни, ее сердце, убаюканное успехами и похвалами, требовательное сердце светской красавицы, которой суждены все земные радости, крепко замкнулось, забаррикадировалось в этом счастье, посланном ей случаем, и она желала лишь одного — уберечь его от грозящих на каждом шагу неожиданностей. С благосклонностью красивой женщины принимала она представлявшиеся ей приятные события, не искала приключений и не мучилась новыми желаниями и жаждой неизведанного; наоборот, нежная, настойчивая, предусмотрительная, она довольствовалась настоящим, инстинктивно страшилась завтрашнего дня и умела осторожно, расчетливо, благоразумно пользоваться всем тем, что посылала ей судьба.

Но мало-помалу, хотя она сама не смела себе в этом признаться, в ее душу закралась смутная тревога о том, что дни проходят и приближается старость. Эта мысль преследовала ее, как своего рода непрекращающийся зуд. Но хорошо зная, что этот спуск жизни вел в пропасть, что, раз начав спускаться, уже не остановишься, она, поддаваясь упоению опасности, не сопротивляясь, заскользила вниз, закрыв глаза, чтобы сохранить свою мечту, чтобы не испытать головокружения перед пропастью и отчаяния от своего бессилия.

И она жила, улыбаясь и как будто гордясь тем, что так долго сохраняла свою красоту, и когда рядом с нею появилась свежая, восемнадцатилетняя Аннета, она не только не стала страдать от этого соседства, а, напротив, гордилась тем, что ее искусно поддерживаемая зрелая красота может быть предпочтена лучезарному блеску юных дней цветущей девочки.

Она даже думала, что вступает в счастливый и спокойный период жизни, как вдруг смерть матери поразила ее в самое сердце. В первые дни это было такое глубокое отчаяние, которое не оставляет места ни для

какой иной мысли. С утра до вечера она была погружена в неутешную скорбь и старалась только припоминать малейшие черточки покойной, ее привычные слова, ее наружность в былое время, платья, которые она когда-то носила. На дне ее памяти словно были накоплены те реликвии, а в исчезнувшем прошлом собраны те интимные и мелкие воспоминания, которыми она будет теперь питать свои тяжелые думы. Потом, когда она довела себя этим до такой степени отчаяния, что с нею поминутно случались нервные припадки и обмороки, все накопившееся горе исторгнулось в слезах, которые она проливала день и ночь.

Однажды утром, когда вошедшая горничная, отворяя ставни и раздвигая занавески, спросила: «Как ваше здоровье сегодня, сударыня?» — она, чувствуя себя изнуренною и разбитою от слез, ответила:

— Ах, плохо. Право, я совсем без сил.

Держа поднос с чаем, служанка взглянула на госпожу и, тронутая ее бледностью, бросавшейся в глаза даже на фоне белой постели, проговорила с искренним участием:

— Правда, сударыня, у вас плохой вид. Вам следовало бы полечиться.

Это было сказано таким тоном, что графиню как иглой кольнуло в самое сердце, и, едва горничная вышла, она встала с кровати и подошла к большому зеркальному шкафу, чтобы рассмотреть свое лицо.

Увидев себя, она остолбенела, так испугали ее впалые щеки, красные глаза, изможденный вид — следы нескольких дней страдания. Она так хорошо знала свое лицо, так часто его рассматривала в стольких зеркалах; она прекрасно изучила все его выражения, все кокетливые мины, все улыбки, не раз уже устраняла его бледность, уничтожала легкие следы утомления, сглаживала маленькие морщинки, заметные при ярком дневном свете у уголков глаз, — и это лицо вдруг показалось ей лицом какой-то другой женщины, лицом незнакомым, искаженным неизлечимой болезнью.

Чтобы лучше разглядеть себя, чтобы лучше убедиться в этом неожиданном несчастье, она приблизилась к зеркалу вплотную, коснулась его лбом, и ее дыхание, пробегая паром по стеклу, затуманило и почти изгла-

дило бледный образ, от которого она не могла оторваться. Она стерла носовым платком со стекла туманный след и, дрожа от странного волнения, занялась долгим и терпеливым осмотром перемен, которые произошли с ее лицом. Легким прикосновением пальца она расправила кожу на щеках, пригладила ее на лбу, приподняла волосы и отвернула веки, чтобы разглядеть белки. Затем открыла рот, осмотрела свои немного потускневшие зубы, в которых сверкали золотые точки; синева десен и желтизна кожи на щеках и на висках обеспокоили ее.

Она с таким вниманием производила осмотр своей вянущей красоты, что не расслышала, как отворилась дверь, и вздрогнула, когда горничная за ее спиною сказала:

— Сударыня, вы забыли про чай.

Графиня обернулась, смущенная, застигнутая врасплох, сконфуженная, а служанка, угадывая ее мысли, заметила:

— Вы слишком много плакали, сударыня, а слезы больше всего сушат кожу. От слез кровь обращается в воду.

Графиня грустно прибавила:

— Да и годы берут свое.

Горничная воскликнула:

— О, сударыня, вы еще не в таком возрасте! Несколько дней отдыха, и даже следа не останется. Но вам необходимо гулять и не надо больше плакать.

Одевшись, графиня сразу спустилась в парк и впервые после смерти матери вошла в садик, где любила когда-то ухаживать за цветами, а затем до самого завтрака гуляла по берегу реки.

Садясь за стол против мужа, рядом с дочерью, она сказала, чтобы узнать их мнение:

— Сегодня я чувствую себя лучше. Должно быть, я не такая бледная.

Граф ответил:

— Ну, вы еще довольно плохо выглядите

Сердце ее сжалось, и слезы навернулись на глаза, ведь она уже привыкла плакать.

До самого вечера, и на другой день, и в следующие дни, думая о своей матери или о самой себе, она каж-

дый раз чувствовала, что рыдания подступают к горлу и на глаза набегают слезы, но, помня, что от слез делаются морщины, она удерживала их и сверхчеловеческим напряжением воли заставляла себя думать о чем-нибудь постороннем, обуздывала свою мысль, подчиняла ее себе, старалась отвлечься от своего горя, утешиться, рассеяться, не думать больше ни о чем печальном, чтобы вернуть себе здоровый цвет лица.

В особенности же не хотелось ей возвращаться в Париж и встретить Оливье Бертена прежде, чем она не станет опять сама собой. Она слишком исхудала, а женщина в ее возрасте должна быть полной, чтобы сохранить свежесть, поэтому она старалась возбуждать аппетит прогулками по полям и лесам и, хотя возвращалась домой усталая и не чувствуя голода, заставляла себя много есть.

Граф, которому уже не терпелось вернуться в Париж, не понимал ее упорства. Видя ее непреодолимое сопротивление, он объявил наконец, что уезжает один и предоставляет графине приехать, когда ей будет угодно.

На другой день она получила телеграмму с вестью о приезде Оливье.

Ею овладело желание бежать: так боялась она его первого взгляда. Надо было подождать еще неделю—другую. Ухаживая за собой, можно за одну неделю совершенно изменить лицо; ведь женщины, даже здоровые и молодые, от самой ничтожной причины становятся неузнаваемы за один день. Но мысль показаться Оливье среди бела дня в открытом поле под ярким августовским солнцем рядом с юной и свежей Аннетой встревожила ее до такой степени, что она сразу же решила не ехать на станцию, а ждать его в полумраке гостиной.

Она поднялась к себе и задумалась. Знойный ветерок по временам колыхал занавески. Воздух был наполнен стрекотанием кузнечиков. Никогда еще она не испытывала такой тоски. Это уже не была та гнетущая скорбь, которая терзала и раздирала ей сердце, подавляла ее перед бездыханным телом горячо любимой старой матери. Та скорбь, которую она считала неизлечимой, превратилась спустя несколько дней только в какое-то болезненное воспоминание; но теперь она

чувствовала, как ее подхватил и захлестнул глубокий поток грусти; это произошло незаметно, но из него ей никогда уже не выбраться.

Ей хотелось плакать, хотелось непреодолимо, но она сдерживала себя. Каждый раз, как она чувствовала, что ее ресницы становятся влажными, она быстро отирала их, вставала, начинала ходить по комнате, смотрела на парк, где в синем небе над высокими деревьями чащи вороны совершали свой медлительный, черный полет.

Потом она подходила к зеркалу, окидывала себя испытующим взглядом, удаляла след набежавшей слезы, тронув пуховкой с рисовой пудрой уголок глаза, смотрела на часы, стараясь угадать, в каком месте дороги может теперь находиться Оливье.

Как всякую женщину, одолеваемую мнимым или действительным душевным горем, ее тянуло к нему с неудержимой страстностью. Разве не был он всем для нее, всем, всем, более дорогим, чем сама жизнь, всем, чем становится для нас единственно любимое существо, когда мы чувствуем наступление старости?

Вдруг она услышала вдали щелканье бича, подбежала к окну и увидела запряженный парой лошадей фаэтон, который быстро огибал поляну. Сидя в экипаже рядом с Аннетой, Оливье, увидев графиню, замахал платком, а она приветствовала его обеими руками. Затем она сошла вниз с бьющимся сердцем, но уже счастливая, трепеща от радости, что он так близко от нее и она может говорить с ним, видеть его.

Они встретились в прихожей, у двери в гостиную.

В неудержимом порыве он раскрыл ей объятия, и голос его был согрет искренним волнением:

— Ах, бедная моя графиня, позвольте мне вас поцеловать!

Она закрыла глаза, склонилась, прижалась к нему, подставляя щеки, и, когда он прикоснулся к ним губами, шепнула ему на ухо:

— Люблю тебя.

Сжимая ее руки и не выпуская из своих, Оливье взглянул на нее, промолвив:

— Посмотрите-ка на это печальное личико.

Ноги у нее подкашивались. Он продолжал:

— Немножко бледненькое, но это ничего.

Желая поблагодарить его, она пролепетала, не находя других слов:

— Ах, дорогой друг, дорогой друг!

Но он повернулся, ища глазами скрывшуюся куда-то Аннету, и вдруг сказал:

— Ну не странно ли видеть вашу дочь в трауре?

— Почему? — спросила графиня.

Вне себя от восторга он воскликнул:

— Как почему? Да ведь это ваш портрет, написанный мною, это мой портрет! Это вы, какою я вас встретил когда-то у герцогини! Помните, как вы прошли к двери под моим взглядом, точно фрегат под прицелом крепостной пушки? Черт возьми! Когда я только что увидел на станции эту малютку в глубоком трауре, с солнечным ореолом волос сердце у меня так и екнуло. Я думал, что вот-вот расплачусь. Я, который так хорошо знал вас, наблюдал ближе, чем кто-либо другой, любил вас больше, чем кто бы то ни было, я, который передал вас на полотне, я говорю вам, что от этого можно было с ума сойти! Право, мне даже показалось, что вы для того и послали ее одну на станцию, чтобы изумить меня. Бог ты мой, как я был поражен! Говорю вам, от этого можно сойти с ума!

Он позвал:

— Аннета! Напэ!

Голос девушки ответил со двора, где она кормила сахаром лошадей:

— Здесь, здесь!

— Иди же сюда.

Она прибежала.

— Ну-ка, стань рядом с мамой.

Она стала, и он сравнил их, но повторял лишь машинально, без убеждения: «Да, это поразительно, поразительно»,— потому что, стоя бок о бок, они уже не так были похожи друг на друга, как раньше, перед отъездом из Парижа: у девушки в этом траурном платье появилось новое выражение лучезарной юности, тогда как мать давно потеряла тот солнечный оттенок волос и цвета лица, которыми она когда-то, при первой встрече, ослепила и опьянила художника.

Затем Бертен и графиня вошли в гостиную; он просто сиял.

— Ах, как хорошо, что мне пришло в голову приехать сюда! — сказал он.

Но тут же поправился:

— Нет, эту мысль подал мне ваш муж. Он поручил мне привезти вас. А знаете, что я предлагаю вам? Нет, конечно, не знаете! Так вот, я предлагаю вам, напротив, остаться. В эту жару Париж отвратителен, а деревня прекрасна... Боже! Как здесь хорошо!

С наступлением вечера парк наполнился прохладой, зашелестели деревья, с земли стали подниматься невидимые испарения, заволакивавшие горизонт легкой, прозрачной дымкой. Три коровы, низко опустив головы, жадно щипали траву, а четыре павлина, громко хлопая крыльями, взлетели и уселись перед окнами дома на кедр, где они обыкновенно спали. Издали, с полей, доносился собачий лай, и в тихом вечернем воздухе слышались зовы человеческих голосов, отдельные фразы, перелетавшие над полями с одной пашни на другую, и короткие гортанные крики, которыми понукают скотину.

Художник, с непокрытой головой, с блестящими глазами, дышал полной грудью и, отвечая на взгляд графини, сказал:

— Вот оно, счастье!

Она подошла к нему ближе.

— Оно длится не вечно.

— Будем брать его, когда оно приходит.

Тогда она с улыбкой сказала:

— До сих пор вы не любили деревни.

— Теперь я люблю ее, потому что нахожу здесь вас. Я не мог бы больше жить там, где вас нет. Когда человек молод, он может любить издалека, в письмах, в мыслях, в восторженных мечтах — может быть, чувствуя, что жизнь еще впереди, а может быть, и потому, что человек живет тогда не столько запросами сердца, сколько страстью. В мои же годы, напротив, любовь становится привычкой больного, целебной повязкой на ранах души, а душа владеет теперь только одним крылом и уже не так высоко витает в идеальном. В сердце уже нет экстаза, у него только эгоистические требова-

ния. И притом я очень хорошо чувствую, что нельзя терять времени, если я хочу насладиться тем, что еще осталось для меня.

— О, какой старик! — сказала она, взяв его за руку.

Он повторил:

— Ну, конечно, конечно. Я стар. Все говорит за это: волосы, перемены в характере, тоска, которая находит на меня. Черт возьми! Вот что до сих пор было мне незнакомо: тоска! Если бы мне в тридцать лет сказали, что настанет пора, когда я буду испытывать беспричинную грусть, беспокойство, недовольство всем, я не поверил бы этому. Это доказывает, что мое сердце тоже состарилось.

Она ответила с глубокой уверенностью:

— О, мое сердце совсем молодо. Оно не изменилось. Может быть, даже помолодело. Когда-то ему было двадцать лет, а теперь не больше шестнадцати.

Долго разговаривали они так у открытого окна, проникаясь настроением этого вечера, стоя рядом, ближе, чем когда бы то ни было, в этот час нежности, такой же сумеречной, как этот час дня.

Вошел слуга и объявил:

— Кушать подано.

Она спросила:

— Вы доложили моей дочери?

— Мадмуазель в столовой.

Они сели за стол втроем. Ставни были закрыты; пламя двух больших шестисвечных канделябров озаряло лицо Аннеты, ее голова казалась посыпанной золотой пудрой. Бертен не спускал с нее глаз и улыбался.

— Боже, как она хороша в черном! — говорил он.

И, любуясь дочерью, он обращался к графине, как бы благодаря мать за то, что она дала ему это наслаждение.

Когда они вернулись в гостиную, луна поднялась над деревьями парка. Их темная масса выделялась, словно большой остров, а поля за ними казались морем, которое застилал легкий туман, низко носившийся над равниной.

— О, мама, пойдем погуляем,— сказала Аннета.

Графиня согласилась.

— Я возьму Джулио.

— Хорошо, возьми, если хочешь.

Они вышли. Девушка шла впереди, играя с собакой. Проходя по лугу, они услышали сопение коров, которые, проснувшись и почуяв своего врага, подняли головы, оглядываясь. Вдали луна пронизывала ветви деревьев целым ливнем тонких лучей, и они, скользя до самой земли, омывали листву и разливались по дороге лужицами желтоватого света. Аннета и Джулио бегали, словно в эту ясную ночь одинаково радостно и беззаботно было у них на сердце, и восторг их находил себе выход в прыжках.

По лесным полянам, куда волны лунного света падали, как в колодцы, девушка проходила, словно видение, и художник звал ее к себе, очарованный этим черным призраком с блистающим, светлым лицом. Когда она снова уходила, он пожимал руку графини и часто, проходя местами, где сгущались тени, искал ее губы, будто при виде Аннеты каждый раз оживало нетерпение его сердца.

Они дошли наконец до края равнины, откуда еле виднелись вдали там и сям купы деревьев, окружавших фермы. За молочным туманом, затопившим поля, горизонт уходил в бесконечность, и легкая тишина, насыщенная жизнью, тишина этого светлого и теплого простора была полна неизъяснимой надежды, неопределенного ожидания, которые придают такую прелесть летним ночам. Высоко-высоко в небе длинные, тонкие облачка казались сотканными из серебряной чешуи. Остановившись на минуту, можно было расслышать в этой ночной тиши смутный и непрерывный шепот жизни, множество слабых звуков, гармония которых казалась сначала безмолвием.

На соседнем лугу перепелка испускала свой двойной крик, и Джулио, навострив уши, двинулся, крадучись, на звуки двух нот этой птичьей флейты. Аннета пошла за ним, такая же легкая, как он, пригнувшись и затаив дыхание.

— Ах! — сказала графиня, оставшись наедине с художником,— почему подобные прекрасные мгновения проходят так быстро? Ничего нельзя удержать, ничего нельзя сохранить. Не хватает даже времени

насладиться тем, что так хорошо. Сразу наступает конец!

Оливье поцеловал ей руку и с улыбкой возразил:

— О, в этот вечер мне не до философии. Я весь отдаюсь настоящей минуте.

Она прошептала:

— Вы любите меня не так, как я вас.

— Ах, полно!

Она перебила:

— Нет, вы любите во мне, как вы очень хорошо сказали сегодня, женщину, которая удовлетворяет потребностям вашего сердца, женщину, которая никогда не причинила вам огорчения и внесла долю счастья в вашу жизнь. Я это знаю, я чувствую это. Да, я сознаю и горячо радуюсь, что была к вам добра, что была вам полезна и помогала вам. Вы любили и теперь еще любите все, что находите во мне приятного, мое внимание к вам, мое поклонение, мое старание нравиться вам, мою страсть, то, что я принесла вам в дар всю свою внутреннюю жизнь. Но не меня вы любите, поймите. О, я это чувствую, как чувствуют холодный сквозняк. Вы любите во мне множество вещей, мою красоту, которая уходит, мою преданность, ум, который во мне признают, мнение, составленное обо мне в свете, и то мнение, какое я храню в своем сердце о вас,— но не меня, не меня, понимаете ли, вовсе не меня самое!

Он дружелюбно усмехнулся:

— Нет, не совсем понимаю. Вы делаете мне совершенно неожиданную сцену с упреками.

Она воскликнула:

— О, боже мой! Я хотела дать вам понять, как я люблю вас! Вот видите, я стараюсь это выразить и не умею. Когда я думаю о вас — а я думаю о вас всегда,— я всем своим телом и всей душой испытываю невыразимое блаженство от того, что принадлежу вам, и непреодолимую потребность еще больше отдать вам себя. Я хотела бы вполне пожертвовать для вас собою, потому что, когда любишь, нет ничего лучше, как отдавать, всегда отдавать все, все, свою жизнь, свою мысль, свое тело, все, что имеешь, и вполне чувствовать, что отдаешь, и быть готовой отдать еще больше. Я вас так люблю, что люблю даже мои страдания из-за вас, люб-

лю мои тревоги, терзания, приступы ревности, боль, которую я испытываю, когда чувствую, что вы уже не так нежны со мною. Я люблю в вас того, кого я сама открыла,— не того, который принадлежит свету, кому поклоняются, кого знают, а того, кто принадлежит мне, который не может больше измениться, не может состариться, которого я уже не могу не любить, потому что глаза мои видят только его. Но это невозможно высказать. Нет слов, чтобы выразить это.

Он тихо-тихо повторил несколько раз подряд:

— Милая, милая, милая Ани.

Джулио возвращался вприпрыжку, не найдя перепелки, которая замолчала, почуяв его приближение, а за ним бегом следовала Аннета, еле переводя дух.

— Не могу больше! — сказала она.— Дайте повиснуть на вас, господин художник!

Она оперлась на свободную руку Оливье, и так они пошли домой под темными деревьями — он между двумя женщинами. Они не разговаривали. Он шел весь во власти своих спутниц, чувствуя, как пронизывает его исходящий от них ток. Он не смотрел на них, ведь они были рядом с ним, он даже закрывал глаза, чтобы лучше чувствовать обеих женщин. Они его вели, направляли, и он шел, не глядя, куда идет, влюбленный в них,— и в ту, что была слева, и в ту, что была справа,— не разбирая, которая из них слева и которая справа, которая мать и которая дочь. С какою-то бессознательной и утонченной чувственностью отдавался он этому волнующему ощущению. Он даже старался смешать их в сердце, не различать их мыслью и убаюкивал свою страсть прелестью этого смешения. Разве эта мать и эта дочь, так похожие друг на друга, не одна женщина? И разве дочь не для того лишь явилась на землю, чтобы омолодить его былую любовь к матери?

Когда, войдя в дом, он опять открыл глаза, ему показалось, что он пережил сейчас самые восхитительные минуты своей жизни, испытал самое странное, совершенно необъяснимое и самое полное ощущение, какое только может изведать мужчина, опьяненный одинаковым чувством к двум пленившим его женщинам.

— Ах, какой чудный вечер! — сказал он, как только опять очутился с ними в освещенной комнате.

Аннета воскликнула:

— Мне совсем не хочется спать; в такую хорошую погоду я гуляла бы всю ночь.

Графиня взглянула на стенные часы.

— О, уже половина двенадцатого! Пора спать, дитя мое.

Они расстались и разошлись по своим спальням. И только девушка, которой не хотелось ложиться, заснула скоро.

Утром горничная в обычный час принесла чай, раскрыла занавески и ставни и, взглянув на свою еще полусонную хозяйку, сказала:

— Сегодня вид у вас уже лучше.

— Вы находите?

— О да! Лицо не такое утомленное.

Еще не посмотревшись в зеркало, графиня уже знала, что это верно. На сердце стало легче, она не чувствовала его биения и испытывала прилив жизни. Кровь в ее жилах струилась уже не так быстро, горячо и лихорадочно, разнося по всему телу нервное напряжение и беспокойство, как это было вчера, но разливала по телу блаженную теплоту и вместе с ней счастливую уверенность.

Когда служанка удалилась, графиня подошла к зеркалу и немного удивилась; чувствуя в себе такую бодрость, она уже надеялась увидеть себя помолодевшей за одну ночь на несколько лет. Потом она поняла все ребячество этой надежды и, взглянув на себя еще раз, примирилась на том, что цвет лица у нее свежее, глаза не такие усталые и губы ярче, чем накануне. Так как на душе у нее было спокойно, она не огорчилась, а с улыбкой подумала: «Еще несколько дней, и я совсем приду в себя. Я слишком много перенесла, чтобы оправиться так быстро».

Но долго, очень долго просидела она за своим туалетным столиком, где на муслиновой скатерти, окаймленной кружевами, перед красивым граненым зеркалом в изящном порядке были разложены все ее маленькие орудия кокетства в оправе из слоновой кости и с ее монограммою, увенчанною короной. В неисчислимом множестве лежали они тут, хорошенькие, самые разнообразные, предназначенные для различных деликатных

и интимных надобностей: одни из стали, тонкие, острые, странного вида, словно игрушечные хирургические инструменты, другие — мягкие и круглые, из перьев, пуха или кожи неведомых животных, изготовленные для того, чтобы холить нежное тело, осыпать его душистой пудрой или втирать благовонные кремы.

Долго возились с ними умелые пальцы, направляя от губ к вискам их прикосновения, нежные, как поцелуй, подправляя не вполне удачные оттенки, подчеркивая глаза, отделывая ресницы. Сойдя наконец вниз, она была почти уверена, что первое впечатление Оливье при взгляде на нее не окажется слишком уж неблагоприятным.

— Где господин Бертен? — спросила она слугу, встретившегося ей в прихожей.

— Господин Бертен в саду играет с мадмуазель в лаун-теннис,— ответил тот.

Она услышала вдали их голоса, выкрикивавшие счет.

Звучный голос художника и тонкий голосок девушки по очереди объявляли:

— Пятнадцать, тридцать, сорок, больше, ровно, больше, игра.

Сад, где была разбита площадка для лаун-тенниса, представлял собой большой квадратный луг, обсаженный яблонями и окруженный парком, огородом и хозяйственными угодьями. Вдоль откосов, окаймлявших его с трех сторон на манер лагерных окопов, были посажены цветы, длинные гряды всевозможных цветов, полевых и садовых: розы, гвоздики, гелиотропы, фуксии, резеда и много других, придававших воздуху медвяный привкус, как говорил Бертен. Золотистые пчелы летали, жужжа, над этим цветочным полем; улья с соломенными куполами тянулись вдоль шпалер, окаймлявших огород.

Как раз по середине сада срубили несколько яблонь, чтобы расчистить место для лаун-тенниса, и натянутая поперек просмоленная сетка разделяла площадку на два поля.

По одну сторону сетки Аннета, с непокрытой головой, подобрав черную юбку и, в погоне за летящим мячом, показывая ноги до щиколотки и даже до половины

икр, бегала взад и вперед, с блестящими глазами и раскрасневшимися щеками, запыхавшаяся и утомленная правильной и уверенной игрой своего противника.

Бертен в белой фуражке с козырьком, в белых фланелевых брюках и такой же рубашке, с чуть заметным брюшком, хладнокровно ожидал мяч, точно определяя его полет, принимал и отсылал его, не спеша, без суеты, легко и непринужденно, с увлечением и профессиональной ловкостью, которые он вносил во всякую игру.

Аннета первая заметила мать. Она крикнула:

— Здравствуй, мама, подожди минуту, мы сейчас кончаем!

Это отвлекло ее на секунду и погубило ее игру. Быстро и низко срезанный мяч пронесся мимо нее, коснулся земли и был проигран.

Бертен закричал: «Выиграл!» И пока девушка, застигнутая врасплох, упрекала его, что он воспользовался ее невниманием, Джулио, приученный искать и приносить закатившиеся мячи, словно упавших в кусты куропаток, бросился за мячом, катившимся перед ним по траве, бережно ухватил его зубами и принес назад, виляя хвостом.

Художник поздоровался с графиней, но, увлекшись борьбой, испытывая удовольствие от ощущения своей ловкости и торопясь снова приняться за игру, бросил лишь беглый и рассеянный взгляд на ее лицо, на которое ради него было затрачено столько труда.

— Вы позволите? — спросил он.— Я боюсь, дорогая графиня, простудиться и схватить невралгию.

— Да, да,— сказала она.

Чтобы не мешать играющим, она присела на кучу скошенного утром сена и стала смотреть на них, чувствуя, что сердце ее вдруг слегка защемило.

Дочь, раздосадованная постоянным проигрышем, горячилась, волновалась, огорченно или торжествующе вскрикивала, стремительно кидалась с одного конца поля к другому, и при этом волосы ее распускались и рассыпались по плечам. Она подхватывала их и, зажав коленями ракету, нетерпеливыми движениями в несколько секунд поправляла их, втыкая шпильки как попало.

А Бертен издали кричал графине:

— Какая она хорошенькая и свежая, как день. Не правда ли?

Да, она была молода, ей можно бегать, разгорячиться, раскраснеться, растрепаться, ни на что не обращать внимания, все себе позволить, потому что от всего этого она только хорошела.

Они с жаром продолжали игру, и графиня, которой становилось все грустнее, подумала о том, что эту игру в мяч, эту детскую беготню, эту забаву котят, гоняющихся за скомканной бумажкой, Оливье предпочитает тихой радости посидеть в это жаркое утро рядом с нею и чувствовать ее, любящую, подле себя.

Вдали раздался первый звонок к завтраку, и ей показалось, что ее освободили, что с сердца ее сняли тяжесть. Но когда она, опираясь на его руку, шла домой, он сказал ей:

— Я сейчас резвился, как мальчишка. Чертовски приятно быть или воображать себя молодым. Да, да, в этом вся сила! Когда уже больше не хочется бегать,— конец!

Вставая из-за стола, графиня, накануне в первый раз не побывавшая на кладбище, предложила пойти туда вместе, и они все трое отправились в деревню.

Они прошли лесом, где протекала речушка, прозванная Лягушонкой, должно быть, потому, что в ней водились мелкие лягушки, миновали поляну и добрались до церкви, окруженной кучкой домов, где жили бакалейщик, булочник, мясник, виноторговец и несколько других мелких лавочников, снабжавших крестьян провизией.

Они шли молчаливые и сосредоточенные: мысль о покойнице угнетала их. Подойдя к могиле, женщины опустились на колени и долго молились. Неподвижно склонившись над могилой, графиня прижимала платок к глазам, боясь, что заплачет и что слезы потекут по лицу. Она молилась не так, как до сих пор, когда, с отчаянием обращаясь к надгробному мрамору, как бы вызывала мать из могилы и, вся охваченная щемящим волнением, казалось, начинала верить, что усопшая слышит и слушает ее; нет, теперь она просто горячо шептала привычные слова *Pater noster* и *Ave Maria* [1].

[1] «Отче наш» и «Богородица» — католические молитвы.

Сегодня у нее не хватило бы сил и душевного напряжения вести, не получая ответа, эту жестокую беседу с тем, что еще могло оставаться от исчезнувшего существа, возле этой ямы, скрывавшей останки покойницы. Другие сильные чувства проникли в ее женское сердце, взволновали, изранили и отвлекли его, и она горячо взывала к богу, к неумолимому богу, бросившему на землю все несчастные создания, умоляла его сжалиться над нею, как сжалился он над той, которую отозвал к себе.

Она не могла бы высказать того, о чем просит, настолько еще была неясной и смутной ее тревога, но она чувствовала, что нуждается в божественной помощи, в чудотворной защите против грядущих опасностей и неизбежных страданий.

Аннета, также прошептав обычные молитвы, размечталась о чем-то с закрытыми глазами, не желая подняться раньше матери.

Оливье Бертен смотрел на них, думал, что перед ним чудесная картина, и жалел, что не может сделать набросок.

Идя назад, они заговорили о человеческом существовании, тихо перебирая те горькие и поэтические идеи трогательной и скорбной философии, что часто служат предметом разговора между мужчинами и женщинами, которых ранит жизнь и сердца которых сливаются в общей скорби.

Аннета, еще не созревшая для этих мыслей, поминутно отбегала в сторону и рвала полевые цветы на краю дороги.

Но Оливье, которому очень хотелось удержать ее возле себя, нервничал, видя, что она беспрестанно отходит от него, и не сводил с нее глаз. Его раздражало, что она больше интересуется окраской цветов, чем фразами, которые он произносит. Ему было невыразимо досадно, что он не может пленить ее, подчинить себе так же, как и мать, и ему хотелось протянуть руку, схватить ее, удержать, запретить ей уходить. Он чувствовал, что она слишком подвижна, слишком молода, слишком равнодушна, слишком свободна, свободна, как птица, как непослушная молодая собака, которая не идет на зов, потому что у нее в крови независимость, чудесный

инстинкт свободы, еще не побежденный ни окриком, ни хлыстом.

Чтобы привлечь ее, он заговорил о более веселых вещах, задавал ей вопросы, стараясь пробудить в ней желание слушать, женское любопытство. Но можно было подумать, что в этот день в голове Аннеты, как в воздушном просторе над волнами колосьев, гулял своенравный ветер, унося и развеивая в пространстве ее внимание; бросив мимоходом рассеянный взгляд и ответив каким-нибудь ничего не значащим словом, она опять убегала к своим цветам. Томимый юношеским нетерпением, он в конце концов вышел из себя, и, когда она подбежала к матери с просьбой взять букет, чтобы она могла нарвать другой, он схватил ее за локоть и, прижав к себе ее руку, не отпускал от себя. Она отбивалась со смехом и вырывалась изо всех сил. Тогда, отчаявшись привлечь ее внимание, он пустил в ход средство, подсказанное ему мужским инстинктом, средство, к которому прибегают слабые люди: он стал действовать подкупом, искушая ее кокетство.

— Назови мне,— сказал он,— твой любимый цветок; я закажу тебе точно такую брошку.

Она спросила, недоумевая:

— Брошку? Как же это?

— Из камней того же цвета: если это мак, то из рубинов; василек, — из сапфиров, с маленьким изумрудным листком.

Лицо Аннеты озарилось той признательной радостью, которою оживляются женские лица при обещаниях и подарках.

— Тогда василек,— сказала она.— Это так мило!

— Пусть будет василек! Как только вернемся в Париж, пойдем и закажем.

Она больше не отходила, привязанная к нему мыслью об этой драгоценности, которую уже пыталась представить себе в воображении. Она спросила:

— А много надо времени, чтобы сделать такую вещь?

Он засмеялся, чувствуя, что она попалась.

— Не знаю, смотря по работе. Мы поторопим ювелира.

Вдруг у нее мелькнула мысль, глубоко огорчившая ее:

— Но мне нельзя будет ее носить, раз я в глубоком трауре.

Он взял девушку под руку и прижал ее к себе:

— Ну, так ты подождешь до конца траура, это не помешает тебе любоваться ею.

Как накануне вечером, он шел между ними, под руку, чувствуя их плечи, и, чтобы видеть, как мать и дочь поднимают на него свои одинаково синие глаза, усеянные черными крапинками, он заговаривал с ними поочередно, поворачивая голову то к одной, то к другой. Теперь, когда их освещало яркое солнце, он меньше смешивал графиню с Аннетой, но все больше и больше смешивал дочь с возрождавшимся воспоминанием о том, какой была когда-то ее мать. Ему хотелось поцеловать их обеих: одну — чтобы снова ощутить на ее щеках и затылке ту розовую и белокурую свежесть, которою он когда-то наслаждался, а сегодня видел чудесное ее возвращение, другую — потому что все еще любил ее и чувствовал исходящий от нее властный призыв старой привычки. Он даже замечал теперь и понимал, что его вожделение, давно уже немного утихшее, и его любовь к графине оживали при виде ее воскресшей молодости.

Аннета опять ушла рвать цветы. Оливье уже не звал ее назад, как будто прикосновение ее руки и радость, которую он ей доставил, успокоили его, но он следил за всеми ее движениями с тем удовольствием, какое испытываешь при виде существ или вещей, которые пленяют и чаруют взор. Когда она возвращалась, неся целый сноп, он начинал глубже дышать, бессознательно стараясь уловить что-нибудь от нее: частицу ее дыхания или теплоты ее тела в воздухе, взволнованном ее беготнею. Он смотрел на нее с восхищением, как смотрят на утреннюю зарю, как слушают музыку, и чувствовал приятную дрожь, когда она нагибалась, выпрямлялась, разом поднимала обе руки, чтобы привести в порядок прическу. И час от часу она все сильнее и сильнее пробуждала в нем видение былого! Ее шалости, движения, смех вызывали на его губах привкус поцелуев, которые он когда-то получал и возвращал; далекое прошлое,

точное ощущение которого он давно утратил, она превращала в нечто похожее на настоящее, о котором он только мог мечтать; она спутывала эпохи, даты, возрасты его сердца и, разжигая охладевшие чувства, незаметным для него образом смешивала вчерашний день с завтрашним, воспоминание с надеждой.

Роясь в памяти, он спрашивал себя, обладала ли графиня в самом полном своем расцвете этой гибкою прелестью козочки, этой смелой, капризной, неотразимой прелестью, подобной грации бегающего и прыгающего животного. Нет. В ней было больше пышности и меньше дикости. Городская девушка, а затем городская женщина, никогда не дышавшая воздухом полей, не жившая среди природы, она расцвела красотою в тени стен, а не под ярким солнцем.

Когда они вернулись домой, графиня села писать письма за свой низенький столик в амбразуре окна, Аннета поднялась в свою комнату, а художник вышел в парк и, заложив руки за спину, с сигарой во рту, медленно зашагал по извилистым дорожкам. Но он не уходил далеко, чтобы не потерять из виду белый фасад или островерхую крышу дома. Как только дом исчезал за купами деревьев, за густым кустарником, на душе у него становилось мрачно, словно застилало облаком солнце, а когда усадьба снова показывалась в просветах листвы, он останавливался на минуту и пробегал глазами два ряда высоких окон. Потом снова принимался ходить.

Он чувствовал себя возбужденным, но довольным. Чем же довольным? Всем.

Сегодня воздух казался ему чистым, жизнь прекрасною. В теле он снова чувствовал мальчишескую легкость, желание бегать и ловить руками желтых бабочек, подпрыгивавших в воздухе над лугом, словно они были подвешены на резинках. Он напевал арии из опер. Несколько раз подряд повторил он знаменитую фразу Гуно: «О, дай же, дай же мне тобой полюбоваться»,— находя в ней глубокую нежную выразительность, которой прежде никогда так не чувствовал.

Вдруг он задал себе вопрос: как могло случиться, что он так быстро стал непохож на самого себя? Вчера,

в Париже, он всем был недоволен, все ему надоело, все раздражало, а сегодня он спокоен, всем удовлетворен, словно какой-то услужливый бог переменил в нем душу. «Этому доброму богу,— подумал он,— не мешало бы заодно переменить и тело и сделать меня помоложе». Вдруг он заметил Джулио, гонявшегося за кем-то в кустах. Он подозвал его, и, когда пес подбежал, сунув ему под ладонь свою изящную голову с длинными курчавыми ушами, он сел на траву, чтобы удобнее было приласкать его, стал говорить ему разные нежности, положил к себе на колени, погладил и так расчувствовался, что поцеловал его, как женщина, сердце которой готово растрогаться при каждом удобном случае.

После обеда вместо того, чтобы пойти гулять, как накануне, они провели вечер в гостиной, по-семейному.

Графиня вдруг сказала:

— Однако нам скоро придется уехать.

Оливье воскликнул:

— О, не говорите пока об этом! Вы не хотели покинуть Ронсьер, пока меня здесь не было. Но стоило мне приехать, вы только о том и думаете, как бы бежать.

— Но, дорогой друг,— сказала она,— не можем же мы сидеть здесь втроем до бесконечности.

— Речь идет не о бесконечности, а о нескольких днях. Ведь я неоднократно жил здесь по целым неделям.

— Да, но при других обстоятельствах, когда дом бывал открыт для всех.

Аннета заговорила вкрадчивым голосом:

— О мама! Еще два — три дня. Он так хорошо учит меня играть в теннис. Я сержусь, когда проигрываю, но потом бываю очень довольна, что делаю успехи!

Не далее как утром графиня наметила, что пребывание ее друга, неизвестное для других, продлится до воскресенья, а теперь она уже хотела уехать, сама не зная почему. Сегодняшний день, от которого она ждала столько хорошего, оставил в ее душе невыразимо глубокую печаль, беспричинное опасение, настойчивое и непонятное, как дурное предчувствие.

Когда она снова очутилась одна в своей спальне, ей даже не захотелось доискиваться, откуда этот новый приступ тоски.

Не испытала ли она одно из тех незаметных ощущений, столь мимолетных, что разум не помнит их, но от которых долго дрожат самые чувствительные струны сердца? Может быть. Какое же? Она припомнила несколько неприятных мгновений, в которых не хотела признаться себе самой, среди множества пережитых ею оттенков чувства,— ведь каждая минута приносила ей что-нибудь свое! Но, в сущности, они были слишком ничтожны, чтобы оставить в ней это подавленное настроение. «Я чересчур требовательна,—подумала она,— я не вправе так себя мучить».

Она открыла окно, чтобы подышать ночным воздухом, и, положив локти на подоконник, смотрела на луну.

Легкий шум в саду привлек ее внимание. Оливье прохаживался перед домом. «Зачем же он сказал, что идет к себе? — подумала она.— Почему не предупредил, что опять выйдет, не позвал меня с собой? Он ведь знает, что я была бы так счастлива. О чем же он думает?»

Мысль о том, что он не захотел предложить ей прогулку, а предпочел походить в эту прекрасную ночь один, покуривая сигару (она видела красный огонек), один, когда мог доставить ей радость быть с ним вдвоем, мысль о том, что он не нуждался в ней постоянно, не желал ее постоянно, заронила ей в душу новое зерно горечи.

Она уже собиралась затворить окно, чтобы больше не видеть его и не поддаться искушению позвать его, как вдруг он поднял глаза и заметил ее. Он воскликнул:

— Что это? Вы мечтаете, любуясь звездами, графиня?

Она ответила:

— Да и вы тоже, как я вижу?

— О, я просто курю.

Она не удержалась и спросила:

— Как же вы мне не сказали, что выйдете?

— Я только хотел выкурить сигару. Впрочем, я уже иду к себе.

— В таком случае спокойной ночи, мой друг.

— Спокойной ночи, графиня.

Она отошла от окна, села и заплакала; затем, соби-

раясь лечь в постель, позвала горничную, и та, увидев ее покрасневшие глаза, сочувственно сказала:

— Ах, из-за этого у вас завтра опять будет плохой вид.

Спала графиня дурно, ее лихорадило, мучили кошмары. Проснувшись, она, прежде чем позвонить, сама открыла окно, раздвинула занавески и поглядела на себя в зеркало. Лицо было помятое, веки припухли, кожа желтая. Она так сильно огорчилась, что хотела сказаться больной, лежать в постели и не показываться до вечера.

Потом вдруг ею овладело желание уехать, непреодолимое желание уехать сейчас же, с первым поездом, покинуть этот светлый простор, где при ярком солнце слишком бросаются в глаза неизгладимые следы, оставленные горем и жизнью. В Париже можно жить в полумраке покоев, куда даже в полдень тяжелые гардины пропускают лишь смягченный свет. Там она опять станет самой собою, станет красавицей, ее бледность будет гармонировать с этим тусклым, укрывающим тайны освещением. Вдруг перед ее глазами мелькнуло лицо играющей в теннис Аннеты, свежее, раскрасневшееся, ее немного растрепавшиеся волосы, и графиня поняла, какое неосознанное беспокойство терзало ей душу. Она не завидовала красоте своей дочери. Конечно, нет! Но она почувствовала и впервые признала, что никогда больше не должна показываться рядом с нею при свете дня.

Графиня позвонила и, даже не выпив чаю, велела готовиться к отъезду, написала несколько телеграмм, даже заказала по телеграфу обед к вечеру, расплатилась по деревенским счетам, отдала последние распоряжения и за какой-нибудь час уладила все вопросы, мучаясь возрастающим лихорадочным нетерпением.

Когда она сошла вниз, Аннета и Оливье, предупрежденные о внезапном отъезде, удивленно стали расспрашивать ее. Видя, что она не объясняет причины, они поворчали немного и продолжали выказывать недовольство до той самой минуты, когда стали прощаться на вокзале в Париже.

Пожимая руку художнику, графиня спросила:

— Придете к нам завтра обедать?

Он ответил, немного дуясь:

— Конечно, приду. А все-таки вы нехорошо поступили. Нам было так славно там втроем.

III

Как только графиня очутилась наедине с дочерью в своей карете, которая везла их домой, она тотчас же почувствовала себя спокойной, умиротворенной, словно только что перенесла опасный кризис. Ей дышалось легче, она улыбалась домам, с радостью узнавая город, привычные черты которого всякий настоящий парижанин словно хранит у себя в сердце и перед глазами. При виде каждой лавки она уже знала, какие пойдут дальше, вдоль бульвара, и припоминала лицо продавца, которое так часто видела в окне. Она чувствовала себя спасенною. Но от чего? Успокоенною. Но чем? Уверенною. Но в чем?

Когда карета остановилась под сводом ворот, она с легкостью вышла из нее и, будто убегая, вошла в полумрак лестницы, в полумрак гостиной, в полумрак своей спальни. Тут она простояла несколько минут, довольная, что она в безопасности в этом туманном и мглистом парижском освещении, позволяющем больше угадывать, нежели видеть, показывать то, что тебе хочется, и скрывать то, что желаешь скрыть. Воспоминание о заливающем деревню ярком свете оставалось еще в ней, но как впечатление кончившихся страданий.

Когда она вышла к обеду, муж, только что возвратившийся домой, нежно поцеловал ее и с улыбкой сказал:

— Ага, я так и знал, что Бертен привезет вас домой! Я поступил неглупо, послав его к вам.

Аннета ответила с важностью, тем особенным тоном, какой она принимала, когда шутила, сама при этом оставаясь серьезной:

— О, ему это нелегко далось! Мама никак не могла решиться.

И графиня, слегка смутившись, ничего не сказала.

Было приказано не принимать, и в этот вечер никого не было. Следующий день г-жа де Гильруа провела в разъездах по магазинам, выбирая и заказывая

все, что ей было нужно. С молодости, чуть ли не с детства, любила она долгие примерки перед зеркалами известных портних. Уже входя в магазин, она радовалась при мысли обо всех мелочах этой кропотливой репетиции, происходящей за кулисами парижской жизни. Она обожала шуршание платьев мастериц, подбегавших при ее появлении, их улыбки, предложения, вопросы, а их хозяйка, портниха, модистка или корсетница, была в ее глазах важною особой, к которой она относилась, как к художнице, высказывая ей свое мнение, чтобы спросить совета. Еще приятнее было ей чувствовать прикосновение проворных рук молодых девушек, которые раздевали ее, одевали и легонько поворачивали перед ее грациозным отражением в зеркале. Дрожь, пробегавшая по коже, шее или волосам под их легкими пальцами, была одним из самых приятных, самых сладостных ощущений в ее жизни элегантной женщины.

Однако в этот день она с некоторой тревогой готовилась пройти без вуали и без шляпки перед всеми этими нелгущими зеркалами. Но уже после первого визита к модистке она успокоилась. Три шляпы, выбранные ею, были ей на диво к лицу, и, когда продавщица убежденно сказала: «О, графиня, блондинкам никогда не следовало бы снимать траур!»,— она ушла очень довольная и входила в другие магазины уже с полной уверенностью в себе.

Дома ее ждала записка герцогини, заезжавшей с визитом и сообщавшей, что вечером приедет опять. Графиня написала несколько писем; потом спокойно отдалась на время мечтам, удивляясь, что то огромное горе, которое ее терзало, теперь благодаря лишь перемене места отодвинулось в прошлое, казавшееся уже таким далеким. Ей даже не верилось, что она только вчера вернулась из Ронсьера,— настолько изменилось ее душевное состояние после возвращения в Париж: как будто от этого короткого переезда зарубцевались ее раны.

Бертен, явившийся к обеду, увидев ее, закричал:

— Вы ослепительны сегодня!

И при этом возгласе чувство счастья разлилось в ней горячей волной.

Когда вставали из-за стола, граф, питавший страсть к бильярду, предложил Бертену сыграть партию, и женщины последовали за ними в бильярдную, куда был подан кофе.

Не успели окончить партию, как доложили о приезде герцогини, и все вернулись в гостиную. В то же время появились г-жа Корбель и ее супруг; в их голосе дрожали слезы. В течение нескольких минут по жалобному тону произносимых слов казалось, что все сейчас расплачутся, но мало-помалу, после нежных излияний и расспросов, разговор принял другой оборот; голоса вдруг зазвучали яснее, и все стали болтать самым естественным образом, словно тень горя, только что омрачившего души присутствующих, внезапно рассеялась.

Бертен встал, взял Аннету за руку, подвел ее к портрету матери, освещенному ярким лучом рефлектора, и спросил:

— Разве это не изумительно?

Герцогиня была так поражена, что, казалось, была вне себя и повторяла:

— Боже, возможно ли это? Возможно ли? Да ведь это она, как две капли воды! А я-то, входя, и внимания не обратила! О милочка Ани, я так и вижу вас снова; я ведь хорошо знала вас тогда—вы были в первом трауре, нет, уже вторично, сначала вы лишились отца! А теперь Аннета, в этом черном платье! Да ведь она живая мать в юности. Какое чудо! Не будь этого портрета, никто бы и не заметил! Ваша дочь очень похожа на вас, какая вы сейчас, но еще больше похожа на этот портрет!

Явился Мюзадье, узнавший о возвращении г-жи де Гильруа; ему хотелось во что бы то ни стало одним из первых засвидетельствовать ей «глубочайшее свое соболезнование».

Он прервал свое приветствие, увидев девушку, стоявшую у портрета в ярком освещении рефлектора и казавшуюся живой сестрой той, что была нарисована.

— Ах, да что же это! — воскликнул он.— Ведь это одна из самых поразительных вещей, какие я когда-либо видел!

Супруги Корбель, убеждения которых всегда совпадали с общепринятыми мнениями, в свою очередь, изумлялись, но более сдержанно.

Сердце графини сжималось! Оно сжималось все сильней и сильней, как будто все эти возгласы удивления давили его, причиняли ему боль. Не говоря ни слова, она смотрела на дочь, стоявшую рядом с портретом, и в ней накипало раздражение. Ей хотелось крикнуть: «Да замолчите же! Я отлично знаю, что она похожа на меня!»

До конца вечера ее томила печаль,— она снова теряла уверенность, вернувшуюся к ней накануне.

Бертен разговаривал с нею, когда доложили о приезде маркиза де Фарандаля. Лишь только он вошел и приблизился к хозяйке дома, художник встал, пробрался к двери и, пробормотав: «Ну вот, этой скотины еще не хватало!» — незаметно исчез.

Графиня, выслушав приветствие нового гостя, поискала глазами Оливье, чтобы возобновить занимавший ее разговор. Не видя его, она спросила:

— Как, наш великий человек скрылся?

Муж ответил:

— Кажется, что так, моя дорогая. Он только что ушел по-английски.

Она удивилась, призадумалась на мгновение и заговорила с маркизом.

Друзья, впрочем, из деликатности вскоре удалились: графиня после постигшего ее несчастья еще не начала вполне открытых приемов.

И вот, едва она улеглась в постель, к ней вернулись все тревожные мысли, одолевшие ее в деревне. Теперь они становились еще определеннее; она ощущала их отчетливее; она чувствовала, что стареет!

В этот вечер она впервые поняла, что в ее гостиной, где до сих пор поклонялись ей одной, льстили только ей, ухаживали только за нею, любили только ее, теперь заняла ее место другая, ее дочь. Она поняла это сразу, чувствуя, что все похвалы отныне обращены к Аннете. Дом красивой женщины — это ее царство, где она не допускает затмевать себя, откуда заботливо, осторожно и упорно удаляет всякое опасное соперничество, куда впускает равных себе только в расчете сделать их своими вассалами; теперь в этом царстве — она это ясно видела — повелительницей становилась ее дочь. Как странно сжалось ее сердце, когда глаза всех обра-

тились к стоявшей рядом с портретом Аннете, которую Бертен держал за руку! Она вдруг почувствовала себя исчезнувшей, развенчанной, свергнутой с престола. Все смотрели на Аннету, на нее же никто и не взглянул! Она так привыкла выслушивать комплименты и лесть каждый раз, когда любовались ее портретом, она с такою уверенностью ждала хвалебных фраз, которым не придавала никакой цены, но которые все-таки ласкали ее слух, что эта покинутость, это неожиданное поражение и это вдруг целиком перенесенное на ее дочь восхищение сильнее взволновали, изумили и задели ее за живое, чем какое бы то ни было иное соперничество при каких бы то ни было иных обстоятельствах.

Но так как она принадлежала к тем натурам, которые при любом кризисе после первого упадка духа противодействуют, борются и находят утешительные доводы, она подумала, что когда ее милая девочка выйдет замуж и они перестанут жить под одною кровлей, ей уже не придется переносить это постоянное сопоставление на глазах у друга, которое начинало становиться слишком тягостным для нее.

Однако потрясение оказалось очень сильным, ее лихорадило, и она совсем не спала.

Утром она проснулась утомленная и разбитая, и тогда у нее возникла неодолимая потребность найти утешение, поддержку, помощь у кого-нибудь, кто мог бы исцелить ее от всех этих страданий, от душевной и физической боли.

Она действительно чувствовала такое недомогание, такую слабость, что ей пришло в голову посоветоваться со своим врачом. Может быть, это — начало серьезной болезни: ведь пройти в течение нескольких часов через последовательную смену страданий и успокоения нелегко для организма. Она велела вызвать телеграммой врача и стала ждать его.

Он приехал около одиннадцати часов. Это был один из тех видных светских врачей, ордена и звания которых служат гарантией их таланта, а житейская ловкость уже одна равносильна знанию и которые — самое главное,— подходя к болезням женщин, находят те нужные слова, какие вернее всяких лекарств.

Он вошел, поздоровался, взглянул на пациентку и с улыбкой сказал:

— Ну, ничего страшного. С такими глазами, как у вас, серьезно не болеют.

Она тотчас же почувствовала признательность к нему за такое вступление, рассказала о своих недомоганиях, раздражительности, приступах тоски и вскользь упомянула о том, что у нее иногда бывает болезненный вид, который ее беспокоит. Внимательно выслушав ее, он задал ей только один вопрос, о ее аппетите, словно ему хорошо был известен скрытый характер этого женского недуга; потом он выстукал ее, осмотрел, ощупал кончиками пальцев плечи, приподнял ее руки и, уловив, несомненно, ее сокровенную мысль, понял с проницательностью бывалого практика, для которого не было тайн, что она обратилась к нему за помощью не столько ради здоровья, сколько ради сохранения своей красоты, и сказал ей:

— Да, у нас анемия и нервы не в порядке. Не удивительно: ведь вы перенесли тяжелое горе. Сейчас я вам пропишу рецептик, и все будет в порядке. Но прежде всего нужно усиленно питаться, принимать мясной сок, пить не воду, а пиво. Я вам укажу превосходную марку. Не утомляйтесь, не засиживайтесь поздно по вечерам, но ходите как можно больше. Побольше спите и старайтесь пополнеть. Это все, что я могу вам посоветовать, моя прекрасная пациентка.

Она слушала его с горячим интересом, стараясь угадать все, что он не договаривал, и ухватилась за его последние слова:

— Да, я похудела. Одно время я была что-то слишком полна и, может быть, сама себя довела до слабости диетой.

— Без всякого сомнения. Не беда оставаться худощавым тому, кто всегда был таким, но если человек нарочно старается худеть, это всегда идет за счет чего-нибудь. К счастью, это легко поправимо. Прощайте, сударыня.

Она сразу же почувствовала себя лучше, бодрее и послала к завтраку за предписанным пивом в главный заводской магазин, чтобы получить самое свежее.

Она вставала из-за стола, когда вошел Бертен.

— Вот опять я,— сказал он,— все я да я. Пришел узнать, что вы сегодня намерены делать.

— Ничего. А что такое?

— И Аннета?

— Тоже ничего.

— Так не приедете ли ко мне часов около четырех?

— Хорошо. А зачем?

— Мне надо набросать мою «Мечтательницу». Я вам говорил о ней и спрашивал, не может ли ваша дочь для нее позировать. Она меня очень выручит, если придет сегодня хоть на часок. Хорошо?

Графиня колебалась и, сама не зная почему, чувствовала, что ей это неприятно. Однако она ответила:

— Хорошо, мой друг, мы будем у вас в четыре часа.

— Благодарю вас. Вы сама любезность.

И он ушел приготовить холст и обдумать сюжет, чтобы не слишком утомлять свою модель.

А графиня отправилась одна, пешком за покупками. Она прошла по большим центральным улицам и возвратилась по бульвару Мальзерб медленным шагом, так как уже еле держалась на ногах.

Когда она проходила мимо церкви Сент-Огюстен, ей вдруг захотелось войти туда и отдохнуть. Толкнув обитую сукном дверь, она облегченно и с наслаждением вдохнула прохладный воздух храма, взяла стул и села.

Она была религиозна, как и многие парижанки. Она верила в бога без всяких сомнений, так как не могла допустить существования вселенной без ее творца. Но, смешивая, как большинство людей, атрибуты создателя с природой созданной им материи, доступной ее зрению, она представляла себе предвечного почти человеком, наделяя его качествами, которые она угадывала в его творении; впрочем, у нее и не было сколько-нибудь ясной мысли о том, чем мог быть в действительности этот таинственный создатель.

Она твердо верила в него, теоретически поклонялась ему и смутно боялась его, но, по совести говоря, она не знала его намерений и желаний, так как питала весьма ограниченное доверие к священникам, в которых видела только уклонившихся от военной службы

крестьянских сыновей. Ее отец, парижский буржуа, не привил ей никаких религиозных принципов, и до замужества она выполняла обряды довольно небрежно. Когда новое положение точнее определило ее внешние обязанности по отношению к церкви, она исправнейшим образом подчинилась этой легкой повинности.

Она была дамой-патронессой многочисленных и модных детских приютов, никогда не пропускала воскресной мессы и подавала милостыню нищим: для себя самой — из собственных рук, а для света — через посредство аббата, викария ее прихода.

Она часто молилась из чувства долга, подобно тому как солдат стоит на часах у генеральских дверей. Иной раз она молилась потому, что сердце ее тосковало, особенно когда она боялась, что Оливье бросит ее. Тогда, не поверяя небу причин своей мольбы, обращаясь к богу с наивным лицемерием, как будто к мужу, она просила у него помощи. После смерти отца, а затем недавно, после смерти матери, она испытала бурные припадки набожности, страстных молений, порывов к тому, кто охраняет и утешает людей.

И вот сегодня, случайно войдя в эту церковь, она внезапно почувствовала глубокую потребность помолиться, помолиться не о ком-нибудь и не о чем-нибудь, а только о себе самой, как молилась уже однажды на могиле матери. Ей нужна была чья-нибудь помощь, и теперь она призывала бога, как утром призывала врача.

Она долго простояла на коленях в тишине храма, которую по временам нарушал звук шагов. Потом вдруг, словно в ее сердце раздался бой стенных часов, она очнулась от воспоминаний, вынула свои часики, вздрогнула, увидев, что скоро четыре, и поспешно пошла за дочерью, которую Оливье, наверно, уже дожидался.

Они застали художника в мастерской изучающим на полотне позу своей Мечтательницы. Он хотел точно воспроизвести на картине ту, бедную девушку, мечтающую с раскрытой книгой на коленях, которую видел в парке Монсо, гуляя с Аннетой. Он долго колебался, какою ее сделать: красивой или некрасивой? В некрасивой было бы больше характерного, она сильнее пробуждала бы мысль и чувство, была бы осмысленнее.

Если же она будет красива, то станет еще пленительнее, от нее будет исходить больше очарования, она будет больше нравиться.

Желание написать этюд со своей молоденькой подруги решило вопрос. Мечтательница будет красива и поэтому сможет не сегодня—завтра осуществить свою поэтическую мечту, тогда как дурнушка обречена мечтать бесконечно и безнадежно.

Как только обе женщины вошли, Оливье сказал, потирая руки:

— Ну, мадмуазель Нанэ, значит, поработаем вместе.

Графиня казалась озабоченной. Она села в кресло и стала смотреть, как Оливье устанавливал в нужном освещении железный садовый стул. Затем он отворил книжный шкаф, чтобы достать какую-нибудь книгу, и после некоторого колебания спросил:

— Что читает ваша дочь?

— Да все, что угодно. Дайте ей какую-нибудь книгу Виктора Гюго.

— *Легенду веков?*

— Прекрасно!

Тогда он сказал:

— Садись, малютка, сюда и возьми эту книжку стихов. Отыщи страницу... страницу триста тридцать шестую. Там ты найдешь стихотворение *Бедные люди.* Читай внимательно, медленно-медленно, слово за словом, как будто пьешь самое лучшее вино, и поддайся опьянению, постарайся растрогаться. Слушай, что скажет тебе твое сердце. Затем закрой книгу, подними глаза, думай и мечтай... А я приготовлю все свои инструменты.

Он пошел в угол набрать красок на палитру, но, выжимая на дощечку свинцовые тюбики, из которых ползли, извиваясь, тоненькие цветные змейки, время от времени оглядывался на девушку, углубившуюся в чтение.

Сердце его сжималось, пальцы дрожали, он почти не сознавал, что делает, и, смешивая краски, перепутывал тона — такая непреодолимая взволнованность вдруг овладела им перед этим видением, воскресшим двенадцать лет спустя на том же самом месте.

Теперь она перестала читать и смотрела прямо перед собою. Подойдя к ней, он заметил на глазах у нее две светлые капли, покатившиеся по щекам. И он задрожал в одном из тех порывов волнения, которые заставляют мужчину забыть обо всем, и, обращаясь к графине, прошептал:

— Боже, как она хороша!

Но так и застыл в изумлении, увидев мертвенно-бледное, искаженное лицо г-жи де Гильруа.

Широко раскрытыми глазами, полными какого-то ужаса, смотрела она на дочь и на него. Он подошел, охваченный беспокойством.

— Что с вами?

— Я хочу поговорить с вами.

Она встала и поспешно сказала Аннете:

— Подожди минуту, детка, мне надо кое-что сказать господину Бертену.

Она быстро прошла в маленькую гостиную рядом, где часто ждали его посетители. Он последовал за нею, растерянный, не понимая, в чем дело. Как только они очутились вдвоем, она схватила его за руки и пролепетала:

— Оливье, Оливье, прошу вас, не заставляйте ее больше позировать!

Он взволнованно прошептал:

— Но почему же?

Она ответила прерывающимся голосом:

— Почему? Почему? Он еще спрашивает! Вы, значит, сами не чувствуете, почему? О, мне следовало раньше об этом догадаться, но я только сейчас это поняла... Я не могу ничего вам сказать теперь... ничего. Идите к моей дочери. Скажите ей, что мне нездоровится, пошлите за извозчиком, а через час приезжайте ко мне. Я поговорю с вами наедине!

— Но что с вами, в конце концов?

Казалось, она вот-вот забьется в нервном припадке.

— Оставьте меня. Я не хочу говорить здесь. Идите к моей дочери и пошлите за экипажем.

Он вынужден был повиноваться и вернулся в мастерскую. Аннета, ничего не подозревая, опять углубилась в чтение. Жалостный поэтический рассказ наполнил ее сердце печалью. Оливье сказал ей:

— Твоей матери нездоровится. В гостиной ей чуть не сделалось дурно. Пойди к ней. Я сейчас принесу эфир.

Он побежал в спальню за флаконом и вернулся обратно.

Он застал их плачущими в объятиях друг друга. Аннета, расчувствовавшись над *Бедными людьми,* дала волю своему волнению, а графине стало немного легче, когда ее горе слилось с этой тихой грустью дочери и слезы — с ее слезами.

Не решаясь заговорить, он глядел на них, тоже томясь какой-то непонятною тоской.

Наконец он сказал:

— Ну, как? Лучше вам?

Графиня ответила:

— Да, немного. Это пройдет. Вы послали за экипажем?

— Сейчас будет.

— Благодарю вас, друг мой. Это пустяки. У меня в последнее время было слишком много горя.

— Карета прибыла!— доложил вскоре слуга.

И Бертен, полный затаенной тревоги, провожая до экипажа свою подругу, бледную и еще в полуобморочном состоянии, чувствовал, как бьется под корсажем ее сердце.

Оставшись один, он стал спрашивать себя: «Что же с ней такое? Отчего этот припадок?» И искал ответа, бродя вокруг истины, но не решаясь ее обнаружить. Наконец он прямо подошел к ней: «Так вот что,— сказал он себе,— неужели Ани думает, что я волочусь за ее дочерью? Нет, это было бы слишком!» И, опровергая разумными и честными доводами такое предположение, он негодовал, как могла она хотя бы на минуту принять его здоровую, почти отеческую привязанность за какую-то видимость ухаживания. Он постепенно раздражался против графини, он не допустит, чтобы она посмела заподозрить его в такой гнусности, в такой невиданной подлости, и обещал себе в разговоре с ней нисколько не стесняться в выражениях своего возмущения.

Он скоро отправился к ней, торопясь объясниться. Всю дорогу с возрастающим раздражением готовил он

доводы и фразы, которые должны были оправдать его и отплатить за подобное недоверие.

Он застал ее лежащей в шезлонге; лицо ее было искажено от муки.

— Ну, дорогая моя,— сказал он ей сухо,— объясните мне эту странную сцену.

Она ответила разбитым голосом:

— Как, вы еще не поняли?

— Признаюсь, нет.

— Вот что, Оливье, покопайтесь хорошенько в вашем сердце.

— В моем сердце?

— Да, в глубине вашего сердца.

— Не понимаю... Скажите яснее.

— Покопайтесь хорошенько в глубине вашего сердца, нет ли там чего-нибудь опасного для нас с вами.

— Повторяю вам, что я не понимаю. Догадываюсь, что есть что-то в вашем воображении, но на моей совести нет ничего.

— Я говорю вам не о вашей совести, я говорю вам о вашем сердце.

— Я не умею разгадывать загадок. Прошу вас, говорите прямо.

Тогда она медленно взяла художника за руки и, не выпуская их, сказала так, будто каждое слово причиняло ей боль:

— Берегитесь, друг мой, вы готовы влюбиться в мою дочь.

Он резко отдернул руки и с поспешностью невиновного, опровергающего позорное подозрение, сильно жестикулируя и горячась, стал защищаться и, в свою очередь, упрекать ее в том, что она могла заподозрить его.

Она не мешала ему говорить, но, упорно не доверяя, убежденная в справедливости своих слов, ответила:

— Да я и не обвиняю вас, друг мой. Вы сами не знаете, что в вас происходит, как и я этого не знала сегодня утром. Вы так со мной разговариваете, будто я заподозрила вас в желании соблазнить Аннету. О, нет, нет! Я знаю, как вы честны, как вы достойны всяческого уважения и всяческого доверия. Я только

прошу, умоляю вас заглянуть в глубину вашего сердца и спросить себя, не носит ли зарождающееся в вас чувство к моей дочери, вопреки вашей воле, несколько иной характер, чем простая дружба.

Он рассердился и, все больше и больше волнуясь, снова начал отстаивать свою честность, как отстаивал раньше, наедине с самим собою, по дороге сюда.

Она подождала, пока он кончил, потом без гнева, не поколебавшись в своем убеждении, страшно бледная, тихо заговорила:

— Оливье, я хорошо знаю все, что вы мне говорите, и думаю так же, как и вы. Но я уверена, что не ошибаюсь. Выслушайте, обдумайте, поймите. Моя дочь слишком похожа на меня, она во всех отношениях такая же, какою была я в прошлом, когда вы меня полюбили, и поэтому вы непременно полюбите и ее.

— Значит,— воскликнул он,— вы осмеливаетесь бросить мне в лицо подобный упрек только на основании этого простого предположения и таких смехотворных резонов: он меня любит, моя дочь похожа на меня, стало быть, он полюбит ее.

Но видя, что графиня все более меняется в лице, он продолжал смягченным тоном:

— Вот что, дорогая Ани, эта девочка так нравится мне именно потому, что в ней я снова нахожу вас. Вас, одну вас люблю я, когда смотрю на нее.

— Да, вот от этого-то я и начинаю так сильно страдать, это-то и пугает меня. Вы еще не разбираетесь в том, что чувствуете. Пройдет немного времени, и вы уже не будете заблуждаться на этот счет.

— Ани, уверяю вас, что вы сходите с ума.

— Хотите доказательств?

— Да.

— Три года вы не приезжали в Ронсьер, как я ни настаивала. Но вы помчались со всех ног, когда вам предложили съездить туда за нами обеими.

— А, вот еще что! Вы меня упрекаете в том, что я не оставил вас там одну, зная, что вы больны после смерти матери?

— Пусть так. Не буду спорить. Но у вас такая настоятельная потребность видеть Аннету, что вы не мог-

ли пропустить сегодняшний день и попросили меня привести ее к вам под предлогом позирования.

— А вы не предполагаете, что это вас я хотел видеть?

— В эту минуту вы возражаете самому себе, вы стараетесь убедить себя, но меня вы не обманете. Послушайте еще. Почему вы третьего дня вечером ушли так внезапно, когда вошел маркиз де Фарандаль? Вы это знаете?

Ошеломленный, встревоженный, обезоруженный этими наблюдениями, он замялся. Затем медленно сказал:

— Но... право, не знаю... я был утомлен... к тому же, говоря откровенно, этот дурак действует мне на нервы.

— С каких это пор?

— Давно.

— Извините. Я слыхала от вас похвалы ему. Прежде он вам нравился. Будьте вполне искренни, Оливье.

Он на минуту призадумался и затем, подыскивая слова, сказал:

— Да, возможно, что моя глубокая привязанность к вам заставляет меня настолько любить всех ваших, что я изменил свое мнение об этом глупце; мне безразлично, буду ли я встречаться с ним иногда, но мне было бы тяжело видеть его у вас почти каждый день.

— Дом моей дочери не будет моим домом. Но довольно об этом. Мне известна прямота вашего сердца. Я знаю, что вы хорошенько подумаете о том, что я вам сейчас сказала. Когда вы это обсудите, вы поймете, что я указала вам на большую опасность, но пока еще не поздно избежать ее. И вы будете соблюдать осторожность. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Он не возражал. Теперь ему было не по себе, он не знал, что ему думать, и действительно чувствовал потребность поразмыслить. И через четверть часа, поговорив немного о разных вещах, он ушел.

IV

Медленно возвращался Оливье домой, подавленный, словно узнал только что какую-то позорную семейную тайну. Он попытался заглянуть в глубь своего

сердца, яснее разобраться в нем, прочесть те интимные страницы книги душевной жизни, которые кажутся склеенными одна с другой, так что иной раз только чья-нибудь чужая рука в состоянии разъединить их и перевернуть. Конечно, он не считал себя влюбленным в Аннету! Графиня, ревнивая подозрительность которой не переставала быть настороже, издалека почуяла опасность и указала на нее раньше, чем она появилась. Но разве не может эта опасность появиться завтра, послезавтра, через месяц? На этот-то чистосердечный вопрос он и старался чистосердечно ответить. Конечно, малютка пробуждает в нем инстинкт нежности, но ведь их такое множество в мужчине, этих инстинктов, что не следует смешивать опасные с безобидными. Например, он очень любит животных, в особенности кошек, и не может видеть их шелковистый мех, чтобы им не овладевало тотчас же непреодолимое, чувственное желание погладить их изгибающуюся, мягкую спину, поцеловать насыщенную электричеством шерсть. Влечение, толкающее его к молодой девушке, было несколько похоже на эти смутные и невинные желания, рожденные беспрерывной, неослабевающей вибрацией человеческих нервов. Его глаза, глаза художника и мужчины, были очарованы ее свежестью, этим побегом прекрасной, светлой жизни, этими соками ослепительной молодости в ней; поэтому его сердце, полное воспоминаний о продолжительной связи с графиней, нашло в необыкновенном сходстве Аннеты с матерью напоминание о былых чувствах, чувствах, уснувших после первых дней его любви, и, быть может, слегка дрогнуло от пробуждения. Пробуждения? Да! Так оно и было. Эта мысль озарила его. Он чувствовал себя пробудившимся после многолетнего сна. Если бы он, сам того не подозревая, любил малютку, он испытывал бы при ней то обновление всего существа, которое преображает человека, зажигая в нем пламя новой страсти. Нет, эта девочка лишь раздула прежний огонь! Он продолжал любить именно мать, но, несомненно, сильнее прежнего благодаря дочери, в которой она возродилась. И он сформулировал этот вывод таким успокоительным софизмом: любить можно лишь раз! Сердце же может часто вол-

новаться при встрече с каким нибудь другим существом, потому что люди по отношению друг к другу испытывают притяжение или отталкивание. От всех этих влияний рождается дружба, страсть, жажда обладания, живые и мимолетные вспышки, но отнюдь не настоящая любовь. Настоящая же любовь требует, чтобы два существа были рождены друг для друга, настолько объединены общностью взглядов и вкусов, таким телесным и духовным сродством, таким сходством характеров, такою многообразною взаимною связью, что уже были бы неотделимы один от другого. В сущности, мы любим не столько г-жу Икс или г-на Зет, сколько женщину или мужчину, безымянное создание, порожденное Природой, этой великой самкой, создание, обладающее такими органами, формой, сердцем, умом, общим обликом, которые притягивают, как магнит, наши органы, наши глаза, губы, сердце, мысли, все наши желания, чувственные и духовные. Мы любим тип, то есть соединение в одной личности всех человеческих свойств, которые могут прельщать нас порознь в других.

Для него этим типом была графиня де Гильруа; в продолжительности их связи, не приедавшейся ему до сих пор, он видел подлинное доказательство этому. Аннета же физически настолько была похожа на свою мать в молодости, что это сходство обманывало,— и нет ничего удивительного, что его сердце, сердце мужчины, позволило захватить себя врасплох, хотя и не поддалось увлечению. Он обожал одну женщину! От нее родилась другая женщина, почти такая же точно. Он действительно не мог удержаться, чтобы не перенести на вторую некоторой симпатии — остатка страстной привязанности, которую питал когда-то к первой. В этом нет ничего дурного, в этом нет никакой опасности. Лишь его зрение и память поддались иллюзии этого кажущегося возрождения, но его инстинкт не заблуждается: ему ведь никогда не случалось испытывать по отношению к девушке ни малейшего волнующего желания.

Однако графиня упрекает его в том, что он ревнует ее к маркизу. Правда ли это? Он опять строго проверил свою совесть и убедился, что действительно немного ревнует. А впрочем, чему тут удивляться? Разве мы на

каждом шагу не ревнуем к мужчинам, ухаживающим за любой женщиной? Разве не испытываем мы на улице, в ресторане, в театре некоторой враждебности к господину, который ведет под руку красивую девушку? Всякий обладатель женщины — соперник. Это удовлетворенный самец, победитель, и другие самцы ему завидуют. И наконец, откинув эти физиологические соображения, если он может, вполне естественно, питать к Аннете симпатию, несколько преувеличенную благодаря любви к ее матери, то разве не так же естественно, что в нем может проснуться и некоторая животная злоба к ее будущему мужу? Преодолеть это низкое чувство будет нетрудно.

Однако в глубине его души оставалась горечь, недовольство самим собой и графиней. Не осложнятся ли их повседневные взаимоотношения недоверием, которое он будет чувствовать с ее стороны? Не придется ли ему со строгим, утомительным вниманием следить за каждым своим словом, за каждым поступком, за каждым взглядом, за малейшей мелочью в обращении с молодой девушкой, потому что все, что он сделает, все, что скажет, покажется подозрительным матери? Он вернулся домой не в духе и принялся курить папиросу за папиросой с порывистостью раздраженного человека, изводя на каждую по десятку спичек. Напрасно пытался он работать. Казалось, его рука, глаз и ум отвыкли от живописи, как будто забыли ее, как будто никогда не знали этого ремесла и не занимались им. Он взял начатое маленькое полотно, которое хотел было закончить,— слепого, поющего на углу улицы,— но смотрел на него с неодолимым равнодушием и чувствовал такое бессилие, что, усевшись с палитрой в руке, забыл о нем, хотя продолжал смотреть пристальным и невидящим взглядом.

Вдруг его стала грызть нестерпимая лихорадочная досада, что время не движется, минутам нет конца. Обедать он пойдет в клуб, а чем же заняться до обеда, если он не может работать? При мысли, что придется выйти на улицу, он заранее почувствовал себя усталым, и его охватило отвращение к тротуарам, прохожим, каретам и магазинам; а когда он подумал, не побывать ли сегодня у кого-нибудь, все равно, у кого, в

нем мгновенно вспыхнула ненависть ко всем людям, которых он знал.

Что же в таком случае делать? Расхаживать по мастерской взад и вперед, поглядывая при каждом повороте на часы, стрелка которых передвинется еще на несколько секунд? Ах, как знакомы ему эти прогулки от дверей до шкафа, уставленного безделушками! В часы озарения, творческого подъема, вдохновения, когда работа плодотворна и легка, это хождение взад и вперед по оживленной, повеселевшей и согретой трудом просторной комнате было восхитительным перерывом, отдыхом, но в часы бессилия и отвращения, в те несчастные часы, когда ему казалось, что нет ничего на свете, ради чего стоило бы ударить палец о палец, это была убийственная прогулка арестанта по каземату. Если бы он мог поспать хотя бы час на диване! Но нет, ему не уснуть, он будет метаться, пока не дойдет до полного отчаяния. Откуда же появилось вдруг это мрачное настроение? Он подумал: «Я становлюсь страшно нервным, если из-за какой-то ничтожной причины впадаю в подобное состояние».

Тогда он взялся за книгу. *Легенда веков* все еще лежала на железном стуле, где оставила ее Аннета. Он раскрыл томик, прочитал две страницы стихов и не понял их. Не понял, словно они были написаны на чужом языке. Он рассердился и стал перечитывать снова, чтобы опять убедиться, что в самом деле не вникает в их смысл. «Ну,— сказал он себе,— я, кажется, рехнулся». Но вдруг, словно по наитию, он сообразил, на что можно убить два часа, остающиеся до обеда. Он велел приготовить ванну и пролежал в ней, разнеженный и успокоенный теплою водой, до тех пор, пока слуга, принесший белье, не вывел его из полудремоты. Тогда он отправился в клуб, где собрались его всегдашние приятели. Его встретили с распростертыми объятиями и восклицаниями,— ведь его не видели уже несколько дней.

— Я вернулся из деревни,— сказал он.

Все эти люди, за исключением пейзажиста Мальдана, питали к деревне глубокое презрение. Рокдиан и Ланда ездили, правда, туда на охоту, но в полях и лесах им нравилось только смотреть, как от их выстрела

падает комком перьев фазан, перепел или куропатка или раз пять — шесть перекувыркнется, словно клоун, подстреленный кролик, у которого при каждом сальтомортале мелькает белый клочок шерсти на хвосте. Если не считать этих осенних и зимних удовольствий, деревня казалась им убийственно скучной. Рокдиан говаривал:

— По мне, молоденькая женщина лучше молодой зелени.

Обед прошел, как всегда, шумно и весело, оживленный спорами, в которых не было ничего нового. Бертен, чтобы расшевелить себя, говорил без умолку. Его нашли молодцом; выпив кофе и сыграв шестьдесят очков на бильярде с банкиром Ливерди, он ушел. Он побродил немного между церковью Мадлен и улицей Тебу, прошел раза три мимо Водевиля, раздумывая, не зайти ли туда, чуть не нанял фиакр к Ипподрому, но передумал и направился к Новому цирку, затем вдруг круто повернул назад и бесцельно, беспричинно, без всякого побудительного повода, пошел по бульвару Мальзерб, замедлив шаги вблизи дома графини де Гильруа. «Ей, пожалуй, покажется странным, если я опять зайду к ней сегодня?» — подумал он. Но успокоил себя мыслью, что не будет ничего странного, если он во второй раз наведается узнать о ее здоровье.

Она была вдвоем с Аннетой в маленькой гостиной и по-прежнему вязала одеяло для бедных.

Когда он вошел, она просто сказала:

— А! Это вы, мой друг?

— Да, я беспокоился, хотел вас видеть. Как вы себя чувствуете?

— Благодарю, недурно...

Она подождала немного и затем прибавила, явно подчеркивая:

— А вы?

Непринужденно засмеявшись, он ответил:

— О, превосходно, превосходно! Ваши опасения были совершенно неосновательны.

Она перестала вязать и медленно подняла на него глаза; в ее пылающем взгляде были мольба и сомнение.

— Сущая правда,— сказал он.

— Тем лучше,— ответила она с несколько принужденной улыбкой.

Он сел, и в первый раз в этом доме его охватила непреодолимая тоска, своего рода паралич мысли, еще более полный, чем тот, какой он испытал днем перед холстом.

Графиня сказала дочери:

— Можешь продолжать, детка. Это ему не мешает.

Он спросил:

— А чем она занималась?

— Разучивала одну фантазию.

Аннета встала и подошла к роялю. Как всегда, он следил за нею взглядом, не отдавая себе в этом отчета, находя ее красивой. Но тут же почувствовал на себе взгляд матери и резко повернул голову в другую сторону, словно искал что-то в темном углу гостиной.

Графиня взяла с рабочего столика небольшой золотой портсигар — его подарок,— открыла и протянула ему папиросы:

— Курите, друг мой. Вы знаете, я люблю это, когда мы одни.

Он закурил. Раздались певучие звуки рояля. Это была пьеса в старинном вкусе, грациозная и легкая; казалось, ее мелодия была навеяна очень тихим, лунным, весенним вечером.

— Чье это? — спросил Оливье.

Графиня ответила:

— Шумана. Эта вещь малоизвестна, но она очаровательна.

В нем все сильнее росло желание посмотреть на Аннету, но он не осмеливался. Надо было сделать лишь слабое движение, слегка повернуть шею,— ему были видны сбоку огненные языки свечей, освещавших ноты,— но он так хорошо угадывал, так ясно замечал подстерегающее внимание графини, что сидел неподвижно, глядя перед собою, и, казалось, с интересом следил за серой струйкой табачного дыма.

Г-жа де Гильруа шепнула:

— Это все, что вы можете мне сказать?

Он улыбнулся.

— Не надо сердиться. Вы знаете, что музыка меня

гипнотизирует и поглощает все мои мысли. Я скажу вам потом.

— Ах,— сказала она,— я ведь разучила кое-что для вас еще до маминой смерти! Я не играла этого вам ни разу и сыграю сейчас, когда малютка кончит; вы увидите, какая это странная вещь.

У нее был подлинный талант и тонкое понимание чувств, вложенных в музыку. В этом тоже таилась властная сила ее очарования, которая так действовала на впечатлительного художника.

Как только Аннета кончила сельскую симфонию Шумана, графиня поднялась и села на ее место. Причудливая мелодия пробудилась под ее пальцами, мелодия, все фразы которой казались жалобами, все новыми, все меняющимися, бесконечными жалобами; одна непрестанно повторяющаяся нота врывалась посреди мелодии, разрубая, скандируя, разбивая ее, как монотонное, неустанное, неотвязное стенание, несмолкаемый, неотступный, как наваждение, призыв.

Но Оливье смотрел на Аннету, севшую против него, и ничего не слышал, ничего не понимал.

Он жадно глядел на нее, ни о чем не думая, наслаждаясь ее видом, словно чем-то привычным и приятным, чего он был лишен, и теперь упивался этим, как пьют воду при жажде.

— Ну, как? — сказала графиня.— Разве это не прекрасно?

Он воскликнул, очнувшись:

— Удивительно, великолепно! Чье это?

— Вы не знаете?

— Нет.

— Как, вы этого не знаете? Вы?

— Да нет же!

— Это Шуберт.

Он сказал тоном глубокого убеждения:

— Ничуть не удивляюсь. Это великолепно! Пожалуйста, сыграйте еще раз.

Она опять заиграла, а он повернул голову и снова стал любоваться Аннетой, но слушал и музыку, чтобы вкушать оба наслаждения разом.

Г-жа де Гильруа вернулась на свое место, и он, по свойственному мужчине лукавству, отвел взгляд от

белокурой головки девушки, которая вязала, сидя против матери, по другую сторону лампы.

Но и не видя ее, он испытывал сладость ее присутствия, как мы чувствуем близость теплого очага, и ему страшно хотелось взглянуть на нее хоть мельком, тотчас же переведя глаза на графиню, подобно тому, как школьнику хочется влезть на окно, едва учитель повернется к нему спиною.

Он ушел рано, потому что одинаково был не в силах ни говорить, ни думать, а его упорное молчание могло быть дурно истолковано.

Едва он очутился на улице, им овладело желание побродить, потому что стоило ему услышать музыку, как она потом долго продолжала звучать в нем и погружала его в мечты, казавшиеся продолжением мелодий, еще более ярким и желанным. Музыкальный напев, отрывистый и беглый, возвращался и каждый раз приносил отдельные такты, замиравшие, как далекое эхо, затем умолкал, как бы предоставляя сознанию осмыслить мелодию и унестись ввысь в поисках какого-то идеала, нежного и гармонического. Увидев сказочно освещенный парк Монсо, Бертен повернул налево по внешнему бульвару и вошел в центральную закругленную аллею, залитую сиянием электрических лун. Медленно бродил одинокий сторож, иногда проезжал запоздалый фиакр; какой-то человек читал газету, сидя на скамье в голубоватом потоке яркого света, у подножия бронзового столба со сверкающим шаром наверху. На лужайках, среди деревьев, другие фонари изливали на листву и газоны свой холодный ослепительный блеск, придавая этому большому городскому парку какую-то безжизненность.

Заложив руки за спину, Бертен ходил по дорожке и вспоминал свою прогулку с Аннетой в этом парке, когда ему впервые послышались в ее голосе звуки голоса ее матери.

Он опустился на скамью, вдыхая прохладную сырость недавно политых лужаек; и на него вдруг нахлынуло то чувство страстного ожидания, что рисует на канве юношеской души причудливые узоры нескончаемого любовного романа. Когда-то ему были знакомы такие вечера; он давал тогда волю своей блужда-

ющей фантазии, и она свободно странствовала среди воображаемых приключений; он удивился, обнаружив в себе возврат чувств, уже не свойственных его возрасту.

Но как настойчивая нота в мелодии Шуберта, воспоминание об Аннете, черты ее склонившегося под лампою лица и странная догадка графини поминутно тревожили его. Он невольно продолжал думать об этом, исследуя непроницаемые глубины, где зарождаются, прежде чем появиться на свет, человеческие чувства. Это упорное копание в самом себе раздражало его, а постоянная мысль о молодой девушке, казалось, открывала его душе путь к нежным мечтам. Он уже не мог изгнать Аннету из памяти; он как бы постоянно носил в себе ее образ; так в былое время, когда графиня покидала его, у него сохранялось своеобразное ощущение ее присутствия в стенах его мастерской.

Досадуя на эту власть воспоминания, он прошептал, вставая:

— Со стороны Ани глупо было сказать мне это. Теперь из-за нее я буду думать о девочке.

В тревоге за самого себя он вернулся домой. Улегшись в постель, он понял, что не заснет: в его жилах струился лихорадочный жар, а в сердце, как бродящий сок, жила какая-то мечта. Страшась изнурительной бессонницы, вызываемой душевным беспокойством, он попытался взяться за книгу. Сколько раз непродолжительное чтение служило ему усыпляющим средством! Он встал и подошел к книжному шкафу, чтобы выбрать какую-нибудь подходящую снотворную книгу, но его ум, бодрствующий против его воли, жаждал сильных впечатлений, и он невольно искал на полках такое писательское имя, которое соответствовало бы его настроению экзальтации и ожидания. Имя Бальзака, которого он боготворил, ничего ему не сказало; он отверг Гюго, пренебрег Ламартином, который, однако, всегда умилял его, и жадно накинулся на Мюссе, поэта зеленой молодежи. Взяв один из его томов, он решил начать читать с той страницы, где откроется книга.

Когда он улегся снова, он принялся, как пьяница, упиваться этими легкими стихами вдохновенного

поэта, который воспевал, как птица, зарю жизни и, уже на угре ее, истощив дыхание, умолк перед грубым светом дня,— стихами поэта, который был прежде всего человеком, опьяненным жизнью, и изливал свое опьянение в трубных звуках любви, звонких и наивных, вторящих всем обезумевшим от страсти юным сердцам.

Никогда еще не было так понятно Бертену физическое обаяние этих поэм, которые волнуют чувства и еле задевают ум. Он не отрывал глаз от трепетных строк, и ему казалось, что его душе только двадцать лет, что она полна надежд, и прочел почти всю книгу в каком-то юношеском самозабвении. Пробило три часа, и Бертен удивился, заметив, что ему еще не хочется спать. Он встал, чтобы затворить окно, оставшееся открытым, и положить томик на стол посреди комнаты, однако ночная прохлада отдалась в пояснице острыми болями, которые все еще возвращались, несмотря на лечение водами в Эксе; они пронзили его, как жестокое напоминание, предостережение, и он с досадой швырнул книгу поэта, пробормотав:

— Вот еще, старый дурак!

Затем он улегся снова и потушил свечу.

На другой день он не пошел к графине и даже твердо решил навестить ее не раньше, как через два дня. Но что бы он ни делал, брался ли за кисть, гулял ли, бродил ли со своей меланхолией по знакомым, всюду его преследовала неотвязная мысль об обеих женщинах.

Запретив себе идти к ним, он облегчал свою тоску, возвращаясь к ним памятью и предоставляя мыслям и сердцу вдосталь упиваться воспоминанием о них. Нередко в этих странных грезах, вызванных его одиночеством, оба лица, отличные одно от другого, какими он знал их, сближались, потом одно наплывало на другое, и они смешивались, сливались, образуя только одно туманное лицо, уже не лицо матери, но и не совсем еще лицо дочери: это было лицо женщины, безумно любимой когда-то, и теперь, и всегда.

Он начинал упрекать себя за то, что предается этим умиленным чувствам, силу и опасность которых сознавал. Чтобы избавиться от них, отбросить их,

освободиться от этого пленительного и сладкого сна, он пытался направить свой ум на всевозможные другие мысли, обратиться к другим предметам размышления и раздумья. Тщетные усилия! Как ни старался он отвлечь свою мысль, она постоянно возвращалась к тому же месту, где опять возникала светловолосая юная головка, как будто притаившаяся в ожидании его. Это было смутное, неотвратимое наваждение; оно реяло над ним, вертелось вокруг него и не отпускало его, к каким бы уловкам он ни прибегал.

Мысль о слиянии этих двух существ, так сильно смутившая его в тот вечер, когда они гуляли в парке Ронсьера, снова воскресала в его памяти, как только он переставал рассуждать и убеждать себя, и он старался представить себе обеих женщин и понять, какое странное чувство волнует его. Он говорил себе: «Неужели моя склонность к Аннете выходит за пределы допустимого?» Исследуя свое сердце, он понял, что оно пылает страстью к какой-то молодой женщине, у которой были все черты Аннеты, но которая не была Аннетой. И он трусливо успокаивал себя, думая: «Нет, я не люблю малютку, я жертва ее сходства с матерью».

Однако два дня, проведенные в Ронсьере, по-прежнему были в его душе источником теплоты и самозабвенного счастья, он вспоминал одну за другой малейшие подробности и наслаждался ими даже больше, чем тогда. Возвращаясь назад по пути воспоминаний, он опять видел дорогу, по которой они шли с кладбища, девушку, которая рвала цветы, и внезапно вспомнил, что пообещал ей василек из сапфиров, как только они вернутся в Париж.

Все его решения сразу же улетели, и, уже не борясь с собою, он взял шляпу и вышел, взволнованно думая об удовольствии, которое ей доставит.

Когда он пришел к Гильруа, лакей сказал ему:

— Графини дома нет, а мадмуазель дома.

Он обрадовался.

— Доложите ей, что я хочу с нею поговорить.

И легкими шагами, словно боясь, что его услышат, он проскользнул в гостиную.

Аннета вошла почти в ту же минуту.

— Здравствуйте, дорогой мэтр, — сказала она с важностью.

Он рассмеялся, пожал ей руку и сел рядом.

— Угадай, зачем я пришел?

Она подумала.

— Не знаю.

— Чтобы поехать вместе с тобой и с мамой к ювелиру и выбрать василек из сапфиров, который я тебе обещал в Ронсьере.

Лицо девушки просияло от счастья.

— О! — сказала она, — а мамы нет дома. Но она сейчас вернется. Вы ее подождете, не правда ли?

— Да, если не слишком долго.

— О, какой дерзкий, слишком долго! Ведь здесь я. Вы смотрите на меня, как на маленькую девочку.

— Нет, — сказал он, — не настолько, как ты думаешь.

Он ощущал в своем сердце желание нравиться, быть любезным и остроумным, как в самые радостные дни своей юности, — одно из тех инстинктивных желаний, которые сильнейшим образом возбуждают все способности обольщения, заставляя павлина распускать хвост, а поэта сочинять стихи. Быстро и легко приходили ему на язык слова, и он говорил, как умел говорить, когда бывал в ударе. Девочка, которой передалось это настроение, отвечала ему со всем лукавством, со всем шаловливым остроумием, которые зрели в ней.

Вдруг, возражая против какого-то высказанного ею мнения, он воскликнул:

— Но вы уже не раз мне это говорили, а я отвечал вам!..

Она, расхохотавшись, перебила его:

— Что это? Вы уже больше не говорите мне «ты»! Вы принимаете меня за маму.

Он покраснел, замолчал и затем пробормотал:

— Это потому, что твоя мать уже сто раз доказывала мне то же самое.

Его красноречие угасло; он не знал, что еще сказать, и теперь боялся, необъяснимо боялся этой девочки.

— Вот и мама, — сказала она.

Она услышала, как отворилась дверь большой гостиной, и Оливье, смутившись, словно застигнутый

врасплох, стал объяснять, что вспомнил вдруг о своем обещании и зашел за ними обеими, чтобы вместе поехать к ювелиру.

— У меня двухместная карета, — сказал он. — Я сяду на откидную скамеечку.

Они отправились и через несколько минут были в магазине Монтара.

Проведя всю жизнь в тесном общении с женщинами, художник наблюдал, изучал, любил их, всегда был занят ими и, проникаясь их вкусами, свободно разбираясь в туалетах, вопросах моды, во всевозможных мелких подробностях их интимного быта, часто сам переживал вместе с ними их ощущения; и, входя в магазин, где продавались очаровательные, изящные уборы, искусно оттеняющие красоту женщин, он всегда испытывал почти в такой же мере, как они сами, волнующую, трепетную радость. Подобно женщинам, он интересовался всякими кокетливыми безделками, которыми они себя украшают; ткани прельщали его зрение, руки тянулись к кружевам, самые незначительные элегантные вещицы привлекали его внимание. Перед витринами ювелирных магазинов он ощущал почти религиозное чувство, словно перед святилищем соблазнов роскоши, а обитый темным сукном стол, на котором ловкие пальцы ювелира рассыпали драгоценные камни, играющие всеми цветами радуги, внушал ему особое уважение.

Усадив графиню с дочерью перед этим строгим столом, на который обе они непринужденно положили руки, он объяснил, что ему нужно, и ему стали показывать образцы цветков.

Потом перед ними рассыпали сапфиры, и надо было выбрать из них четыре. Это заняло много времени. Обе женщины кончиком ногтя перевертывали камни на сукне, затем осторожно брали их в руки, рассматривали на свет, изучали их со вдумчивым и страстным вниманием. Когда выбранные сапфиры были отложены в сторону, понадобилось еще три изумруда для листьев и крошечный бриллиантик, который переливался бы в середине цветка, подобно капле росы.

Тогда Оливье, до безумия любивший делать подарки, сказал графине:

— Прошу вас, выберите два кольца, вы доставите мне этим большое удовольствие!

— Кто, я?

— Да. Одно для вас, другое для Аннеты! Позвольте мне поднести вам эти маленькие подарки на память о двух днях, проведенных в Роисьере.

Она отказывалась. Он настаивал. Завязался долгий спор, борьба возражений и доводов, из которой он, в конце концов, хотя и не без труда, вышел победителем.

Принесли кольца: особо редкостные, в отдельных футлярах; другие, подобранные по сортам, уложенные рядами на бархате в больших четырехугольных коробках, сверкали переливами камней. Художник уселся между своими спутницами и с таким же жадным любопытством начал рассматривать кольца, вынимая их одно за другим из узких щелок, в которые они были вставлены. Он раскладывал их перед собою на сукне прилавка двумя кучками: в одну отбрасывал отвергнутые с первого взгляда, в другую — те, из которых предстояло еще выбирать.

Незаметно и приятно шло время за этим чудесным занятием отбора, самым захватывающим удовольствием на свете, таким же интересным, разнообразным, как театр, волнующим, почти чувственным — высшим наслаждением для женского сердца.

Потом стали сравнивать, спорили, и после некоторого колебания выбор трех судей остановился на золотой змейке, между узенькой пастью и извивающимся хвостом которой держался великолепный рубин.

Оливье встал, сияя.

— Оставляю вам мой экипаж,— сказал он.— Мне надо побывать в нескольких местах, я ухожу.

Но Аннета упросила мать пройтись домой пешком: стояла уж очень хорошая погода. Графиня согласилась и, поблагодарив Бертена, пошла с дочерью.

Некоторое время они шли молча, радуясь полученным подаркам, потом заговорили о всевозможных драгоценностях, которые только что видели и держали в руках. В их сознании еще оставалось впечатление какого-то блеска, звона, какой-то радости Они шли быстро, пробираясь в толпе, которая летом, в пять часов

вечера, всегда теснится на тротуарах. Мужчины оглядывались на Аннету и, проходя мимо, вполголоса выражали свое восхищение. Со времени их траура, с тех пор, как черный цвет так живо подчеркнул бросающуюся в глаза красоту Аннеты, графиня в первый раз показывалась с нею вместе в Париже, и при виде этого уличного успеха, всеобщего внимания, восторженного шепота, этой мелкой зыби лестного волнения, которую оставляет за собою красивая женщина, проходя сквозь толпу мужчин, графиня почувствовала, что сердце ее начинает сжиматься, что его гнетет такая же тяжелая тоска, как в тот вечер у нее в гостиной, когда сравнивали дочь с ее собственным портретом. Невольно подстерегала она эти взгляды, привлеченные Аннетой, и чувствовала их еще издали, когда, скользнув по ее собственному лицу и не задерживаясь на нем, они вдруг останавливались на светлой головке ее спутницы. Она угадывала, она видела во взглядах прохожих мгновенную и безмолвную дань поклонения этой расцветающей молодости, влекущим чарам этой свежести и подумала: «Я была так же хороша, как она, если еще не лучше». Но вдруг она вспомнила Оливье, и, как в Ронсьере, ее охватило властное желание убежать.

Она не хотела больше оставаться здесь, при ярком свете, среди текущей толпы, на виду у всех смотревших на нее мужчин. Уже далеки были те дни, столь еще недавние, когда она сама искала сравнений с дочерью, сама напрашивалась на них. Но теперь никому из этих прохожих не пришло бы в голову сравнивать их. Может быть, один только человек подумал об этом сейчас в ювелирном магазине. Он? О, какое мучение! Возможно ли, чтобы ему не приходило каждый раз, неотвязно, на ум это сравнение? Конечно, видя их вместе, он не может не думать и не вспоминать о том времени, когда она входила к нему такая свежая, красивая, уверенная в его любви!

— Мне нехорошо, — сказала она, — возьмем фиакр, дитя мое.

Аннета тревожно спросила:

— Что с тобой, мама?

— Ничего, ты ведь знаешь, со смерти бабушки у меня часто бывают такие приступы слабости.

V

Навязчивые мысли грызут так же упорно, как неизлечимые болезни. Внедрившись однажды в душу, они пожирают ее, не дают ни о чем думать, ничем интересоваться. Что бы ни делала графиня дома или в другом месте, одна или на людях, она уже не могла отогнать от себя мысль, овладевшую ею, когда она шла с дочерью домой: «Возможно ли, чтобы Оливье, который видится с ними почти ежедневно, не испытывал каждый раз настойчивого желания сравнивать их?»

Конечно, он не может не делать этого, бессознательно, непрестанно; ведь его самого преследует это ни на минуту не забываемое сходство, которое еще больше усилилось с тех пор, как Аннета стала подражать голосу и жестам матери. Всякий раз, когда он входил, графиня тотчас начинала думать об этом сопоставлении, читала и разгадывала его во взгляде художника, обсуждала в своем сердце и уме. И ее терзало желание спрятаться, исчезнуть, не показываться ему больше рядом с дочерью.

Она страдала и от того, что в своем собственном доме уже сознавала себя чужою. В тот вечер, когда все смотрели на Аннету, стоявшую под ее портретом, она почувствовала себя несколько оскорбленной тем, что ее развенчали, и это чувство уже не покидало ее, росло и по временам приводило ее в отчаяние. Она беспрестанно упрекала себя за то, что в глубине души жаждала освобождения, что ей втайне хотелось удалить дочь из дома, как стесняющую и навязчивую гостью, и она с бессознательною ловкостью действовала в этом направлении, снова желая бороться и, несмотря ни на что, сохранить любимого человека.

Не имея возможности ускорить брак Аннеты, который все еще приходилось откладывать вследствие траура, она испытывала страх, непонятный, но гнетущий страх, как бы этот проект не рухнул из-за какой-нибудь случайности, и, почти сама того не замечая, старалась возбудить в сердце дочери влечение к маркизу.

Вся искусная дипломатия, которою она так давно пользовалась, чтобы сохранить Оливье, приняла у нее

новую форму, стала более утонченной, более скрытной и служила одной цели — сблизить молодых людей, не допуская в то же время встречи между обоими мужчинами.

Художник, привыкнув работать по утрам, никогда не завтракал вне дома и обычно отдавал друзьям только свои вечера, поэтому она часто приглашала к завтраку маркиза. Он приезжал с верховой прогулки и вносил с собой оживление, как бы струю утреннего воздуха. Он весело болтал о всевозможных светских новостях, которые словно витают каждый день в начале осеннего сезона над катающейся верхом парижской знатью. Аннета с удовольствием слушала его, входила во вкус этих повседневных событий, которые преподносились ей еще свежими и словно покрытыми глянцем шика. Между ними возникала юношеская близость, теплые, дружеские отношения, которые, естественно, становились еще теснее оттого, что оба они одинаково страстно любили лошадей. Когда маркиз уезжал, графиня и граф начинали умело превозносить его и говорили о нем так, как следовало говорить, чтобы девушка поняла, что только от нее зависит выйти за него замуж, если он ей нравится.

Она поняла это очень скоро и в простоте душевной рассудила, что, разумеется, возьмет в мужья этого красивого молодого человека, который наряду с разными другими удовольствиями будет доставлять ей и то, какое она предпочитает всем другим: гарцевать по утрам бок о бок с ним на чистокровном скакуне.

Однажды, обменявшись рукопожатием и улыбкой, они самым естественным образом оказались женихом и невестой, и об этой свадьбе заговорили как о деле давно решенном. Тогда маркиз начал приносить подарки, а герцогиня стала обращаться с Аннетой, как с родной дочерью. Так, с общего согласия, дело это было состряпано на огоньке интимности в спокойные дневные часы; по вечерам же маркиз приходил редко за множеством разных занятий, знакомств, повинностей и обязанностей.

Тогда наступала очередь Оливье. Он регулярно раз в неделю обедал у Гильруа, а также по-прежнему

являлся без предупреждения на чашку чая вечером, между десятью и полуночью.

Как только он входил, графиня начинала следить за ним: ее терзало желание знать, что творится в его сердце. Всякий его взгляд, всякий жест она тотчас толковала по-своему, и ее мучила мысль: «Невозможно, чтобы он не любил ее, видя нас друг с другом рядом».

Он тоже приносил подарки. Не проходило недели, чтобы он не являлся с двумя небольшими пакетами, поднося один из них матери, а другой дочери, и когда графиня открывала футляры, в которых часто находились драгоценности, у нее сжималось сердце. Ей было хорошо знакомо это желание делать подарки, которого она как женщина никогда не могла удовлетворить, желание что-нибудь принести, доставить удовольствие, купить для кого-нибудь или разыскать в лавке безделушку, которая придется другому по вкусу.

Когда-то художник уже переживал этот кризис, и она не раз видела, как он входил, так же улыбаясь и так же неся в руках пакетики. Потом это улеглось, а теперь начинается опять. Для кого? Сомнений у нее не было! Не для нее!

Он казался усталым, исхудавшим, и она решила, что он страдает. Она сравнивала его вид, манеры с поведением маркиза, на которого тоже начинала действовать прелесть Аннеты. Это было не одно и то же: г-н Фарандаль был влюблен, а Оливье Бертен любил! Так, по крайней мере, думала она в часы своих мук, хотя потом, в минуты успокоения, еще надеялась, что ошибается.

О, как часто, находясь с ним наедине, она готова была допрашивать его, просить, умолять, чтобы он сказал ей все, признался во всем, ничего не утаил! Она предпочла бы плакать, узнав всю правду, чем так терзаться сомнениями, не имея сил читать в этом закрытом от нее сердце, где — она чувствовала — зреет новая любовь.

Это сердце было ей дороже жизни; она лелеяла, согревала и живила его своей любовью уже двенадцать лет, была, казалось, уверена в нем и думала, что окончательно завладела им, покорила и подчинила его себе; и вот теперь это сердце, которое она считала

страстно преданным ей до конца их дней, ускользало от нее силою непостижимого, страшного, чудовищного рока. Да, оно сразу замкнулось, скрыв в себе какую-то тайну. Ей уже нельзя было проникнуть в него с помощью дружеского слова и приютиться в нем со своею любовью, как в надежном убежище, открытом только для нее одной. К чему любить и беззаветно отдавать себя целиком, если тот, которому ты отдала все свое существо, всю свою жизнь, все, все, что у тебя было в этом мире, так внезапно уходит от тебя, потому что ему понравилось другое лицо, и за какие-нибудь несколько дней становится почти чужим?

Чужим! Он, Оливье? Он говорил с нею, как и раньше, теми же словами, тем же голосом, тем же тоном. И все-таки было между ними что-то необъяснимое, непобедимое, то неуловимое — «почти ничего»,— которое при перемене ветра гонит парус вдаль.

Он действительно отдалялся, все больше отдалялся от нее день за днем, с каждым взглядом, который он бросал на Аннету. Сам он не пытался разобраться в своем сердце. Он, конечно, чувствовал это брожение любви, это непреодолимое влечение, но не хотел его осознать и вверялся событиям, непредвиденным житейским случайностям.

Единственной его заботою были теперь обеды и вечера в обществе этих двух женщин, которым траур не позволял участвовать в светской жизни. Встречая у них лишь безразличных ему людей, чаще всего Корбелей и Мюзадье, он воображал, что он почти один с графиней и ее дочерью во всем мире, и так как совсем не видел больше герцогини и маркиза, которым здесь были отведены утренние и дневные часы, он старался забыть о них, предполагая, что свадьба отложена на неопределенное время.

К тому же Аннета никогда не говорила при нем о г-не де Фарандале. Была ли то инстинктивная стыдливость или, быть может, какое-нибудь тайное наитие женского сердца, позволяющее ему угадывать то, чего оно еще не знает?

Недели шли за неделями, ничего не изменяя в этой жизни; осенью парламентская сессия открылась ранее обычного ввиду тревожного политического положения.

В день открытия граф де Гильруа должен был проводить Аннету и завтракавших у него герцогиню де Мортмэн и маркиза на заседание парламента. Графиня, замыкаясь в своем все возрастающем горе, объявила, что останется дома.

Встав из-за стола, пили кофе в большой гостиной; все были в веселом настроении. Граф, радуясь возобновлению парламентских работ — единственного его удовольствия,— говорил почти умно о создавшейся обстановке и о трудностях, переживаемых республикой; маркиз, окончательно влюбленный, живо вторил ему, не сводя глаз с Аннеты, а герцогиня была почти одинаково довольна и чувством племянника и тяжелым положением правительства. В гостиной было тепло от калориферов, впервые затопленных после лета, от драпировок и ковров и чувствовался аромат увядающих цветов. В этой уютной комнате, где кофе тоже распространял свое благоухание, было что-то интимное, семейное, все дышало довольством. Вдруг отворилась дверь, и вошел Оливье Бертен.

Он остановился на пороге; он был до того изумлен, что не сразу решился войти, изумлен, как обманутый муж, который убедился в измене жены. Его охватила такая непонятная злоба и такое волнение, что он понял, как источено любовью его сердце. Все, что от него скрывали, и все, что он сам скрывал от себя, стало ему ясно, когда он увидел маркиза, расположившегося в этом доме на правах жениха!

В каком-то порыве отчаяния он сразу постиг все, чего не хотел знать, и все, о чем не осмеливались ему сказать. Он не спросил себя, почему от него скрыли все приготовления к браку. Он угадал это, и глаза его, принявшие суровое выражение, встретились с глазами графини; она покраснела Они поняли друг друга.

Когда он сел, все с минуту молчали, так как его неожиданный приход парализовал общее приподнятое настроение; затем герцогиня заговорила с ним, и он отвечал ей отрывисто, внезапно изменившимся, странно звучащим голосом.

Глядя на этих людей, возобновивших разговор, он думал: «Они меня надули; они мне за это заплатят».

Особенно зол был он на графиню и Аннету, невинное притворство которых стало вдруг ему понятно.

Граф, взглянув на часы, воскликнул:

— Ого! Пора ехать.

И обратился к художнику:

— Мы едем на открытие парламентской сессии. Только жена остается дома. Не хотите ли сопровождать нас? Вы мне доставите большое удовольствие.

Оливье сухо ответил:

— Нет, благодарю. Ваша палата меня не соблазняет.

Тогда Аннета подошла к нему и с игривым видом сказала:

— О, едемте, дорогой мэтр! Я уверена, что с вами нам будет гораздо веселее, чем с депутатами.

— Нет. Вам и без меня будет весело.

Догадываясь, что он недоволен и огорчен, она настаивала, желая выразить ему свою симпатию:

— Едемте, господин художник! Право, я не могу обойтись без вас.

У него вырвалось несколько слов, и так внезапно, что он не успел ни удержать их, ни смягчить их резкость:

— Ну! Вы обойдетесь без меня так же, как и все другие.

Немного удивленная его тоном, она воскликнула:

— Ну вот! Он опять перестал говорить мне «ты».

На губах его мелькнула та кривая улыбка, которая выдает всю душевную муку, и он сказал, слегка поклонившись:

— Ведь рано или поздно придется мне приучиться к этому.

— Почему же?

— Потому что вы выйдете замуж, и ваш супруг, кто бы он ни был, будет вправе признать такое обращение на «ты» с моей стороны неуместным.

Графиня поспешила сказать:

— Пока не будем об этом говорить! Но я надеюсь, что Аннета не выйдет за человека настолько мелочного, чтобы он стал обижаться на такую фамильярность старого друга.

Граф звал:

— Едем, едем, собирайтесь! Иначе опоздаем!

Те, кто должен был ехать с ним, встали и вышли после обычных рукопожатий и поцелуев, которыми герцогиня, графиня и Аннета обменивались при каждой встрече и каждом расставании.

Дверь затворилась, графиня и художник остались одни.

— Сядьте, друг мой,— сказала она ласково.

Но он ответил почти грубо:

— Нет, благодарю, я тоже ухожу.

Она прошептала с мольбой:

— О, почему?

— Потому что теперь, кажется, не мое время. Прошу извинить, что я пришел без предупреждения

— Что с вами, Оливье?

— Ничего. Я только жалею, что расстроил затеянную увеселительную прогулку.

Она схватила его за руку.

— Что вы хотите сказать? Им пора было ехать, они отправились на открытие парламента. А я остаюсь дома. Напротив, вам что-то как нельзя лучше подсказало прийти сегодня, когда я одна.

Он усмехнулся.

— Подсказало! Да, именно что-то подсказало!

Она взяла его за руки и, глядя ему прямо в глаза, тихонько шепнула:

— Признайтесь, что вы ее любите!

Не в силах больше сдерживать своего раздражения, он вырвал руки.

— Да вы помешались на этой мысли!

Она опять схватила его за руки и, вцепившись пальцами в рукава, стала молить его:

— Оливье! Признайтесь! Признайтесь! Я хочу знать наверняка, я уверена в этом, но я хочу знать! Я предпочитаю знать! О, вы не понимаете, чем стала моя жизнь!

Он пожал плечами.

— Что же, по-вашему, мне делать? Чем я виноват, что вы теряете голову?

Она не выпускала его и тащила в другую гостиную, подальше, где их не могли услышать. Вцепившись в полы его пиджака, она тянула его изо всех сил, тяжело

дыша. Доведя его до круглого диванчика, она заставила его сесть и села рядом с ним.

— Оливье, друг мой, единственный друг мой, прошу вас, скажите мне, что вы ее любите! Я это знаю, чувствую в каждом вашем поступке, не могу в этом сомневаться, умираю от этого, но хочу узнать это из ваших уст!

Он не поддавался, и она упала на колени перед ним. Голос ее стал хриплым.

— О, друг мой, друг мой, единственный друг, правда ли, что вы ее любите?

Он закричал, пытаясь поднять ее:

— Да нет же, нет! Клянусь вам, что нет!

Она рукой зажала ему рот и пролепетала:

— О, не лгите! Я слишком тяжко страдаю.

И, уронив голову ему на колени, разрыдалась.

Теперь он видел только ее затылок, густую массу светлых волос, среди которых мелькало много седых, и безмерная жалость, безмерная скорбь вошла в его душу.

Захватив рукой эти тяжелые волосы, он с силой приподнял, притянул к себе ее лицо с обезумевшими глазами, из которых ручьем текли слезы. И стал осыпать поцелуями ее залитые слезами глаза, повторяя:

— Ани! Ани! Моя дорогая, моя дорогая Ани!

Пытаясь улыбнуться, она заговорила всхлипывающим голосом ребенка, который задыхается от горя:

— О, друг мой, скажите мне только, что вы еще немного любите меня!

Он снова принялся целовать ее.

— Да, я люблю вас, моя дорогая Ани!

Она встала, села рядом с ним, взяла его руки в свои, посмотрела на него и нежно сказала:

— Ведь уже так давно мы любим друг друга. Разве может быть такой конец?

Прижимая ее к себе, он спросил:

— А почему должен быть конец?

— Потому, что я стара, и потому, что Аннета слишком похожа на ту, какою я была, когда вы со мною познакомились!

Теперь уже он зажал рукою эти скорбные уста.

— Опять! Пожалуйста, не говорите больше об этом! Клянусь вам, вы ошибаетесь!

Она повторила:

— Только бы вы любили меня хоть немного!

Он снова сказал:

— Да, я люблю вас!

И они долго сидели в молчании, держа друг друга за руки, глубоко взволнованные и глубоко опечаленные.

Наконец она нарушила молчание, прошептав:

— О, невеселы будут дни, которые мне еще остается прожить!

— Я постараюсь скрасить их.

В гостиной сгущалась сумеречная тень, и серая дымка осеннего вечера постепенно окутывала их.

Пробили часы.

— Мы уже давно сидим здесь,— сказала она — Вам пора уходить: что́, если придет кто-нибудь, а у нас с вами расстроенный вид!

Он встал, обнял ее, поцеловал, как бывало, в полураскрытые губы, и они прошли по обеим гостиным под руку, как муж и жена.

— Прощайте, дорогой мой.

— Прощайте, дорогая.

И портьера опустилась за ним.

Он сошел с лестницы, повернул к церкви Мадлены и зашагал, не сознавая, что делает, точно оглушенный ударом, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, а сердце пылает и трепещет, словно в груди у него развевается горящий лоскут. В течение двух часов или трех, а может быть, и четырех, он шел куда глаза глядят, в такой душевной подавленности и физическом изнеможении, что сил у него хватало только на то, чтобы переставлять ноги. Затем он вернулся домой и погрузился в раздумье.

Итак, он любит эту девочку! Теперь он понял все, что испытывал подле нее со дня прогулки по парку Монсо, когда он расслышал в ее устах звуки голоса, который едва узнал, того голоса, который когда-то пробудил его сердце; он понял это медленное, неотвратимое возрождение в нем еще не совсем угасшей, еще не остывшей любви, в которой он упорно не хотел сознаться самому себе.

Что делать? И что мог он сделать? Когда она выйдет замуж, он будет избегать частых встреч с нею, вот и все. А до тех пор он по-прежнему будет приходить в этот дом, чтобы никто ничего не заподозрил, скрывая от всех свою тайну.

Он пообедал дома, чего с ним никогда не случалось. Затем велел затопить большую печь в мастерской, так как ночь обещала быть очень холодною. Он даже приказал зажечь люстру, словно боялся темных углов, и заперся. Какое странное глубокое, почти физическое чувство печали овладело им! Он ощущал его в горле, в груди, во всех своих размякших мускулах так же, как и в своей слабеющей душе. Стены давили его, а вся жизнь его, жизнь художника и мужчины, была замкнута в этих стенах. Каждый написанный этюд, висевший на стене, напоминал ему о каком-нибудь успехе, с каждой вещью обстановки было связано какое-нибудь воспоминание. Но успехи и воспоминания канули в прошлое. Его жизнь? Какою она ему казалась короткою, пустою и вместе с тем насыщенной! Он писал картины, снова картины, постоянно картины и любил одну женщину. Ему вспоминались вечера восторгов после свиданий в этой самой мастерской. В лихорадочном пылу, наполнявшем все его существо, он шагал здесь целые ночи напролет. Радость счастливой любви, радость светского успеха, беспримерное упоение славой дали ему насладиться незабываемыми часами внутреннего торжества.

Он любил эту женщину, и она любила его. Благодаря ей он получил то крещение, после которого мужчине открывается таинственный мир волнений и страстей. Она почти насильно открыла его сердце, а теперь он уже не может закрыть его. И помимо его воли в эту брешь вошла другая любовь! Другая, или, вернее, та же любовь, вспыхнувшая при виде нового лица, та же самая, но усиленная возрастающею на старости лет потребностью преклонения. Итак, он любит эту девочку! Незачем больше бороться, сопротивляться, отрицать, он любит ее, с отчаянием сознавая, что она даже не пожалеет его, что она не узнает никогда об его жестоком страдании и что на ней женится другой. При этой мысли, к которой он постоянно возвращался, ко-

торой никак не мог отогнать, его охватывало животное желание завыть, как воет собака на цепи, потому что он тоже чувствовал себя, подобно ей, беспомощным, порабощенным, посаженным на цепь. Чем больше он думал об этом, тем больше нервничал, широко шагая по просторной комнате, освещенной, точно для празднества. Наконец, не в силах долее выносить боль этой растравленной раны, он попытался успокоить ее воспоминанием о своей прежней любви, утолить ее, воскресив память о своей первой сильной страсти. Он вынул из шкафа хранившуюся там копию портрета графини, сделанную им когда-то для себя, поставил ее на мольберт и, усевшись напротив, стал ее рассматривать. Он старался вызвать ее образ, снова обрести ее в жизни такою, какой он любил ее когда-то. Но на полотне все время возникала Аннета. Мать исчезла, растаяла, уступая свое место другому лицу, так странно похожему на нее. Это была Аннета, это были ее волосы, немного светлее, чем у матери, ее чуточку более шаловливая улыбка, ее чуточку более насмешливое выражение лица, и он ясно чувствовал, что душою и телом принадлежит этому юному существу, как никогда не принадлежал той, другой, как тонущая лодка принадлежит волнам!

Тогда он поднялся и, чтобы больше не видеть этого призрака, перевернул полотно; потом, охваченный глубокой печалью, пошел в спальню и принес оттуда в мастерскую ящик письменного столика, где мирно покоились все письма его возлюбленной. Они были уложены здесь, как в постели, одно на другом, толстым слоем тоненьких бумажек. Он погрузил в них руки, во всю эту груду слов, говоривших о нем и о ней, в эту купель их долгой любви. Он смотрел на этот узкий, дощатый гроб, где покоилось такое множество конвертов и на каждом из них было написано его имя, только его имя. Он думал о том, что здесь, в этой груде пожелтевшей бумаги, испещренной красными печатями, рассказано о любви, нежной взаимной привязанности двух существ, об истории двух сердец, и, склонившись над ящиком, вдыхал веяние прошлого, меланхолический запах долго запертых писем.

Ему захотелось перечитать их; порывшись поглуб-

же, он достал несколько самых давних. По мере того как он развертывал их, отчетливые воспоминания начинали волновать его душу. Среди писем он узнавал много таких, которые, бывало, носил при себе по целым неделям, и, пробегая мелко исписанные строки, говорившие ему такие ласковые слова, возвращался к забытым переживаниям прошлого. Вдруг он нащупал под пальцами тонкий вышитый платок. Что это такое? Он с минуту задумался, но вспомнил! Однажды она расплакалась у него, немножко приревновав, и он украл у нее и спрятал этот смоченный слезами платок.

Ах, как все это грустно! Как грустно! Бедная женщина!

Со дна ящика, со дна прошлого все эти воспоминания поднимались, подобно каким-то испарениям; да, это были лишь неосязаемые испарения угасшей действительности. И все же он страдал от этого и плакал над письмами, как плачут над мертвыми, потому что их уже нет.

Но когда он расшевелил всю эту старую любовь, она вызвала в его сердце новый, юный пыл, брожение соков неодолимой страсти, заставлявшей вспоминать лучезарное лицо Аннеты. Прежде он любил ее мать в страстном порыве добровольного порабощения, эту же девочку он начинал любить, как раб, как старый, трепещущий раб, на которого налагают оковы, и оков этих ему не разбить уже никогда.

В глубине души он чувствовал это и приходил в ужас.

Он старался понять, как и почему она имеет над ним такую власть. Ведь он так недолго знает ее! Ведь она только становится женщиной, а сердце и душа ее еще спят сном юности.

А он, его жизнь почти уже кончена! Как же эта девочка сумела покорить его несколькими улыбками и золотистыми локонами? Ах, улыбки, волосы этой белокурой девочки не раз внушали ему желание пасть на колени и биться лбом о землю!

Можем ли мы узнать, можем ли мы когда бы то ни было узнать, почему какое-нибудь женское лицо внезапно действует на нас, как яд? Как будто мы выпили его глазами, и оно стало нашей мыслью и нашей пло-

тью! Мы пьяны им, мы от него без ума, мы живем этим поглощенным нами образом и хотели бы умереть от него!

До чего порой заставляет страдать эта жестокая и непостижимая власть какого-нибудь образа над сердцем мужчины!

Оливье Бертен снова зашагал по комнате. Была уже поздняя ночь, печь погасла. От окон тянуло холодом. Он лег в постель и продолжал мучительно думать до утра.

Встал он рано, сам не зная чего ради, не зная, за что приняться, с разыгравшимися нервами, безвольный, как вертящийся флюгер.

Он искал, чем бы развлечь свой ум, чем бы занять тело, и вспомнил, что как раз в этот день недели некоторые члены его клуба собираются в Турецких банях и после массажа завтракают там.

Поспешно одевшись, в надежде, что горячая баня и душ успокоят его, он вышел из дому.

Как только он очутился на улице, его охватил резкий холод, тот пронизывающий холод первых заморозков, которые за одну ночь уничтожают последние остатки лета.

Вдоль бульваров сыпал частый дождь больших желтых листьев, падавших с тихим и сухим шелестом. Из конца в конец широких проспектов, между фасадами домов, куда ни хватал взор, они падали и падали, словно все их стебли были только что срезаны с ветвей тонким и острым ледяным лезвием. Мостовые и тротуары, уже сплошь покрытые ими, стали за несколько часов похожи на лесные просеки в начале зимы. Эта мертвая листва шуршала под ногами и при порывах ветра сбивалась в волнообразные груды.

Стоял один из тех переходных дней, которыми кончается одно время года и начинается другое; эти дни напоены особой сладостью или печалью: печалью умирания или сладостью возрождающейся жизни.

Переступив порог восточной бани, Оливье ощутил в своем тоскующем сердце трепет удовольствия при мысли о тепле, которое сейчас, после этого уличного холода, согреет его тело.

Он торопливо разделся, обмотал вокруг талии лег-

кую повязку, поданную банщиком, и скрылся за отворившейся перед ним обитой дверью.

Проходя по мавританской галерее, освещенной двумя восточными фонарями, он с трудом вдыхал удушливый, горячий воздух, которым, казалось, веяло от какой-то далекой печи. Курчавый, с лоснящимся торсом, мускулистый негр, в одной набедренной повязке, бросился вперед, поднял перед ним портьеру на другом конце галереи, и Бертен вошел в большое круглое высокое помещение жаркой бани, где царило безмолвие, почти такое же таинственное, как безмолвие храма. Сверху, из купола, сквозь трилистники цветных стекол, свет падал в огромный круглый зал, где пол был вымощен плитами, а стены покрыты пестрыми изразцами в арабском вкусе.

Полуголые мужчины всякого возраста молча расхаживали медленно и важно или, скрестив руки, сидели на мраморных скамеечках; некоторые тихо беседовали.

Воздух был так горяч, что уже при входе захватывало дух. Было что-то античное, что-то мистическое в этом живописном, круглом, как цирк, душном зале, где грелось человеческое тело, где сновали взад и вперед черные массажисты и медноногие мавры.

Раньше всего художник заметил графа де Ланда. Он расхаживал, как римский борец, гордо выставляя свою громадную грудь, скрестив на ней толстые руки. Завсегдатай бани, он чувствовал себя здесь, как любимец публики на сцене, и со знанием дела рассуждал о мускулатуре всех парижских силачей.

— Здравствуйте, Бертен,— сказал он.

Они обменялись рукопожатием. Ланда продолжал:

— Подходящая погода, чтобы попотеть, а?

— Да, великолепная.

— Вы видели Рокдиана? Он на той половине. Я вытащил его прямо из постели. О, посмотрите-ка на сию фигуру!

Мимо них проходил малорослый, кривоногий господин с дряблыми руками и тощими бедрами, и эти старые образцовые представители мужской породы с презрением улыбнулись.

Рокдиан, увидев художника, подошел к ним.

Усевшись на длинный мраморный стол, они принялись болтать, как в гостиной. Служители сновали туда и сюда, разнося напитки. Раздавались шлепки массажистов по голым телам и внезапный шум струи душа. Беспрерывный плеск воды доносился из всех углов обширного амфитеатра, наполняя его легким шорохом дождя.

Ежеминутно какой-нибудь новый посетитель раскланивался с тремя приятелями или подходил к ним пожать руку: толстый герцог Гариссон, низенький князь Эпилати, барон Флак и другие.

Вдруг Рокдиан сказал:

— А, Фарандаль!

Маркиз вошел, упираясь рукой в бедро, ступая с непринужденной самоуверенностью хорошо сложенного мужчины.

Ланда шепнул:

— Этот повеса — настоящий гладиатор!

Рокдиан обратился к Бертену:

— Правда, что он женится на дочери ваших друзей?

— Кажется, что так,— сказал художник.

Но при этом вопросе, заданном в присутствии этого человека в такую минуту, в таком месте, сердце Оливье содрогнулось от отчаяния и возмущения. Он мгновенно и с такой остротой ощутил всю ужасную реальность предстоящего, что несколько секунд преодолевал животное желание броситься на маркиза.

Затем он поднялся.

— Я устал,— сказал он.— Пойду на массаж.

Мимо проходил араб.

— Ахмет, ты свободен?

— Да, господин Бертен.

И художник поспешно ушел, чтобы избежать рукопожатия Фарандаля, который медленно обходил хаммам.

Бертен не провел и четверти часа в большом зале для отдыха, где было так тихо, где вдоль стен тянулись кабины с постелями, а посередине расстилался цветник из африканских растений и бил, рассыпаясь, фонтан. У него было ощущение, что за ним гонятся, что ему что-то угрожает, что вот-вот подойдет маркиз и

придется протянуть ему руку и вести себя с ним подружески, в то время как хотелось бы его убить.

И вскоре художник опять очутился на бульваре, усеянном опавшими листьями. Они уже перестали осыпаться: последние были сорваны долго бушевавшей бурей. Красно-желтый ковер колыхался, двигался, волнообразно перекатывался с одного тротуара на другой под резкими порывами усиливавшегося ветра.

Вдруг по крышам пронесся какой-то рев, звериное рычание несущегося урагана; в то же время на бульвар обрушился яростный вихрь, налетевший, вероятно, от Мадлен.

Листья, все опавшие листья, поднялись при его приближении, точно ожидали его. Они бежали впереди него, сбивались в кучи, кружились, поднимались спиралью до самой кровли домов. Он гнал их, как стадо, как обезумевшее стадо, которое мчалось к заставам Парижа, к свободному небу предместий. И когда на подъеме у квартала Мальзерб густая туча листьев и пыли исчезла, мостовые и тротуары странно оголились и очистились, словно их подмели.

Бертен думал: «Что теперь будет со мною? Что мне делать? Куда идти?» Он ничего не мог решить и повернул домой.

Газетный киоск привлек его внимание, и он купил семь или восемь газет, надеясь, что этого чтения ему хватит на час — другой.

— Завтракаю дома,— сказал он входя.

И поднялся в свою мастерскую.

Однако, усевшись здесь, он почувствовал, что не в силах оставаться на месте: он весь был охвачен возбуждением, как взбесившийся зверь.

Он пробежал газеты, но они ни на минуту не развлекли его, и факты, о которых он читал, воспринимались лишь глазами, но не доходили до сознания. В середине одной заметки, которую он даже не старался понять, имя «Гильруа» заставило его вздрогнуть. Речь шла о заседании палаты, в которой граф произнес несколько слов.

Пробужденное этим именем внимание художника остановилось затем на имени знаменитого тенора Монрозэ, который в конце декабря должен был один-

единственный раз выступить на сцене Большой оперы. По словам газеты, этот спектакль обещал быть великолепным музыкальным торжеством, так как тенор Монрозэ, покинувший Париж шесть лет назад, имел по всей Европе и в Америке небывалый успех; кроме того, вместе с ним собиралась выступить прославленная шведская певица Эльссон, которую Париж тоже не слышал уже лет пять!

У Оливье сразу же мелькнула мысль, словно родившаяся в глубине его сердца, доставить Аннете удовольствие побывать на этом спектакле. Но, вспомнив, что этому намерению препятствует траур графини, он стал обдумывать, как бы все-таки его осуществить. Один только способ показался ему подходящим. Надо взять ложу, которая выходит на сцену; сидящих там почти не видно, а если графиня, несмотря на это, не пожелает ехать, то он пригласит Аннету вместе с отцом и герцогиней. В таком случае пришлось бы преподнести эту ложу герцогине. Но тогда надо будет пригласить и маркиза!

Он долго колебался и раздумывал.

Конечно, этот брак — дело решенное, и, без сомнения, назначен даже день свадьбы. Он догадывался, что его подруга спешит скорей покончить с этим, и понимал, что, как только минет срок траура, она выдаст дочь за Фарандаля. Тут он ничего не мог поделать. Он не мог ни помешать этому ужасному событию, ни изменить его, ни отсрочить! А раз приходится покориться, то не лучше ли попробовать укротить свою душу, скрыть свои муки, казаться довольным и не давать больше воли своему раздражению.

Да, он пригласит маркиза, усыпит этим подозрительность графини и на правах друга войдет в дом юной четы.

Позавтракав, он тотчас отправился в Оперу, чтобы заручиться какой-нибудь ложей за занавесом. Ложа была ему обещана. Тогда он поспешил к Гильруа.

Графиня почти сейчас же вышла к нему, все еще взволнованная их вчерашним трогательным объяснением.

— Как мило, что вы пришли сегодня! — сказала она.

Он пробормотал:

— У меня есть кое-что для вас.

— А что такое?

— Ложа на сцене в Опере, на единственный спектакль Эльссон и Монрозэ.

— Ах, как жаль, мой друг! Ведь у меня траур.

— Вашему трауру скоро уже четыре месяца.

— Уверяю вас, что я не могу.

— А Аннета? Подумайте, такой случай, может быть, никогда не представится...

— С кем она поедет?

— С отцом и герцогиней, которую я приглашу. Я собираюсь предложить место и маркизу.

Она пристально посмотрела ему в глаза, чувствуя безумное желание расцеловать его. Не в силах поверить собственным ушам, она повторила:

— Маркизу?

— Ну да!

И она тотчас же согласилась на это предложение.

Он продолжал равнодушным тоном:

— Вы уже назначили время их свадьбы?

— Да, почти. У нас есть основание торопиться со свадьбой, тем более, что она была решена еще до маминой смерти. Вы помните?

— Конечно, помню. Так на когда же?

— На начало января. Простите, что я вам об этом не сообщила раньше.

Вошла Аннета. Он почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди, словно на пружине, и вся нежность, которая влекла его к ней, внезапно перешла в ожесточение, порождая ту странную и страстную вражду, в которую превращается любовь, когда ее подстегивает ревность.

— Я хочу предложить вам кое-что,— сказал он.

Она ответила:

— Значит, мы с вами решительно на «вы»?

Он принял отеческий тон:

— Слушайте, дитя мое. Мне известно, какое событие должно совершиться. Уверяю вас, что в скором времени это будет необходимо. Так уж лучше сейчас, чем потом.

Она с недовольным видом пожала плечами, а гра-

финя молчала, глядя вдаль и о чем-то сосредоточенно думая.

Аннета спросила:

— Что же вы мне принесли?

Он рассказал о спектакле и о том, кого собирается пригласить. Она пришла в восторг и, бросившись в ребяческом порыве ему на шею, расцеловала его в обе щеки.

Он чуть не лишился сознания и, почувствовав нежное прикосновение этих свежих губок, понял, что никогда ему не исцелиться.

Графиня нервно сказала дочери:

— Ты знаешь, что тебя ждет отец?

— Да, мама, иду.

Она убежала, продолжая посылать воздушные поцелуи.

Когда она вышла, Оливье спросил:

— Они отправятся в путешествие?

— Да, на три месяца.

Он невольно прошептал:

— Тем лучше.

— Мы заживем прежней жизнью,— сказала графиня.

Он пробормотал:

— Я надеюсь!

— А пока что не оставляйте меня.

— Нет, дорогая.

Его вчерашний порыв при виде ее слез и только что высказанное им намерение пригласить маркиза на этот спектакль снова вернули графине некоторую надежду.

Но ненадолго. Не прошло и недели, как она опять, с мучительным и ревнивым вниманием, стала следить по лицу этого человека за всеми этапами переживаемой им пытки. От нее ничего не могло укрыться, ведь она сама проходила через все терзания, которые угадывала в нем, и постоянное присутствие Аннеты ежеминутно напоминало ей о тщетности ее усилий.

Все разом свалилось на нее — и годы и траур. Ее деятельное, умелое, изобретательное кокетство, помогавшее ей всю жизнь одерживать победы, теперь было сковано строгим черным платьем, которое так же под-

черкивало ее бледность и осунувшееся лицо, как и блеск юности ее дочери. Как далеко было теперь то, еще такое недавнее время, когда по возвращении Анне-ты в Париж она с гордостью старалась одеваться одинаково с дочерью, и сходство их было тогда к ее выгоде. Теперь она иногда испытывала бешеное желание сорвать со своего тела эту погребальную одежду, которая уродовала ее и причиняла ей столько страданий.

Если бы в ее распоряжении были все средства, доставляемые искусством моды, если бы она могла выбирать и носить ткани нежных оттенков, гармонирующих с ее цветом лица, которые придавали бы ее умирающей красоте тонко рассчитанную силу, столь же пленительную, как безыскусственная прелесть дочери, она, несомненно, могла бы еще поддерживать свое очарование.

Она так хорошо знала действие возбуждающих вечерних туалетов и чувственно-легких утренних одежд, волнующего дезабилье, в котором женщина остается за завтраком с близкими друзьями и благодаря которому сохраняет до середины дня как бы аромат своего пробуждения, материальное и теплое впечатление оставленной ею постели и надушенной комнаты!

Но что можно было сделать с этой одеждой факельщика, с этим арестантским халатом, который будет окутывать ее целый год! Целый год! Она должна целый год пробыть, бездейственная и бессильная, в этом черном платье, как в заключении! Целый год она будет чувствовать, как стареет день за днем, час за часом, минута за минутой в этом креповом футляре! Что с нею станется через год, если ее бедное, больное тело будет и дальше так увядать от душевной тоски?

Эти мысли уже не покидали ее, отравляли ей все, чем она хотела бы насладиться, обращали в скорбь все, что могло бы быть блаженством, портили ей всякую радость, всякую минуту удовлетворения или веселья. Беспрестанно трепетала она, отчаянно стараясь сбросить с себя этот давивший ее груз терзаний; ведь не будь этого постоянно преследующего ее наваждения, как она была бы еще счастлива, бодра и здорова! Она чувствовала в себе по-прежнему живую и свежую душу, по-прежнему молодое сердце, пыл существа, только

еще начинающего жить, неутолимую жажду счастья, даже более жадную, чем прежде, и ненасытную потребность любви.

И вот все хорошее, все милое, нежное, поэтическое, все, что делает жизнь прекрасной и заставляет нас ценить ее, все это уходит от нее, потому что она постарела! Это конец! Однако она все еще обретает в себе нежность юной девушки и страстные порывы молодой женщины. Старилось только тело, ее бедная кожа, малопомалу выцветшая, изношенная, как суконная обивка мебели. Неотступная мысль об этом упадке не покидала ее, стала почти физическим страданием. Эта навязчивая идея, казалось, даже вызвала у нее особую чувствительность эпидермы, ощущение старческого увядания, постоянное и такое же отчетливое, как ощущение холода или жары. Ей казалось, что она в самом деле чувствует какой-то неуловимый зуд, чувствует, как медленно расползаются морщины на лбу, как обвисает ткань щек и груди и множатся те бесчисленные мелкие складочки, от которых усталая кожа кажется измятой. Как мучительный зуд заставляет пораженного какой-нибудь накожной болезнью постоянно чесаться, так сознание и боязнь разрушительной и тонкой работы быстро бегущего времени вызывали в ней непреодолимую потребность глядеться в зеркало, чтобы беспрестанно убеждаться в этом. Это сознание, эта боязнь манили ее, влекли, толкали к зеркалам, и она, не отрываясь, смотрела в них и без конца разглядывала, ощупывала, словно желая лучше удостовериться, неизгладимые следы ущерба, причиненного временем. Сначала этот страх временами исчезал, но появлялся вновь каждый раз, как она, дома или в другом месте, видела шлифованную поверхность грозного стекла. Она останавливалась на тротуарах, чтобы поглядеться в зеркальные витрины, и ее словно пригвождала чья-то рука ко всем полоскам стекла, какими торговцы украшают фасады своих лавок. Это стало у нее болезнью, манией. Она носила при себе, в кармане, миниатюрную пудреницу из слоновой кости величиною с орех; с внутренней стороны в крышку было вставлено крошечное зеркальце, и часто на ходу она открывала эту коробочку и подносила ее к глазам.

Когда она садилась читать или писать в своей

убранной коврами гостиной, эти занятия на минуту отвлекали ее мысли, но вскоре она опять поддавалась прежнему наваждению. Она боролась, старалась рассеяться, думать о чем-нибудь другом, продолжать работу. Но тщетно: острое желание скоро заставляло ее выпустить из рук книгу или перо, и она неудержимо тянулась к лежавшему на столе зеркальцу с ручкой старого серебра. В обрамлении овальной чеканной рамки ее лицо казалось портретом, написанным в минувшем веке, когда-то свежей, но выцветшей от солнца пастелью. Долго рассматривала она себя, затем усталым движением клала зеркальце обратно на стол, чтобы вновь приняться за работу, но не успевала прочитать двух страниц или написать двадцати строк, как в ней опять оживала непреодолимая и мучительная потребность поглядеть на себя, и она еще раз протягивала руку и брала зеркало.

Теперь она вечно возилась с ним, как с надоедливой и привычной безделушкой, с которой рука никак не может расстаться, и, принимая своих друзей, поминутно бралась за него; это настолько раздражало ее, что ей хотелось кричать, и, вертя его в руках, она ненавидела его, словно оно было живым существом.

Однажды, доведенная до отчаяния этой борьбою с кусочком стекла, она швырнула его о стену, так что оно раскололось и рассыпалось вдребезги.

Но муж отдал его в починку, и через несколько дней оно возвратилось еще более ясным, чем раньше. Ей пришлось взять зеркало, поблагодарить и примириться с тем, что оно останется у нее.

Каждое утро и каждый вечер, запершись в своей спальне, она снова, против воли, приступала к тщательному и терпеливому изучению этой тихой и подлой разрушительной работы.

Лежа в постели, она не могла уснуть, вновь и вновь зажигала свечу и долго, не смыкая глаз, думала о том, что бессонница и печаль только ускоряют эту ужасную работу быстролетного времени. В ночной тишине она слушала монотонное, мерное тикание маятника стенных часов, казалось, шептавшего ей: «Летит, летит, летит»,— и сердце ее сжималось в такой муке, что она, зажав рот простыней, рыдала от отчаяния.

Когда-то она, как все люди, отдавала себе отчет в беге лет и в переменах, которые они приносят с собой. Как все люди, она говорила другим и самой себе каждую зиму, каждую весну, каждое лето: «Я очень изменилась с прошлого года». Но все еще красивая, хотя и несколько иной красотой, она не беспокоилась об этом. Теперь же вместо того, чтобы по-прежнему мирно взирать на медленное шествие времен года, она вдруг обнаружила и поняла, как чудовищно быстро бегут минуты. Для нее стало ощутимо течение времени, его неуловимый бег, способный довести до безумия, если вдуматься в это непрерывное следование торопливых крошечных секунд, грызущих тело и жизнь человека.

После такой страдальческой ночи она немного успокаивалась и долго дремала, согретая теплом постели, до тех пор, пока горничная утром не раздвигала занавески и не затапливала печь. Она лежала усталая, в полузабытьи, не то дремля, не то пробуждаясь, и в ее оцепеневшем мозгу снова рождалась инстинктивная, ниспосылаемая судьбою надежда, которая озаряет и живит сердце и улыбку человека до самого последнего дня.

Теперь каждое утро, когда она вставала с постели, ее охватывало желание молиться богу, добиваться у него хоть немного облегчения и утешения.

Она опускалась на колени перед большим дубовым распятием — подарком Оливье, разыскавшего где-то эту редкую вещь, и тем голосом души, которым человек говорит с самим собою, безмолвно воссылала к божественному страдальцу скорбную мольбу. Обезумев от желания быть услышанной и получить помощь, наивная в своем горе, как все, кто верует и преклоняет колени, она не могла сомневаться, что он слышит ее, внимает ее молению и, может быть, растроган ее страданием. Она не просила его сделать для нее то, чего он никогда ни для кого не делал,— оставить ей до самой смерти обаяние, свежесть и грацию; она просила только немного покоя, небольшую отсрочку. Да, она должна состариться, должна и умереть! Но почему так скоро? Иные женщины ведь долго сохраняют свою красоту! Разве он не может сделать так, чтобы она была одною из них? Как он был бы добр, он, который тоже столько страдал, если бы еще хоть года на два, на три

сохранил ей тот остаток очарования, который нужен ей, чтобы нравиться!

Она не говорила этого прямо, но возносила к нему свои жалобы в сбивчивой тайной мольбе своей души.

Затем она садилась за туалетный стол и с таким же пламенным, как в молитве, напряжением мысли начинала возиться с пудрой, притираниями, карандашами, пуховками и щеточками, которые восстанавливали на один день ее поддельную хрупкую красоту.

VI

На бульваре у всех на устах были два имени: Эмма Эльссон и Монрозэ. Чем ближе к Опере, тем они слышались чаще. Они так и били в глаза прохожим с огромных афиш, расклеенных на колонках, и в вечернем воздухе носилось ощущение какого-то крупного события.

Грузное здание, носящее название «Национальной академии музыки», словно вросшее в землю под черным небом, обращенное к толпившейся перед ним публике пышным грязновато-белым фасадом и мраморной колоннадой галереи, было освещено, подобно декорациям, скрытыми от глаз электрическими дуговыми фонарями.

На площади перед Оперой конная полиция регулировала уличное движение. Со всех концов Парижа сюда подъезжали бесчисленные кареты, в которых благодаря спущенным стеклам можно было видеть пену светлых тканей и бледные лица.

Вереницею въезжали под аркады двухместные кареты и ландо, останавливались на несколько секунд, и из них выходили в зимних манто, отделанных мехом, перьями или бесценными кружевами, великосветские и другие женщины — дорогостоящее, божественно разряженное тело.

Снизу доверху по знаменитой лестнице двигалось непрерывное феерическое шествие дам, одетых, словно королевы; их грудь и уши сверкали огнями бриллиантов, а шлейфы волочились по ступеням.

Зал начал наполняться рано, никто не хотел упус-

тить ни одной ноты знаменитых артистов; под ослепительной электрической люстрой обширный амфитеатр колыхался от движения рассаживающейся по местам публики и гудел голосами.

Из ложи на сцене, в которой уже находились герцогиня, Аннета, граф, маркиз, Берген и г-н де Мюзадье, были видны только кулисы, где разговаривали, бегали и кричали люди — машинисты в блузах, господа во фраках, артисты в костюмах. А за огромным опущенным занавесом слышался глухой шум толпы, чувствовалось присутствие живой колышущейся возбужденной массы, волнение которой как будто проникало сквозь полотно, распространяясь до самых декораций.

Ставили «Фауста».

Мюзадье рассказывал анекдоты о первых представлениях этой оперы в Лирическом театре, о том, что сначала она почти провалилась, а затем имела блестящий успех, о первых исполнителях ее, об их манере петь каждую сцену. Аннета, полуобернувшись к нему, слушала его с жадным, юным, всепоглощающим любопытством и по временам бросала полный нежности взгляд на жениха. Через несколько дней он станет ее мужем, и теперь она любила его, как любят наивные сердца, то есть любила в нем все, что сулит ей завтрашний день. Опьянение первыми праздниками жизни и жгучая потребность счастья заставляли ее трепетать от радости и ожидания.

А Бертен, который все видел, все знал, который прошел через все ступени тайной, бессильной и ревнивой любви, вплоть до самого горнила человеческой муки, когда сердце, кажется, шипит, как мясо на раскаленных угольях, стоял в глубине ложи и смотрел на них обоих взглядом человека, подвергаемого пытке.

Раздались три удара, и вслед за этим легкий, сухой стук дирижерской палочки по пюпитру сразу прекратил все движения, покашливание и разговоры; затем, после мгновения глубокой тишины, зазвучали первые такты увертюры, наполнив зал тем незримым и непреодолимым таинством музыки, которое проникает в наше тело, наполняет нервы и душу поэтическим и чувственным трепетом и вливается в прозрачный воздух,

которым мы дышим, волной звуков, которые ловит наш слух.

Оливье сел в глубине ложи, содрогаясь от боли, как будто эти звуки коснулись его сердечных ран.

Но когда поднялся занавес, он опять встал и среди декораций, изображающих кабинет алхимика, увидел погруженного в раздумье доктора Фауста.

Раз двадцать уже он слышал эту оперу, знал ее почти наизусть, и его внимание тотчас же отвлеклось от нее в зрительный зал. Их ложа была заслонена краем сцены, и взгляду Оливье был доступен лишь уголок зала от партера до галереи; он мог видеть часть публики, среди которой узнавал немало знакомых. Ряд мужчин в белых галстуках казался какой-то выставкой давно известных лиц: светских людей, художников, журналистов — словом, всех тех людей, которые никогда не упускают случая быть там, куда ходят «все». Он мысленно отмечал и называл про себя по именам женщин на балконе и в ложах. Графиня Локрист, в ложе у авансцены, действительно блистала красотою, а несколько дальше недавно вышедшая замуж маркиза д'Эблен уже привлекала к себе бинокли. «Славное начало»,— подумал Бертен.

С большим вниманием и явной симпатией слушала публика тенора Монрозэ, горько сетовавшего на свою жизнь.

«Какая насмешка! — подумал Оливье.— Вот Фауст, загадочный и благородный Фауст, поет о страшном отвращении к жизни и о ничтожестве всего на свете, а эта толпа тревожится только об одном — не изменился ли голос Монрозэ».

Он стал слушать вместе с другими, и за банальными словами либретто в музыке, пробуждающей глубокую восприимчивость души, ему как бы открылось сердце Фауста, каким оно грезилось Гете.

Когда-то Бертен читал эту поэму и находил ее прекрасной, но она не особенно трогала его, и вот теперь он вдруг постиг ее неизмеримую глубину, потому что в этот вечер ему казалось, что он сам становится Фаустом.

Немного наклонившись над барьером ложи, Аннета слушала с напряженным вниманием, а в публике про-

носился одобрительный шепот: голос Монрозэ был и лучше поставлен и лучше звучал, чем прежде.

Бертен закрыл глаза. Вот уже месяц, как все, что он видел, чувствовал, все, с чем встречался в жизни, он немедля связывал со своей страстью. И весь мир и себя самого он отдавал в жертву этой навязчивой идее. Все прекрасное, изысканное, очаровательное, что он видел или представлял себе, он тотчас мысленно подносил любимой девушке; у него не оставалось ни одной мысли, которую он не соединял бы со своей любовью.

Теперь в глубине его собственной души ему слышался отзвук жалоб Фауста, и в нем возникало желание умереть, желание покончить со своими горестями, со всеми муками безысходной любви. Он глядел на тонкий профиль Аннеты и видел за ее спиной маркиза де Фарандаля, который тоже любовался ею. Он чувствовал себя стариком, человеком копченным, погибшим! Ах, ничего больше не ждать, ни на что не надеяться, не иметь даже права желать, сознавать себя не у дел, получившим отставку от жизни, вроде состарившегося чиновника, карьера которого кончена,— какая это невыносимая мука!

Грянули аплодисменты: Монрозэ уже пожинал лавры. И из-под земли выскочил Мефистофель-Лабарьер.

Оливье, еще ни разу не слыхавший его в этой роли, весь обратился в слух. Воспоминание об Обене, чей бас звучал так драматично, затем о Форе, у которого был такой обаятельный баритон, на несколько минут отвлекло его мысли.

Но вдруг его до глубины сердца тронула одна фраза, с неотразимою силою пропетая Монрозэ. Фауст говорил Мефистофелю:

> Мне нужен клад, дороже всех даров:
> Мне молодости надо [1].

И тенор предстал в шелковом камзоле, со шпагой на боку, в берете с перьями, изящный, юный и красивый своей манерной красотой певца.

Со всех сторон поднялся шепот. Он был хорош собою и нравился женщинам. Оливье, напротив, пере-

[1] Здесь и далее перевод Георгия Шенгели.

дернуло от разочарования, так как при этом превращении стала сглаживаться острота восприятия драматической поэмы Гете. Теперь перед его глазами была только полная красивых музыкальных отрывков феерия с талантливыми актерами, и он слушал лишь голоса. Этот человек в камзоле, этот смазливый малый, который, выводя рулады, щеголял своими ляжками и ногками, не нравился ему. Это был совсем не тот настоящий, неотразимый и мрачный рыцарь Фауст, которому предстояло соблазнить Маргариту.

Он опять сел на свое место, и только что слышанная фраза снова вспомнилась ему:

Мне нужен клад, дороже всех даров:
Мне молодости надо.

Он бормотал ее сквозь зубы, тоскливо напевал в душе и, не отводя глаз от белокурого затылка Аннеты, который вырисовывался в квадратном проеме ложи, испытывал на себе всю горечь этого неосуществимого желания.

Монрозэ с таким совершенством кончил первое действие, что раздался взрыв восторга. Несколько минут по залу гремели бурей рукоплескания, топот ног и крики «браво». Во всех ложах женщины хлопали руками в перчатках, а мужчины, стоя позади, аплодировали и кричали.

Два раза поднимался и опускался занавес, а порыв восторга не утихал. Затем, когда занавес опустился в третий раз и отделил от зрительного зала сцену и находящиеся там ложи, герцогиня и Аннета все еще продолжали аплодировать несколько секунд и были за это особо награждены чуть заметным поклоном тенора.

— О, он нас заметил! — сказала Аннета.

— Какой поразительный артист! — воскликнула герцогиня.

А Бертен, наклонившись вперед, со смешанным чувством раздражения и презрения смотрел, как певец под аплодисменты уходит за боковые кулисы, слегка покачиваясь, вытягивая носок ноги и положив руку на бедро, как настоящий театральный герой.

Заговорили о Монрозэ. Его успехи у женщин наделали не меньше шуму, чем его талант. Он выступал вс

всех столицах, приводя женщин в экстаз, и стоило ему только выйти на сцену, они, наперед зная, как он неотразим, уже чувствовали, что их сердца бьются учащеннее. Впрочем, он, как передавали, якобы не обращал внимания на это восторженное исступление и довольствовался музыкальными триумфами. Мюзадье, стараясь в присутствии Аннеты выражаться как можно осторожнее, рассказывал о жизни этого красивого певца, а герцогиня, вне себя от восхищения, находила понятными и простительными все безумства, на какие можно было пойти из-за него: настолько он ей казался обольстительным, элегантным, изысканным и на редкость музыкальным. И она заключила со смехом:

— Разве можно устоять перед этим голосом?

Оливье злился, становился желчным. Право, ему непонятно, как можно увлекаться каким-то гаером, постоянно изображающим разнообразные человеческие типы, одинаково ему чуждые, который на один миг воплощается в воображаемых людей, этим размалеванным манекеном, полуночником, готовым за определенную плату каждый вечер играть новую роль.

— Вы им завидуете,— сказала герцогиня. — Все вы, светские люди и художники, терпеть не можете актеров, потому что они пользуются успехом гораздо больше, чем вы.

И она повернулась к Аннете:

— Слушай, малютка, ты только еще вступаешь в жизнь и смотришь на все здоровыми глазами. Как ты находишь этого тенора?

Аннета с убежденным видом ответила:

— Я нахожу, что он очень красив.

Три удара возвестили о втором действии, и занавес поднялся, открывая деревенский праздник.

Выход Эльссон был великолепен. Ее голос тоже, по-видимому, окреп, и она владела им более уверенно, чем раньше. Она стала действительно выдающейся, прекрасной, отличной певицей, известность которой не уступала известности Бисмарка и Лессепса.

Когда Фауст устремился к ней, когда он своим обворожительным голосом пропел ей эту полную очарования фразу:

Позвольте, барышня прелестная моя,
Вам руку предложить, чтобы вести вас дале,—

а белокурая Маргарита, такая хорошенькая и такая трогательная, ответила ему:

Но я не барышня, и не прелестна я,
И мне не надобно, чтоб руку предлагали,—

весь зал был охвачен восторгом.

Занавес опустился, и раздались неистовые крики. Аннета так долго аплодировала, что Бертену захотелось схватить ее за руки, чтобы она перестала. Его сердце терзалось новою мукой. Весь антракт он молчал; его неотступная мысль злобно преследовала даже за кулисами ненавистного певца, который привел в такое возбуждение эту девочку и теперь снова мажет белилами щеки у себя в уборной.

Занавес поднялся. Началась сцена в саду.

По залу тотчас разлилась своего рода любовная лихорадка: никогда еще не бывало подобных исполнителей этой нежной, как дыхание поцелуя, музыки. Это уже не были знаменитые артисты Монрозэ и Эльссон,— это были два существа из идеального мира, даже не два существа, а только два голоса: вечный голос мужчины, который любит, вечный голос женщины, которая уступает этой любви,— и голоса их звучали, как вздох, в котором изливалась вся поэзия человеческой нежности.

Когда Фауст запел:

О, дай же, дай же мне тобой полюбоваться,—

в звуках, вылетавших из его груди, слышалось такое обожание, восторг, такая мольба, что на мгновение все сердца забились жаждою любви.

Оливье вспомнил, как он сам тихо шептал эту фразу в парке Ронсьера под окнами дома. До сих пор она казалась ему немного пошлой, а теперь приходила на уста, как последний крик страсти, как последняя мольба, последняя надежда и последняя милость, которой он мог еще ждать в этой жизни.

Потом он уже ничего больше не слушал, ничего не слышал, он увидел, как Аннета поднесла платок к глазам, и ощутил острый до боли приступ ревности.

Она плакала! Значит, ее сердце, ее женское сердечко, еще ничего не знавшее, просыпалось к жизни, приходило в волнение. Здесь, так близко от Оливье, совсем не думая о нем, она постигла, с какою силою любовь может потрясти человеческое существо, и этим откровением, этим посвящением в таинство любви она обязана какому-то жалкому распевающему гаеру.

Ах, Бертен уже не сердился на маркиза де Фарандаля, этого тупицу, который ничего не видел, не знал, не понимал! Но как ненавидел он человека в облегающем трико, озарившего прозрением эту юную девичью душу.

Оливье хотелось броситься к ней, как бросаются к тому, кого вот-вот раздавит понесший конь, хотелось схватить ее за руку, увести, оттащить, сказать ей: «Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, умоляю вас!»

Как она слушала, как трепетала! А он, как он страдал! Он уже раньше испытывал это страдание, но оно не было таким жестоким! Он вспомнил об этом, потому что все терзания ревности возобновляются, подобно раскрывающимся ранам. Сначала это было в Ронсьере, по дороге с кладбища, когда он в первый раз почувствовал, что она ускользает от него, что у него нет никакой власти над нею, над этой девочкой, непокорной, как молодой зверек. Но там, когда она убегала от него, чтобы рвать цветы, он раздражался, им овладевало грубое желание остановить ее порыв, удержать подле себя ее тело; теперь же от него убегала сама ее душа, неуловимая душа. Ах, теперь он опять узнал это гложущее чувство досады, которую испытывал уже много раз при всевозможных малейших, еле заметных ударах, как будто оставляющих неизгладимые синяки на влюбленных сердцах. Он вспомнил все мучительные уколы мелкой ревности, сыпавшиеся на него изо дня в день. Каждый раз, когда Аннета обращала на что-нибудь внимание, чем-нибудь восторгалась, когда ей что-нибудь нравилось, когда она чего-нибудь желала, он ревновал, ревновал незаметно и беспрерывно ко всему, что поглощало время, внимание, взгляды, веселость, удивление и симпатии девушки, потому что все это понемногу отнимало ее у него. Он ревновал ее ко всему, что она делала в его отсутствие, ко всему, чего

он не знал, к ее выездам из дому, к ее чтению, ко всему, что ей, по-видимому, нравилось, ревновал к раненному в Африке герою-офицеру, которым Париж занимался целую неделю, к автору нашумевшего романа, к какому-то неизвестному молодому поэту, которого она никогда не видела, но стихи которого декламировал Мюзадье, наконец, ко всем мужчинам, которых при ней расхваливали, хотя бы в самых банальных выражениях, потому что, кто любит женщину, тот не может не испытывать тревоги, когда она к кому-нибудь проявит интерес, пусть даже самый поверхностный. В сердце любящего живет властная потребность быть в глазах любимой единственным на свете. Он хочет, чтобы она больше не видела, не знала, не ценила никого другого. Как только он заметит, что она обернулась, узнав знакомого или просто желая на кого-нибудь посмотреть, он стремится перехватить ее взгляд и, если не может отвлечь его или завладеть им, испытывает глубочайшую муку.

Так терзался Оливье, глядя на певца, который, казалось, сеял и пожинал любовь в оперном зале, и триумф тенора заставлял его злиться на всех: и на женщин в ложах, сходивших с ума от восторга, и на мужчин, которые по своей глупости устраивали апофеоз этому фату.

Артист! Они называют его артистом, великим артистом! И этот скоморох, передатчик чужих мыслей, пользовался таким успехом, какого не знал сам их создатель! Ах, вот что такое справедливость и разум светских людей — невежественных, претенциозных любителей, на которых всю свою жизнь работают мастера человеческого искусства! Он смотрел, как они аплодируют, кричат, приходят в восторг, и давняя вражда, всегда скрывавшаяся в тайниках его гордого, надменного сердца выскочки, переходила в отчаяние, в бешеную ярость против этих глупцов, всесильных только по праву рождения и богатства.

До конца представления он молчал, снедаемый своими мыслями, а когда ураган последних восторгов затих, он предложил руку герцогине, между тем как маркиз повел под руку Аннету. Они спустились по той же большой лестнице вместе с потоком женщин и муж-

чин, в этом великолепном, медленно движущемся каскаде обнаженных плеч, роскошных платьев и черных фраков. Затем герцогиня, Аннета, ее отец и маркиз сели в ландо, а Оливье Бертен остался с Мюзадье на площади Оперы.

Вдруг он почувствовал нечто вроде расположения к этому человеку, или, вернее, то естественное влечение, какое испытывают к соотечественнику, встреченному вдали от родины; ведь он чувствовал себя теперь затерянным в этом чуждом и равнодушном сборище, а с Мюзадье можно было поговорить об Аннете.

Он взял Мюзадье под руку.

— Вы ведь еще не идете домой,— сказал он. — Погода хорошая, пройдемся.

— С удовольствием.

Они направились к церкви Мадлен, среди ночной толпы, ненадолго, но бурно оживлявшей бульвары в полночь, по выходе из театров.

Голова Мюзадье была набита множеством новостей и злободневными разговорами, которые Бертен называл его «сегодняшним меню», и он с обычной словоохотливостью коснулся двух — трех особенно занимавших его тем. Художник не выпускал его руки, не прерывал его, но и не слушал, твердо зная, что сейчас наведет его на разговор об Аннете, и шел, ничего не видя вокруг себя, всецело замкнувшись в своей любви. Он шел, обессиленный приступом ревности, разбитый ею, как после падения, подавленный уверенностью, что ему больше нечего делать на свете.

Так будет он страдать все сильнее и сильнее, ничего не ожидая впереди. Он будет влачить жалкие дни один за другим, глядя издали, как она живет, как она счастлива, любима и, конечно, любит сама. Любовник! Может быть, и у нее будет любовник, как был любовник у ее матери. Он ощущал в себе так много разнообразных и сложных источников страдания, такой наплыв горя, столько неизбежных мучений, чувствовал себя таким потерянным, переживал такую невообразимую тоску, что не мог и представить, чтобы кто-нибудь способен был страдать так, как он. И ему пришли в голову ребяческие выдумки поэтов о бесполезном труде Сизифа, физической жажде Тантала, пожираемом сердце

Прометея! О, если бы они предвидели, если бы поглубже заглянули в самозабвенную любовь стареющего мужчины к молодой девушке, с какой силой изобразили бы они нестерпимые и затаенные муки существа, которое уже не может быть любимым, пытку бесплодного желания и — что страшнее клюва коршуна — белокурую головку, терзающую старое сердце!

Мюзадье продолжал говорить, и Бертен перебил его, прошептав почти невольно, под властью навязчивой мысли:

— Сегодня вечером Аннета была очаровательна.

— Да, прелестна...

Чтобы помешать Мюзадье поймать прерванную нить его размышлений, художник прибавил:

— Она красивее, чем была ее мать.

Тот рассеянно подтвердил, повторив несколько раз сряду: «Да... да... да»,— но мысль его не остановилась на этой новой теме.

Тогда Оливье хитро связал ее с одним из особенно занимавших Мюзадье вопросов и продолжал:

— Когда она выйдет замуж, у нее будет один из первых салонов в Париже.

Этого было достаточно, чтобы такой завзятый светский человек, каким был инспектор изящных искусств, пустился с авторитетом знатока в обсуждение того, какое место предстоит занять в высшем французском обществе маркизе де Фарандаль.

Бертен слушал его, и ему представлялась Аннета в большой, ярко освещенной гостиной, окруженная женщинами и мужчинами. Эта картина тоже вызывала в нем ревность.

Теперь они шли по бульвару Мальзерб. Проходя мимо дома Гильруа, художник посмотрел наверх. В окнах, за неплотно прилегающими гардинами, как будто был свет. У него появилось подозрение, что герцогиня с племянником были приглашены после спектакля на чашку чая. Его охватило бешенство, и он ощутил мучительное страдание.

Бертен по-прежнему крепко держал Мюзадье под руку, время от времени он каким-нибудь возражением подзадоривал его, и тот продолжал свои высказывания о будущей молодой маркизе. Даже его монотонный го-

лос, говоря о ней, вызывал ее образ, реявший вокруг них во мраке.

Они подошли к дому художника на проспекте Вилье.

— Не зайдете ли? — спросил Бертен.

— Нет, благодарю. Поздно, пойду спать.

— Ну, зайдите на полчаса, поболтаем еще немного.

— Нет, право, слишком поздно!

При мысли остаться одному после испытанного только что потрясения душа Бертена наполнилась ужасом. У него есть собеседник, и он не отпустит его.

— Войдите же. Я давно собираюсь подарить вам какой-нибудь этюд и хочу, чтобы вы сами выбрали.

Тот, зная, что художники не всегда расположены делать подарки и что обещания скоро забываются, ухватился за этот случай. В качестве инспектора изящных искусств он обладал уже целой галереей, собранной с большим умением.

— Следую за вами,— сказал он.

Они вошли.

Разбуженный лакей подал им грог; некоторое время беседа шла о живописи. Бертен показывал Мюзадье этюды и попросил его взять себе тот, который ему больше всего понравится. Но Мюзадье ни на чем не мог остановиться: его смущало газовое освещение, при котором он плохо разбирался в тональности. Наконец он выбрал группу девочек, прыгающих через веревочку на тротуаре, и почти сейчас же выразил желание уйти и унести подарок.

— Я пришлю его вам,— сказал художник.

— Нет, я возьму его с собой, чтобы полюбоваться, прежде чем лягу в постель.

Ничем нельзя было удержать его, и Бертен опять очутился один в своем особняке, этой темнице его воспоминаний и мучительного волнения.

Когда на следующее утро слуга вошел к нему с чаем и газетами, он застал своего господина сидящим на кровати. Бертен был так бледен, что слуга испугался.

— Вы нездоровы, сударь? — спросил он.

— Пустяки, небольшая мигрень.

— Не прикажете ли сходить за лекарством?

— Нет. Какая погода?
— Дождь.
— Хорошо. Можете идти.

Поставив на столик чайный прибор и положив газеты, слуга ушел.

Оливье взял *Фигаро* и развернул его. Передовая статья была озаглавлена: «Современная живопись». Это был дифирамб во славу четырех или пяти молодых живописцев, которые, несомненно владея даром колорита и злоупотребляя им ради эффекта, выдавали себя за революционеров и гениальных новаторов.

Как все представители старшего поколения, Бертен негодовал на этих новых пришельцев, возмущался их нетерпимостью, оспаривал их теории. Поэтому, едва он принялся за чтение этой статьи, в нем уже зашевелился тот гнев, который так быстро вспыхивает в исстрадавшейся душе; потом, взглянув ниже, он заметил свое имя, и, как удар кулака в грудь, поразили его следующие несколько слов, которыми заканчивалась какая-то фраза: «вышедшее из моды искусство Оливье Бертена».

Он всегда был чувствителен к порицаниям и к похвалам, но в глубине души, несмотря на законное тщеславие, больше страдал, когда его порицали, нежели радовался, когда его хвалили; это происходило от неуверенности в себе, от его постоянных колебаний. Однако раньше, во времена его успеха, ему так обильно курили фимиам, что он забывал о булавочных уколах. Теперь, при непрекращающемся наплыве новых художников и новых ценителей искусства, восхваления становились реже, а хула язвительнее. Он чувствовал себя зачисленным в батальон старых талантов, которых молодежь уже не признавала своими учителями; человек умный и проницательный, он теперь одинаково страдал не только от прямых нападок, но и от малейшего намека.

Однако еще ни разу ни одна рана, нанесенная его самолюбию художника, не была до такой степени болезненна. Он задыхался, еще раз перечитал статью, стараясь уловить ее малейшие оттенки. Их выбрасывали в корзину — его вместе с несколькими другими собратьями по кисти,— выбрасывали с оскорбительной

развязностью, и он встал с постели, повторяя шепотом эти как бы запечатлевшиеся на губах слова: «вышедшее из моды искусство Оливье Бертена».

Никогда еще не чувствовал он такой горечи, такого упадка духа, ощущения, что наступает конец всему его физическому и духовному существу, никогда еще не погружался он в такую безысходную душевную тоску. До двух часов просидел он в кресле перед камином, протянув ноги к огню, не имея сил двинуться с места, заняться чем бы то ни было. Потом у него явилась потребность найти утешение, пожать преданные руки, взглянуть в верные глаза, потребность в том, чтобы его пожалели, помогли ему, потребность в ласковых, дружеских словах. И, как всегда, он отправился к графине.

Когда он вошел в гостиную, Аннета была там одна. Стоя спиной к нему, она торопливо надписывала адрес на каком-то письме. Рядом на столе лежал развернутый номер *Фигаро*. Бертен увидел одновременно газету и девушку; он растерянно остановился, не смея сделать шагу. Что, если она прочла! Она обернулась, но, занятая, поглощенная разными женскими заботами, поспешно сказала:

— А, здравствуйте, господин художник. Извините, что я вас покидаю. Наверху меня ждет портниха. Вы понимаете, портниха перед свадьбой — дело важное. Но я вам предоставлю на время маму,— она ведет переговоры и спорит с этой искусницей. А если мама мне понадобится, я потребую ее у вас обратно на несколько минут.

И она скрылась почти бегом, чтобы показать, как ей некогда.

Этот внезапный уход, без единого нежного слова, без единого ласкового взгляда,— а ведь он... он так любил ее,— глубоко взволновал его. На глаза ему опять попался *Фигаро*, и он подумал: «Она прочла! Меня высмеивают, отрицают. Она больше не верит в меня. Я уже для нее ничто».

Он сделал шаг — другой к газете, как подходят к человеку, чтобы дать ему пощечину. Потом подумал: «Может быть, она и не читала. У нее сегодня столько хлопот. Но вечером, за обедом, при ней, наверно, заговорят об этом, и она захочет прочитать статью».

Внезапным, почти бессознательным движением он поспешно, как вор, схватил газету, сложил ее, перегнул и сунул в карман.

Вошла графиня. Когда она увидела мертвенно-бледное, искаженное лицо Оливье, она поняла, что он дошел до предела своих страданий.

Она бросилась к нему с порывом, со всем порывом своей бедной, тоже истерзанной души, своего бедного, тоже измученного тела. Положив руки ему на плечи и пристально глядя в глаза, она сказала:

— О, как вы несчастны!

На этот раз он уже не отрицал; горло его судорожно сжалось, и он пролепетал:

— Да... да... да.

Она чувствовала, что он вот-вот разрыдается, и увела его в самый темный угол гостиной, где за небольшой ширмой, обтянутой старинным шелком, стояли два кресла. Они сели тут, за этой тонкой вышитой перегородкой, в сером полумраке дождливого дня.

Мучаясь этим горем, глубоко жалея его, она заговорила:

— Бедный Оливье, как вы страдаете!

Он прижался седой головой к плечу подруги.

— Сильнее, чем вы думаете! — сказал он.

Она прошептала с грустью:

— О, я это знала. Я все чувствовала. Я видела, как это началось и созрело!

Он ответил, как будто она обвиняла его:

— Я в этом не виноват, Ани.

— Я знаю... Я ни в чем не упрекаю вас...

И, чуть повернувшись к Оливье, она тихо прикоснулась губами к его глазу и ощутила в нем горькую слезу.

Она вздрогнула, словно выпила каплю отчаяния, и несколько раз повторила:

— Ах, бедный друг... бедный друг... бедный друг!..

И, после минутного молчания, прибавила:

— В этом виноваты наши сердца; они не состарились. Мое, я чувствую, бьется так живо!

Он попытался заговорить и не мог: слезы душили его. Прижавшись к нему, она слышала какое-то клокотание в его груди. И вдруг ею снова овладела эгоисти-

ческая тоска любви, так давно уже снедавшая ее, и она сказала с тем душераздирающим выражением, с каким люди говорят о только что обнаруженном ужасном несчастье:

— Боже, как вы ее любите!

Он еще раз признался:

— О да, я люблю ее!

Она ненадолго призадумалась.

— А меня? Меня вы никогда так не любили?

Он не стал отрицать, он переживал теперь одну из тех минут, когда люди говорят всю правду, и прошептал:

— Нет, я был тогда слишком молод!

Она изумилась:

— Слишком молоды? Почему?

— Потому что жизнь улыбалась мне. Только в нашем возрасте можно любить до самозабвения.

Она спросила:

— Похоже ли то, что вы испытываете близ нее, на то, что вы испытывали близ меня?

— И да и нет... а между тем это почти одно и то же. Я любил вас, как только можно любить женщину. А ее я люблю, как вас, потому что она — это вы; но любовь эта стала чем-то неотразимым, губительным, чем-то таким, что сильнее смерти. Я объят ею, как горящий дом пламенем!

Она почувствовала, что дыхание ревности иссушило в ней жалость, и заговорила тоном утешения:

— Мой бедный друг! Еще несколько дней, и она будет замужем и уедет. Не видя ее, вы, несомненно, излечитесь.

Он покачал головою:

— Нет, я погиб, я окончательно погиб!

— Да нет же, нет! Вы не увидите ее три месяца. Этого достаточно. Довольно же было вам трех месяцев, чтобы полюбить ее сильнее, чем меня, а ведь меня вы знаете уже двенадцать лет.

Тогда в избытке горя он стал молить ее:

— Ани, не покидайте меня!

— Что же я могу сделать, мой друг?

— Не оставляйте меня одного!

— Я буду навещать вас, когда бы вы ни захотели.

— Нет. Позвольте мне бывать здесь как можно чаще.

— Вы будете рядом с ней.

— И рядом с вами.

— Вы не должны ее видеть до свадьбы.

— О Ани!

— Или, по крайней мере, как можно реже.

— Можно мне остаться у вас сегодня вечером?

— Нет, в таком настроении нельзя. Вам надо развлечься, пойти в клуб, в театр, еще куда-нибудь, но не оставаться здесь.

— Я прошу вас.

— Нет, Оливье, это невозможно. Кроме того, у меня будут обедать люди, присутствие которых еще сильнее расстроит вас.

— Герцогиня и... он?..

— Да.

— Но я ведь вчера провел с ними весь вечер.

— Уж не говорите! То-то вы сегодня так хорошо себя чувствуете.

— Обещаю вам, что буду совершенно спокоен.

— Нет, это невозможно.

— Тогда я ухожу.

— Куда же вы так торопитесь?

— Мне надо походить.

— Это хорошо, ходите побольше, ходите до самой ночи, постарайтесь смертельно устать — и тогда ложитесь спать.

Он встал:

— Прощайте, Ани.

— Прощайте, дорогой друг. Я заеду к вам завтра утром. Хотите, я пойду на такую же страшную неосторожность, как бывало,— сделаю вид, что позавтракаю дома в полдень, а в четверть второго буду завтракать с вами?

— Да, превосходно. Как вы добры!

— Ведь я же люблю вас.

— И я вас тоже люблю.

— О, не говорите больше об этом.

— Прощайте, Ани.

— Прощайте, дорогой друг. До завтра.

— Прощайте.

Он перецеловал ей руки, потом поцеловал ее в виски, потом в уголки губ. Теперь глаза у него были сухие, вид решительный. Внезапно он схватил ее, заключил в объятия и, приникнув губами к ее лбу, казалось, впивал, вдыхал всю любовь, которую она питала к нему.

И быстрыми шагами, не оглядываясь, вышел.

Оставшись одна, она бессильно опустилась на стул и зарыдала. Она просидела бы так до вечера, если бы за нею не пришла Аннета. Чтобы дать себе время отереть покрасневшие глаза, графиня сказала ей:

— Мне надо написать несколько слов, детка. Иди наверх, я сию секунду приду.

Вплоть до вечера ей пришлось заниматься важным вопросом о приданом.

Герцогиня и ее племянник по-семейному обедали у Гильруа.

Только что сели за стол, все еще обсуждая вчерашнее представление, как вошел слуга с тремя огромными букетами в руках.

Г-жа де Мортмэн удивилась:

— Господи, что это такое?

Аннета воскликнула:

— О, какие красивые! Кто бы это мог прислать?

Мать ответила:

— Конечно, Оливье Бертен.

С тех пор, как он ушел, она все время думала о нем. Он показался ей таким мрачным, трагичным; ей было так понятно его безысходное горе, она так мучительно чувствовала отзвук этой скорби в себе самой и так сильно, так нежно, так безгранично любила его, что сердце ее сжималось от зловещих предчувствий.

Во всех трех букетах действительно оказались визитные карточки художника. На каждой из них он написал карандашом имена графини, герцогини и Аннеты.

Г-жа де Мортмэн спросила:

— Уж не болен ли ваш друг Бертен? Вчера он очень плохо выглядел.

И г-жа де Гильруа ответила:

— Да, он меня немного беспокоит, хотя ни на что не жалуется.

Муж ее добавил:

— Ну, с ним то же, что с нами со всеми: он ста-

реет. И за последнее время даже слишком быстро. Впрочем, мне кажется, холостяки опускаются как-то сразу. Они разваливаются скорее, чем наш брат. Он действительно сильно изменился.

Графиня вздохнула.

— О, да!

Фарандаль вдруг перестал шептаться с Аннетой и сказал:

— Сегодня утром в *Фигаро* напечатана весьма неприятная для него статья.

Графиню выводили из себя всякие нападки на талант ее друга, всякое порицание, малейший неприязненный намек.

— Ах,— сказала она,— такой выдающийся человек, как Бертен, может и не обращать внимания на подобные выпады!

Гильруа удивился:

— Как, неприятная для Оливье статья? А я не читал. На какой странице?

— На первой,— ответил маркиз,— в самом начале, под заглавием: «Современная живопись».

И депутат перестал удивляться:

— Ну, конечно, я потому ее и не прочел, что это о живописи.

Все улыбнулись, так как знали, что, кроме политики и сельского хозяйства, г-н де Гильруа мало чем интересуется.

Заговорили о другом, потом перешли в гостиную пить кофе. Графиня не слушала, еле отвечала на вопросы; ее преследовала мысль о том, что делает теперь Оливье. Где он? Обедал ли? Где мыкает в эту минуту свою неисцелимую тоску? Теперь ей было мучительно жаль, что она дала ему уйти, не удержала его, и ей представлялось, как он бродит по улицам, печальный, бездомный, одинокий, гонимый своим горем.

До самого отъезда герцогини и ее племянника она была молчалива, терзаясь смутным, суеверным страхом, затем легла в постель и лежала в темноте с открытыми глазами, думая о нем!

Прошло много времени, и вдруг ей послышался звонок в передней. Она вздрогнула, села и прислушалась. Вторично в ночной тишине продребезжал звонок.

Она соскочила с кровати, изо всей силы нажала кнопку электрического звонка, чтобы разбудить горничную, и со свечою в руке побежала в переднюю.

— Кто там? — спросила она, не отворяя двери.

Незнакомый голос ответил:

— Письмо.

— Письмо, от кого?

— От доктора.

— От какого доктора?

— Не знаю, тут про несчастный случай.

Не колеблясь больше, она открыла дверь и очутилась лицом к лицу с кучером фиакра. В руке у него была бумажка, которую он подал ей. Она прочитала: «Весьма спешное. Графу де Гильруа».

Почерк был незнакомый.

— Войдите, друг мой,— сказала она,— сядьте и подождите.

У дверей комнаты мужа сердце ее заколотилось так сильно, что у нее не хватило сил позвать его. Она постучала в дверь подсвечником. Граф спал и не слышал стука.

Тогда, теряя терпение, нервничая, она стала стучать в дверь ногою и услышала заспанный голос, спрашивавший:

— Кто там? Который час?

Она ответила:

— Это я, вам привезли спешное письмо. Случилось какое-то несчастье.

Он пробормотал из-под полога:

— Сейчас я встану. Иду.

И через минуту он появился в халате. Одновременно с ним вбежали двое слуг, разбуженные звонком. Увидев в столовой сидевшего на стуле постороннего человека, они оторопели от страха.

Граф взял письмо и стал вертеть его, бормоча:

— Что это такое? Не могу понять.

Она сказала, волнуясь:

— Да читайте же!

Он разорвал конверт, развернул письмо, вскрикнул от изумления и испуганными глазами посмотрел на жену.

— Боже мой, что такое? — сказала она.

Он не мог говорить от сильного волнения и пробормотал:

— О, большое несчастье!.. Большое несчастье!.. Бертен попал под экипаж.

Она закричала:

— Умер?

— Нет, нет,— сказал он.— Прочитайте сами.

Она выхватила у него из рук письмо, которое он протянул, и прочла:

«Милостивый государь, только что случилось большое несчастье. Нашего друга, знаменитого художника, г-на Оливье Бертена, сшиб омнибус, и колесо переехало его. Не могу еще высказаться определенно о возможных последствиях этого несчастья; оно может оказаться и не особенно серьезным, но может также немедленно повести за собой роковую развязку. Г-н Бертен настоятельно просит вас и умоляет графиню де Гильруа тотчас же приехать к нему. Надеюсь, милостивый государь, что графиня и вы не откажете исполнить желание нашего общего друга, который, быть может, не доживет до утра.

Доктор де Ривиль».

Графиня уставилась на мужа широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Затем внезапно, словно по ней прошел электрический ток, она почувствовала тот прилив мужества, который иногда, в часы бедствия, превращает женщину в самое отважное из всех живых существ.

Она обернулась к горничной:

— Скорее одеваться!

— Что прикажете подать?

— Все равно. Что хотите.

— Жак,— продолжала она, обращаясь к мужу,— будьте готовы через пять минут.

Глубоко потрясенная, возвращалась она в свою спальню и, увидев дожидавшегося кучера, спросила:

— Ваш экипаж тут?

— Да, сударыня.

— Хорошо, вы нас повезете.

И она побежала к себе.

Наскоро, порывистыми движениями безумной, за-

стегивая крючки, завязывая тесемки, она как попало набросила на себя платье, кое-как приподняла и заложила волосы перед зеркалом, глядя — и не думая теперь об этом — на отражение своего бледного лица с блуждающими глазами.

Накинув пальто, она бросилась на половину мужа, который еще не был готов, и потащила его.

— Едем,— говорила она,— подумайте, ведь он может умереть!

Граф растерянно прошел за нею, спотыкаясь, силясь разглядеть ступени неосвещенной лестницы, осторожно пащупывая их ногами.

Переезд совершился быстро и в молчании. Графиня так дрожала, что зубы ее стучали; сквозь стекло дверцы она смотрела, как за пеленою дождя пробегали мимо газовые рожки. Тротуары блестели, на бульварах не было ни души, ночь стояла мрачная. Дверь дома художника была отворена, швейцарская освещена и пуста.

Навстречу им, на верхнюю площадку лестницы, вышел доктор де Ривиль, седенький, коротенький, кругленький человечек, тщательно одетый и крайне учтивый. Он почтительно поклонился графине и пожал руку графу.

Графиня спросила его, задыхаясь, словно поднявшись по лестнице, она совершенно выбилась из сил:

— Ну, как, доктор?

— Что же, графиня, я надеюсь, что дело менее серьезно, чем показалось мне в первую минуту.

Она воскликнула:

— Он не умрет?

— Нет. По крайней мере я этого не думаю.

— Вы ручаетесь?

— Нет. Я лишь надеюсь, что имею здесь дело с простой контузией брюшной полости, без внутренних повреждений.

— Что вы называете повреждениями?

— Разрывы.

— Почему вы знаете, что их у него нет?

— Я так предполагаю.

— А если они есть?

— О, тогда это дело серьезное!

— Он может умереть от них?

— Да.

— Очень скоро?

— Очень скоро. В несколько минут или даже в несколько секунд. Но успокойтесь, сударыня, я уверен, что недели через две он поправится.

Она слушала с глубоким вниманием, стараясь все узнать, все понять.

— Какой разрыв может быть у него?

— Например, разрыв печени.

— Это очень опасно?

— Да... но я весьма удивился бы, если бы теперь произошло какое-нибудь осложнение. Войдем к нему. Это будет ему только на пользу, он ждет вас с большим нетерпением.

Войдя в комнату, она прежде всего увидела бледное лицо на белой подушке. Несколько свечей и пламя камина освещали его, обрисовывая профиль, резко выделяя тени, и на этом синевато-бледном лице графиня увидела два глаза, смотревших на нее.

Все ее мужество, вся энергия, вся решимость пропали — это осунувшееся, искаженное лицо было лицом умирающего, всего за несколько часов он превратился в какой-то призрак! «Боже мой!» — дрожа от ужаса, еле слышно прошептала она, направляясь к нему.

Он попытался улыбнуться, чтобы успокоить ее, но вместо улыбки на лице его появилась мучительная гримаса.

Подойдя к самой его постели, г-жа де Гильруа нежно положила обе руки на протянутую вдоль тела руку Оливье и прошептала:

— О мой бедный друг!

— Это ничего,— сказал он тихонько, не шевельнув головой.

Теперь она смотрела на него, потрясенная этой переменой. Он был так бледен, как будто под кожей у него не осталось уже ни капли крови. Щеки провалились, точно он всосал их, а глаза были такие впалые, словно их втащили внутрь на нитке.

Он понял ужас своей подруги и вздохнул:

— В хорошем я виде!

Все еще не сводя с него глаз, она спросила:

— Как это случилось?

Ему приходилось делать большие усилия, чтобы говорить, и мгновениями по его лицу пробегали нервные судороги.

— Я не смотрел по сторонам... думал о другом .. совсем о другом... да... и какой-то омнибус сшиб меня и переехал по животу...

Слушая его, она словно видела, как это произошло, и, охваченная ужасом, спросила:

— Вы разбились до крови?

— Нет. У меня только ушибы... я немного помят.

Она спросила:

— Где это произошло?

Он еле слышно ответил:

— Не знаю точно. Довольно далеко отсюда.

Доктор подкатил графине кресло, и она опустилась в него. Граф стоял в ногах постели, повторяя сквозь зубы:

— О бедный мой друг... бедный мой друг... какое страшное несчастье!

Он в самом деле был сильно удручен, так как очень любил Оливье.

Графиня опять спросила:

— Где же это случилось?

Доктор ответил:

— Я сам не знаю толком, или, вернее, не могу понять. Где-то около Гобеленов, почти за городом! По крайней мере кучер фиакра, доставивший его домой, утверждал, что привез его из какой-то аптеки этого района, куда его перенесли в девять часов вечера.

И, наклонившись к Оливье, доктор спросил:

— Правда ли, что это произошло в районе Гобеленов?

Бертен закрыл глаза, как бы стараясь припомнить, и прошептал:

— Не знаю.

— А куда вы шли?

— Не могу вспомнить. Шел куда глаза глядят!

У графини вырвался стон, которого она не в силах была сдержать, и на несколько секунд так стеснилось дыхание, что она чуть не задохнулась; достав из кар-

мала платок, она прижала его к глазам и страшно разрыдалась.

Она знала, она догадывалась! Какая невыносимая тяжесть легла ей на сердце: угрызения совести в том, что она не оставила Оливье у себя, прогнала его, вышвырнула на улицу. И вот он, опьянев от горя, попал под этот омнибус.

Все тем же тихим, монотонным голосом он сказал ей:

— Не плачьте. Это терзает меня.

Сделав над собою страшное усилие, она вдруг перестала рыдать, отняла от лица платок и, широко раскрыв глаза, глядела на Оливье; ни один мускул не дрогнул в ее лице, только медленно текли из глаз слезы.

Они смотрели друг на друга, оба неподвижные, соединив руки на одеяле. Они смотрели друг на друга, забыв о том, что тут есть другие люди, и во взгляде их передавалось от сердца к сердцу сверхчеловеческое волнение.

Быстро, безмолвно и грозно вставали между ними все их воспоминания, вся их — тоже раздавленная — любовь, все перечувствованное ими вместе, все, что соединяло и сливало их жизни в том влечении, которому они отдались.

Они смотрели друг на друга, и признания рвались с их уст, непреодолимо было их желание рассказать и выслушать столько сокровенных и таких грустных тайн, которыми им надо было поделиться. Она почувствовала, что необходимо, чего бы это ни стоило, удалить обоих мужчин, стоявших позади нее, что она должна найти какой-нибудь способ, какую-нибудь вдохновенную уловку; недаром же она была женщиной, изобретательной на выдумки. И она задумалась над этим, не сводя глаз с Оливье.

Ее муж и доктор тихо разговаривали. Речь шла о том, какой уход понадобится Бертену.

Повернув голову, она спросила доктора:

— Вы пригласили сиделку?

— Нет. Я предпочитаю прислать интерна: он лучше будет следить за состоянием больного.

— Пришлите и сиделку и интерна. Лишний уход не помешает. Нельзя ли вызвать их уже на эту ночь? Вы ведь, вероятно, не останетесь здесь до утра?

— Действительно, я собираюсь домой. Я здесь уже четыре часа.

— Но вы пришлете нам сиделку и интерна?

— Ночью это довольно трудно. Впрочем, я попытаюсь.

— Это необходимо.

— Они, может быть, и пообещают, но приедут ли?

— Мой муж поедет с вами и привезет их добром или силой.

— Но нельзя же вам, сударыня, оставаться здесь одной.

— Мне! — чуть не вскрикнула она, и в ее голосе послышался почти вызов, негодующий протест против какого бы то ни было противодействия ее воле. И властным, не допускающим возражений тоном она указала все, что необходимо было сделать. Не позже чем через час интерн и сиделка должны быть здесь для предупреждения всякого рода случайностей. Чтобы доставить их сюда, кто-нибудь должен поднять их с постели и привезти с собою. Только ее муж может сделать это. Тем временем при больном останется она: это ее долг и ее право. Она просто-напросто выполнит свою роль друга, роль женщины. К тому же так она хочет, и никто ее не разубедит.

Ее доводы были правильны. Пришлось согласиться с ними и так и поступить.

Она встала, с нетерпением ожидая их ухода; ей хотелось как можно скорее остаться одной. Чтобы не совершить в их отсутствии какой-нибудь оплошности, она выслушивала указания доктора, стараясь хорошенько вникнуть в них, все запомнить, ничего не забыть. Лакей Бертена, стоя рядом с нею, также слушал, а за его спиною жена его, кухарка, помогавшая при первой перевязке, кивала головой в знак того, что она тоже все поняла. Графиня повторила, как заученный урок, все указания и стала торопить обоих мужчин, повторяя мужу:

— Возвращайтесь скорее, главное — возвращайтесь скорее.

— Я повезу вас в моей карете,— сказал доктор графу.— Она быстрее доставит вас обратно. Вы будете здесь через час...

Перед отъездом доктор снова долго осматривал больного, чтобы удостовериться, что состояние его по-прежнему удовлетворительно.

Гильруа продолжал колебаться. Он промолвил:

— Не находите ли вы, что мы с вами поступаем неосторожно?

— Нет. Опасности нет. Ему нужны лишь отдых и покой. Пусть только г-жа Гильруа не позволяет ему говорить и сама говорит с ним как можно меньше.

Графиня, упав духом, переспросила:

— Значит, с ним нельзя разговаривать?

— Нет, нет, сударыня! Сядьте в кресло, посидите возле него. Он не будет чувствовать себя одиноким, и ему станет легче; но он не должен утомляться, ему не надо ни разговаривать, ни даже думать. Я приеду утром, к девяти. До свидания, сударыня, честь имею кланяться.

Он ушел с глубоким поклоном в сопровождении графа, который повторял:

— Не волнуйтесь, моя дорогая. Не пройдет и часу, как я буду обратно, и вы вернетесь домой.

Они ушли: она слышала, как стукнула внизу запертая за ними дверь и как затем на улице загромыхала отъезжавшая карета.

Слуга и кухарка оставались в комнате в ожидании приказаний. Графиня велела им уйти.

— Идите, — сказала она, — я позвоню, если мне что-нибудь понадобится.

Они тоже вышли, и она осталась подле Бертена одна.

Она снова подошла к его постели и, положив руки на края подушки, по обеим сторонам любимого лица, наклонилась и стала смотреть на него. Потом спросила, так близко приникая к его лицу, что слова ее, казалось, прикасались к нему вместе с ее дыханием:

— Вы сами бросились под этот омнибус?

Он ответил, опять пытаясь улыбнуться:

— Нет, он бросился на меня.

— Неправда, это вы.

— Нет, уверяю вас, что это он.

После нескольких минут молчания, тех минут, ко-

гда души как бы сплетаются взглядами, она прошептала:

— О мой дорогой, дорогой Оливье! И подумать только, что я дала вам уйти, что не удержала вас!

Он убежденно ответил:

— Все равно это случилось бы со мною раньше или позже.

Они опять обменялись взглядом, стараясь прочитать самые затаенные мысли друг друга. Он заговорил снова:

— Я думаю, мне уже не выжить. Я слишком страдаю.

Она пролепетала:

— Очень страдаете?

— О да!

Еще ниже склонившись над ним, она прикоснулась к его лбу, потом к глазам, потом к щекам медленными, легкими, бережно-осторожными поцелуями. Она чуть-чуть притрагивалась к нему краями губ, почти беззвучно, как целуют дети. И это длилось долго-долго. Он покорно отдавался этому дождю милых и нежных ласк, которые, казалось, успокаивали и освежали его, потому что его искаженное лицо реже, чем раньше, подергивалось судорогой.

Затем он сказал:

— Ани!

Она перестала целовать его и превратилась в слух.

— Что, друг мой?

— Вы должны дать мне одно обещание.

— Обещаю вам все, что хотите.

— Если я не умру до утра, поклянитесь мне привести ко мне Аннету, один раз, только единственный раз! Мне так не хотелось бы умереть, не повидав ее... Подумайте... что завтра... в это время... я, может быть... я, наверное, закрою глаза навеки... и больше никогда не увижу вас... ни вас... ни ее...

Она перебила его; сердце ее разрывалось.

— О, замолчите... замолчите... хорошо, обещаю вам привести ее.

— Клянетесь?

— Клянусь, друг мой... Но молчите, не говорите больше. Вы причиняете мне ужасную боль... молчите...

По лицу его пробежала быстрая судорога; он сказал:

— Раз нам остается пробыть наедине лишь несколько минут, не станем терять их, воспользуемся ими, чтобы проститься. Я вас так любил...

Она вздохнула:

— А я... как я все еще люблю вас!

Он прибавил:

— Я узнал счастье лишь с вами. Только последние дни были тяжелы... Это не ваша вина... Ах, бедная моя Ани, как иногда печальна жизнь... и как тяжело умирать!

— Молчите, Оливье. Умоляю вас...

Он продолжал, не слушая ее:

— Я был бы так счастлив, не будь у вас дочери...

— Молчите... Боже мой!.. Молчите...

Он, казалось, скорее размышлял вслух, чем говорил с нею.

— Ах, тот, кто придумал эту жизнь и создал людей, был или слеп, или очень зол!..

— Оливье, умоляю вас... Если вы меня когда-нибудь любили, замолчите... Не говорите так больше.

Он не сводил с нее глаз. Склонившееся над ним лицо было мертвенно-бледно; она сама была похожа на умирающую. И он замолчал.

Тогда она села в кресло, у самой постели, и снова взяла его руку, вытянутую поверх простыни.

— Теперь я запрещаю вам говорить,— сказала она.— Не шевелитесь больше и думайте обо мне, а я буду думать о вас.

Неподвижные, связанные между собою этим жгучим прикосновением, они опять стали смотреть друг на друга. Она держала его лихорадочно горячую руку и поминутно слабо пожимала ее, а он в ответ на этот призыв слегка шевелил пальцами. Каждое это пожатие говорило им о чем-нибудь, вызывало в памяти частичку минувшего прошлого, оживляло померкшие воспоминания об их любви. Каждое это пожатие было затаенным вопросом и каждое было таинственным ответом, но печальны были ответы и печальны вопросы, эти «вы помните ли?» старой любви.

В это предсмертное свидание, которое, быть может, было последним, они мысленно повторили, год за годом, всю историю своей любви. И только потрескивание горящих дров слышалось в комнате.

Вдруг, испуганно вздрогнув, словно проснувшись, он сказал:

— Ваши письма!

Она спросила:

— Что? Мои письма?

— Я мог бы умереть, не уничтожив их.

Она воскликнула:

— Ах, что мне до этого! Какое это имеет значение! Пусть их найдут, пусть прочтут, мне безразлично!

Он возразил:

— А я этого не хочу. Встаньте, Ани. Откройте нижний ящик письменного стола, большой ящик, они там все, все. Их надо сжечь.

Она не двигалась и сидела, вся съежившись, как будто он предлагал ей сделать какую-то подлость.

Он опять заговорил:

— Ани, умоляю вас. Если вы этого не сделаете, вы меня измучите, вконец расстроите, доведете до сумасшествия. Подумайте только: они могут попасть бог весть в чьи руки, в руки нотариуса, лакея... или даже вашего мужа... Я этого не хочу...

Она встала, все еще колеблясь и повторяя:

— Нет, это слишком тяжело, слишком жестоко! Мне кажется, что вы требуете от меня сжечь наши сердца.

Он молил ее, и лицо его было искажено тоскою.

Видя, как он страдает, она покорилась и подошла к столу. Выдвинув ящик, она увидела, что он набит до краев множеством писем, и на всех конвертах узнала две строки с адресом, который она так часто писала. Эти две строки — имя адресата и название улицы — она знала так же хорошо, как свое собственное имя, как знают те несколько слов, в которых сосредоточены вся надежда и все счастье жизни. Она смотрела на эти маленькие четырехугольники, в них было все, что она сумела сказать о своей любви, все, что она могла оторвать от себя и отдать ему в нескольких каплях чернил, на белой бумаге.

Он с усилием повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и еще раз сказал:

— Сожгите их поскорее.

Тогда она взяла две пачки писем и несколько мгновений держала их в руках. Они казались тяжелыми, скорбными, живыми и умершими,— ведь в них было так много различных чувств, мечтаний, таких милых, которым ныне уж конец. В ее руках сейчас была душа ее души, сердце ее сердца, сущность ее любящего существа, и ей вспомнилось, в каком упоении восторга набрасывала она некоторые из этих писем, как ликовала от счастья, что живет, обожает кого-то и говорит ему о своем обожании.

Оливье повторил:

— Сожгите, сожгите их, Ани.

Одним взмахом рук она кинула обе пачки в камин, и листки рассыпались, упав на дрова. Затем она схватила из ящика другие письма и бросила их поверх, потом еще и еще, быстро наклоняясь и мгновенно выпрямляясь, чтобы поскорее кончить эту ужасную работу.

Когда камин наполнился, а ящик опустел, она замерла в ожидании, глядя, как полузаглохшее пламя ползет по краям этой горы конвертов. Оно нападало на них сбоку, грызло их углы, пробегало по полям бумаги, угасало, снова вспыхивало, ширилось. Скоро вся эта белая пирамида была опоясана живым, ярким пламенем; оно залило светом комнату, и этот свет, который озарял неподвижно стоящую женщину и лежащего мужчину, был их сгоравшей любовью, превращавшейся в пепел.

Графиня обернулась и при этом ярко вспыхивающем освещении увидела своего друга: Оливье, с блуждающим взглядом, склонился над краем постели.

— Все? — спросил он.

— Да, все.

Но прежде чем подойти к нему, она бросила последний взгляд на догоревшие остатки и увидела, как по куче полусожженной, уже покоробившейся и почерневшей бумаги течет что-то красное. Можно было подумать, что это капли крови. Они, казалось, сочились из самого сердца писем, из каждой буквы, как из раны,

и тихо стекали в пламя, оставляя за собой пурпурный след.

Графиню словно ударило что-то, ее охватил сверхъестественный ужас, она отшатнулась, как если бы на ее глазах кого-то убивали, но потом поняла, вдруг поняла, что это просто таяли сургучные печати.

Тогда она вернулась к больному и, нежно приподняв его голову, осторожно положила на середину подушки. Но он потревожил себя, и боли усилились. Теперь он задыхался, лицо его было искажено жестоким страданием, и он, казалось, перестал сознавать, что она здесь.

Она ждала, чтобы он успокоился немного, открыл напряженно сомкнутые веки и взглянул на нее, сказал бы ей еще какое-нибудь слово.

Наконец она спросила:

— Вам очень больно?

Он не ответил.

Она наклонилась над ним и прикоснулась пальцем к его лбу, чтобы заставить его взглянуть на нее. Он действительно раскрыл глаза, растерянные, безумные глаза.

Она в ужасе повторила:

— Вам больно?.. Оливье! Отвечайте мне! Хотите, я кого-нибудь позову... Сделайте усилие, скажите что-нибудь!

Ей показалось, что он прошептал:

— Приведите ее... вы мне поклялись...

И он заметался под простыней, тело его извивалось, лицо исказила судорожная гримаса.

Она повторяла:

— Оливье! Боже мой! Оливье, что с вами? Хотите, я позову...

На этот раз он ее услышал и ответил:

— Нет... ничего.

Он как будто в самом деле успокоился, уже не так сильно страдал и вдруг погрузился в какое-то дремотное оцепенение. Надеясь, что он уснет, она опять села у постели, взяла его руку и стала ждать. Он больше не двигался: подбородок его опустился на грудь, рот был полуоткрыт, дышал он коротко и часто, и казалось, что при каждом вздохе у него першило в горле. Только

пальцы по временам непроизвольно сжимались, слабо вздрагивали, и при каждом таком вздрагивании у графини шевелились волосы и нервы напрягались так, что ей хотелось кричать. Это уже не были те намеренные нежные пожатия, которые вместо усталых губ рассказывали обо всех горестях их сердец, это была неутихающая судорога, говорившая лишь о телесных страданиях.

Теперь ее объял страх, ужасный страх, и безумное желание уйти, позвонить, позвать кого-нибудь, но она не смела двинуться, чтобы не потревожить его покой.

С улицы сквозь стены доносился отдаленный грохот экипажей, и она прислушивалась, не остановятся ли эти катящиеся колеса у дверей дома, не придет ли муж освободить ее, оторвать ее, наконец, от этого мрачного свидания с другом.

Она попыталась было освободить свою руку из руки Оливье, но он сжал ее, испустив глубокий вздох. Тогда она решила покорно ждать, чтобы не волновать его.

Огонь умирал в камине под черным пеплом писем; две свечи догорели, потрескивала мебель.

Все в доме было погружено в безмолвие, все, казалось, вымерло, и только высокие фламандские часы на лестнице, мерно отбивая половины и четверти, играли в ночной тишине марш Времени на своих разноголосых колокольчиках.

Графиня сидела неподвижно, чувствуя, как в душе ее нарастает невыносимый ужас. Ее осаждали кошмары, ее ум мутился от страшных мыслей, ей стало казаться, что пальцы Оливье холодеют в ее руке. Неужели... Нет, нет! Откуда же это ощущение неизъяснимого, леденящего прикосновения? Вне себя от ужаса, она приподнялась и заглянула ему в лицо. Он лежал, вытянувшись, бездыханный, безучастный, равнодушный ко всякому страданию, умиротворенный Вечным Забвением.

С ЛЕВОЙ РУКИ

АЛЛУМА

I

Один из моих друзей сказал мне:

— Если, путешествуя по Алжиру, тебе случится заехать в окрестности Бордж-Эббаба, навести старого моего приятеля Обалля; он обосновался там колонистом.

Я позабыл фамилию Обалль и название Эббаба и вовсе не думал об этом колонисте, как вдруг по чистой случайности попал к нему в дом.

Уже около месяца я бродил пешком по этой прекрасной стране, простирающейся от Алжира до Шершелля, Орлеанвиля и Тиаре,— стране лесистой и в то же время оголенной, величественной и пленительной. Между горными хребтами там встречаются густые сосновые леса в тесных лощинах, где зимою бурлят потоки. Исполинские деревья, упавшие поперек оврагов, служат у арабов мостами; лианы обвивают мертвые стволы, украшая их живыми побегами. В неисследованных складках гор открываются ущелья дивной красоты и ручьи с отлогими, поросшими олеандрами берегами, полные невыразимой прелести.

Но самым сладостным воспоминанием этого путешествия остались в моей душе вечерние переходы по лесным тропинкам вдоль волнистых склонов, высоко над огромной бурой холмистой равниной, раскинувшейся от синего моря до цепи Уарсенийских гор, вершины которых покрыты кедровыми лесами Тениет-эль-Хаад.

В тот день я сбился с дороги. Я только что взобрался на вершину и увидел перед собою, за грядами холмов, обширную низину Митиджи, а еще дальше, на гребне другого горного хребта, в едва различимой дали, странный памятник, прозванный «Могилой христианки»; говорят, это фамильная усыпальница мавританских халифов. Я стал спускаться по южному склону. Вдали передо мной, вплоть до самых гор, вздымавшихся к ясному небу на пороге пустыни, открылась равнина, холмистая, волнообразная, рыжая, такая рыжая, словно все ее холмы были устланы львиными шкурами, сшитыми вместе. Там и сям среди них выдавался какой-нибудь бугор, высокий, острый и желтый, как мохнатый горб верблюда.

Я шел быстрым шагом, с легкостью, какую обычно ощущаешь, сходя с горы по извилистым тропинкам. Ничто не обременяет при этих быстрых переходах в свежем горном воздухе, ничто не тяготит — ни тело, ни сердце, ни мысли, ни заботы. В этот час я освободился от всего, что гнетет и терзает нашу жизнь, я испытывал только радость от быстрого спуска. Вдалеке я различал кочевья арабов — то темные остроконечные палатки, лепившиеся по земле, точно морские улитки по скалам, то гурби — сплетенные из ветвей шалаши, откуда вился сероватый дымок. Белые фигуры, мужские и женские, медленно бродили вокруг, и колокольчики пасущихся стад чуть слышно позвякивали в вечернем воздухе.

На пути мне попадались деревья толокнянки, клонившиеся к земле под тяжестью пурпурных плодов, которыми они усыпали дорогу. Казалось, это были деревья-мученики, источавшие кровавый пот,— с каждой ветки, точно капля крови, свешивалась красная ягода.

Вся земля вокруг была орошена этим кровавым дождем, как будто после пытки, и я, давя ногами плоды, оставлял за собою следы убийцы. Иногда я срывал на ходу самые спелые ягоды и ел их.

Долины заволакивал бледный туман, медленно подымавшийся кверху, словно пар от боков вола; а над цепью гор, замыкавших горизонт на рубеже Сахары, пылало библейское небо. Длинные золотые полосы чередовались с кровавыми — снова кровь, кровь и золо-

то, вся история человечества,— и меж ними открывался порою узкий просвет в зеленоватую лазурь, бесконечно далекую, как греза.

О, как я был далеко, как далеко от всех людей и всех дел Парижа, как далеко от самого себя — ведь я обратился в какого-то бродягу, существо без мыслей и забот, в блуждающее око, которое вечно движется, смотрит, любуется,— но еще дальше я был от намеченного пути, о котором и думать забыл, так как с наступлением ночи обнаружил, что заблудился.

Мрак хлынул на землю темным ливнем, и я уже не различал перед собой ничего, кроме бесконечных горных хребтов. Где-то внизу, в долине, показались палатки, я спустился туда и попытался узнать у первого встречного араба, в какую сторону лежал мой путь.

Угадал ли он смысл моих слов? Не знаю; он долго объяснял что-то, но я так ничего и не понял С отчаяния я уже готовился, завернувшись в ковер, провести ночь возле арабского стана, как вдруг мне послышалось, что среди множества странных слов я уловил название Бордж-Эббаба.

Я повторил:

— Бордж-Эббаба?

— Да, да.

Я показал ему два франка, целое состояние! Он зашагал вперед, я за ним. О! Как долго шел я в непроглядном мраке вслед за бледным призраком, который бежал передо мной босиком по каменистым тропинкам, где я сам то и дело спотыкался.

Вдруг блеснул огонек. Мы подошли к дверям белого дома, похожего на укрепленный пост, с глухими стенами, без наружных окон. Я постучался, во дворе залаяли собаки. Какой-то голос спросил по-французски:

— Кто там?

Я отозвался:

— Здесь живет господин Обалль?

— Здесь.

Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с г-ном Обаллем. Это был высокий белокурый человек богатырского сложения, с добродушным лицом, в домашних туфлях, с трубкой во рту.

Я назвал себя; он протянул мне обе руки, говоря:

— Будьте как дома, сударь.

Четверть часа спустя я с аппетитом ужинал, сидя напротив хозяина, который продолжал курить.

Я знал его историю. Промотав на женщин крупное состояние, он вложил все, что у него оставалось, в алжирские земли и начал возделывать виноградники.

Дело пошло хорошо; он зажил счастливо, и у него действительно был спокойный вид человека, довольного своей судьбой. Я не понимал, как мог этот парижанин, этот прожигатель жизни, привыкнуть к такому однообразному существованию в полном одиночестве, и стал его расспрашивать.

— Давно ли вы здесь?

— Уже девять лет.

— И на вас никогда не нападает тоска?

— Нет, к здешним местам привыкаешь и в конце концов начинаешь их любить. Вы не поверите, как эта страна захватывает человека, воздействуя на множество сокровенных животных инстинктов, которых мы в себе и не подозреваем. Вначале мы привязываемся к ней нашими органами чувств, испытывая бессознательное ощущение довольства, в котором сами не отдаем себе отчета. Воздух и климат против воли покоряют наше тело, а лучезарный свет, заливающий все вокруг, естественно поддерживает ясное и радостное состояние духа. Солнце непрестанно вторгается в нас целыми потоками и, право же, как будто омывает все темные закоулки души.

— Ну, а женщины?

— Ах... вот этого немного не хватает.

— Немного?

— Боже мой, ну да... немного. Ведь в арабском племени всегда можно найти услужливых туземцев, которые готовы позаботиться о ночах руми.

Он обернулся к арабу, который нам прислуживал, высокому смуглому малому с черными глазами, сверкавшими из-под тюрбана, и сказал ему:

— Ступай, Магомет, я позову тебя, когда понадобится.

Потом обратился ко мне:

— Он понимает по-французски, а я хочу рассказать вам одно происшествие, где он играл важную роль.

Когда тот вышел из комнаты, Обалль продолжал:

— Это случилось после того, как я прожил здесь около четырех лет; я еще не наладил как следует свою жизнь в этой стране и с трудом объяснялся на местном языке; поэтому мне приходилось время от времени ездить в Алжир, так как я не порвал окончательно со страстями, столь роковыми для меня в прошлом.

Я купил эту ферму, этот бордж, бывший сторожевой пост; он расположен в нескольких сотнях метров от туземного поселка, откуда я беру работников для моих виноградников. По приезде я нанял себе слугу, этого высокого молодца, которого вы только что видели, Магомета бен Лам'хара, из племени Улад-Таджа, и вскоре он чрезвычайно ко мне привязался. Не желая ночевать в доме, так как не привык спать под крышей, он раскинул свою палатку в нескольких шагах от дверей, чтобы я всегда мог кликнуть его из окна.

Вы легко можете представить себе мою жизнь. Целые дни я следил за обработкой земли и посадками, изредка охотился, обедал у офицеров соседних постов или же угощал их у себя.

Что же касается... развлечений, я уже говорил вам, что Алжир предоставлял мне самые утонченные; а иногда во время прогулок меня останавливал услужливый, сердобольный араб и предлагал привести ко мне на ночь женщину своего племени. Иной раз я соглашался, но чаще отказывался, боясь осложнений, которые это могло вызвать.

Однажды вечером, в начале лета, когда я вернулся с обхода своих земель, мне зачем-то понадобился Магомет; я не стал звать его, а прямо вошел к нему в палатку, как заходил и раньше.

На большом красном ковре из великолепной джебель-амурской шерсти, густом и мягком, как перина, спала женщина или девушка, почти обнаженная, прикрыв глаза ладонью. Ее тело, сверкающее белизной в луче света, проникавшем сквозь завесу шатра, показалось мне одним из самых совершенных образцов арабского племени, какие мне случалось видеть. В здешних краях женщины красивы, высоки ростом, сложены на редкость пропорционально, черты их лица необычайно правильны.

Слегка смутившись, я опустил край палатки и вернулся к себе.

Я люблю женщин! Это видение обожгло и пронзило меня, точно молния, пробудив в моих жилах прежний губительный пыл, по вине которого я и попал сюда. Стоял июль, было жарко, и я провел почти всю ночь у окна, не отводя глаз от палатки Магомета, темневшей смутным пятном.

Когда на другой день он вошел ко мне в комнату, я посмотрел на него в упор, и он опустил голову со смущенным и виноватым видом. Уж не догадался ли он, что я все знаю?

Я спросил его внезапно:

— Так ты женат, Магомет?

Он покраснел и пробормотал:

— Нет, мусье!

Я заставлял его говорить по-французски и обучать меня по-арабски, поэтому у нас зачастую получался смешанный язык, довольно-таки сумбурный.

Я продолжал:

— Тогда почему же у тебя женщина?

Он пробормотал:

— Он с юга.

— Ах, она с юга! Но это не объясняет, как она попала к тебе в палатку.

Не отвечая на мой вопрос, он сказал:

— Он очень красивый.

— Ах, вот что! Ну, так в следующий раз, когда к тебе придет очень красивая женщина с юга, будь любезен послать ее в мой шатер, а не в свой. Понял, Магомет?

Он ответил с величайшей серьезностью:

— Да, мусье.

Признаюсь, в течение целого дня я испытывал бурное волнение при воспоминании об этой арабской девушке, раскинувшейся на красном ковре, и, когда я пришел к обеду домой, меня сильно потянуло опять заглянуть в палатку Магомета. Вечером он прислуживал мне, как обычно, с бесстрастным лицом, и я несколько раз чуть не спросил, долго ли он будет прятать в шатре из верблюжьей шерсти эту красавицу с юга.

Около девяти часов, все еще обуреваемый желани-

ем, столь же упорным, как охотничий инстинкт у собак, я вышел из дому, чтобы подышать воздухом и побродить вокруг конуса из темной ткани, сквозь которую просвечивала блестящая точка огня.

Потом я ушел подальше, чтобы Магомет не застал меня около своего жилища.

Возвратившись домой час спустя, я отчетливо разглядел в палатке его профиль. Вынув из кармана ключ, я прошел к себе в бордж, где помещались вместе со мной мой управляющий, двое работников французов и старая повариха, нанятая в Алжире.

Я поднялся по лестнице и удивился, заметив полоску света под своей дверью. Я отворил ее и прямо перед собой, на соломенном стуле возле стола, где горела свеча, увидел девушку с лицом древнего изваяния, разукрашенную всевозможными серебряными безделушками, какие носят женщины юга на ногах, на руках, на шее, даже на животе. Она, по-видимому, спокойно ждала моего прихода. Глаза ее, увеличенные кхолем, были устремлены на меня; четыре синих знака, в виде звезды, искусно нататуированные на коже, украшали ее лоб, щеки и подбородок. Увешанные браслетами руки покоились на бедрах. Одета она была в спадающую с плеч красную шелковую геббу.

Когда я вошел, она поднялась и встала передо мной во весь рост с видом горделивой покорности, блистая своими дикарскими украшениями.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я по-арабски.

— Я пришла, потому что мне так приказано.

— Кто тебе приказал?

— Магомет.

— Хорошо. Садись.

Она села, опустив глаза, а я стоял перед ней и разглядывал ее.

Лицо у нее было своеобразное, правильное, тонкое, с несколько чувственным выражением и в то же время таинственное, как лицо Будды. Полные ярко-красные губы и темные соски указывали на легкую примесь негритянской крови, хотя плечи и руки отличались безупречной белизной.

Я не знал, что делать, был взволнован, смущен, очарован. Чтобы выиграть время и собраться с мыслями, я

стал расспрашивать ее, откуда она, как попала в эту местность и в каких она отношениях с Магометом. Но она отвечала лишь на самые неинтересные для меня вопросы, и мне так и не удалось дознаться, почему она пришла, с какой целью, кто ее послал, когда именно и что произошло между нею и моим слугой.

Я хотел было сказать ей: «Возвращайся в палатку к Магомету»,— но она порывисто поднялась, может быть, угадав мое намерение, закинула обнаженные руки — при этом движении все ее браслеты, зазвенев, соскользнули к плечам,— обняла меня за шею и притянула к себе с вкрадчивой и непреодолимой властностью.

Глаза ее, загоревшиеся желанием обольстить, той жаждой покорить мужчину, которая придает кошачье очарование коварному взгляду женщин, завлекали меня, порабощали, лишали способности сопротивляться, возбуждали во мне неистовый пыл. То была короткая борьба одних взглядов, безмолвная, яростная, вечная борьба двух зверей в человеческом образе, самца и самки, в которой самец всегда оказывается побежденным.

Ее руки обвивали мою шею и медленным, покоряющим движением, неодолимым, как механическая сила, притягивали меня к ее красным губам, раскрытым в чувственной улыбке, и вдруг наши губы слились, и я обнял это почти обнаженное тело, увешанное с головы до ног серебряными кольцами, которые звенели от моих объятий.

Она была гибкая, здоровая, как животное, и ее повадки, движения, грация, особый аромат, чем-то напоминающий газель, сообщали ее поцелуям неизведанную сладость, незнакомую моим чувствам, как вкус тропических плодов.

Вскоре... я говорю вскоре, хотя, может быть, то было уже под утро... я хотел отослать ее; я полагал, что она уйдет так же, как пришла, и еще не думал, что с нею будет дальше.

Но как только она поняла мое намерение, она прошептала:

— Если ты прогонишь меня, куда же я пойду в эту ночную пору? Мне придется спать на голой земле. Позволь мне лечь на ковре, в ногах твоей постели.

Что я мог возразить? Что было мне делать? Я подумал, что Магомет, должно быть, смотрит теперь на освещенное окно моей комнаты, и всевозможные вопросы, не приходившие мне в голову в смятении первых минут, всплыли в моем сознании.

— Оставайся,— сказал я,— мы потолкуем.

Мое решение было принято в один миг. Уж если случай бросил эту девушку ко мне в объятия, я оставлю ее у себя, спрячу ее в моем доме как любовницу-рабыню, наподобие женщин гарема. Когда она мне наскучит, я без труда избавлюсь от нее тем или иным способом, — ведь на африканской земле эти создания принадлежат нам почти целиком, душою и телом.

Я сказал ей:

— Я буду добр к тебе. Я буду обращаться с тобой хорошо и не обижу тебя, но я хочу знать, кто ты такая и откуда пришла.

Она поняла, что надо ответить, и рассказала мне свою историю, вернее, какую-то историю, так как, без сомнения, лгала с начала до конца, как лгут все арабы — всегда, по любому поводу и без всякого повода.

Вот одно из самых поразительных и самых необъяснимых свойств туземного характера — лживость. Эти люди, в которых ислам внедрился до такой степени, что стал частью их природы, воспитал их чувства, создал особую мораль, видоизменил целую расу и отделил ее от других, как цвет кожи отличает негра от белого,— все они лживы до мозга костей, настолько лживы, что нельзя верить ни единому их слову. Обязаны ли они этим своей религии? Не знаю. Нужно пожить среди них, чтобы понять, насколько ложь срослась с их существом, сердцем, душой, насколько она стала как бы второй их натурой, жизненной потребностью.

Итак, она рассказала мне, что она дочь каида из племени Улед-Сиди-Шейх и женщины, похищенной им у туарегов во время набега; женщина эта была, наверное, чернокожей рабыней или происходила от смешения арабской крови с негритянской. Негритянки, как известно, высоко ценятся в гаремах за свою чувственность.

Ничто, впрочем, не указывало в девушке на такое происхождение, разве только ярко окрашенные губы

и темные соски удлиненных грудей, заостренных и упругих, вздымавшихся, словно на пружинах. В этом внимательный взгляд не мог бы ошибиться. Но во всем остальном она принадлежала к красивой расе юга — белая, гибкая, с правильными и строгими чертами тонкого лица, напоминающего лица индусских изваяний. Широко расставленные глаза придавали этой дочери пустыни еще большее сходство с каким-то божеством.

О ее подлинной жизни я так и не узнал ничего определенного. Она бестолково болтала о каких-то мелочах, как бы случайно всплывавших в ее беспорядочной памяти, приплетая к ним ребячески-наивные наблюдения, целый мир образов кочевого народа, родившийся в мозгу этой белки, которая перескакивала из шатра в шатер, из стана в стан, из племени в племя.

Все это она выложила с присущим ее горделивому народу суровым видом, с лицом идола, которому вздумалось поболтать, и с несколько забавной важностью.

Когда она кончила, я заметил, что так ничего и не запомнил из всего этого длинного рассказа, полного незначительных происшествий, накопившихся в ее ветреной головке; и я спрашивал себя: не хотела ли она просто-напросто одурачить меня пустой болтовней, из которой я не узнал ничего ни о ней самой, ни о каком-либо событии ее жизни?

И я задумался об этом покоренном народе, на земле которого мы обитаем или, вернее, который обитает среди нас; мы начинаем говорить на его языке, мы наблюдаем его повседневную жизнь сквозь прозрачный полог шатра, предписываем ему наши законы, правила, обычаи, и все же мы ничего о нем не знаем, понимаете ли — решительно ничего, как будто не живем здесь вот уже шестьдесят лет и не заняты исключительно тем, что его изучаем. Мы так же мало знаем о том, что происходит в этом шалаше из ветвей или в этой маленькой изодранной палатке, укрепленной на колышках в двадцати метрах от нашей двери, как и о том, что делают, о чем думают, что представляют собой так называемые цивилизованные арабы в мавританских домах Алжира. За выбеленными известкой стенами своих городских домов, за плетеной стенкой гурби или за тонкой, колышемой ветром бурой занавеской из

верблюжьей шерсти,— они живут возле нас, неведомые, загадочные, лживые, замкнутые, покорные, улыбающиеся, непроницаемые. Поверите ли, разглядывая издали в бинокль соседний стан, я отлично вижу, что у них сохранилось много суеверий, обрядов, обычаев, о которых мы еще не знаем и даже не подозреваем! Быть может, никогда еще народ, побежденный насилием, не уклонялся с такой ловкостью от действительного порабощения, от нравственного влияния, от настойчивого, но бесполезного изучения со стороны победителя.

И тут я вдруг почувствовал сильнее, чем когда-либо, что между этой арабской девушкой и мною, между женщиной, которая только что отдалась, покорилась моим ласкам, и мною, который обладал ею, встала непреодолимая и таинственная преграда, воздвигнутая между расами непостижимой природой.

Только теперь мне пришло в голову спросить ее:

— Как тебя зовут?

Несколько мгновений она молчала, и я видел, как она вздрогнула, словно уже успела забыть о моем присутствии. И по ее глазам, поднятым на меня, я угадал, что достаточно одной минуты и ее одолеет сон, непобедимый, внезапный сон, почти молниеносный, как все, что овладевает изменчивыми чувствами женщин.

Она ответила лениво, подавив зевок:

— Аллума.

Я спросил:

— Тебе хочется спать?

— Да,— сказала она.

— Ну, что же, спи.

Она спокойно улеглась рядом со мною, вытянувшись на животе, опершись лбом на скрещенные руки, и я почти сейчас же почувствовал, как бессвязные мысли этой дикарки угасли в забытьи.

Лежа рядом с нею, я погрузился в раздумье, стараясь понять происшедшее. Почему Магомет отдал ее мне? Поступил ли он, как великодушный слуга, который настолько предан своему господину, что уступает ему женщину, пришедшую к нему в палатку, или же, бросив на мое ложе эту приглянувшуюся мне девушку, он руководился мыслью более сложной, более корыстной, менее благородной? Когда дело касается женщин,

арабы проявляют, с одной стороны, целомудренную строгость, с другой — постыдную услужливость; в их суровой и одновременно сговорчивой морали так же трудно разобраться, как и в прочих их чувствах. Возможно, что, случайно войдя в шатер Магомета, я предвосхитил намерения догадливого слуги, который сам собирался предложить мне эту женщину, свою подругу, сообщницу, а может быть, и любовницу.

Все эти предположения теснились в моей голове и так меня утомили, что я, в свою очередь, погрузился в глубокий сон.

Я проснулся от скрипа двери: Магомет, как всегда, пришел разбудить меня. Он растворил окно, и ворвавшийся солнечный поток осветил на постели еще спавшую Аллуму. Магомет подобрал с ковра мои брюки, жилет и куртку, чтобы вычистить их. Он ни разу не взглянул на женщину, лежавшую рядом со мною, не подал и виду, что замечает ее присутствие; ни его обычная важность, ни походка, ни выражение лица не изменились. Однако дневной свет, движение, осторожные шаги босых ног, свежий воздух, который пахнул на нее и проник в ее легкие, пробудили Аллуму от забытья. Она вытянула руки, повернулась, раскрыла глаза, взглянула на меня, с одинаковым равнодушием взглянула на Магомета и села на постели. Потом пробормотала:

— Я хочу есть.

— Чего ты хочешь? — спросил я.

— Кахуа.

— Кофе и хлеба с маслом?

— Да.

Стоя у нашего ложа с моим платьем, перекинутым через руку, Магомет ожидал приказаний.

— Принеси завтрак для Аллумы и для меня,— сказал я.

И он вышел, не выразив ни малейшего удивления, ни малейшего недовольства.

После его ухода я спросил у молодой арабки:

— Хочешь жить у меня в доме?

— Да, хочу.

— Я отведу тебе отдельное помещение и дам женщину для услуг.

— Ты великодушен, я благодарна тебе.

— Но если ты будешь плохо себя вести, я тебя прогоню.

— Я буду делать все, что ты потребуешь.

Она взяла мою руку и поцеловала в знак покорности.

Магомет снова вошел, неся подпос с завтраком. Я сказал ему:

— Аллума будет жить у меня в доме. Расстели ковры в комнате в конце коридора и пошли за женой Абд эль-Кадир эль-Хадара; она будет ей прислуживать.

— Слушаю, мусье.

Вот и все.

Час спустя арабская красавица водворилась в большой светлой комнате, и когда я зашел проверить, все ли устроено как следует, она попросила умоляющим голосом подарить ей зеркальный шкаф. Пообещав ей этот подарок, я вышел. Я оставил ее сидящей на корточках на джебель-амурском ковре, с папироской во рту; она так оживленно болтала со старой арабкой, за которой я послал, как будто они знали друг друга давным-давно.

II

Целый месяц я был очень счастлив с нею и странным образом привязался к этому существу чужой расы, казавшемуся мне как бы существом другой породы, рожденным на иной планете.

Я не любил ее, нет, нельзя любить дочерей этой первобытной страны. Между ними и нами, даже между ними и мужчинами их племени, никогда не расцветает голубой цветок северных стран. В этих женщинах еще слишком много животных инстинктов, души их слишком примитивны, чувства недостаточно развиты, чтобы пробудить в нас сентиментальный восторг, составляющий поэзию любви. Ничто духовное, никакое опьянение ума не примешивается к чувственному опьянению, которое вызывают в нас эти обворожительные и ничтожные создания.

Однако они держат нас в своей власти, они опуты-

вают нас, как и прочие женщины, только по-иному, не так цепко, не так жестоко, не так мучительно.

Чувство, которое я испытывал к этой девушке, я и сейчас не сумел бы определить. Я уже говорил вам, что этот край, эта оголенная Африка, страна без искусств, без всяких духовных развлечений, постоянно покоряет наше тело незнакомым, но неотразимым очарованием, лаской воздуха, неизменной прелестью утренних и вечерних зорь, лучезарным светом, благотворным воздействием на все наши чувства. Так вот, Аллума покорила меня таким же образом — множеством скрытых чар, пленительных, чисто физических, ленивой восточной негой своих объятий, своей любовной покорностью.

Я дал ей полную свободу; она могла уходить из дому, когда ей вздумается, и по крайней мере через день проводила послеполуденные часы в соседнем поселке, среди жен моих работников-туземцев. Нередко она целыми днями любовалась своим отражением в зеркале шкафа из красного дерева, который я выписал из Милианы. Она без зазрения совести восхищалась собой, стоя перед большой зеркальной дверцей и изучая каждое свое движение с глубоким и серьезным вниманием. Она выступала, слегка запрокинув голову, чтобы видеть свои бедра и стан, поворачивалась, отходила, подходила ближе, а затем, утомившись, усаживалась на подушки против зеркала, не спуская с него глаз, со строгим лицом, вся погрузившись в созерцание.

Вскоре я заметил, что она почти каждый день уходит куда-то после завтрака и пропадает до вечера.

Слегка обеспокоенный, я спросил Магомета, не знает ли он, что она делает в эти долгие часы отсутствия. Он ответил спокойно:

— Не тревожься, ведь скоро рамадан. Должно быть, он ходит на молитву.

Он тоже, казалось, был рад, что Аллума живет у нас в доме; но ни разу не заметил я между ними ничего подозрительного, ни разу мне не показалось, что они прячутся от меня, сговариваются или что-нибудь скрывают.

И я примирился с создавшимся положением, не вникая в него, предоставляя все времени, случаю и самой жизни.

Нередко, обойдя свои земли, виноградники и пашни, я отправлялся пешком в дальние прогулки. Вам знакомы великолепные леса в этой части Алжира, почти непроходимые овраги, где поваленные кедры преграждают течение горных потоков, узкие долины олеандров, которые с высоты гор кажутся восточными коврами, разостланными по берегам речки. Вы знаете, что повсюду в лесах и на склонах холмов, где как будто еще не ступала нога человека, можно натолкнуться на снежно-белый купол куббы, где покоятся кости какого-нибудь смиренного марабута-отшельника, гробницу которого лишь изредка посещают особенно рьяные почитатели, приходящие из соседнего дуара со свечой, чтобы возжечь ее на могиле святого.

И вот однажды вечером, возвращаясь домой, я проходил мимо одной из таких магометанских часовен и, заглянув в открытую дверь, увидел женщину, молившуюся перед святыней. Прелестная была картина — эта арабка, сидящая на земле в заброшенной часовенке, где ветер разгуливал на воле, наметая по углам в золотистые кучи тонкие сухие иглы, опавшие с сосен. Я подошел поближе, чтобы лучше разглядеть, и вдруг узнал Аллуму. Она не заметила меня, не слыхала ничего, всецело отдавшись размышлениям о святом; она что-то шептала ему вполголоса, она говорила с ним, чувствуя себя с ним наедине, поверяя служителю бога все свои заботы. Порою она замолкала, чтобы подумать, припомнить, что ей осталось еще сказать, чтобы ничего не упустить из своих признаний, а иногда вдруг оживлялась, как будто он отвечал ей, как будто советовал что-то, чему она противилась и против чего спорила, приводя ему свои доводы.

Я удалился так же бесшумно, как пришел, и вернулся домой к обеду.

Вечером я послал за ней, и она вошла с озабоченным видом, обычно вовсе ей несвойственным.

— Сядь сюда,— сказал я, указывая ей место рядом с собой на диване.

Она села, но когда я нагнулся поцеловать ее, быстро отдернула голову.

Я был поражен и спросил:

— Что такое? Что с тобой?

— Теперь рамадан,— сказала она.

Я расхохотался.

— Так марабут запретил тебе целоваться во время рамадана?

— О да, я арабская женщина, а ты руми!

— Это большой грех?

— О да!

— Значит, ты весь день ничего не ела до захода солнца?

— Ничего.

— А после заката солнца ты поела?

— Да.

— Но раз ночь уже настала и ты разрешаешь себе есть, тебе незачем быть строгой и в остальном.

Она казалась раздосадованной, задетой, оскорбленной и возразила с высокомерием, какого я не знал в ней до сих пор:

— Если арабская девушка позволит руми прикоснуться к ней во время рамадана, она будет проклята навеки.

— И так будет продолжаться целый месяц?

Она отвечала убежденно:

— Да, весь месяц рамадана.

Я притворился рассержечным и сказал ей:

— Ну, так ступай справляй рамадан со своей родней.

Она схватила мои руки и поднесла их к своей груди.

— О, прошу тебя, не сердись, ты увидишь, какой я буду милой. Хочешь, мы вместе отпразднуем рамадан? Я буду ухаживать за тобой, угождать тебе, только не сердись.

Я не мог удержаться от улыбки, так она была забавна в своем огорчении, и отослал ее спать.

Через час, когда я собирался лечь в постель, раздались два легких удара в дверь, так тихо, что я едва их расслышал.

Я крикнул: «Войдите!», — и появилась Аллума, неся перед собой большой поднос с арабскими сластями, обсахаренными, поджаренными в масле шариками, сладкими печеньями, с целой грудой диковинных туземных лакомств.

Она смеялась, показывая чудесные зубы, и повторяла:

— Мы вместе будем справлять рамадан.

Вам известно, что пост у арабов, длящийся с восхода солнца до темноты, до того момента, когда глаз перестает различать белую нить от черной, завершается каждый вечер небольшой пирушкой в тесном кругу, где угощение затягивается до утра. Таким образом, выходит, что для туземцев, не слишком строго соблюдающих закон, рамадан состоит в том, что день обращается в ночь, а ночь в день. Но Аллума заходила гораздо дальше в своем благочестивом рвении. Она поставила поднос на диване между нами и, взяв длинными тонкими пальцами обсыпанный сахаром шарик, положила его мне в рот, шепча:

— Это вкусно, отведай.

Я раскусил легкое печенье, в самом деле необычайно вкусное, и спросил:

— Ты сама все приготовила?

— Да, сама.

— Для меня?

— Да, для тебя.

— Чтобы примирить меня с рамаданом?

— Да, не сердись! Я буду угощать тебя так каждый вечер.

О, какой мучительный месяц я провел! Месяц подслащенный, приторный и несносный, месяц нежных забот и искушений, взрывов бешенства и напрасных попыток сломить непреклонное сопротивление.

Затем, когда наступили три дня бейрама, я отпраздновал их на свой лад, и рамадан был позабыт.

Лето прошло; оно было очень жаркое. В первые дни осени я заметил, что Аллума стала озабоченной, рассеянной, безучастной ко всему.

И вот как-то вечером, когда я послал за ней, ее не оказалось в комнате. Я подумал, что она бродит где-нибудь по дому, и велел отыскать ее, но она не появлялась; я отворил окно и крикнул:

— Магомет!

Сонный голос отозвался из палатки:

— Да, мусье.

— Не знаешь ли, где Аллума?

— Нет, мусье, неужели Аллума пропал?

Через минуту мой араб вбежал ко мне встревоженный, не в силах скрыть своего волнения. Он спросил:

— Аллума пропал?

— Ну да, Аллума пропала.

— Не может быть!

— Отыщи ее,— сказал я.

Он остановился, задумавшись, что-то соображая, силясь понять. Потом бросился в ее опустевшую комнату, где одежды Аллумы были разбросаны в восточном беспорядке. Он осмотрел все, точно сыщик, или, вернее, обнюхал все, точно собака; потом, устав от этих усилий, прошептал с покорностью судьбе:

— Ушел, совсем ушел!

Я опасался несчастного случая,— Аллума могла упасть на дно оврага, вывихнуть себе ногу — и потому поднял на ноги всех обитателей поселка, приказав искать ее, пока не найдут.

Ее искали всю ночь, искали весь следующий день, искали целую неделю. Но не нашли ничего, что могло бы навести на ее след. Я тосковал, мне ее не хватало; дом казался мне пустым и жизнь бесцельной. К тому же мне приходили в голову тревожные мысли. Я боялся, что ее похитили, что ее, может быть, убили. Но когда я начинал расспрашивать Магомета, делиться с ним своими опасениями, он неизменно отвечал:

— Нет, он ушел.

И прибавлял арабское слово «рхэзаль», означающее «газель», как бы желая сказать, что Аллума бегает быстро и что она далеко.

Прошло три недели, и я уже потерял надежду увидеть вновь свою арабскую любовницу, как вдруг однажды утром Магомет вошел ко мне с сияющим от радости лицом и сказал:

— Мусье, Аллума вернулся.

Я соскочил с кровати и воскликнул:

— Где она?

— Не смеет войти! Вон он там, под деревом!

И, протянув руку, он указал мне в окно на что-то белое у подножия оливкового дерева.

Я оделся и вышел. Приближаясь к этому свертку тряпок, как будто брошенному у подножия ствола, я

узнал большие темные глаза, нататуированные звезды, продолговатое и правильное лицо обворожившей меня дикарки. Чем ближе я подходил, тем сильнее поднимался во мне гнев, мне хотелось ударить ее, сделать ей больно, отомстить.

Я крикнул издали:

— Откуда ты пришла?

Она не отвечала и сидела неподвижно, безучастно, словно жизнь едва теплилась в ней, готовая снести мой гнев, покорно ожидая побоев.

Я подошел к ней, пораженный видом покрывавших ее лохмотьев — лоскутьев шелка и шерсти, серых от пыли, изодранных, отвратительно грязных.

Я повторил, замахнувшись на нее, как на собаку:

— Откуда ты пришла?

Она прошептала:

— Оттуда.

— Откуда?

— Из племени.

— Из какого племени?

— Из моего.

— Почему ты ушла от меня?

Видя, что я ее не бью, она немного осмелела и сказала вполголоса:

— Так надо было... так надо... я не могла больше жить в доме.

Я увидел слезы у нее на глазах и вдруг расчувствовался, как дурак. Я наклонился к ней и, повернувшись, чтобы сесть, увидел Магомета, который издали следил за нами.

Я переспросил как можно мягче:

— Ну, скажи, отчего ты ушла?

Тогда она рассказала мне, что в ее душе уже давно таилась неодолимая жажда вернуться к кочевой жизни, спать в шатрах, бегать, кататься по песку, бродить со стадами по равнинам, не чувствовать больше над головой, между желтыми звездами небесного свода и синими звездами на своем лице, никакой крыши, кроме тонкого полога из заплатанной и истрепанной ткани, сквозь которую светятся огненные точки, когда просыпаешься ночью.

Она объяснила мне это в наивных и сильных выра-

жениях, таких правдивых, что я поверил ей, растрогался и спросил:

— Почему же ты не сказала мне, что хочешь на время уйти?

— Ты бы не позволил...

— Если бы ты обещала мне вернуться, я бы отпустил тебя.

— Ты не поверил бы мне.

Видя, что я не сержусь, она засмеялась и прибавила:

— Ты видишь, с этим покончено, я вернулась домой, и вот я здесь. Мне надо было пробыть там всего несколько дней. Теперь с меня довольно. Все кончено, все прошло, я здорова. Я вернулась, мне опять хорошо. Я очень рада. Ты добрый.

— Пойдем домой,— сказал я ей.

Она встала. Я взял ее руку, узкую руку с тонкими пальцами. Торжествующая, звеня кольцами, браслетами, ожерельями и монистами, важно выступая в своих лохмотьях, она проследовала к дому, где нас ожидал Магомет.

Прежде чем войти, я повторил:

— Аллума, всякий раз, когда тебе захочется вернуться к своим, скажи мне об этом, и я отпущу тебя.

Она спросила недоверчиво:

— Ты обещаешь?

— Обещаю.

— И я тоже обещаю. Когда мне станет тяжело,— и она приложила руки ко лбу пленительным жестом, — я скажу тебе: «Мне надо уйти туда», — и ты меня отпустишь.

Я проводил Аллуму в ее комнату; за нами следовал Магомет, который принес воды, так как жену Абд эль-Кадир эль-Хадара еще не успели предупредить, что ее госпожа вернулась.

Войдя в комнату, Аллума увидела зеркальный шкаф и устремилась к нему с просиявшим лицом, как бросаются к матери после долгой разлуки. Она разглядывала себя несколько секунд, состроила гримасу и сказала зеркалу сердитым голосом:

— Погоди, у меня в шкафу есть шелковые платья. Сейчас я опять буду красивая.

Я оставил ее одну кокетничать перед своим отражением.

Наша жизнь потекла, как прежде, и я все больше и больше поддавался странному, чисто физическому обаянию этой девушки, относясь к ней в то же время как-то отечески покровительственно.

Все шло хорошо в течение шести месяцев, потом я почувствовал, что она опять стала нервной, возбужденной, немного печальной. Как-то раз я спросил ее:

— Уж не хочешь ли ты вернуться к своим?

— Да, хочу.

— Ты не смела мне сказать?

— Я не смела.

— Иди, я разрешаю.

Она схватила мои руки и поцеловала их, как всегда делала в порыве благодарности, а наутро исчезла.

Вернулась она, как и в первый раз, недели через три, опять вся оборванная, черная от пыли и загара, насытившаяся кочевой жизнью, песком и свободой. За два года она уходила таким образом четыре раза.

Я радостно принимал ее обратно, не ревнуя, потому что ревность, по-моему, может быть вызвана только любовью, как мы ее понимаем у себя на родине. Разумеется, я был вполне способен убить ее, если бы открыл измену, как приканчивают в припадке ярости непослушную собаку. Но я не испытал бы тех мучений, того пожирающего огня, той страшной пытки, какие приносит ревность у нас на севере. Вот я сказал, что убил бы ее, как непослушную собаку. И в самом деле, я любил ее, как любят редкостное животное, собаку или лошадь, к которым иной раз так привязываешься. Это был восхитительный зверь, чувственный зверь, зверь с телом женщины, созданный для наслаждения.

Я не смог бы объяснить вам, какая неизмеримая пропасть разделяла наши души, хотя сердца наши по временам бились вместе и согревали друг друга. Она была частью моего дома, моей жизни, привычной забавой, которой я дорожил, я был привязан к ней физической чувственной любовью.

Однажды поутру Магомет вошел ко мне с необыч-

ным лицом, с тем особым беспокойным взглядом арабов, который напоминает бегающие глаза кошки при встрече с собакой.

Увидев его лицо, я спросил:

— Ну? Что случилось?

— Аллума ушел.

Я рассмеялся.

— Ушла? Куда же?

— Совсем ушел, мусье!

— Как это совсем ушла?

— Да, мусье.

— Ты с ума спятил, мой милый!

— Нет, мусье.

— Почему ушла? Каким образом? Да ну же? Объясни, в чем дело!

Он стоял неподвижно, не желая говорить; потом вдруг им овладел один из тех припадков ярости, какие нам случается видеть порою на городских улицах при ссоре пришедших в исступление арабов, когда их восточная молчаливость и важность внезапно уступают место самой необузданной жестикуляции и самым отчаянным воплям.

Из всех его криков я понял только, что Аллума сбежала с моим пастухом.

Мне пришлось успокаивать Магомета и выпытывать у него подробности одну за другой.

Это было нелегкое дело, но наконец я узнал, что вот уже с неделю он следил за моей любовницей; она ходила в ближайшую рощу кактусов или в олеандровую долину на свидания с бродягой, которого мой управляющий нанял в пастухи в конце прошлого месяца.

Этой ночью Магомет видел, как она вышла из дому, и не дождался ее возвращения; он твердил вне себя:

— Он ушел, мусье, ушел!

Не знаю почему, но мне в ту же минуту передалась его уверенность, твердая, бесспорная уверенность, что Аллума сбежала с этим бродягой. Это было нелепо, неправдоподобно и вместе с тем несомненно, принимая во внимание, что безрассудство — единственная логика женщин.

Сердце мое сжалось, кровь закипела от гнева, я старался представить себе этого человека и вдруг припомнил, что видел его на прошлой неделе: он стоял на пригорке среди своего стада и смотрел на меня. То был рослый бедуин, с загорелой кожей под цвет его лохмотьев, тип грубого дикаря с выдающимися скулами, крючковатым носом, срезанным подбородком, поджарыми ногами, худой, оборванный верзила с коварными глазами шакала.

Я больше не сомневался — да, она бежала с этим негодяем. Почему? Потому что это была Аллума, дочь песков. А там, в Париже, какая-нибудь дочь гротуаров сбежала бы с моим кучером или с уличным бродягой.

— Ладно,— сказал я Магомету.— Раз она ушла, тем хуже для нее. Мне надо писать письма. Оставь меня одного.

Он вышел, удивленный моим спокойствием. А я встал и растворил окно, глубоко, всей грудью вдыхая знойный ветер с юга; дул сирокко.

И я подумал: «Господи, ведь она... ведь она просто женщина, как всякая другая. Разве знаешь... разве мы знаем, почему они совершают те или иные поступки, что заставляет их полюбить человека, пойти за ним или бросить его?»

Да, иной раз мы знаем это, но чаще не знаем. Порою только догадываемся.

Почему она скрылась с этим омерзительным скотом? Почему? Да хотя бы потому, что вот уже месяц как ветер дует с юга почти ежедневно.

Этого достаточно! Довольно одного дуновения! Разве женщина знает, разве понимают самые утонченные, самые изысканные из них, почему они поступают так, а не иначе? Не больше, чем флюгер, вертящийся по ветру. Еле ощутимое дуновение заставляет вращаться стрелку из железа, из меди, из жести или дерева; точно так же незаметное воздействие, неуловимое впечатление волнует и толкает на решения изменчивое сердце женщины, будь она из города, из деревни, из предместья или из пустыни.

Впоследствии они могут понять, если способны рассуждать и сознавать, отчего поступили именно

так, но в данную минуту они не знают этого, потому что они игрушки своей капризной чувственности, безрассудные рабыни случайностей, обстоятельств, впечатлений, встреч и прикосновений, возбуждающих их душу и тело.

Г-н Обалль встал. Он прошелся по комнате, посмотрел на меня и сказал с усмешкой:

— Вот она, любовь в пустыне!

Я спросил:

— А что, если Аллума вернется?

Он пробормотал:

— Мерзкая девка!.. Что же, я все-таки был бы рад.

— И вы простили бы ей пастуха?

— Боже мой, конечно. Женщинам приходится всегда прощать... или же закрывать глаза.

ОТЕЦ И СЫН ОТО́

I

Собаки, привязанные к яблоням во дворе, у входа в дом, лаяли и скулили при виде охотничьих сумок на егере и мальчишках. Это был не то господский дом, не то ферма, одно из тех деревенских жилищ смешанного типа, которые когда-то принадлежали дворянам-помещикам, а теперь переходят к крупным земледельцам. Сидя в просторной кухне, служившей и столовой, Ото́-отец, Ото́-сын, сборщик податей г-н Бермон и нотариус г-н Мондарю закусывали и выпивали, перед тем как отправиться на охоту; был день открытия охотничьего сезона.

Ото́-отец, гордясь своими владениями, заранее расхваливал гостям дичь, которая попадется им в его угодьях. Это был рослый нормандец, один из тех могучих, полнокровных, ширококостых людей, которые способны взвалить на плечи целый воз. Полукрестьянин, полупомещик, богатый, уважаемый, влиятельный, властный, он продержал своего сына Сезара Ото́ в школе до третьего класса, чтобы дать ему образование, но на этом и прекратил его обучение, опасаясь, как бы он не стал барином и не охладел к земле.

Сезар Ото́, почти такой же рослый, как отец, только худощавее, был примерный сын, послушный, всем довольный, преклонявшийся перед волей и взглядами Ото́-отца, исполненный к нему любви и почтения.

Г-н Бермон, сборщик податей, пузатый человечек

с красными щеками, испещренными тонкой сеткой синеватых жилок, напоминающих притоки и извилины рек на географических картах, спросил:

— Ну, а зайцы-то? Водятся у вас зайцы?

Ото́-огец ответил:

— Сколько угодно, особенно в зарослях Пюизатье.

— Откуда же мы начнем? — осведомился нотариус, жизнерадостный кутила, тучный и бледный, тоже с брюшком, затянутый в новешенький охотничий костюм, только на прошлой неделе купленный в Руане.

— Да оттуда и начнем, с зарослей. Мы спугнем куропаток в долину и накроем их там.

И Ото́-отец поднялся из-за стола. Все последовали его примеру, разобрали ружья, стоявшие по углам, проверили заряды, потопали ногами об пол, чтобы размять жесткие, еще не разношенные сапоги, и вышли во двор; собаки, прыгая на туго натянутых сворках, пронзительно визжали, перебирая в воздухе передними лапами.

Отправились к зарослям. Это была небольшая долина, или, вернее, холмистый пустырь негодной, а потому и невозделанной земли, изрытый овражками, поросший кустарником — словом, превосходное убежище для дичи.

Охотники разошлись по местам: Ото́-отец держался правой стороны, Ото́-сын — левой, двое гостей — середины. Егерь и подручные с ягдташами следовали позади. Наступила торжественная минута, когда ждут первого выстрела, когда сердце бьется сильнее, а пальцы то и дело нервно нащупывают курок.

И вот выстрел грянул! Выстрелил Ото́-отец. Все замерли на месте и увидели, что куропатка, отделившись от разлетевшейся стаи, упала в овраг, в густой кустарник. Взволнованный охотник бросился за ней, перепрыгивая через рытвины, обрывая терновник, цеплявшийся за его одежду, и скрылся в зарослях, разыскивая свою добычу.

Почти сейчас же раздался второй выстрел.

— Ах, каналья! — воскликнул Бермон.— Он, пожалуй, и зайца вспугнул впридачу.

Все ждали, всматриваясь в непроглядную чащу ветвей.

Нотариус, сложив ладони рупором, заорал:

— Нашли вы их?

Ото́-отец не отвечал; тогда Сезар, обернувшись к егерю, сказал:

— Поди помоги ему, Жозеф. Надо держаться цепью. Мы подождем тут.

Жозеф, сухопарый, кряжистый старик, с узловатыми руками, отошел не торопясь и осторожно спустился в овраг, как лиса, выискивая удобные лазейки. Вдруг он закричал:

— Ой, скорей, скорей! Беда случилась!

Все сбежались и бросились в терновник. Ото́-отец лежал на боку, без сознания, держась обеими руками за живот; сквозь пробитую дробью холщовую куртку стекали на траву струи крови. Потянувшись за убитой куропаткой, он уронил ружье, которое при падении выстрелило вторично, разворотив ему внутренности. Его вытащили из оврага, раздели и увидели ужасную рану, из которой выпадали кишки. Сделав кое-как перевязку, его отнесли домой и послали за доктором, а кстати и за священником.

Доктор пришел, мрачно покачал головой и обернулся к Ото́-сыну, рыдавшему на стуле в углу.

— Ну, бедный мальчик,— сказал он,— дело плохо.

Когда кончили перевязку, раненый пошевелил пальцами, открыл рот, потом глаза, посмотрел вокруг мутным, блуждающим взглядом, как будто силясь что-то вспомнить, что-то понять, и прошептал:

— Черт возьми, мне крышка.

Врач держал его за руку.

— Да нет, ничего, несколько дней покоя, и все пройдет.

Ото́ повторил:

— Нет, мне крышка. Все нутро у меня развороченo. Уж я знаю.

Потом прибавил:

— Я хочу поговорить с сыном, пока не поздно.

Ото́-сын, не в силах сдержаться, повторял, всхлипывая, как ребенок:

— Папа, папа, бедный папа!

Но отец сказал более твердым голосом:

— Ну, будет реветь, сейчас не до того. Мне надо

тебе кое-что сказать. Сядь сюда, поближе, мы живо покончим с этим, и у меня будет спокойнее на душе. А вы, пожалуйста, выйдите все на минуту.

Все вышли, оставив отца с сыном с глазу на глаз.

Как только они очутились одни, отец сказал:

— Слушай, сынок, тебе двадцать четыре года, тебе уже все можно сказать. Да и незачем делать из этого такую тайну. Ведь мать твоя уже семь лет как умерла, верно? А мне всего только сорок пять, женился-то я девятнадцати. Верно?

Сын пробормотал:

— Да, верно.

— Твоя мать, стало быть, семь лет как умерла, а я остался вдовцом. Ну, разве такой я человек, чтобы жить вдовцом в тридцать семь лет, верно?

Сын ответил:

— Верно.

Отец продолжал, задыхаясь, весь бледный, с перекошенным лицом:

— Господи, как больно! Так вот, понимаешь... мужчина не может жить одиноким, а я не хотел никого приводить в дом после твоей матери, потому что так ей обещал. Ну, и вот... понимаешь?

— Да, отец.

— Так вот, я завел себе подружку в Руане, улица Эперлан, восемнадцать, четвертый этаж, вторая дверь,— я все это говорю, чтобы ты запомнил,— такую подружку, что милее и не найти,— любящая, преданная, ну, все равно, что жена. Соображаешь, сынок?

— Да, отец.

— Так вот, если я помру, мне надо что-нибудь ей оставить, да побольше, чтобы она была обеспечена. Понял?

— Да, отец.

— Говорю тебе, она славная девушка, такая славная, что если бы не ты, да не память твоей матери, да не этот дом, где мы жили втроем, я привел бы ее сюда, а там, пожалуй, и женился бы... слушай... слушай... мальчик... я бы мог написать завещание... да не написал! Не захотел... не годится писать про эти дела... про такие дела... это вредит законным наследникам... и все запутывает... и всех разоряет... Бог с ней, с гербовой

бумагой, никогда ею не пользуйся. Я потому и богат, что ввек ее в руки не брал. Понимаешь, сынок?

— Да, отец.

— Слушай дальше... Слушай хорошенько... Стало быть, я не составлял завещания... не захотел... но ведь я знаю тебя, у тебя сердце доброе, ты не скряга, жадничать не станешь. Я решил, что перед смертью расскажу тебе все и попрошу позаботиться о девушке... Звать ее Каролина Доне, и живет она на улице Эперлан, восемнадцать, четвертый этаж, вторая дверь, не забудь. Теперь слушай дальше. Пойди к ней сейчас же, как только меня не станет, и устрой все, чтобы она не поминала меня лихом. Тебе будет откуда взять, тебе хватит, я оставлю тебе немало... Слушай... Ее не всякий день застанешь. Она работает у госпожи Моро, на улице Бовуазин. Пойди к ней в четверг. В этот день она меня ждет. Вот уже шесть лет, как это мой день. Вот будет плакать, бедняжка! Я рассказываю тебе все это потому, что хорошо тебя знаю, сынок. О таких делах незачем говорить посторонним: ни нотариусу, ни попу. Со всеми это бывает, всякому это известно, но про это нечего болтать без надобности. Не поверяй тайны чужому, никому, кроме родни, родня — вся заодно. Понял?

— Да, отец.

— Обещаешь?

— Да, отец.

— Даешь слово?

— Да, отец.

— Прошу тебя, сынок, заклинаю, не забудь. Это для меня главное.

— Не забуду, отец.

— Пойди туда сам. Я хочу, чтобы ты сам во всем убедился.

— Хорошо, отец.

— А уж там ты увидишь... остальное она тебе объяснит. Больше я ничего тебе не скажу. Так честное слово?

— Честное слово, отец.

— Ну, вот и ладно, сынок. Обними меня. Прощай, конец мне пришел, уж я знаю. Теперь позови их.

Ото́-сын, жалобно вздыхая, обнял отца, а потом,

послушный, как всегда, растворил двери; появился священник в белом стихаре, неся святой елей.

Но умирающий закрыл глаза и не хотел открывать их, не хотел отвечать, не хотел даже знаком показать, что понимает происходящее.

Он и так много говорил, больше сил не хватало. К тому же теперь на сердце у него было спокойно, и он желал умереть с миром. Зачем ему было исповедоваться представителю бога, когда он только что исповедался кровному, родному — своему сыну?

Его соборовали, причастили, отпустили ему грехи в присутствии всех его друзей и слуг, стоявших на коленях, но ни один мускул на лице его не шевельнулся, и нельзя было сказать, жив ли он еще.

Скончался он около полуночи, после четырехчасовых судорог, которые свидетельствовали о жестоких страданиях.

II

Его похоронили во вторник — день открытия охоты приходился на воскресенье. Проводив отца на кладбище и вернувшись домой, Сезар Отó проплакал весь остаток дня. Ночью он почти не спал и проснулся в такой тоске, что не мог представить себе, как будет жить дальше.

Целый день до самого вечера он думал, что завтра, исполняя последнюю волю отца, должен поехать в Руан и повидать эту девушку, Каролину Доне, проживающую по улице Эперлан, восемнадцать, четвертый этаж, вторая дверь. Шепотом, словно бормоча молитву, повторял он это имя и адрес несчетное число раз, чтобы не забыть, и под конец стал твердить их непрерывно, не в силах остановиться или подумать о чем-либо другом, настолько эти слова засели у него в голове.

Итак, на другой день, около восьми утра, он велел запрячь Грендоржа в одноколку и, пустив тяжелую нормандскую лошадь крупной рысью, покатил по большой дороге из Энвиля в Руан. На нем был черный сюртук, брюки со штрипками и шелковая шляпа; на этот раз, ввиду особенных обстоятельств, он не стал наде-

вать поверх праздничного костюма синюю блузу, которая раздувается на ветру и защищает сукно от пыли и пятен и которую сразу снимают, как только приедут и спрыгнут с тележки.

Он въехал в Руан около десяти часов, остановился, как всегда, на улице Труа-Мар, в гостинице «Славные ребята», где должен был вытерпеть объятия хозяина, хозяйки и их пяти сыновей, потому что грустная новость уже стала известна; затем ему пришлось рассказать все подробности несчастного случая, что довело его до слез; он уклонился от всех услуг, усердно предлагаемых хозяевами, знавшими о его богатстве, и не пожелал даже позавтракать, что их очень обидело.

Отряхнув шляпу, почистив сюргук и обтерев башмаки, он отправился разыскивать улицу Эперлан, не смея ни у кого спросить дорогу, боясь быть узнанным и возбудить подозрение.

Наконец, он совсем запутался, но, увидев священника и полагаясь на профессиональную скромность служителей церкви, осведомился у него.

Оказалось, ему следовало пройти не больше сотни шагов — как раз вторая улица направо.

Но тут он оробел. До этой минуты он слепо повиновался воле покойного. Теперь же им овладело смущение, беспокойство, обида при мысли, что он, законный сын, встретится лицом к лицу с этой женщиной, любовницей его отца. Все правила морали, укоренившиеся в нас, заложенные в недра сознания вековой традицией, воспитанием, все, что он учил на уроках катехизиса про особ дурного поведения, инстинктивное презрение, какое испытывает к ним каждый мужчина, даже тот, кто женится на одной из них, вся его крестьянская ограниченная честность — все возмущалось в нем, удерживало его, заставляло стыдиться и краснеть.

Но он подумал: «Я дал слово отцу, слово надо сдержать». И он толкнул приотворенную дверь дома номер восемнадцать, поднялся по темной лестнице на четвертый этаж, увидел дверь, за ней вторую, нашел ручку звонка и дернул ее.

От звука колокольчика, раздавшегося рядом в ком-

нате, он весь содрогнулся. Дверь отворилась, и он очутился лицом к лицу с нарядно одетой темноволосой и румяной молодой дамой, глядевшей на него с изумлением.

Он не знал, что сказать, а она, ничего не подозревая и поджидая другого, не приглашала его войти. Так они смотрели друг на друга с полминуты. Наконец она спросила:

— Что вам угодно, сударь?

Он прошептал:

— Я сын Отó.

Она вздрогнула, побледнела и пробормотала, как будто знала его давно:

— Господин Сезар?

— Да.

— Что же вы желаете?

— Мне надо поговорить с вами от имени отца.

Она вскрикнула:

— Ах, боже мой! — и отступила, чтобы пропустить его.

Он затворил дверь и прошел следом.

Тут он заметил мальчугана лет четырех или пяти; малыш играл с кошкой на полу у кухонной печи, откуда подымался пар от стоявших на огне блюд.

— Садитесь,— сказала она.

Он сел. Она спросила:

— В чем же дело?

Он не решался заговорить, уставившись на стол посреди комнаты, накрытый на три прибора, причем один был детский. Он рассматривал стул, стоявший спинкой к огню, тарелку, салфетку, стаканы, начатую бутылку красного вина и неоткупоренную бутылку белого. Это было место его отца, спиной к огню! Его поджидали. Рядом с прибором лежал приготовленный для него хлеб. Сезар понял это потому, что корка была срезана из-за плохих зубов Отó. Затем, подняв глаза, он увидел на стене его портрет, большую фотографию, снятую в Париже в год Выставки, такую же, какая висела у них дома в спальне над кроватью.

Молодая женщина спросила снова:

— В чем же дело, господин Сезар?

Он взглянул на нее. От смутной тревоги она побеле-

ла, как полотно, и в страхе ждала ответа: руки ее дрожали.

Тогда он собрался с духом.

— Так вот, мамзель, папа скончался в воскресенье, в день открытия охоты.

Она была так потрясена, что даже не шевельнулась. После нескольких секунд молчания она прошептала почти беззвучно:

— О! Быть не может!

И вдруг слезы выступили у нее на глазах, и, закрыв лицо руками, она горько разрыдалась.

Малыш обернулся и, увидев мать в слезах, поднял рев. Потом, сообразив, что нежданное горе принес незнакомец, он накинулся на Сезара, вцепился одной ручонкой в его брюки, а другой изо всей мочи начал колотить его по ноге. А Сезар сидел растерянный, растроганный, между женщиной, оплакивавшей его отца, и ребенком, который защищал свою мать. Он чувствовал, что им овладевает волнение, слезы застилали ему глаза, и, чтобы взять себя в руки, он заговорил:

— Да,— сказал он,— несчастье случилось в воскресенье утром, около восьми часов...

И он начал рассказывать, словно она слушала его, не пропуская ни одной подробности, с крестьянской обстоятельностью, вспоминая каждую мелочь. А малыш все колотил Сезара, лягая его по щиколоткам.

Когда Сезар дошел до того места, как Отó-отец заговорил о ней, она уловила свое имя, открыла лицо и спросила:

— Простите! Я не слушала вас, мне бы хотелось все знать... Вам не трудно будет рассказать сначала?

Он начал снова в тех же выражениях:

— Несчастье случилось в воскресенье утром, около восьми часов...

Он рассказывал обо всем долго, запинаясь, останавливаясь и вставляя время от времени собственные рассуждения. Она жадно слушала, с женской впечатлительностью переживая весь ход событий, который он описывал, и, содрогаясь от ужаса, восклицала по-

рою: «Ах, господи!» Мальчик, решив, что она успокоилась, перестал колотить Сезара, ухватился за руку матери и тоже слушал, как будто все понимал.

Когда рассказ был окончен, Отó-сын произнес:

— Теперь давайте договоримся друг с другом, как он желал. Послушайте, я обеспечен, денег он мне оставил порядком. Я хочу, чтобы вам не на что было жаловаться...

Но она живо перебила:

— О господин Сезар, господин Сезар, только не сегодня. У меня сердце разрывается... Как-нибудь в другой раз, в другой день... Нет, только не сегодня... И, слушайте, если уж я соглашусь, то не ради себя... нет, нет, даю вам слово. Только ради ребенка. Мы эти деньги на его имя положим.

Тут только ошеломленный Сезар догадался и пробормотал:

— Значит... это его... ребенок?

— Ну да,— сказала она.

И Отó-сын посмотрел на своего брата со смутным волнением, острым и мучительным.

Наступило долгое молчание, так как она опять заплакала; наконец Сезар, совсем смешавшись, сказал:

— Ну, что же, мамзель Доне, я пойду. Когда мы с вами об этом потолкуем?

Она воскликнула:

— О нет, не уходите, не уходите, не оставляйте меня одну с Эмилем! Я умру с горя. У меня никого больше нет, никого, кроме ребенка! Ах, какая беда, какая беда, господин Сезар! Ну, присядьте. Поговорите еще о чем-нибудь. Расскажите, что он делал всю эту неделю.

И Сезар, привыкший повиноваться, уселся снова.

Она придвинула свой стул к его стулу у печки, где все еще разогревалось кушанье, взяла на колени Эмиля и стала задавать Сезару множество вопросов об его отце, о самых ничтожных домашних мелочах, и по этим вопросам он понял, почувствовал, не рассуждая, что она любила Отó всем своим бедным женским сердцем.

Следуя естественному течению своих не слишком разнообразных мыслей, он вернулся к несчастному

происшествию и опять принялся рассказывать о нем с теми же подробностями.

Когда он произнес: «В животе у него была такая дыра, что туда можно было оба кулака засунуть»,— она вскрикнула, и слезы вновь хлынули у нее из глаз. Заразившись ее волнением, Сезар тоже расплакался, а так как слезы всегда смягчают сердце, он нагнулся к Эмилю и поцеловал его в лобик.

Мать прошептала, глубоко вздохнув:

— Бедный мальчик, он теперь сирота.

— И я тоже,— сказал Сезар.

Они замолчали.

Но вдруг в молодой женщине проснулся практический инстинкт хозяйки, привыкшей обо всем заботиться.

— Вы, верно, ничего не ели с утра, господин Сезар?

— Ничего, мамзель.

— О, вы, должно быть, голодны! Скушайте что-нибудь.

— Спасибо,— сказал он,— я не голоден, мне не до еды.

Она возразила.

— Какое бы ни было горе, жить все-таки надо: не откажите мне, покушайте, тогда вы и посидите у меня подольше. Я прямо не знаю, что со мной будет, когда вы уйдете.

После некоторого сопротивления он уступил и, усевшись напротив нее спиной к огню, съел тарелку рубцов, которые шипели в печке, и выпил стакан красного вина. Но раскупорить белое он не позволил.

Несколько раз он вытирал губы малышу, который вымазал подливкой весь подбородок.

Поднявшись и собираясь уходить, он спросил:

— Когда же прикажете к вам зайти потолковать о делах, мамзель Доне?

— Если вас не затруднит, в будущий четверг, господин Сезар. Так я не пропущу работы. По четвергам я всегда свободна.

— Ладно, давайте в будущий четверг.

— Вы придете позавтракать, хорошо?

— Ну, этого не обещаю.

— Да ведь за едой легче разговаривать. И времени больше останется.

— Ну, что ж, будь по-вашему. Значит, в полдень.

И он ушел, поцеловав еще раз маленького Эмиля и пожав руку мадмуазель Доне.

III

Неделя показалась долгой Сезару Отó. Никогда прежде он не оставался один, и одиночество было ему невыносимо. До сих пор он жил при отце, точно его тень, сопровождал его в поле, следил за выполнением его приказаний, и если разлучался с ним ненадолго, то снова встречался за обедом. Они проводили вечера вдвоем, покуривая трубки, толкуя о лошадях, коровах или баранах, а утреннее их рукопожатие служило как бы знаком глубокой родственной привязанности.

Теперь Сезар был один. Он бродил по осенним пашням, все время ожидая, что увидит где-нибудь в поле высокую подвижную фигуру отца. Чтобы убить время, он заходил к соседям, рассказывал о происшествии тем, кто еще не слыхал о нем, а другим опять повторял все сначала. Затем, не зная, чем бы ему еще заняться, о чем думать, он садился у края дороги и задавал себе вопрос, долго ли протянется такая жизнь.

Он часто думал о мадмуазель Доне. Она ему понравилась. Он нашел, что она порядочная, добрая и славная девушка, как и говорил отец. Да, девушка она славная, против этого ничего не скажешь. Он решил выказать великодушие и обеспечить ей ежегодный доход в две тысячи франков, записав капитал за ребенком. Он даже не без удовольствия думал, что увидит ее в следующий четверг и уладит с ней это дело. А мысль о том, что этот пятилетний мальчуган — его брат, сын его отца, слегка беспокоила его и в то же время умиляла. Пусть этот незаконнорожденный младенец и не будет никогда носить имя Отò, все равно это его кровь, родня, которую он может признать или бросить по своему произволу, но она всегда будет напоминать ему об отце.

Поэтому, когда в четверг утром звонкая рысь Грендоржа вынесла его на руанскую дорогу, на душе у него стало легче и спокойнее, как ни разу еще не было со времени несчастья.

Войдя в квартирку мадмуазель Доне, он увидел, что стол накрыт, как в прошлый четверг, с той только разницей, что с хлеба не была срезана корка.

Он пожал руку молодой женщине, расцеловал Эмиля в обе щечки и уселся, чувствуя себя почти как дома, хотя на сердце у него было тяжело. Мадмуазель Доне показалась ему слегка похудевшей и побледневшей. Должно быть, она изрядно поплакала. На этот раз она немного стеснялась его, словно только сейчас поняла то, чего не почувствовала на прошлой неделе, под первым впечатлением разразившегося над ней горя, и потому выказывала ему особенное уважение, грустную покорность и трогательную заботу, как бы желая вниманием и предупредительностью отплатить за его доброту к ней. Они завтракали не спеша, обсуждая дело, по которому он пришел. Она не хотела брать столько денег. Это было много, чересчур много. Ее заработка хватает на жизнь, ей хотелось только, чтобы Эмиль имел небольшую сумму, когда вырастет. Но Сезар настоял на своем и даже прибавил подарок в тысячу франков для нее лично, на траур.

Когда он выпил кофе, она спросила:

— Вы курите?

— Да... у меня с собой трубка.

Он пощупал карман. Ах, черт, он забыл ее! Ему стало досадно, но мадмуазель Доне тотчас же подала ему трубку отца, лежавшую в шкафу. Он взял трубку, узнал ее, понюхал, прерывающимся голосом расхвалил ее достоинства, набил табаком и раскурил. Затем, посадив Эмиля верхом на коленку, стал его подбрасывать, как на лошадке, пока мать собирала со стола и ставила грязную посуду в нижнее отделение буфета, чтобы вымыть после его ухода.

В три часа он с сожалением поднялся, ему не хотелось уходить..

— Ну что же, мамзель Доне,— сказал он,— пожелаю вам всего лучшего. Я очень рад, что вы оказались именно такая.

Она стояла перед ним, взволнованная, разрумянившаяся, и смотрела на него, вспоминая другого.

— Разве мы больше не увидимся? — спросила она.

Он ответил простодушно:

— Отчего же нет, мамзель, если вы хотите.

— Конечно, господин Сезар. Тогда в будущий четверг,— вам удобно?

— Хорошо, мамзель Доне.

— Вы придете позавтракать, конечно?

— Да... если позволите, не откажусь.

— Так решено, господин Сезар,— в будущий четверг, в полдень, как сегодня.

— В четверг, в полдень, мамзель Доне!

БУАТЕЛЬ

Роберу Пеншону.

Папаша Буатель, Антуан, выполнял в нашей округе самые грязные работы. Всякий раз, как надо было выгрести канаву, помойную яму, убрать навозную кучу, вычистить сточный желоб или какую-нибудь грязную дыру, посылали за ним.

Он являлся со своими инструментами золотаря, в облепленных грязью деревянных башмаках и, кряхтя, принимался за дело, ворча на свое ремесло. Если у него спрашивали, зачем же он берется за эту отвратительную работу, он отвечал, вздохнув, с покорностью судьбе:

— Черт возьми, да ради ребят, надо же их кормить! Это выгоднее всего.

В самом деле, у него было четырнадцать человек детей. Когда его спрашивали, что с ними сталось, он говорил с равнодушным видом:

— Дома осталось восемь душ, один — в солдатах, пятеро женаты.

Если же кто-нибудь осведомлялся, удачно ли они поженились, старик отвечал с живостью:

— Я им не перечил. Я их не приневоливал. Все они женились, на ком хотели. Уж кто выбрал себе девушку по сердцу, тому нельзя идти наперекор,— это к добру не поведет. Вот хоть бы я — потому-то я и стал золотарем, что родители пошли мне наперекор. Не случись этого, был бы я рабочим не хуже людей.

Вот как случилось, что родители пошли ему наперекор.

В ту пору он был солдатом и отбывал срок службы в Гавре; он был не глупее и не смышленее других, но, пожалуй, немного простоват. В свободные часы самым большим удовольствием для него было шататься по набережной, где пристроились торговцы птицами. То один, то с каким-нибудь земляком, он медленно прогуливался перед клетками, где пестрели зеленые желтоголовые попугаи с Амазонки, серые красноголовые сенегальские попугаи, огромные арара с разноцветными перьями, султанами и хохолками, похожие на тепличные растения, всевозможные попугаи, которых как будто сам господь бог расписал с кропотливой тщательностью миниатюриста, и всякие другие, крохотные прыгающие пичужки, красные, желтые, синие, всех цветов; их голоса, сливаясь с шумом гавани, примешивали к людскому говору, грохоту разгружаемых судов, стуку повозок буйный, пронзительный, щебечущий, оглушительный гомон далеких заморских лесов.

Вытаращив глаза, разинув рот, смеясь от восхищения, Буатель подолгу простаивал, скаля зубы, перед пленными какаду, которые кивали ему своими белыми и желтыми хохолками при виде его ярко-красных штанов и медной пряжки на поясе. Когда ему встречался говорящий попугай, он задавал ему вопросы, и, если птица была в духе и болтала с ним, у него до самого вечера бывало легко и весело на душе. Глазея на обезьян, он хохотал до упаду, и ему казалось, что это верх роскоши держать у себя дома таких зверьков, на манер кошек и собак. Эта страсть, страсть к чужеземному, была у него в крови, как у других влечение к охоте, к медицине или к богослужению. Лишь только отворялись ворота казармы, он не мог удержаться, чтобы не завернуть на пристань, точно его тянула туда неодолимая сила.

И вот однажды, остолбенев от восхищения перед громадным арара, который распускал перья, кланялся, выпрямлялся, будто отвешивал придворные поклоны перед королем попугаев, он вдруг увидел, как отворилась дверь кафе, смежного с лавкой торговца птицами,

и появилась молоденькая негритянка в ярко-красном платке, выметавшая на мостовую пробки и мусор.

Внимание Буателя сейчас же разделилось между птицей и женщиной, и он сам не мог бы сказать, кто из них вызывал в нем больший восторг и удивление.

Выбросив сор на мостовую, негритянка подняла глаза и тоже застыла, ослепленная солдатским мундиром. Она стояла прямо перед Буателем с метлой в руках, точно взяв на караул, между тем как арара все продолжал отвешивать поклоны. Через несколько минут любопытство негритянки смутило солдата, и он пошел прочь, замедляя шаг, чтобы не подумали, что он обратился в бегство.

Вскоре он вернулся туда. Почти каждый день он прохаживался перед «Колониальным кафе» и видел в окно, как чернокожая служаночка подносила портовым матросам пиво и водку. Она тоже частенько выходила наружу, завидев его; они еще не перекинулись и двумя словами, но уже стали улыбаться друг другу, как знакомые, и у Буателя сердце радовалось, когда меж темно-красных губ девушки вдруг открывался ослепительный ряд зубов. Как-то раз он решился наконец войти в заведение и был совершенно поражен, услыхав, что она говорит по-французски не хуже других. Бутылка лимонаду, из которой она согласилась отведать стаканчик, навсегда осталась для солдата незабываемо сладостным воспоминанием, и у него вошло в привычку заглядывать в этот портовый кабачок и потягивать все лакомые напитки, какие были ему по карману.

Лучшим удовольствием, настоящим праздником, о котором он мечтал беспрестанно, было для него смотреть, как черная рука служаночки наливает ему вино в стакан, а зубы ее сверкают в улыбке ослепительнее, чем глаза. На третий месяц знакомства они совсем сдружились, и Буатель, к своему удивлению, узнал, что понятия негритянки во всем схожи с добрыми правилами девушек его родины, что она любит работу, уважает бережливость, религию и хорошее поведение; она стала ему еще дороже, и он так влюбился, что задумал жениться на ней.

Он сообщил ей о своем намерении, и она запрыгала от радости. У нее были кое-какие деньжонки, оставлен-

ные ей торговкой устрицами, которая подобрала ее шестилетним ребенком на набережной Гаврского порта, где ее высадил какой-то американский капитан. Капитан нашел малютку в трюме своего судна между тюками хлопка через несколько часов после отплытия из Нью-Йорка. Прибыв в Гавр, он отдал на попечение сердобольной торговки устрицами крошечное черное существо, спрятанное на борту его корабля неизвестно кем и как. Когда торговка умерла, молодая негритянка поступила в услужение в «Колониальное кафе».

Антуан Буатель добавил:

— Мы поженимся, только бы старики не заупрямились. Я ни за что против их воли не пойду, ни за что, так и запомни! Я замолвлю им словечко, как только наведаюсь домой.

И вот, получив на следующей неделе суточный отпуск, он поехал к своим родным, на их маленькую ферму в Туртевиле, близ Ивето.

Дождавшись конца обеда, той минуты, когда кофе, подправленное водкой, размягчает сердце, Антуан сообщил родителям, что нашел девушку себе по нраву, ну до того по нраву, что другой такой на всем свете не сыщешь.

При этих словах старики сразу насторожились и начали выспрашивать. Он ничего от них не скрыл, кроме цвета ее кожи.

Она служанка, добра у нее немного, зато девушка она работящая, бережливая, опрятная, хорошего поведения, а уж какая разумница! Все это куда дороже стоит, чем деньги в руках плохой хозяйки. К тому же ей оставила малую толику женщина, которая ее воспитала, порядочно денег, целое приданое, полторы тысячи франков в сберегательной кассе. Старики, побежденные такими доводами и полагаясь к тому же на его выбор, начали уже понемногу сдаваться, но тут он дошел до щекотливого вопроса. Он сказал, принужденно смеясь:

— Вот только одно, может, не придется вам по вкусу. Не совсем-то она белая.

Они не поняли, и, чтобы не испугать их, ему пришлось объяснять долго и осторожно, что она чернокожая, точь-в-точь такая, как на лубочных картинках.

Тогда они забеспокоились, растерялись, всполоши-

лись, как будто он предлагал им породниться с самим сатаной.

Мать спрашивала:

— Черная? Докуда же она черная? Неужто вся целиком?

Он отвечал:

— Известно, целиком: ведь ты же вся белая?

Отец перебивал:

— Черная? Неужто такая черная, как котел?

Сын возражал:

— Да нет, пожалуй, чуть посветлее. Черна-то она черна, да не так, чтобы невтерпеж. Вот, к примеру, у господина кюре черная ряса, а чем она хуже стихаря, хоть он и белый.

Отец полюбопытствовал:

— А что, там бывают и почернее ее, в их краях?

И сын воскликнул с убеждением:

— Само собой, бывают!

Но старик покачивал головой.

— Небось, противно?

— Ничуть не противно,— уговаривал сын,— ведь к этому мигом привыкнешь.

Мать допытывалась:

— А белье-то она здорово марает, такая кожа?

— Да не больше, чем твоя, ведь такой цвет у нее природный.

И вот, после долгих расспросов, уговорились наконец, что родители, прежде чем решать, повидают девушку: сын, служба которого через месяц кончалась, привезет ее домой, тут они разглядят ее хорошенько и обсудят, не слишком ли она черна, чтобы войти в семейство Буателей.

Антуан обещал, что в воскресенье, 22 мая, в день окончания военной службы, он приедет в Туртевиль со своей подружкой.

Для этого путешествия к родителям своего любезного она вырядилась в самое красивое и яркое платье, где преобладали цвета желтый, красный и синий; казалось, она разукрасилась флагами в честь национального праздника.

На вокзале, при отъезде из Гавра, все таращили на нее глаза, и Буатель гордился, что ведет под руку особу, которая привлекает столько внимания. Когда же она уселась рядом с ним в вагоне третьего класса, она повергла крестьян в такое изумление, что многие из соседних отделений взбирались на лавочки и глазели на нее из-за деревянных перегородок, разделяющих вагон. Какой-то ребенок при виде ее заревел от страха, а другой уткнулся лицом в материнский подол.

Однако все шло хорошо до самого приезда на станцию. Но вот поезд замедлил ход, приближаясь к Ивето, и Антуану стало не по себе, точно на проверке, когда он не знал устава. Высунувшись в окно, он издали узнал отца, который держал под уздцы запряженную в тележку лошадь, а у самой станционной ограды увидел и мать.

Он вышел первый, подал руку своей красотке и, гордо выпрямившись, как будто сопровождал генерала, повел ее к родителям.

Мать при виде своего сына в обществе этой черной и пестро разряженной дамы до того оторопела, что рта не могла раскрыть, а отец с трудом удерживал лошадь, которая шарахалась не то от паровоза, не то от негритянки. Но Антуан, искренне обрадованный свиданием со стариками, бросился к ним навстречу, расцеловал мать, чмокнул отца, не обращая внимания на испуг лошаденки, потом обернулся к своей спутнице, на которую пялили глаза ошеломленные прохожие, и воскликнул:

— Вот она какая! Я ведь говорил, что сперва она малость страшновата, но ей-же-ей, как только узнаешь ее поближе, лучше ее на всем свете не сыскать. Поздоровайтесь с ней, а то она заробела.

Матушка Буатель, и сама до смерти перепуганная, неловко поклонилась, а отец пробурчал, сняв шапку: «Доброго вам здоровья». Затем, не теряя времени, все уселись в тележку — женщины на задней скамейке, где их подбрасывало при каждом толчке, а мужчины спереди, на козлах.

Все молчали. Встревоженный Антуан насвистывал какую-то казарменную песенку, отец погонял лошаденку, а мать исподлобья украдкой поглядывала на негри-

тянку, лоб и щеки которой лоснились на солнце, как начищенный ваксой сапог.

Пытаясь разбить лед, Антуан обернулся.

— Ну,— сказал он,— что же вы молчите?

— Нельзя же сразу,— отвечала старуха.

Он продолжал:

— Ну-ка расскажи малютке, как твоя курица снесла восемь яиц.

Это была знаменитая в семье история. Но мать все еще ни слова не могла вымолвить от смущения, и он, заливаясь смехом, сам начал рассказывать это удивительное приключение. Старик, знавший все наизусть, расплылся в улыбке, жена его тоже перестала хмуриться, а негритянка в самом забавном месте разразилась вдруг таким звонким, раскатистым, оглушительным хохотом, что испуганная лошадь понеслась галопом.

Знакомство состоялось. Разговор завязался.

Как только они приехали и слезли с повозки, Антуан проводил свою подружку в комнату,— она хотела переодеться, чтобы не испачкать нарядного платья, стряпая по своему рецепту вкусное блюдо, которым надеялась задобрить стариков; затем он поманил родителей за дверь и спросил с замиранием сердца:

— Ну, что вы о ней скажете?

Отец промолчал. Мать, более решительного нрава, заявила:

— Уж больно она черна! Право, невмоготу. Прямо с души воротит.

— Вы привыкнете,— убеждал Антуан.

— Может, и привыкнем, да не вдруг.

Они вошли в дом, и, увидав негритянку за стряпней, старуха смягчилась. Суетливая, несмотря на свои годы, она принялась помогать девушке, подоткнув подол.

Обед был вкусный, долгий и оживленный. Когда все вышли погулять, Антуан отвел отца в сторонку.

— Ну как же, отец, что ты скажешь?

Крестьянин никогда не отвечал напрямик.

— Не мое это дело. Спроси у матери.

Тогда Антуан догнал мать и пропустил вперед остальных.

— Ну, как же, мамаша, что ты скажешь?

— Воля твоя, сынок, уж больно она черна. Была бы

она чуточку посветлее, я бы не спорила, а то уж чересчур. Точь-в-точь сатана!

Он больше не настаивал, зная, что старуху не переупрямишь, но сердце у него разрывалось от отчаяния. Он ума не мог приложить, что бы такое сделать, что бы еще придумать, и не понимал, почему это негритянка сразу не покорила его родителей, как обворожила его самого. И все четверо медленно брели по нивам, малопомалу перестав разговаривать. Когда они проходили вдоль забора какой-нибудь фермы, хозяева выбегали за ограду, мальчишки взбирались на крышу, все высыпали на дорогу, чтобы поглазеть на «арапку», которую привез сын Буателей. Издалека по полям сбегались люди, как сбегаются на ярмарке, когда бьет барабан, сзывая народ посмотреть на диковинки. Отец и мать Буатели, испуганные любопытством, вызванным во всей округе их гостьей, ускорили шаг, держась рядышком, и далеко обогнали сына, у которого его подруга допытывалась, что думают о ней родители.

Он ответил смущенно, что они еще ничего не решили.

На деревенской площади из всех домов валом повалил возбужденный народ, и старики Буатели, оробевшие при виде растущей толпы, обратились в бегство; Антуан, обиженный и возмущенный, величаво шагал под руку со своей любезной, провожаемый изумленными взглядами зевак.

Он понимал, что все кончено, что надежды нет, что не придется ему жениться на своей негритянке; она тоже это понимала, и оба они заплакали, подходя к ферме. Вернувшись домой, она опять сняла платье и стала помогать матери по хозяйству; она ходила за ней по пятам в погреб, в хлев, в курятник, выбирая самую тяжелую работу и все время повторяя: «Дайте я это сделаю, тетушка Буатель»,— так что к вечеру старуха, растроганная, но по-прежнему неумолимая, сказала сыну:

— Что и говорить, она славная девушка. Жаль, что так черна, ей-ей, чересчур уж черна. Я ни за что не привыкну, пускай себе едет обратно, уж больно она черна!

И Буатель сказал своей подружке:

— Она не согласна, говорит, что ты чересчур черна. Придется тебе уехать. Я провожу тебя на станцию. Не тужи, дело обойдется. Я еще потолкую с ними, когда ты уедешь.

Он проводил ее до станции, все еще стараясь обнадежить; расцеловался с ней, посадил в вагон и долго смотрел вслед уходящему поезду полными слез глазами.

Напрасно он уламывал стариков, они так и не согласились.

Рассказав до конца эту историю, которую знала вся округа, Антуан Буатель каждый раз добавлял:

— С той поры ни к чему у меня сердце не лежало, ни к чему охоты не было. Всякая работа валилась у меня из рук, вот я и стал золотарем.

Ему говорили на это:

— Но ведь вы все-таки женились.

— Так-то оно так, и нельзя сказать, чтобы жена была мне не по нраву, раз я прижил с ней четырнадцать ребят, только это не то, совсем не то, куда там! Поверите ли, негритянка моя, бывало, только взглянет на меня, а я уж и сам не свой от радости...

ДЕНЩИК

Кладбище, переполненное офицерами, напоминало цветущий луг. Красные штаны и кепи, золотые галуны и пуговицы, сабли, аксельбанты штабных, нашивки егерей и гусаров пестрели среди могил, среди белых и черных крестов, которые, казалось, жалобно простирали руки, железные, мраморные, деревянные руки над исчезнувшим племенем мертвецов.

Хоронили жену полковника де Лимузен. Два дня тому назад она утонула во время купания.

Заупокойная служба кончилась, духовенство удалилось, а полковник, поддерживаемый двумя офицерами, продолжал стоять над могилой, в глубине которой ему все еще мерещился деревянный ящик, заключавший в себе уже разлагающийся труп его молодой жены.

Полковник был старик, высокий и худой, с седыми усами; три года тому назад он женился на дочери своего товарища, полковника Сорти, которая осталась сиротою после смерти отца.

Капитан и лейтенант, на которых опирался их командир, напрасно пытались его увести. Глаза его были полны слез, он мужественно сдерживал их, тихо шепча: «Погодите, погодите еще немного»; у него подкашивались ноги, но он упрямо оставался у края этой ямы, казавшейся ему бездонной пропастью, куда канули безвозвратно его сердце и жизнь, все, что было дорого ему на свете.

Тут подошел генерал Ормон, взял под руку полковника и почти насильно увлек его прочь, говоря: «Ну, ну,

старый товарищ, уйдем отсюда». Полковник послушался и возвратился домой.

Отворив дверь кабинета, он заметил у себя на письменном столе письмо. Взяв его в руки, он едва не упал от потрясения и ужаса,— он узнал почерк жены. На почтовом штемпеле значилось сегодняшнее число. Он разорвал конверт и прочел.

«Отец!

Позвольте мне по-прежнему называть вас отцом, как в былые дни. Когда вы получите это письмо, я буду лежать под землей мертвая. Тогда, может быть, вы сможете меня простить.

Я не буду пытаться ни растрогать вас, ни смягчить свою вину. Я хочу лишь рассказать всю правду до конца, со всей искренностью, на какую способна женщина, решившая через час покончить с собой.

Вы женились на мне из великодушия, а я пошла за вас из чувства благодарности и любила вас всем своим детским сердцем. Я любила вас, как любила папу, почти так же горячо; и однажды, когда я сидела у вас на коленях, а вы целовали меня, я невольно назвала вас «отец». Это вырвалось у меня непроизвольно, внезапно, от всего сердца. В самом деле, вы были для меня отцом, только отцом. Вы рассмеялись и сказали: «Называй меня так всегда, дитя мое, мне это нравится».

Мы приехали с вами в этот город, и — простите меня, отец,—я влюбилась. О, я долго боролась; почти два года, да, почти два года, но потом уступила, изменила вам, стала погибшей женщиной.

А он? Вам не угадать, кто это. Я совершенно спокойна на этот счет; ведь среди офицеров у меня было двенадцать поклонников, всегда окружавших меня, и вы называли их в шутку моими двенадцатью знаками зодиака.

Отец, не старайтесь найти его и не питайте к нему ненависти. Он поступил так, как всякий поступил бы на его месте, и к тому же я уверена, что он тоже любил меня всей душой.

Но слушайте дальше. Однажды у нас было назначено свидание на острове Вальдшнепов — знаете, тот островок за мельницей. Я добралась туда вплавь, а он должен был ждать меня в кустарнике и затем остаться

там до вечера, чтобы его не заметили. Не успела я встретиться с ним, как вдруг ветви раздвинулись, и мы увидели Филиппа, вашего денщика, который нас выследил. Я поняла, что мы погибли, и громко вскрикнула; тогда он, мой возлюбленный, сказал мне: «Плывите потихоньку обратно, дорогая, и оставьте меня с этим человеком».

Я поплыла в таком смятении, что едва не утонула, и вернулась домой, ожидая чего-то ужасного.

Час спустя, встретив меня у входа в гостиную, Филипп шепнул мне: «Я к вашим услугам, барыня, если у вас будет письмо для передачи». Тогда я поняла, что он подкуплен, что мой возлюбленный договорился с ним.

И действительно, я стала давать ему письма, все мои письма. Он передавал их и приносил мне ответные.

Так продолжалось около двух месяцев. Мы ему доверяли, как доверяли ему и вы.

Но вот, отец, слушайте, что произошло. Однажды на том же островке, куда я заплыла на этот раз одна, я нашла вашего денщика. Человек этот ждал меня и объявил, что донесет вам обо всем и выдаст наши письма, украденные и припрятанные им, если я не уступлю его желаниям.

Ах, отец, отец, меня охватил страх, подлый, недостойный страх; прежде всего страх перед вами, таким добрым и так низко обманутым, потом страх за моего друга — ведь вы бы убили его, — а может быть, и за себя, почем я знаю! —я обезумела, растерялась, я надеялась еще раз купить этого негодяя, который тоже был влюблен в меня,— какой позор!

Ведь мы, женщины, так слабы, мы теряем голову гораздо скорее, чем вы. К тому же, если раз оступишься, то падаешь все ниже и ниже. Разве я сознавала, что делала? Я понимала только, что одному из вас двоих грозит смерть, да и мне тоже,— и я отдалась этому скоту.

Вы видите, отец, я не ищу оправданий.

И вот, и вот случилось то, что я должна была бы предвидеть: он брал меня насильно снова и снова, когда хотел, запугивая угрозами. Он тоже был моим лю-

бовником каждый день, как и тот, другой. Разве это не ужасно? Какая страшная кара, отец!

Тогда я сказала себе: «Надо умереть». Живая, я не в силах была бы вам признаться в таком преступлении. Мертвая, я осмеливаюсь на все. Я не могла поступить иначе, как только умереть: ничто не смыло бы моего позора, я была слишком запятнана. Я не могла больше ни любить, ни быть любимой; мне казалось, что я оскверняю всех уже тем, что подаю им руку.

Сейчас я иду купаться и больше не вернусь.

Это письмо, обращенное к вам, отправлено моему любовнику. Он получит его после моей смерти и, не распечатав, доставит его вам, выполняя мою последнюю волю. А вы — вы прочтете его, возвратившись с кладбища.

Прощайте, отец, мне больше нечего вам сказать. Поступайте, как сочтете нужным, и простите меня».

Полковник вытер вспотевший лоб. К нему вернулось вдруг все его хладнокровие, никогда не изменявшее ему в дни сражений.

Он позвонил.

Вошел слуга.

— Пошлите ко мне Филиппа,— сказал он.

И он выдвинул наполовину ящик письменного стола.

Через минуту вошел высокий солдат с рыжими усами, отталкивающим лицом и угрюмым взглядом.

Полковник взглянул на него в упор.

— Назови мне имя любовника моей жены.

— Но, господин полковник...

Старик вынул из приоткрытого ящика револьвер.

— Говори, живо, ты знаешь, что я не шучу.

— Слушаюсь, господин полковник... Это капитан Сент-Альбер.

Едва он произнес это имя, как пламя опалило ему глаза, и он упал навзничь с пулей во лбу.

КРОЛИК

Утром в обычный час, между пятью и четвертью шестого, дядюшка Лекашёр появился на пороге дома, чтобы присмотреть за батраками, приступавшими к работе.

Красный, заспанный, открыв правый глаз и сощурив левый, он с трудом застегивал помочи на толстом животе, окидывая опытным, зорким взглядом все знакомые уголки своей фермы. Под косыми лучами солнца, пронизывающими буковые деревья у ограды и круглые яблони во дворе, пели петухи на навозной куче, ворковали на крыше голуби. Запах хлева, долетая из растворенных дверей, смешивался в свежем утреннем воздухе с острым духом конюшни, где ржали лошади, повернув головы к свету.

Хорошенько подтянув штаны, дядюшка Лекашёр отправился в обход и первым делом заглянул в курятник, чтобы пересчитать утренние яйца, так как с некоторых пор боялся воровства.

Вдруг к нему подбежала работница, размахивая руками и крича:

— Дядя Каше, дядя Каше, нынче ночью кролика украли!

— Кролика?

— Да, дядя Каше, большого серого, из правой клетки.

Фермер раскрыл левый глаз во всю ширь и сказал только:

— Пойду посмотрю.

И пошел смотреть.

Клетка была разломана, и кролик пропал.

Хозяин насупился, зажмурил правый глаз и почесал нос. Потом, подумав, приказал растерянной служанке, которая стояла перед ним разинув рот:

— Беги за жандармами. Да скажи им, чтоб не мешкали.

Дядюшка Лекашёр был мэром в своей общине, в Павиньи-де-Гра, и благодаря своему богатству и положению распоряжался там по-хозяйски.

Как только служанка скрылась на дороге в деревню, отстоявшую от фермы на полкилометра, крестьянин пошел домой выпить кофе и потолковать о случившемся с женой.

Она стояла на коленях перед очагом и раздувала огонь.

Он сказал ей с порога:

— Вот дело какое — кролика украли, большого серого.

Она повернулась так стремительно, что плюхнулась на пол, и воскликнула, в смятении глядя на мужа:

— Что ты говоришь, Каше! Неужто кролика украли?

— Большого серого.

— Большого серого?

Она вздохнула:

— Беда-то какая! Кто ж бы это мог его украсть?

Это была маленькая, худенькая женщина, подвижная, опрятная, опытная хозяйка.

У Лекашёра уже зародилось подозрение:

— Не иначе как тот молодчик, Полит.

Фермерша порывисто вскочила и закричала в бешенстве:

— Он, он и есть! Больше и искать некого. Он! Верно ты сказал, Каше!

И на ее сухом, сердитом лице, в судорожно сжатых губах, в морщинах на щеках и на лбу выразилась вся ярость крестьянки, вся скупость, все озлобление расчетливой хозяйки против работника, которого вечно подозревают, против служанки, за которой вечно следят.

— А что же ты сделал? — спросила она.

— За жандармами послал.

Полит был батрак, прослуживший на ферме всего несколько дней и уволенный Лекашёром за дерзость. Это был отставной солдат, и о нем ходила молва, что со времени африканских походов он сохранил повадки мародера и распутника. Чтобы прокормиться, он брался за всякую работу. Он был каменщиком, землекопом, возчиком, косцом, штукатуром, дровосеком, а в сущности просто лодырем; поэтому его нигде долго не держали, и ему частенько приходилось перебираться из округа в округ, чтобы найти работу.

Жена Лекашёра невзлюбила его, как только он появился на ферме, и теперь была уверена, что покража — дело его рук.

Не прошло и получаса, как явились два жандарма — бригадир Сенатёр, длинный и тощий, и жандарм Леньен, коротенький и толстый.

Лекашёр усадил их и рассказал о происшествии. После этого все отправились взглянуть на место преступления, чтобы удостовериться во взломе клетки и собрать улики. Когда вернулись на кухню, хозяйка принесла вина, наполнила стаканы и спросила, недоверчиво косясь:

— Ну что, поймаете?

Бригадир сидел с озабоченным видом, поставив саблю между колен. Ясное дело, он поймает, если только ему укажут кого. В противном случае он не ручается, что сам сумеет отыскать вора. После долгого раздумья он задал следующий простой вопрос:

— А вы его знаете, вора-то?

Толстые губы Лекашёра скривились в хитрую нормандскую усмешку, и он ответил:

— Знать-то я его не знаю, раз не накрыл с поличным. А накрой я его, я бы его заставил слопать кролика живьем, с кожей и шерстью, и глотка сидра не дал бы запить. Стало быть, сказать наверняка, кто вор, я не могу, а все ж сдается мне, что это бездельник Полит.

Тут, подбирая мельчайшие, незначительные улики, он подробно рассказал о своих стычках с Политом, об уходе работника, о его вороватых глазах и о всяких сплетнях на его счет.

Бригадир, который слушал с большим вниманием, не забывая осушать и вновь, как бы невзначай, наполнять свой стакан, повернулся к жандарму.

— Надо будет заглянуть к женке пастуха Северина,— сказал он.

Жандарм усмехнулся и три раза кивнул в ответ.

Тут жена Лекашёра подвинулась поближе и осторожно, с крестьянской хитрецой, начала выспрашивать бригадира. Пастух Северин, какой-то юродивый, дурачок, выкормленный в овечьем загоне, выросший на холмах среди скачущей и блеющей скотины, ничего, кроме этой скотины, на свете не знал, однако же таил в глубине души крестьянский инстинкт скопидомства. Должно быть, он из года в год припрятывал по дуплам деревьев и в расщелинах скал все деньги, какие зарабатывал тем, что пас стада или врачевал наложением рук и заговорами увечных животных (секрет знахарства был передан ему старым пастухом, место которого он занял). И вот однажды он купил с торгов небольшой участок, лачугу и клочок земли ценою в три тысячи франков.

Несколько месяцев спустя прошел слух, что он женился. Он взял в жены служанку кабатчика, известную дурным поведением. Ребята болтали, что эта девка, пронюхав о его достатке, бегала каждый вечер к нему в шалаш, опутала его, завлекла и мало-помалу, от ночи к ночи, довела дело до женитьбы.

И вот теперь, пройдя через мэрию и церковь, она поселилась в домишке, купленном ее мужем, а тот продолжал день и ночь пасти стада по равнинам.

И бригадир добавил:

— Вот уже три недели Полит ночует у нее, ведь у него и угла своего нет, у жулика.

Жандарм позволил себе вставить словечко:

— Спит под одеялом у пастуха.

Г-жа Лекашёр закричала в новом припадке ярости, негодуя против распутства, как почтенная мать семейства:

— Конечно, он у нее. Ступайте туда. Ах, воры проклятые!

Но бригадир был по-прежнему невозмутим.

— Минуточку,— сказал он,— подождем до полу-

дня, он ведь каждый день ходит к ней обедать. Тут я их и сцапаю.

Жандарм ухмылялся в восторге от выдумки своего начальника; ухмылялся теперь и сам Лекашёр, так как приключение с пастухом казалось ему забавным: обманутые мужья всегда смешны.

Как только пробило полдень, бригадир Сенатёр, в сопровождении своего помощника, три раза легонько постучался в дверь уединенной лачуги, приютившейся на опушке леса в полукилометре от деревни.

Они прижались к стене, чтобы их не было видно изнутри, и стали выжидать. Прошла минута — другая — никто не отзывался, и бригадир постучал снова. Дом казался необитаемым, такая там стояла тишина, но жандарм Леньен, отличавшийся чутким слухом, объявил, что внутри кто-то шевелится.

Тогда Сенатёр рассердился. Он не допускал, чтобы кто-нибудь посмел хоть секунду сопротивляться властям, и, стуча в стену рукояткой сабли, закричал:

— Отворите именем закона!

Так как и этот приказ не был исполнен, он заорал:

— Немедленно отоприте, или я взломаю дверь! Я бригадир жандармов, черт побери! Ну-ка, Леньен!

Не успел он договорить, как дверь растворилась, и перед Сенатёром появилась здоровая девка, красная, толстомордая, грудастая, с большим животом и широкими бедрами, грубая самка, жена пастуха Северина.

Бригадир вошел.

— Явился к вам одно дельце выяснить,— произнес он.

И огляделся кругом. Тарелка, кувшин сидра, недопитый стакан, стоявшие на столе, говорили о прерванном обеде. Два ножа валялись рядом. Жандарм лукаво подмигнул своему начальнику.

— Недурно пахнет,— сказал тот.

— Тушеным кроликом, могу побожиться,— прибавил развеселившийся Леньен.

— Не угодно ли стаканчик винца? — спросила крестьянка.

— Нет, спасибо. Мне нужна только шкурка от кролика, которого вы ели.

Она прикинулась дурочкой, но вся задрожала.

— Какого кролика?

Бригадир уселся, невозмутимо вытирая лоб.

— Ну-ну, хозяйка, мы все равно не поверим, что вы жуете одну лебеду. Что вы тут кушали, одна-одинешенька, за обедом?

— Да ровно ничего, хоть побожиться! Ломтик хлеба с маслицем.

— Да ну, хозяюшка, какой там хлеб с маслицем?.. Вы обознались. Кролика с маслицем — вот как надо сказать! Эх, до чего же вкусно пахнет ваше масло! Фу ты, черт! Это — особенное масло, самое лучшее, высший сорт, с шерсткой; не знаю, с кем уж вы масло сбивали, только не с мужем!

Жандарм корчился от смеха, поддакивая:

— Будьте уверены, уж только не с мужем.

Бригадир Сенатёр любил побалагурить, а потому и все его жандармы стали шутниками.

Он продолжал:

— Ну-ка, где оно, ваше масло?

— Масло-то?

— Ну да, масло.

— Да в горшке.

— А где же он, горшок-то?

— Какой горшок?

— С маслом, черт побери!

— Да вот он.

Она принесла старую миску, на донышке лежал слой прогорклого соленого масла.

Бригадир понюхал его и поморщился.

— Это не то. Мне нужно масло, что пахнет тушеным кроликом. Ну-ка, Леньен, не зевай: пощи в буфете, голубчик, а я пошарю под кроватью.

И вот, заперев дверь, он подошел к кровати и попытался ее отодвинуть; но кровать точно приросла к стене — ее, очевидно, больше полвека не сдвигали с места. Тогда бригадир нагнулся, так что мундир на нем затрещал и отскочила пуговица.

— Леньен! — позвал он.

— Здесь, бригадир!

— Поди-ка сюда, голубчик, загляни под кровать, я уж больно высок, мне туда не залезть. А я займусь буфетом.

Выпрямившись, он ждал, пока помощник исполнит его приказание.

Коротенький и толстый Леньен снял фуражку, лег на живот и, прижавшись головой к полу, долго всматривался в темное пространство под кроватью. Потом вдруг закричал:

— Поймал! Поймал!

Бригадир Сенатёр наклонился над своим подчиненным:

— Кого поймал, кролика?

— Вора поймал!

— Вора? Давай, давай его сюда!

Засунув обе руки под кровать, жандарм уцепился за что-то и тянул изо всей мочи. Наконец высунулась нога в грубом башмаке, которую Леньен тащил правой рукой.

Бригадир ухватил ногу.

— Валяй, валяй! Тащи!

Леньен, стоя теперь на коленях, вытаскивал другую ногу. Однако задача была нелегкая, так как пленник сильно дрыгал ногами, брыкался и, выгибаясь дугой, упирался задом в перекладины кровати.

— Валяй, валяй, тащи! — кричал Сенатёр.

И оба продолжали тянуть изо всех сил, так что деревянные перекладины наконец подались, и жандармы вытащили туловище человека, который все еще пытался зацепиться за кровать хоть головой.

Наконец показалось и лицо, злое и перепуганное лицо Полита; только руки его еще оставались под кроватью.

— Тащи! — продолжал вопить бригадир.

Тогда послышался какой-то странный дребезжащий звук, и вот вслед за плечами Полита появились руки, за руками пальцы, в пальцах ручка кастрюли, на конце ручки — сама кастрюля, а в ней — тушеный кролик.

— Ах ты черт, ах ты черт, ах ты черт! — в неистовом восторге кричал бригадир, покуда Леньен скручивал вора.

Наконец под тюфяком нашли главную улику, по-

следнее грозное вещественное доказательство — кроличью шкурку.

Тогда жандармы с торжеством вернулись в деревню, ведя плепника и неся свои трофеи.

Случай этот наделал много шуму, и когда через неделю дядюшка Лекашёр зашел в мэрию побеседовать со школьным учителем, он узнал, что его больше часу дожидается пастух Северин.

Пастух сидел в уголке на стуле, держа свой посох между колен. Увидев мэра, он встал, снял шапку и поклонился:

— Здорово, дядя Каше.

Да так и остался стоять в смущении и нерешительности.

— Чего тебе? — спросил фермер.

— Вот дело какое, дядя Каше. Верно ли, будто у вас кролика украли на той неделе?

— Да, Северин, верно, украли.

— Вот что! Стало быть, это правда?

— Правда, дружище.

— А кто ж его украл, кролика-то?

— Полит Анкас, поденщик.

— Так, так. А верно ли болтают, будто его нашли у меня под кроватью?

— Кого это, кролика?

— И кролика и Полита, обоих вместе.

— Да, верно, Северин, верно, бедняга.

— Стало быть, так и было?

— Так и было. А кто же тебе про это рассказал?

— Да люди болтают. Теперь понятно. Да вот еще что: вы ведь мастак по части браков, раз вы сами их устраиваете, потому как вы мэр?

— То есть как по части браков?

— Ну да, насчет правов.

— Как так насчет прав?

— Какие права у мужа и опять же, какие права у жены?

— Ну да...

— Так вот, скажите-ка, дядя Каше, разве моя женка имеет право спать с Политом?

— Как так спать с Политом?

— Ну да, имеет она право — первое по закону, а второе — раз она мне жена — спать с Политом?

— Нет, нет, такого права она не имеет.

— Значит, если я их накрою, имею я право задать им трепку, сперва ей, а там и ему?

— Ну да... конечно.

— Ладно, коли так, уж я вам все скажу. Раз ночью, еще на прошлой неделе, воротился я домой — уж я смекал, что дело нечисто,— и накрыл их вдвоем, да не врозь, а рядышком. Ну, я выгнал Полита вон со двора, да и все тут, потому как правов-то своих я еще не знал. А тут я сам их не видал, а узнал от людей. Дело кончено, и нечего о нем толковать. Но уж дайте мне еще раз их сцапать... черт возьми, только дайте поймать! Уж я отобью у них охоту баловаться, дядя Каше, не будь я Северин, помяните мое слово!..

ВЕЧЕР

Клебер стал на якорь, и я в восхищении залюбовался чудесным Бужийским заливом, простиравшимся перед нами. Кабильские леса покрывали вершины гор; вдали желтые пески окаймляли море полоской золотой пыли, и солнце заливало огненными потоками белые дома маленького городка.

Теплый бриз, настоящий африканский бриз, доносил милый моему сердцу запах пустыни, запах огромного таинственного материка, в глубины которого никогда не проникает человек Севера. Целых три месяца бродил я по окраине этого загадочного, неведомого мира, по берегу волшебной страны страусов, верблюдов, газелей, гиппопотамов, горилл, слонов и негров. Я видел, как скачет араб — словно знамя, развевающееся на ветру,— летит и пропадает из глаз, я спал под бурым пологом шатра, в кочевом жилье этих белых птиц пустыни. Я был опьянен светом, фантастикой и простором.

И вот теперь, после такого путешествия, я должен уехать, должен вернуться во Францию, снова увидеть Париж, город бесцельной болтовни, мелочных забот, бесчисленных рукопожатий. Я прощусь со всем, что так люблю, что так ново для меня, что я едва успел узнать, чего никогда не забуду.

Флотилия лодок окружала пароход. Я прыгнул в одну из них, где на веслах сидел негритенок, и вскоре очутился на набережной, возле старых сарацинских ворот; их сероватые развалины у входа в кабильскую

часть города напоминают какой-то древний дворянский герб.

Я все еще стоял на пристани около своего чемодана, любуясь большим кораблем, бросившим якорь на рейде, онемев от восторга при виде этого несравненного берега, этого амфитеатра гор, омываемого синими волнами, более прекрасного, чем в Неаполе, не уступающего по красоте Аяччо или Порто на Корсике, как вдруг тяжелая рука легла мне на плечо.

Я обернулся и увидел рядом с собой высокого длиннобородого голубоглазого человека в соломенной шляпе, в белом фланелевом костюме, пристально смотревшего на меня.

— Если не ошибаюсь, вы мой старый товарищ по пансиону? — сказал он.

— Возможно. Как вас зовут?

— Тремулен.

— Черт возьми! Да мы с тобой сидели рядом в классе!

— Ах, старина, а ведь я узнал тебя с первого взгляда!

И его длинная борода прижалась к моей щеке.

Казалось, он был так доволен, так рад, так счастлив меня видеть, что я, польщенный этим дружеским порывом, крепко пожал обе руки товарищу минувших лет и сам пришел в восхищение от встречи с ним.

Тремулен в течение четырех лет был для меня самым близким, самым лучшим из тех товарищей по классу, которых мы так скоро забываем, выйдя из колледжа. В те времена он был худощав, с непомерно большой головой, круглой, тяжелой, клонившейся на тонкой шее и давившей своей тяжестью на узкую грудь этого долговязого подростка.

Очень развитой, одаренный исключительными способностями, редкой гибкостью ума и врожденным литературным чутьем, Тремулен чаще всех в классе получал награды. Все в коллеже были убеждены, что из него выйдет знаменитость, по всей вероятности, поэт, так как он сочинял стихи и вечно носился с какими-то причудливыми сентиментальными замыслами. Отец его, человек небогатый, был аптекарем в квартале Пантеона.

Вскоре после экзаменов на бакалавра я потерял его из виду.

— Что ты здесь делаешь? — воскликнул я.

Он ответил с улыбкой:

— Я колонист.

— Вот как! Возделываешь?

— И собираю урожай.

— Что же именно?

— Виноград, из которого делаю вино.

— И дело идет?

— Отлично идет.

— Поздравляю, старина.

— Ты направлялся в гостиницу?

— Да.

— Ну, так пойдем ко мне.

— Но...

— Никаких оттоворок!

И он крикнул негритенку, который ждал наших распоряжений:

— Ко мне домой, Али.

Али отвечал:

— Слушаюсь, мусси.

И понесся стрелой с моим чемоданом на плече, топая черными пятками по пыльной дороге.

Тремулен взял меня под руку и повел к себе. Сперва он расспрашивал меня о путешествии, о впечатлениях и, видя мой восторг, казалось, чувствовал ко мне еще большее расположение.

Он жил в старом мавританском доме с внутренним двориком, без окон на улицу; над домом простиралась плоская крыша, возвышавшаяся над крышами соседних домов, над заливом и лесами, над горами и морем.

Я воскликнул:

— Ах, как мне это нравится: в таком доме весь Восток проникает прямо в сердце! Боже! Какой ты счастливый, что живешь здесь! Какие ночи ты проводишь, должно быть, на этой крыше! Ты там и спишь?

— Да, все лето. Мы поднимемся туда вечером. Ты любишь рыбную ловлю?

— Какую?

— Рыбную ловлю с факелами.

— Еще бы, обожаю.

— Ну вот, мы и отправимся после обеда. А затем вернемся домой пить шербет на крыше.

После того как я принял ванну, он повел меня осматривать восхитительный кабильский город, настоящий водопад белых строений, низвергающийся к морю; домой мы вернулись уже под вечер и после превосходного обеда спустились к набережной.

Уже ничего не было видно, кроме уличных огней и звезд, крупных, лучистых, мерцающих звезд африканского неба.

В гавани нас ожидала лодка. Как только мы вошли в нее, какой-то человек, лица которого я не мог различить, принялся грести, а мой приятель начал приготовлять хворост для костра, чтобы разжечь его, когда придет время. Он сказал мне:

— Знаешь, я сам бью острогой. Никто не владеет ею лучше меня.

— Поздравляю.

Мы обогнули что-то вроде дамбы и очутились в небольшой бухте, окруженной высокими утесами, их тени казались башнями, воздвигнутыми в воде; вдруг я заметил, что море светится. Весла, медленно и равномерно рассекавшие воду, зажигали в ней при каждом ударе странное зыбкое сияние, которое долго еще тянулось вслед за нами мерцающей полосой, постепенно потухая. Нагнувшись, я разглядывал эти струи бледного света, дробящиеся от ударов весла, это загадочное морское пламя, холодное пламя, загорающееся от колебания воды и угасающее, едва волна успокоится. Мы углублялись во тьму все трое, скользя по светящейся глади.

Куда мы плыли? Я не видел своих соседей, не видел ничего, кроме этой мерцающей зыби и водяных блесток, отбрасываемых веслами. Было душно, очень душно. Мрак дышал жаром, словно гигантская печь, и сердце мое тревожно замирало в этой таинственной лодке с двумя спутниками, бесшумно скользящей по воде.

Вдалеке выли собаки, тощие арабские собаки, с рыжей шерстью, острыми мордами и горящими глазами, как воют они каждую ночь в этой необъятной стране, от морских берегов до глубины пустыни, где раскиды-

вают шатры бродячие племена. Собакам вторили лисицы, шакалы, гиены, и, верно, где-нибудь неподалеку рычал в ущельях Атласа одинокий лев.

Гребец вдруг остановился. Где мы находились? Рядом со мной послышался тихий шорох. Вспыхнула спичка, и я увидел руку, одну только руку, подносившую легкое пламя к железной решетке, которая была подвешена к носу лодки и нагружена поленьями, точно плавучий костер.

Я смотрел, пораженный, словно видел что-то небывалое и жуткое, и с волнением следил, как огонь коснулся пучков сухого вереска с краю этого плавучего очага и как они начали потрескивать.

И вот среди уснувшей ночи, среди душной, раскаленной ночи запылало высокое яркое пламя, озарив под нависшим над нами покровом мрака лодку и двух человек: тощего старого матроса, седого и морщинистого, с головой, повязанной платком, и Тремулена, белокурая борода которого отсвечивала золотом.

— Вперед! — сказал он.

Матрос взялся за весла, и мы опять поплыли, словно в центре метеора, под куполом зыбкой тени, двигавшейся вместе с нами. Тремулен размеренным движением подбрасывал дрова, и костер пылал, вспыхивая и сверкая.

Я снова нагнулся и увидел мо́рское дно. На глубине нескольких футов под лодкой медленно развертывалась по мере нашего продвижения волшебная водяная страна, где вода, как воздух небес, дает жизнь растениям и животным. Яркий свет костра проникал до подводных скал, и мы скользили над причудливыми лесами водорослей, рыжих, розовых, зеленых, желтых. Сквозь идеально чистое стекло, отделявшее их от нас, жидкое, почти незримое стекло, они казались сказочными и как бы отступали в область мечты, навеваемой глубинами океана. Ясная вода, такая прозрачная, что ее скорее угадывали, чем видели, ставила меж нами и этими странными растениями некую смутную, зыбкую преграду, порождала как бы сомнение в их реальности, делая их таинственными, как пейзажи сновидений.

Иногда травы доходили почти до поверхности и,

словно пряди волос, слегка шевелились от медленного движения лодки.

Среди водорослей мелькали и скользили тонкие серебристые рыбки, появляясь на секунду и исчезая. Другие, еще сонные, висели, качаясь в этих водяных зарослях, сверкающие, легкие, неуловимые. По временам проползал краб и прятался в щель, или голубоватая, прозрачная, еле различимая медуза, бледный лазурный цветок, истый цветок моря, тянулась жидкой массой в легкой струе за кормой нашей лодки; потом дно вдруг исчезало, проваливаясь глубоко вниз, в густой зеленоватый туман. Тогда массивные скалы и темные водоросли смутно виднелись, едва освещаемые костром.

Тремулен стоял на носу лодки, наклонившись, держа в руках длинный трезубец, называемый острогой, и зорко всматривался в скалы, в травы, в изменчивое дно моря горящими глазами хищного зверя.

И вдруг проворным и ловким движением он опустил в воду вилообразный конец своего оружия, затем метнул его, как мечут стрелу, с такой быстротой, что оно пронзило на ходу большую рыбину, плывшую впереди лодки.

Я ничего не заметил, кроме движения Тремулена, но услыхал его радостный возглас; когда же он вытащил острогу на свет костра, я увидел странное существо, которое корчилось, пронзенное насквозь железными зубьями. Это был морской угорь. Полюбовавшись на него и пронеся над пламенем, чтобы показать мне, мой друг швырнул его на дно лодки. Морская змея, проколотая в пяти местах, поползла, извиваясь, у моих ног, отыскивая лазейку для бегства, и, найдя между досками днища лужицу солоноватой воды, забилась туда и свернулась клубком, издыхая.

И тогда с невероятной ловкостью, с молниеносной быстротой и поразительной уверенностью Тремулен принялся вылавливать всевозможных диковинных обитателей соленых вод. Я видел, как одна за другой проносились над огнем в предсмертных судорогах серебристые зубатки, темные мурены с кровавыми пятнами, скорпены с ощетинившимися плавниками и каракатицы — странные существа, которые плевали чернилами,

окрашивая море вокруг лодки на несколько мгновений в черный цвет.

Между тем во мраке, окружавшем нас, мне то и дело слышались птичьи крики, и я смотрел вверх, силясь определить, откуда доносились эти пронзительные свистящие звуки, то близкие, то далекие, то отрывистые, то протяжные. Они раздавались непрерывно, не умолкая, словно целая стая пернатых парила над нами, привлеченная, вероятно, пламенем костра. Порою эти звуки обманывали слух, как будто исходя из водной глубины.

Я спросил:

— Что это за свист?

— Да это угли падают в воду.

И в самом деле, из костра сыпался в море ливень горящих хворостинок. Они падали, раскаленные или пылающие, и гасли с нежным, странным, хватающим за душу жалобным звуком, не то щебетанием, не то призывным криком перелетной птицы. Капли смолы издавали жужжание, подобно пулям или шмелям, и сразу меркли, погружаясь в воду. Казалось, это звучат голоса живых существ, неизъяснимый, смутный гул жизни, блуждающей во мраке рядом с нами.

Вдруг Тремулен воскликнул:

— А... мерзкая тварь!

Он метнул острогу, и, когда выдернул ее снова, я увидел обвившийся вокруг зубьев вилки и присосавшийся к древку огромный лоскут красного мяса, который трепетал и шевелился, закручивая вокруг рукояти остроги и вновь развертывая длинные, гибкие и сильные щупальца, покрытые присосками. Это был спрут.

Тремулен поднес ко мне свою добычу, и я различил два больших глаза, устремленных на меня, два выпученных, мутных, ужасных глаза, которые выглядывали из какой-то сумки, похожей на опухоль. Считая себя на свободе, чудовище медленно вытянуло одну из своих конечностей, и я увидел, как белые присоски поползли ко мне. Кончик щупальца был тонкий, как червяк, и лишь только эта страшная лапа прицепилась к скамье, вслед за ней поднялась и развернулась другая. В этом мускулистом и мягком туловище, в этой живой кровососной банке, красноватой и дряблой, чув-

ствовалась несдолимая мощь. Тремулен раскрыл нож и с размаху вонзил его между глаз спрута.

Послышался вздох, шипящий звук выходящего воздуха, и осьминог перестал двигаться.

Однако он еще не был мертв, жизнь упорно держится в этих цепких телах, но мощь его была сокрушена, оболочка прорвана, чудовище не могло больше пить кровь, высасывать и опустошать скорлупу крабов.

Тремулен, как бы играя с издыхающей тварью, отдирал от борта лодки обессилевшие присоски и вдруг закричал в припадке непонятной ярости:

— Погоди, гадина, я поджарю тебе лапы!

Он разом подхватил спрута на трезубец и, вскинув кверху, поднес к огню, проводя тонкими щупальцами по раскаленной железной решетке.

Они трещали, корчились, багровели, съеживались на огне, и я почувствовал боль в кончиках пальцев от мучений страшной твари.

— Ах, не делай этого! — вырвалось у меня.

Он отвечал спокойным тоном:

— Ничего! Так ей и надо!

И он швырнул на дно лодки растерзанного, изуродованного спрута, который прополз у меня под ногами к лужице соленой воды и забился туда, чтобы издохнуть среди мертвых рыб.

Лов продолжался еще немало времени, пока не начал иссякать запас дров.

Когда их оказалось недостаточно для поддержания огня, Тремулен опрокинул весь костер в море, и ночь, нависшая над головой и словно удерживаемая ярким пламенем, сразу обрушилась на нас и погребла нас во мраке.

Старик опять начал грести, медленно, равномерными ударами весел. Где была гавань, где была земля? Где вход в залив и где открытое море? Я ничего не мог распознать. Спрут все еще корчился у моих ног, и я ощущал боль под ногтями, как будто мне тоже жгли пальцы. Внезапно засветились огни: мы входили в гавань.

— Тебе хочется спать? — спросил мой друг.

— Нет, нисколько.

— Так давай поболтаем у меня на крыше.

— С большим удовольствием.

В ту самую минуту, как мы поднялись на крышу, показался серп луны, восходившей над цепью гор. Лениво веял теплый ветер, напоенный легкими, еле ощутимыми ароматами, словно он впитал на своем пути дыхание садов и городов всех стран, опаленных солнцем.

Вокруг нас спускались к морю белые дома с плоскими квадратными крышами, а на крышах виднелись фигуры людей, которые лежали и стояли, дремали или мечтали под звездным небом,— целые семьи, в длинных фланелевых одеждах, отдыхавшие в ночной тиши от дневного зноя.

Мне почудилось вдруг, что в меня вливается душа Востока, поэтическая и мечтательная душа простых народов, наделенных яркой фантазией. Передо мной вставали легенды библии и *Тысячи и одной ночи;* я внимал пророкам, вещающим о чудесах, я видел, как по плоским кровлям дворцов шествуют принцессы в шелковых шальварах, а в серебряных жаровнях курятся тонкие благовония и подымающийся от них дым принимает очертания джинов.

Я сказал Тремулену:

— Как ты счастлив, что живешь здесь!

Он отвечал:

— Меня привел сюда случай.

— Случай?

— Да, случай и несчастье.

— Ты пережил несчастье?

— Большое несчастье.

Он стоял передо мной, завернувшись в бурнус, и меня охватила дрожь при звуке его голоса: такое в нем слышалось страдание.

Он продолжал, немного помолчав:

— Я могу рассказать тебе о своем горе. Быть может, мне станет легче, когда я выскажусь.

— Расскажи.

— Хочешь?

— Хочу.

— Ну, так вот. Ты ведь помнишь, каким я был в коллеже: чем-то вроде поэта, воспитанного в аптеке. Я мечтал стать литератором и после экзаменов на бакалавра пытался писать. Но мне не повезло. Я издал

том стихов, потом роман, но ни то, ни другое не распродавалось; затем сочинил пьесу, но она так и не была поставлена.

Тогда я влюбился. Не стану рассказывать тебе о моей страсти. Рядом с лавкой отца жил портной, у него была дочь. Я полюбил ее. Она была умница, получила диплом и обладала живым, игривым умом, весьма гармонирующим со всей ее внешностью. На вид ей было лет пятнадцать, хотя минуло уже двадцать два. Она была миниатюрная, стройная, с тонкими чертами, с нежным цветом лица, похожая на изящную акварель. Ее носик, рот, голубые глаза, светлые волосы, улыбка, стан, руки — все, казалось, создано было для жизни в теплице. Однако она была живая, подвижная и необычайно деятельная. Я влюбился в нее без памяти. Мне вспоминаются две — три прогулки в Люксембургском саду, у фонтана Медичи, которые останутся, без сомнения, лучшими часами в моей жизни. Тебе знакомо, не правда ли, странное состояние любовного безумия, когда ты не в состоянии думать ни о чем, кроме обожаемого существа. Превращаешься в какого-то одержимого, тебя неотвязно преследует образ женщины, ничто уже не существует на свете, кроме нее.

Вскоре мы обручились. Я поделился с ней своими планами на будущее, но она их отвергла. Она не считала меня ни поэтом, ни романистом, ни драматургом и полагала, что торговое дело, если оно процветает, вполне обеспечивает счастье.

Итак, расставшись с мечтой сочинять книги, я примирился с мыслью их продавать и приобрел в Марселе «Универсальную книготорговлю», владелец которой умер.

Три года все шло прекрасно. Наш магазин превратился в своего рода литературный салон, куда сходилось побеседовать все образованное общество города. К нам заходили, как заходят в клуб, чтоб обменяться мыслями о книгах, о поэтах, а в особенности о политике. Моя жена, руководившая торговлей, пользовалась в городе настоящей известностью. Что до меня, то покуда в первом этаже болтали, я работал во втором, в своем кабинете, сообщавшемся с книжной лавкой винтовой лестницей. До меня доносились голоса, смех,

споры, и порою я переставал писать и прислушивался. Втайне я принялся за сочинение романа, которого так и не окончил.

Самыми усердными завсегдатаями были господин Монтина, рантье, высокий красивый малый, типичный южанин, брюнет с ласковыми глазами; господин Барбе, судейский чиновник; два коммерсанта — Фосиль и Лабарег; и маркиз де Флеш, генерал, глава роялистской партии, самое важное лицо в нашей местности, старик шестидесяти шести лет.

Дела наши шли хорошо. Я был счастлив, совершенно счастлив.

Но вот однажды, около трех часов пополудни, выйдя по делам, я проходил по улице Сен-Ферроль и вдруг увидел, как из какой-то двери выскользнула женщина, настолько напоминающая фигурой мою жену, что я сказал бы: «Это она!»,— если бы час тому назад не оставил ее в лавке с головной болью. Она шла впереди меня быстрым шагом, не оборачиваясь. И почти против воли я пошел вслед за ней, удивленный и встревоженный.

Я говорил себе: «Это не она. Нет, не может быть, ведь у нее мигрень. Да и зачем ей было заходить в тот дом?»

Однако мне хотелось удостовериться, и я ускорил шаг, чтобы догнать ее. Почувствовала ли она, угадала, узнала ли мои шаги, не знаю, но только вдруг она оглянулась. Это была моя жена! Увидев меня, она густо покраснела и остановилась, потом проговорила с улыбкой:

— Вот как, и ты здесь!

Сердце у меня сжалось.

— Да. Ты, значит, все-таки вышла? А как твоя мигрень?

— Мне стало лучше, и я решила пройтись.

— Куда же?

— К Лакоссаду, на улицу Касинелли, заказать карандаши.

Она смотрела мне прямо в лицо. Она уже не краснела, скорее была немного бледна. Ее светлые и ясные глаза — ах, эти женские глаза! — казалось, говорили правду, но я смутно, мучительно чувствовал, что они

лгут. Я стоял перед ней более смущенный и растерянный, более потрясенный, чем она сама, не смея ничего заподозрить, уверенный, однако, что она лжет. Почему? Я и сам не знал.

Я сказал только:

— Ты хорошо сделала, что прогулялась, если мигрень прошла.

— Да, мне гораздо лучше.

— Ты идешь домой?

— Домой.

Я оставил ее и пошел один бродить по улицам. Что произошло? В ее присутствии я инстинктивно почувствовал, что она лжет. Теперь же я не смел этому поверить и, вернувшись к обеду домой, упрекал себя, что мог хоть на секунду усомниться в ее искренности.

Ревновал ли ты когда-нибудь? Впрочем, не в этом дело! Первая капля ревности запала мне в сердце. Это жгучая отрава. Я ничего еще не думал, ничего не предполагал. Я сознавал только, что она солгала. Подумай только, ведь каждый вечер, когда мы оставались вдвоем после ухода покупателей и служащих — ходили ли мы гулять по набережной в ясную погоду или болтали у меня в кабинете, если было пасмурно,— я всегда раскрывал перед ней всю душу, я отдавался ей весь целиком, потому что любил ее. Она составляла часть моей жизни, главный ее смысл, в ней была вся моя радость. В своих нежных ручках она держала в плену мою доверчивую, преданную душу.

В первые дни, дни сомнений и безотчетной тоски, когда подозрение еще не оформилось и не разрослось, я испытывал недомогание и дрожь, словно при начале болезни. Меня все время знобило, по-настоящему знобило, я не мог ни есть, ни спать.

Зачем она солгала? Что она делала в том доме? Я побывал там, пытался что-нибудь выяснить. И ничего не узнал. Квартирант второго этажа, обойщик, сообщил мне сведения обо всех своих соседях, но ничто не навело меня на след. В третьем этаже проживала акушерка, в четвертом — портниха и маникюрша, в мансардах — два извозчика с семьями.

Почему она солгала? Что ей стоило сказать, что она шла от портнихи или от маникюрши. Ах, как мне

хотелось допросить их обеих! Я не сделал этого из боязни, что она будет предупреждена и узнает о моих подозрениях.

Итак, она входила в тот дом и скрыла это от меня. Тут была какая-то тайна. Но какая? Иногда мне приходили в голову самые естественные объяснения — тайная благотворительность, какие-нибудь необходимые ей справки, и я обвинял себя, что смею ее подозревать. Разве каждый из нас не имеет права на маленькие невинные секреты, на некую внутреннюю, сокровенную жизнь, в которой никому не обязан давать отчет? Может ли мужчина, взяв в жены молодую девушку, требовать, чтобы она посвящала его во все свои мысли и поступки? Означает ли слово «брак» отречение от всякой независимости, от всякой свободы? Разве не могло случиться, что она ходила к портнихе, не сказав мне об этом, или помогала семье одного из извозчиков? Может быть, она опасалась, что посещение этого дома, хоть и не предосудительное само по себе, вызовет с моей стороны порицание или неудовольствие? Ведь она знала меня насквозь, вплоть до самых скрытых моих причуд, и, может быть, боялась упреков и споров. У нее были очень красивые руки, и я пришел к заключению, что она ходила тайком в тот подозрительный дом делать маникюр и не хотела в этом признаться, чтобы не казаться расточительной. Она отличалась аккуратностью, бережливостью, расчетливостью в мелочах, как и полагается экономной и деловой женщине. Она побоялась бы уронить себя в моих глазах, покаявшись в этом маленьком расходе на свой туалет. Ведь в женщинах столько врожденного лукавства, тонкости и притворства.

Но все эти рассуждения нисколько меня не успокаивали. Я ревновал. Подозрения мучили меня, угнетали, терзали. Это были даже не подозрения вообще, но одно определенное подозрение. Меня томила тоска, глупая тревога, скрытая еще мысль — да, именно мысль, скрытая завесой, приподнять которую я не решался, ибо под ней таилась страшная догадка... Любовник... Не было ли у нее любовника?.. Подумай, подумай только! Это было неправдоподобно, немыслимо... и все же?..

Образ Монтина то и дело вставал у меня перед глазами. Я видел, как улыбается ей, не спуская с нее глаз, этот высокий фат с лоснящимися волосами, и говорил себе: «Это он!»

Я воображал себе историю их связи. Они говорили о какой-нибудь книге, обсуждали описанное там любовное приключение, нашли нечто общее с собой и воплотили вымысел в жизнь.

Я выслеживал их, подстерегал, испытывая самые унизительные муки, какие может вынести человек. Я купил себе башмаки на резиновой подошве, чтобы ступать бесшумно, и целыми днями спускался и подымался по винтовой лесенке, надеясь застигнуть их врасплох. Часто, перегнувшись через перила, я сползал вниз,— только бы увидеть, что они делают. И потом, убедившись, что они втроем с приказчиком, я вынужден был, пятясь, с невероятными усилиями возвращаться наверх.

Это была не жизнь, а мука. Я не мог ни думать, ни работать, ни заниматься делами. Едва выйдя из дому, не успев пройти и ста шагов по улице, я говорил себе: «Он там» — и возвращался. Его там не было. Я опять уходил, но, отойдя немного, снова думал: «Вот теперь он пришел» — и поворачивал назад.

Так продолжалось целые дни.

По ночам было еще тяжелее, ведь я ощущал ее около себя, в моей постели. Она лежала рядом, спала или притворялась спящей. Спала ли она? Разумеется, нет. То опять была ложь!

Я неподвижно лежал на спине, ее тело обжигало меня, я задыхался, мучился. О! какое неодолимое искушение, какое упорное постыдное желание встать, взять свечу, молоток и одним ударом размозжить ей голову, чтобы заглянуть внутрь! Я прекрасно знаю, что увидел бы только месиво из мозга и крови, ничего больше. Я не узнал бы ничего. Все равно узнать невозможно! А ее глаза! Когда она смотрела на меня, во мне поднималась дикая ярость. Ты смотришь на нее, она — на тебя. Ее глаза прозрачны, ясны — и лживы, лживы, лживы! И нельзя угадать, какие мысли они таят. Мне хотелось проткнуть их иголкой, уничтожить эти лживые зеркала

Ах, как я понимаю инквизиторов! Я защемил бы ей руки в железные тиски. «Говори... признавайся!.. Не хочешь? Погоди же!..» Я тихонько сдавил бы ей горло... «Говори, признавайся!.. Не хочешь?..» И я давил бы, давил, пока не увидел, как она хрипит, задыхается, умирает... Или я стал бы жечь ей пальцы на огне!.. О! с каким наслаждением я бы это сделал: «Говори... говори же... Не хочешь?» Я жег бы их на угольях... у нее обгорели бы ногти... и она созналась бы... о, конечно!.. тогда она бы заговорила!..

Тремулен кричал, стоя во весь рост, сжав кулаки. Вокруг нас, на соседних крышах, приподымались тени, просыпались, прислушивались люди, пробужденные от мирного сна.

А я, взволнованный, охваченный горячим участием, я видел перед собою во мраке, как будто знал ее давно, эту маленькую женщину, подвижную и лукавую, хрупкое белокурое создание. Я видел, как она продает книги, как болтает с мужчинами, пленяя их своим детским личиком, я видел, как бродят в ее изящной кукольной головке затаенные мысли, безумные, сумасбродные мечты, грезы модисток, надушенных мускусом и увлекающихся всеми героями бульварных романов. Как и Тремулен, я подозревал ее, презирал, ненавидел, я тоже готов был жечь ей пальцы, чтобы заставить ее признаться.

Он продолжал, немного успокоившись:

— Не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Я никому никогда об этом не говорил. Правда, я и не видел никого целых два года. Я ни с кем не говорил по душам, ни с кем! Все это накипело у меня в сердце, вся эта грязь пришла в брожение. Теперь я изливаю ее. Тем хуже для тебя!

Так вот, я ошибся! На самом деле было гораздо хуже, чем я предполагал. Произошло самое худшее. Слушай. Я применил способ, каким всегда пользуются в таких случаях: я делал вид, что ухожу надолго. Всякий раз, как я отлучался, моя жена завтракала вне дома. Не стану тебе рассказывать, как мне удалось подкупить лакея в ресторане, чтобы застигнуть ее врасплох.

Мне должны были отпереть дверь их отдельного ка-

бинета, и я пришел в назначенный час с твердым намерением их убить. Еще накануне я представлял себе всю сцену так ясно, как будто она уже произошла!

Я входил. Моя жена и Монтина сидели друг против друга за небольшим столиком, заставленным бокалами, бутылками и тарелками. При виде меня они цепенели от неожиданности. Не произнеся ни слова, я ударял его по голове палкой со свинцовым набалдашником, которой вооружился заранее. Сраженный ударом, он падал ничком на скатерть. Тут я поворачивался к ней и давал ей время — несколько секунд,— чтобы она все поняла и протянула ко мне руки, обезумев от ужаса, прежде чем умереть в свой черед. О! я был готов на все, полон силы и решимости, я упивался радостью. Когда я представлял себе ее растерянный взгляд при виде занесенной над нею палки, ее простертые ко мне руки, ее отчаянный крик, ее посеревшее и перекошенное лицо, я был отмщен заранее. Ее-то я убил бы не сразу, о нет! Ты считаешь меня кровожадным, не правда ли? Ах, ты не знаешь, сколько я выстрадал! Подумать, что любимая женщина, жена или любовница, принадлежит другому, отдается ему, как тебе, целует его в губы, как тебя! Это чудовищно, невыносимо! Кто хоть однажды вытерпел такую пытку, тот способен на все. О! я удивляюсь, что убийства происходят так редко; ведь все, кто был обманут, все жаждали убить, все наслаждались этим воображаемым убийством — у себя ли в комнате, или на безлюдной дороге,— всех преследовало видение удовлетворенной мести, все мечтали задушить или нанести удар.

И вот я пришел в тот ресторан. Я спросил: «Они там?» Подкупленный лакей отвечал: «Да, сударь»,— проводил меня по лестнице и, указав на дверь, сказал: «Здесь». Я стиснул палку, как будто пальцы мои стали железными, и вошел.

Я удачно выбрал момент. Они целовались... но это был не Монтина. То был генерал де Флеш, старик шестидесяти шести лет.

Я был так уверен, что встречу другого, что застыл на месте, лишившись сил от удивления.

А потом... потом... я до сих пор не понимаю, что со мной произошло... нет, не понимаю! При виде того, дру-

гого я пришел бы в бешенство. Но перед этим, перед пузатым стариком с отвислыми щеками, я задыхался от омерзения. Она, такая молоденькая, с виду не старше пятнадцати лет, отдалась, продалась этому толстяку, этой дряхлой развалине, только потому, что он был маркизом, генералом, другом и поверенным свергнутых королей. Не могу передать своих чувств и мыслей. Я не мог бы поднять руку на этого старика! Какой позор! Мне хотелось убить не только свою жену, но всех женщин, способных на подобную гнусность! Я больше не ревновал, я был потрясен, словно увидел мерзость из мерзостей.

Пусть говорят что угодно о мужчинах, они не бывают до такой степени подлы! Когда встречают мужчину, который продался таким образом, на него указывают пальцем. Муж или любовник старухи вызывает больше презрения, чем вор. Мы чистоплотны, дорогой друг. Но они, они, эти девки с грязной душой! Они отдаются всем, молодым и старым, по самым различным причинам, по самым постыдным побуждениям, в этом их профессия, их призвание, их ремесло. Это вечные блудницы, бессознательные и бездумные проститутки, они без отвращения отдают свое тело, потому что это любовный товар,— продают ли они его старому развратнику, что рыщет по тротуарам с золотом в кармане, или дарят из тщеславия дряхлому сладострастному вельможе, знатному омерзительному старику...

Он бросал в звездное небо яростные проклятия, как древний пророк; в бешенстве и отчаянии клеймил он позором прославленных любовниц дряхлых монархов, обличал добродетельных девушек, вступающих в брак со стариками, бичевал всеми уважаемых молодых женщин, принимающих с улыбкой старческие поцелуи.

И я видел их всех, начиная от сотворения мира, видел, как в ответ на его призывы и заклинания во тьме восточной ночи возникали девы, прекрасные девы с низкой душой, послушно уступавшие старческой похоти, словно самки, не ведающие возраста самца. Они вставали передо мной, воспетые в библии рабыни патриархов,— Агарь, Руфь, дочери Лота, смуглая Аби-

гайль, дева из Суннама, оживлявшая своими ласками умирающего Давида, и все остальные, юные, пышные, белотелые, патрицианки и плебейки, безответные наложницы, покорные невольницы, обольщенные или продажные...

Я спросил:

— Что же ты сделал?

Он ответил просто:

— Я уехал. И вот почему я здесь.

И мы долго сидели рядом и молчали, погруженные в свои думы...

Я сохранил от этого вечера незабываемое впечатление. Все, что я увидел, почувствовал, выслушал, угадал—и рыбная ловля, и мерзкий спрут, и этот раздирающий душу рассказ среди белых призраков на соседних крышах,— все как будто слилось в одно единое чувство. В иных встречах, в иных сплетениях событий, не представляющих на первый взгляд ничего исключительного, сокровенная сущность бытия проявляется гораздо ярче, чем в нашей повседневной жизни.

БУЛАВКИ

— Ах, дружище, что за стервы эти женщины!

— Почему так?

— Да они сыграли со мной прескверную штуку.

— С тобой?

— Ну да, со мной.

— Одна женщина или несколько?

— Две женщины.

— Сразу две?

— Да.

— Какую же штуку?

Двое молодых людей сидели перед большим кафе на бульваре и потягивали разбавленный водою ликер — напиток, похожий на настойки из акварельных красок всех оттенков.

Они были приблизительно одного возраста: лет двадцати пяти — тридцати. Один блондин, другой брюнет. Оба отличались известной элегантностью, свойственной так называемым биржевым зайцам, которые толкутся и на бирже и в гостиных, бывают всюду и всюду заводят любовные интрижки.

Брюнет продолжал:

— Ведь я рассказывал тебе о той красотке, с которой завязал интрижку на пляже в Дьеппе?

— Рассказывал.

— Милый мой, ты знаешь, как это случается. В Париже у меня есть постоянная любовница, давнишняя привязанность, верная подруга,— словом, привычка, и я очень ею дорожу.

— Своей привычкой?

— И привычкой и ею самой. Она замужем за прекрасным человеком, его я тоже очень люблю — славный малый, сердечный, настоящий товарищ! Словом, в этом доме я нашел тихую пристань.

— И что же?

— Да то, что эта чета не могла выехать из Парижа, и я очутился в Дьеппе вдовцом.

— Зачем понесло тебя в Дьепп?

— Чтобы проветриться. Нельзя же все время околачиваться на бульварах.

— Ну?

— И вот я встретил на пляже ту милашку, о которой тебе говорил.

— Жену начальника канцелярии?

— Да. Она очень скучала. Муж ее приезжал только по воскресеньям. К тому же он препротивный. Я прекрасно ее понимаю. Ну и вот, мы с ней веселились и танцевали.

— И все прочее?

— Было и это, попозже... Словом, мы встретились, понравились друг другу, я ей это высказал, она заставила повторить, чтобы как следует понять, и уступила без всяких фокусов.

— Ты влюбился в нее?

— Да, немножко, она очень мила.

— А другая?

— Да ведь та была в Париже! Словом, целых шесть недель все шло прекрасно, и мы вернулись сюда в самых лучших отношениях. Разве ты можешь порвать с женщиной, если она ни в чем не провинилась?

— Могу, очень просто.

— Как же ты поступаешь?

— Бросаю ее.

— Но как ты это устраиваешь?

— Не хожу к ней, вот и все.

— А если она придет к тебе?

— Я... ну, меня не будет дома.

— А если придет еще раз?

— Скажу, что нездоров.

— А если начнет за тобой ухаживать?

— Тогда... пошлю ее к черту.

— А если она стерпит?

— Напишу анонимное письмо мужу, чтобы он следил за ней в дни наших свиданий.

— Вот здорово! У меня нет такой выдержки. Я не умею порывать с женщинами. Я их совмещаю. С одними я встречаюсь раз в год, с другими — раз в десять месяцев, с некоторыми — при получке жалованья, с прочими — в те дни, когда им придет охота пообедать в кабачке. Те, кому я уже составил расписание, меня не стесняют, но с новыми нередко бывает куча хлопот прежде, чем я приучу их посещать меня пореже.

— Ну, что же дальше?

— Итак, милый друг, маленькая чиновница была вся огонь, вся пламя, без единого недостатка, как я уже сказал тебе. Ее муж целый день сидит в канцелярии, и она вздумала было являться ко мне без предупреждения. Раза два она чуть не столкнулась с моей прежней подругой.

— Ах, черт!

— Да. После этого, во избежание путаницы, я назначил каждой особые, строго определенные дни: понедельник и субботу — для прежней; вторник, четверг и воскресенье — для новенькой.

— Почему такое предпочтение?

— Ах, голубчик, она моложе.

— Значит, у тебя оставалось только два дня в неделю для отдыха?

— Мне достаточно.

— Молодчина!

— И все же, представь, со мной случилась самая нелепая и самая дурацкая история. Четыре месяца все шло превосходно. Я и в ус себе не дул и, право же, был очень счастлив; и вдруг в прошлый понедельник все летит к чертям!

Я поджидал свою прежнюю любовницу в назначенное время, в четверть второго, покуривая хорошую сигару.

Очень довольный собою, я предавался мечтаниям, как вдруг заметил, что назначенное время уже прошло. Я удивился, зная, что она очень аккуратна, но объяснил это случайным опозданием. Однако прошло полчаса, потом час, полтора часа, и я понял, что ей что-то поме-

шало, может быть, мигрень или докучный посетитель. Ужасно досадны эти... напрасные ожидания, ужасно досадны, просто невыносимы. В конце концов я примирился с судьбой, вышел из дому и, не зная, что предпринять, отправился к ней.

Я застал ее за чтением романа.

— Что случилось? — спросил я.

Она ответила спокойным тоном:

— Милый друг, я не могла, мне помешали.

— Что помешало?

— Так... разные дела.

— Но... какие же дела?

— Один скучный гость.

Я решил, что она скрывает от меня настоящую причину, но, видя ее спокойствие, быстро забыл об этом. Я рассчитывал наверстать потерянное завтра, с другой.

Итак, во вторник, в большом волнении, сильно влюбленный, я поджидал маленькую чиновницу и даже досадовал, что она не приходит раньше условленного часа. Каждую минуту я глядел на часы, с нетерпением следя за стрелкой.

Стрелка показала четверть, потом половину, потом два часа... Я не мог усидеть на месте, ходил взад и вперед по комнате, прижимался лбом к стеклу, ухом к двери, прислушивался: не подымается ли она по лестнице?

Вот уже половина третьего, наконец три часа! Я хватаю шляпу и бегу к ней. Представь себе, она читала роман!

— Что же случилось? — воскликнул я в тревоге.

Она ответила так же спокойно, как моя старая подруга:

— Дорогой, я не могла, мне помешали.

— Что помешало?

— Так... разные дела.

— Но... какие же дела?

— Один скучный гость.

Разумеется, я сразу заподозрил, что она знает все; однако она казалась такой кроткой, такой безмятежной, что в конце концов я отбросил свою догадку и поверил в странное совпадение, не считая ее способной на подобное притворство. В течение часа мы вели дружескую бе-

седу, причем к нам раз двадцать врывалась ее маленькая дочка. Потом я ушел, крайне раздосадованный.

И представь себе, на следующий день...

— Произошло то же самое?

— Да... и на другой день то же. И так продолжалось три недели без всякого объяснения, без малейшего намека на причину их странного поведения; однако я стал догадываться, в чем дело.

— Они все узнали?

— Ну да, черт бы их взял! Но каким образом? Ах, сколько мучений я вытерпел, прежде чем понял это.

— Как же ты узнал наконец?

— Из писем: они обе в один и тот же день, в одинаковых выражениях дали мне окончательную отставку.

— Ну?

— Ну так вот... Ты знаешь, дружище, что женщины вечно таскают на себе целую уйму булавок и заколок. Шпильки в волосах — к этим уж я привык, остерегаюсь их и боюсь как огня, но есть другие, гораздо более коварные, проклятые булавочки с черной головкой; нам-то, болванам, они кажутся совершенно одинаковыми, но женщины прекрасно их различают, как мы отличаем лошадь от собаки.

Словом, моя маленькая чиновница, очевидно, забыла у меня такую предательскую штучку, воткнув ее в драпировку у зеркала.

Моя старая подруга с первого взгляда обнаружила на материи эту черную точку величиной с блоху и, не говоря ни слова, вытащила ее и воткнула на ее место свою собственную булавку, тоже черную, но другого образца.

На следующий день чиновница хватилась своей заколки и сразу же заметила подмену; тут у нее явилось подозрение, и она воткнула две булавки, крест-накрест.

Моя любовница ответила на этот телеграфный знак, воткнув три черных шарика один над другим.

Таким способом они продолжали сноситься между собою, без слов, выслеживая друг друга. Потом моя старая подруга, более решительная, обернула острие булавки тоненькой бумажкой, на которой написала: «До востребования, бульвар Мальзерб, С. Д.».

Они обменялись письмами. И я пропал. Ты сам по-

нимаешь, что на этом они не остановились. Они действовали осмотрительно, со множеством уловок, со всею осторожностью, необходимой в подобном случае. Затем моя прежняя любовница сделала смелый шаг и назначила свидание той, другой.

О чем они беседовали, я понятия не имею! Знаю только, что мне дорого обошелся их разговор. Вот какие дела!

— Это все?

— Все.

— Ты с ними больше не видишься?

— Да нет, я продолжаю с ними видеться, но только как друг; мы не совсем порвали отношения.

— А между собою они встречаются?

— Как же, дорогой мой, они стали закадычными приятельницами.

— Так, так! А это не наводит тебя на мысль?

— Нет, а на какую?

— Ах ты балда! Да заставь же их снова втыкать булавки по очереди!

ДЮШУ

Спускаясь по большой лестнице клуба, нагретой калориферами, точно теплица, барон де Мордиан не запахнул шубы; вероятно, поэтому, когда за ним затворились входные двери, он почувствовал сильный озноб, внезапный мучительный озноб, от которого становится тоскливо, словно от какого-то горя. К тому же барон был в проигрыше, да и желудок у него с некоторых пор что-то стал пошаливать и не позволял ему покутить в полное удовольствие.

Он направился было домой, но вдруг представил себе свою огромную пустую квартиру, лакея, дремлющего в прихожей, туалетную, где теплая вода для вечернего умывания тихонько булькает на газовой грелке, широкую старинную кровать, торжественную, точно катафалк,— и эта мысль пронизала его до глубины души холодом, еще более мучительным, чем уличная стужа.

Вот уже несколько лет он испытывал томительную тяжесть одиночества, подчас так угнетающую старых холостяков. Когда-то был он сильным, бодрым, веселым, отдавал дни спорту, а ночи кутежам. Теперь он отяжелел и почти совсем утратил вкус к наслаждениям. Прогулки утомляли его, ужины и даже обеды вызывали недомогание, женщины настолько же его раздражали, насколько привлекали прежде.

Унылое однообразие вечеров, одни и те же приятели, которых он встречал все в том же клубе, та же игра с переменным успехом, те же разговоры о тех же предметах, те же остроты из тех же самых уст, шутки на

те же темы, злословие по поводу одних и тех же женщин — все это ему так опротивело, что порой он серьезно подумывал о самоубийстве. Ему становилась невыносима эта размеренная и пустая жизнь, такая пошлая, легкая и в то же время утомительная; его смутно тянуло к какому-то тихому, мирному уюту.

Разумеется, он и не помышлял о женитьбе, потому что боялся обречь себя на скуку, на супружеское рабство, на несносную совместную жизнь двух людей, настолько изучивших друг друга за долгие годы, что всякое слово уже предугадывается, всякий жест ожидается заранее; людей, все мысли, желания и мнения которых давно известны обоим. Он считал, что с женщиной приятно иметь дело, только пока ее мало знаешь, пока в ней есть что-то таинственное и неизведанное, пока она остается слегка загадочной и волнующей. Словом, ему нужна была семья, которая, собственно, не была бы его семьей и где он мог бы проводить только часть своего времени. И с новою силой им овладело воспоминание о сыне.

Последний год барон беспрестанно думал о нем, испытывая нетерпеливое, все растущее желание его увидеть и познакомиться с ним. Этот сын родился в дни его молодости, при драматических и трогательных обстоятельствах. Ребенок был отправлен на юг и вырос где-то недалеко от Марселя, так и не узнав имени своего отца.

Отец платил сначала помесячно кормилице, затем помесячно за обучение в коллеже, потом оплачивал его содержание во время каникул и наконец дал обеспечение для подходящего брака. Посредником служил молчаливый нотариус, который ни разу ни о чем не проговорился.

Барону было известно только, что его сын живет где-то в окрестностях Марселя, что он слывет умным и образованным человеком, что он женился на дочери архитектора-подрядчика и стал его преемником. Говорили также, что он недурно зарабатывает.

Почему бы ему не навестить этого неизвестного сына, не называя себя, чтобы сначала присмотреться к нему и удостовериться, нельзя ли в этой семье при случае найти тихое пристанище.

Ведь в свое время он выказал щедрость, дал богатое обеспечение, принятое с благодарностью, следовательно, он мог быть уверен, что не наткнется на чрезмерную гордость. Эта мысль, это день ото дня возрастающее желание съездить на юг преследовало его, как навязчивая идея. Барона охватывало необычайное для него умиление при мысли об уютном солнечном домике на берегу моря, где он найдет молодую, хорошенькую невестку, где внучата бросятся к нему на шею, где он увидит сына, живое напоминание о прелестном и мимолетном любовном приключении давних лет. Он жалел только, что дал уже так много денег и молодой человек не нуждается: это лишало Мордиана возможности предстать в роли благодетеля.

Он брел, размышляя обо всем этом, уйдя с головою в меховой воротник; и вдруг у него созрело решение. Мимо проезжал фиакр; он окликнул его, велел ехать домой и, когда заспанный лакей отворил ему двери, сказал:

— Луи, завтра вечером мы едем в Марсель. Пробудем там, может быть, недели две. Приготовьте все необходимое.

Поезд мчался вдоль песчаных берегов Роны, мимо желтых полей и веселых деревень, пересекая обширную равнину, замкнутую вдалеке голыми склонами гор.

Барон де Мордиан, проведя ночь в спальном вагоне, поутру с грустью рассматривал себя в маленьком зеркальце несессера. При беспощадном свете юга обнаружились морщины, которых он не видел у себя до сих пор,— признаки одряхления, незаметные в полумраке парижских квартир.

Разглядывая уголки глаз, помятые веки, облысевшие виски и лоб, он думал: «Черт побери, я не только потрепан. Я просто состарился».

И в нем усилилось стремление к покою вместе со смутным, впервые зародившимся желанием покачать на коленях родных внучат.

Наняв в Марселе коляску, он подъехал около часу пополудни к одному из тех южных загородных домов,

которые так сияют белизной в глубине платановых аллей, что слепят глаза и заставляют жмуриться. Шагая по аллее, он улыбался и думал: «А здесь славно, черт побери!»

Вдруг из кустов выскочил мальчуган лет пяти — шести и застыл у дороги, уставившись на чужого господина круглыми глазенками.

Мордиан подошел поближе:

— Здравствуй, малыш.

Мальчишка не отвечал.

Тогда барон нагнулся и взял его на руки, чтобы поцеловать, но сразу же задохнулся от запаха чеснока, которым ребенок, казалось, был насквозь пропитан, и поспешно опустил его на землю, пробормотав:

— О, это, наверное, сын садовника.

И направился к дому.

Перед самыми дверьми сушилось на веревке белье — рубашки, салфетки, тряпки, фартуки и простыни, а гирлянды носков, висевшие рядами на протянутых одна над другой веревках, заполняли все окно, точно выставка сосисок на витрине колбасника.

Барон позвал.

Появилась девушка, типичная прислуга-южанка, грязная и растрепанная; космы волос падали ей на лицо; юбка, потемневшая от множества пятен, сохранила от своего прежнего цвета что-то яркое, кричащее, вызывавшее в памяти деревенскую ярмарку и балаганные костюмы.

Барон спросил:

— Господин Дюшу дома?

В свое время, шутки ради, насмешливый повеса Мордиан дал эту фамилию брошенному ребенку, чтобы не было сомнения, что его нашли в капусте [1].

Служанка переспросила:

— Вам кого, господина Дюшукса?

— Да.

— Так он в зале, планы свои чертит.

— Доложите, что его хочет видеть господин Мерлен.

Она повторила с удивлением:

---

[1] Фамилия Дюшу звучит по-французски, как du chou — капустный.

— Так чего же вы? Входите, коли желаете его видеть. — И крикнула: — Господин Дюшукс, к вам гость!

Барон вошел — и в большой комнате, затемненной полупритворенными ставнями, смутно разглядел неряшливую обстановку и неопрятных с виду людей.

Стоя перед столом, заваленным всевозможными предметами, маленький лысый человек что-то чертил на большом листе бумаги.

Он прервал работу и шагнул навстречу.

Распахнутый жилет, расстегнутые брюки, засученные рукава рубашки доказывали, что ему очень жарко, а по грязным башмакам было видно, что несколько дней назад шел дождь.

Он спросил с сильным южным акцентом:

— С кем имею честь?..

— Мерлен... Я пришел посоветоваться с вами относительно участка для постройки.

— Ага! Очень хорошо!

И Дюшу обернулся к жене, которая что-то вязала в полумраке:

— Освободи-ка стул, Жозефина.

Мордиан увидел молодую женщину, уже увядшую, как провинциалки в двадцать пять лет от недостатка ухода, внимания к себе, педантичной чистоплотности, всех тех кропотливых ухищрений женского туалета, которые сберегают свежесть и сохраняют до пятидесяти лет очарование и красоту. На плечах у нее была косынка, волосы кое-как закручены — прекрасные густые черные волосы, но, по-видимому, плохо расчесанные; загрубелыми, как у прислуги, руками она убрала с сиденья детское платьице, ножик, обрывок веревки, пустой цветочный горшок и грязную тарелку и пододвинула стул гостю.

Он сел, и ему бросилось в глаза, что на рабочем столе Дюшу, кроме книг и чертежей, валялись два свежесорванных кочешка салата, миска, головная щетка, салфетка, револьвер и несколько немытых чашек.

Архитектор уловил его взгляд и сказал с улыбкой:

— Извините, в гостиной не совсем прибрано; все из-за ребят.

И он придвинул стул, чтобы поговорить с клиентом.

— Итак, вы хотите подыскать участок в окрестностях Марселя? — От него тоже разило чесночным духом, который источают все южане, как цветы — благоухание.

Мордиан спросил:

— Это вашего сынишку я встретил под платанами?

— Да. Вероятно, второго.

— У вас их двое?

— Трое, сударь, все погодки.

И Дюшу, казалось, весь раздулся от гордости.

Барон подумал: «Если все они испускают такой же аромат, их спальня, должно быть, настоящий парник».

Он продолжал:

— Да, мне хотелось бы приобрести красивый участок на берегу моря, в уединенном месте.

Дюшу пустился в объяснения. Он мог предложить десять, двадцать, пятьдесят, сто и даже больше подобного рода участков, на различные цены, на всевозможные вкусы. Его речь лилась непрерывным потоком, и он самодовольно улыбался, вертя своей лысой круглой головой.

И Мордиану вспомнилась маленькая белокурая женщина, тоненькая, чуть печальная, которая так нежно произносила: «Любимый мой»,— что от одного воспоминания кровь его быстрее текла по жилам. Она любила его страстно, безумно целых три месяца, потом, забеременев в отсутствие своего мужа, губернатора какой-то колонии, и, потеряв голову от ужаса и отчаяния, она уехала из города и скрывалась до самых родов; ребенка Мордиан унес от нее в тот же вечер; и больше они его не видели.

Она умерла от чахотки три года спустя, где-то там, в колонии, куда уехала к мужу. И вот перед ним стоял их сын и говорил металлическим голосом, отчеканивая последние слоги:

— Такой участок, сударь, это исключительный случай...

А Мордиану вспоминался другой голос, легкий, как дуновение ветерка, шептавший:

— Мой любимый, мы не расстанемся никогда...

И, воскрешая в памяти тот голубой, нежный, глубокий, преданный взгляд, он видел перед собой круглые, тоже голубые, но пустые глаза этого смешного человечка, похожего, однако, на мать...

Да, он напоминал ее с каждой минутой все больше и больше; он походил на нее интонациями, жестами, всей манерой, как обезьяна походит на человека; ведь он был ее сыном, она передала ему множество своих черт в искаженном виде — неоспоримых, раздражающих, несносных. Барон страдал, преследуемый этим ужасным, все возрастающим сходством, удручающим, сводящим с ума, мучительным, как бред, как угрызения совести!

Он пробормотал:

— Когда мы с вами могли бы посмотреть этот участок?

— Да хоть завтра, если угодно.

— Давайте завтра. В котором часу?

— В час дня.

— Отлично.

В дверях появился встреченный в аллее мальчик и крикнул:

— Папашка!

Ему не ответили.

Мордиан поднялся с места, до дрожи в ногах испытывая желание скрыться, убежать куда глаза глядят. Восклицание «папашка» сразило его, как пуля. Ведь и сам он мог бы услыхать это разящее чесноком южное приветствие «папашка».

О! Как нежно благоухала она, подруга давних лет!

Дюшу вышел проводить его.

— Этот дом ваш собственный? — спросил барон.

— Да, сударь, я купил его недавно. И горжусь им. Ведь я подкидыш, сударь, и не скрываю этого, напротив, горжусь. Я ничем никому не обязан, я всего добился сам, своим трудом.

Малыш, остановившись на пороге, все еще кричал издали:

— Папашка!

Трясясь, как в лихорадке, охваченный ужасом, Мордиан бежал, как бегут от смертельной опасности.

«Сейчас он догадается, узнает меня,— думал ба-

рон.— Он схватит меня в объятия и тоже крикнет мне «папашка» и влепит мне в лицо чесночный поцелуй».

— До завтра, сударь.

— До завтра, в час дня.

Коляска катилась по белой дороге.

— Извозчик, на вокзал!

И барону слышались два голоса: один — далекий и нежный, слабый и печальный — голос покойницы, шептавшей: «Любимый мой», и другой — звонкий, тягучий, отвратительный, который кричал: «Папашка», как кричат «Держите его», когда вор убегает по улице.

На следующий день вечером, у входа в клуб, граф д'Этрельи сказал ему:

— Вас что-то не было видно последние три дня. Вы были больны?

— Да, мне нездоровилось. Время от времени меня мучает мигрень.

СВИДАНИЕ

Уже совсем одетая, в шляпке, в накидке, с черной вуалью на лице, с другой вуалью в кармане — она накинет ее поверх первой в глубине роковой кареты,— г-жа Агган все еще сидела у себя в комнате, постукивая зонтиком по носку ботинка, и никак не могла решиться выйти из дому, чтобы поехать на свидание.

Сколько раз, однако, за эти два года ей приходилось одеваться таким образом, отправляясь к своему любовнику, красивому виконту де Мартеле, на его холостую квартиру, в те часы, когда ее муж, светский биржевой маклер, бывал на бирже.

Маятник за ее спиной быстро отбивал секунды; на столике розового дерева, стоявшем между окнами, валялась раскрытая, наполовину прочитанная книга; два букетика фиалок в прелестных вазочках саксонского фарфора на камине распространяли нежный аромат, который сливался со слабым запахом вербены, долетавшим сквозь полуоткрытую дверь туалетной.

Пробили часы — три часа,— и это заставило ее встать. Она обернулась, взглянула на циферблат и усмехнулась, подумав: «Он уже ждет меня. Воображаю, в каком он нетерпении». И она вышла, предупредив лакея, что вернется не позже как через час — что было ложью,— сошла с лестницы и пешком пустилась в путь по улицам.

Стоял конец мая, та чудесная пора, когда деревенская весна как будто берет Париж приступом, завоевывает его, проносясь над крышами, вторгаясь в дома сквозь стены, расцвечивает улицы яркими красками, разливает веселье по каменным фасадам, по асфальту тротуаров и булыжникам мостовых, затопляет и пьянит живительными соками город, словно зеленеющий лес.

Г-жа Агган повернула было направо, намереваясь, как обычно, пройти улицей Прованс к стоянке фиакров, но мягкость воздуха, дуновения весны, глубоко проникающие нам в грудь в иные дни, охватили ее с такой силой, что, передумав, она выбрала улицу Шоссе-д'Антен, сама не зная почему, испытывая смутное желание полюбоваться зеленью в сквере Трините. «Ничего! — подумала она.— Подождет меня лишних десять минут». Эта мысль снова развеселила ее, и, тихонько пробираясь в толпе, она живо представляла себе, как он теряет терпение, смотрит на часы, отворяет окно, прислушивается у двери, присаживается, через минуту встает и, не смея курить — она запретила это в дни свиданий,— бросает тоскливые взгляды на коробку с папиросами.

Она шла не спеша, развлекаясь всем, что встречалось по дороге, лицами прохожих и окнами магазинов, постепенно замедляя шаг; она как будто нарочно выискивала в витринах предлог, чтобы задержаться.

В конце улицы, у церкви, ее так потянуло в зелень маленького сквера, что она пересекла площадь, вошла в этот садик — загон для детей — и два раза обошла кругом узкую лужайку, среди разукрашенных лентами кормилиц, румяных, нарядных и цветущих. Потом взяла стул, уселась и, устремив глаза на круглый, как луна, циферблат колокольни, стала наблюдать за движением часовой стрелки.

Как раз в эту минуту пробило полчаса; сердце ее дрогнуло от радости, когда она услышала перезвон колоколов. Полчаса она уже выгадала, чтобы добраться до улицы Мироменил, понадобится больше четверти часа, и еще несколько минут можно побродить, — вот уже час, целый час, украденный у свидания!

На этот раз она отделается какими-нибудь сорока минутами.

Господи! Как ей не хотелось туда идти! Точно у пациента, отправляющегося к зубному врачу, в ее душе оживали несносные воспоминания о всех прошлых свиданиях, которые за последние два года происходили в среднем раз в неделю,— и мысль, что вот сейчас должно состояться еще одно, угнетала ее и заставляла содрогаться с головы до ног. Нельзя сказать, чтобы это было так же мучительно, как прием у дантиста, но до того скучно, до того нудно, томительно и тягостно, что, казалось, она предпочла бы все, что угодно, даже операцию. Тем не менее она шла туда; правда, очень медленно, совсем не торопясь, то и дело останавливаясь, присаживаясь, задерживаясь повсюду, но все-таки шла. О! Она с радостью пропустила бы и это свидание, но за последний месяц она уже два раза надувала бедного виконта и не решалась так скоро обмануть его опять. Но почему же она все-таки туда шла? Ах, почему! Просто по привычке, да и не было у нее никакого повода для разрыва с этим беднягой Мартеле. Как все это началось? Почему? Она и сама не знала. Была ли она влюблена в него? Пожалуй. Не слишком, но немного влюблена, когда-то давно. Он был хорош собою, элегантен, любезен, прекрасно воспитан и с первого взгляда казался идеальным образцом любовника светской женщины.

Ухаживание длилось три месяца — срок нормальный, вполне достойная борьба, сопротивление достаточно упорное,— потом она уступила, и с каким волнением, с каким трепетом, с каким отчаянием и упоительным страхом согласилась наконец на первое свидание в холостой квартире на улице Мироменил, за которым последовало столько других. А ее сердце? Что испытывало сердечко женщины, соблазненной, обольщенной, покоренной, когда она переступила впервые порог этого кошмарного дома? Право же, она не могла бы сказать. Она забыла. Можно помнить случай, дату, событие, но нельзя удержать в памяти душевное волнение, такое легкое, такое мимолетное. Да, но других-то свиданий она не забыла, этих встреч, одинаковых, как зерна четок, этого крестного пути любви с такими

утомительными, скучными, однообразными остановками; тошнота подступала к горлу при мысли, что сейчас это опять повторится.

Боже мой! Кареты, которые приходилось нанимать, чтобы ехать туда, совсем не походили на те экипажи, какими пользуются для обычных поездок! Извозчики, несомненно, догадывались обо всем. Она чувствовала это уже по тому, как они смотрели на нее; какие страшные глаза у парижских извозчиков! Подумать только, что в любую минуту, много лет спустя, они могут опознать перед судом преступника, которого отвезли однажды, глубокой ночью, с какой-то улицы на вокзал; хотя у них ежедневно бывает столько же седоков, сколько часов в сутках, их память так точна, что они дают показания: «Вот тот самый человек, которого я посадил на улице Мартир и доставил на Лионский вокзал в сорок минут пополуночи десятого июля прошлого года!» Есть от чего содрогнуться, когда рискуешь так, как рискует молодая женщина, идя на свидание и вверяя свою репутацию первому встречному извозчику! За два года ей пришлось нанять их для поездки на улице Мироменил по крайней мере сто или сто двадцать, считая по одному в неделю. Значит, имеется столько же свидетелей, которые могут дать против нее показания в решительную минуту.

Сев в карету, она тотчас же доставала из кармана вторую вуаль, густую, черную, как полумаска, и опускала ее на глаза. Правда, лицо было скрыто, но все остальное: платье, шляпка, зонтик — разве не мог их кто-нибудь заметить и узнать? А на улице Мироменил — какая пытка! Ей чудилось, что она узнает всех прохожих, всех слуг, всех, всех! Как только экипаж останавливался, она соскакивала и пробегала в подъезд мимо привратника, вечно торчавшего на пороге своей каморки. Уж он-то, конечно, знал все, решительно все — ее адрес, имя, профессию ее мужа; ведь эти привратники самые ловкие на свете сыщики! За эти два года ей много раз хотелось подкупить его, сунуть как-нибудь мимоходом стофранковую бумажку. Но она ни разу не решилась сделать это простое движение, бросить ему под ноги свернутую бумажку. Она боялась. Чего? Она и сама не знала! Его оклика, если

он не поймет, в чем дело? Скандала, сборища на лестнице? Может быть, ареста? Чтобы дойти до двери виконта, надо было подняться всего на пол-этажа, но лестница казалась ей бесконечной, как на башне Сен-Жак! Едва попав в вестибюль, она чувствовала себя пойманной в западню, и от малейшего шороха наверху или внизу у нее перехватывало дыхание. Вернуться назад невозможно: там привратник и улица отрезали ей отступление; если же кто-нибудь спускался в эту минуту сверху, она не решалась позвонить к Мартеле и проходила мимо двери, как будто шла в другую квартиру. Она поднималась все выше, выше, выше! Она поднялась бы на сороковой этаж! Затем, когда на лестнице все затихало, она спускалась обратно бегом, до смерти боясь, что не узнает его двери.

Виконт отворял ей, он ждал ее в своем изящном бархатном костюме на шелковой подкладке, элегантный, чуть-чуть смешной, и за все эти два года в его манере встречать ее ничего не изменилось, ну ровно ничего, ни одного жеста!

Едва заперев за ней двери, он говорил ей: «Дайте расцеловать ваши ручки, мой дорогой, дорогой друг!» Затем провожал ее в спальню, где зимою и летом, вероятно, для шика, были затворены ставни и зажжен свет; там он становился перед ней на колени, глядя на нее снизу вверх с видом обожания. В первый день это было очень мило, очень кстати. Но теперь ей казалось, что она видит актера Делоне, выступающего в сто двадцатый раз в пятом акте боевой пьесы. Следовало бы разнообразить свои приемы.

А потом, о господи! Потом было самое невыносимое! Нет, он не менял своего обхождения, бедный малый! Славный молодой человек, но до того банальный...

Боже, до чего трудно было раздеваться без горничной! Один раз еще куда ни шло, но каждую неделю... это становилось нестерпимым. Нет, право же, мужчина не должен требовать от женщины такой жертвы. Если раздеваться было трудно, то одеваться уж просто невозможно, хотелось кричать от злости, хотелось закатить пощечину этому господину, который не-

ловко вертелся вокруг, говоря: «Разрешите вам помочь?» Помочь? Ах, но как? На что он годился? Стоило посмотреть, как он держит в руке булавку, чтобы это понять.

Быть может, именно в такую минуту он и опротивел ей. Когда он произносил: «Разрешите вам помочь?» — она способна была его убить! Да и может ли женщина не возненавидеть в конце концов человека, который заставил ее за два года больше ста двадцати раз одеваться без горничной?

Вероятно, немного найдется на свете мужчин, таких неловких, неповоротливых, таких однообразных. Вот маленький барон де Грембаль, тот не стал бы спрашивать с таким дурацким видом: «Разрешите вам помочь?» Уж он-то помог бы, такой живой, забавный, остроумный. Еще бы! Он дипломат, изъездил весь свет, скитался повсюду, ему уж, наверное, приходилось раздевать и одевать женщин, одетых по любой моде, какие только есть на земле...

Башенные часы на колокольне прозвонили три четверти. Она встала, взглянула на циферблат, прошептала с усмешкой: «Воображаю, в каком он нетерпении!» — и быстро вышла из сквера. Она не сделала и десяти шагов по площади, как вдруг столкнулась лицом к лицу с господином, который отвесил ей низкий поклон.

— Как, это вы, барон? — сказала она с удивлением,— ведь именно о нем она только что думала.

— Да, сударыня.

Он справился о ее здоровье, потом, бросив несколько незначащих фраз, заметил:

— А знаете, вы единственная из моих приятельниц,— ведь вы мне разрешите вас так называть? — которая до сих пор еще не собралась посмотреть мою японскую коллекцию.

— Но, дорогой барон, дама не может пойти просто так к холостому мужчине.

— Как? Почему? Какие предрассудки! Ведь дело идет об осмотре редкой коллекции.

— Во всяком случае, я не могу пойти туда одна.

— А почему бы нет? Да у меня побывали многие

дамы, совершенно одни, именно ради моей галереи! Я всякий день принимаю их у себя. Хотите, я назову их? Впрочем, нет, этого я не сделаю. Надо быть скромным даже в самых невинных вещах. В сущности, почему же неприлично посещать человека серьезного, известного, с положением, если только не идешь к нему с предосудительной целью?

— Пожалуй, вы отчасти правы.

— В таком случае едемте осматривать мою коллекцию.

— Когда?

— Да сейчас.

— Невозможно, я тороплюсь.

— Полноте. Вы целых полчаса просидели в сквере.

— Вы за мной следили?

— Я любовался вами.

— Право же, я спешу.

— Я уверен, что нет. Признайтесь, что вы не слишком спешите.

Г-жа Агган призналась смеясь:

— Да нет... пожалуй... не особенно.

Мимо них проезжал фиакр. Маленький барон крикнул: «Извозчик!» — и экипаж остановился. Тогда, отворив дверцу, он проговорил:

— Садитесь, сударыня.

— Нет, барон, это невозможно, сегодня я не могу.

— Сударыня, вы поступаете неосторожно, садитесь! Видите, на нас обращают внимание, вокруг уже собирается народ; подумают, что я вас похищаю, и нас обоих арестуют. Садитесь, прошу вас!

Она вскочила в экипаж, растерянная, ошеломленная. Он уселся рядом, сказав кучеру:

— Улица Прованс.

Вдруг она воскликнула:

— Ах, боже мой, я чуть не забыла послать срочную депешу; пожалуйста, отвезите меня в ближайшую телеграфную контору.

Фиакр остановился неподалеку, на улице Шатоден, и г-жа Агган сказала барону:

— Будьте добры взять мне бланк за пятьдесят сан-

тимов. Муж просил пригласить завтра к обеду Мартеле, а я совершенно забыла.

Когда барон вернулся с синим бланком в руках, она написала карандашом:

«Дорогой друг, мне сильно нездоровится: ужасная невралгия удерживает меня в постели. Я не в силах выйти. Приходите обедать завтра вечером, я постараюсь добиться прощения.

Жанна».

Она смочила края бланка, тщательно заклеила, надписала адрес: «Виконту Мартеле, 240, улица Миромепиль», затем протянула бланк барону:

— А теперь будьте так любезны, бросьте это в ящик для телеграмм.

В ПОРТУ

I

Трехмачтовый парусник *Пресвятая Дева Ветров* вышел из Гавра 3 мая 1882 года в плавание по китайским морям и 8 августа 1886 года, после четырехлетнего странствования, входил в Марсельский порт. Сдав свой первый груз в китайском порту, в который он направлялся, корабль тотчас же получил другой фрахт, на Буэнос-Айрес, а оттуда пошел с товарами в Бразилию.

Новые рейсы, аварии, починки, многомесячные штили, шквалы, сбивающие с курса,— словом, все случайности, приключения и несчастья, какие бывают на море, удерживали вдали от родины нормандский трехмачтовик, возвращавшийся теперь в Марсель с трюмом, набитым американскими консервами в жестяных банках.

При отплытии на борту корабля, кроме капитана и его помощника, было четырнадцать матросов — восемь нормандцев и шесть бретонцев. Когда он вернулся, на нем оставалось только пять бретонцев и четыре нормандца; один бретонец умер в пути, а четырех нормандцев, исчезнувших при различных обстоятельствах, заменили два американца, негр и норвежец, завербованный однажды вечером в каком-то сингапурском кабачке.

Большой корабль с подобранными парусами и скрещенными на мачтах реями тащился за марсельским буксиром, который, пыхтя, шел перед ним по легкой зыби, мало-помалу замиравшей в тиши безветрия; он

миновал Ифский замок, проплыл между серыми скалами рейда, окутанными золотистой дымкой заката, и вошел в старый порт, где теснятся бок о бок вдоль набережных суда всех стран, крупные и мелкие, всякой формы и оснастки, образуя какое-то месиво из кораблей в этом тесном бассейне с протухшей водой, где их корпуса толкаются, трутся друг о друга и точно маринуются в собственном соку.

Пресвятая Дева Ветров заняла место между итальянским бригом и английской шхуной, которые расступились, чтобы пропустить нового товарища. Когда таможенные и портовые формальности были выполнены, капитан разрешил большей части команды провести вечер на берегу.

Наступили сумерки. Марсель загорался огнями. В знойном воздухе летнего вечера над шумным городом, полным криков, грохота, щелканья бичей, южного веселья, носился запах яств, приправленных чесноком.

Едва очутившись на берегу, десятеро матросов, которых столько месяцев носило на своих волнах море, потихоньку двинулись в путь с нерешительностью людей, вырванных из привычной обстановки, отвыкших от города. Они шли парами, точно процессия, раскачиваясь на ходу, знакомились с местностью и жадно вглядывались в переулки, ведущие к гавани,— их томил любовный голод, усилившийся за последние два месяца плавания.

Впереди шествовали нормандцы под предводительством Селестена Дюкло, рослого парня, сильного и сметливого, который всякий раз, как они сходили на берег, был у них вожаком. Он умел находить злачные места, пускался на ловкие проделки и не любил ввязываться в драки, которые так часто происходят между матросами в портах. Но если его впутывали в драку, никто не был ему страшен.

Побродив в нерешительности по темным улицам, которые спускаются к морю, как сточные трубы, пропитанные тяжелым запахом — дыханием притонов, Селестен выбрал извилистый переулок, где над дверьми домов горели висячие фонари с огромными номерами на матовых цветных стеклах. Под узкими арками вход-

ных дверей сидели на стульях женщины в фартуках, похожие на служанок; завидя приближающихся матросов, они поднимались с места, делали несколько шагов к сточной канавке, разделявшей улицу пополам, и загораживали дорогу веренице мужчин, которые подвигались медленно, напевая и посмеиваясь, уже разгоряченные близостью этих тюрем для проституток.

Иногда в глубине сеней за неожиданно распахнувшейся дверью, обитой коричневой кожей, показывалась толстая полураздетая женщина; ее плотные ляжки и жирные икры резко обрисовывались под грубым белым бумажным трико; короткая юбка походила на пышный пояс, дряблая грудь, руки и плечи розовым пятном выступали из черного бархатного лифа, обшитого золотой тесьмой. Она зазывала издали: «Пожалуйте, сюда, красавчики»,— или выбегала на улицу и, уцепившись за кого-нибудь из матросов, изо всей силы тянула его к двери, впивалась в него, как паук, когда он тащит муху, более крупную, чем он сам. Мужчина, возбужденный ее близостью, слабо сопротивлялся, а его товарищи останавливались и смотрели, колеблясь между соблазном сейчас же войти и желанием продлить эту волнующую прогулку. Но когда женщине, после отчаянных усилий, удавалось дотащить матроса до порога своего жилища, куда собиралась ввалиться следом за ним вся компания, Селестен Дюкло, знавший толк в таких домах, кричал внезапно:

— Не заходи туда, Маршан, это не то, что надо!

Повинуясь его оклику, матрос вырывался резким движением, и друзья снова уходили гурьбой, а им вслед неслись непристойные ругательства взбешенной девки, меж тем как из всех дверей переулка навстречу матросам выходили, привлеченные шумом, другие женщины и оглашали воздух хриплыми многообещающими призывами.

Матросы продолжали свой путь, все более и более воспламеняясь от уговоров и соблазнов этого хора привратниц любви, встречавших их по всей улице, и грязных проклятий другого, оставшегося позади хора обиженных женщин, которыми они пренебрегли. Время от времени навстречу им попадалась такая же компания — солдаты, которые шагали, позвякивая ору-

жием, матросы с других кораблей или же бредущие в одиночку горожане, приказчики. Перед ними открывались все новые и новые улицы — узкие, освещенные мерцанием подозрительных фонарей. Они долго шли в этом лабиринте притонов по липкой мостовой, где струились зловонные ручейки между стенами домов, полных женского тела.

Решившись наконец, Дюкло остановился перед одним домом, довольно приличным на вид, и повел туда всю компанию.

II

Погуляли на славу! Четыре часа подряд матросы упивались любовью и вином. От полугодичного жалованья не осталось ничего.

Они расположились в большой зале, как хозяева, и недружелюбно поглядывали на завсегдатаев заведения, которые устраивались за столиками по углам, где какая-нибудь из незанятых девиц, одетая маленькой девочкой или кафешантанной певичкой, прислуживала им, а потом подсаживалась к ним.

Каждый матрос, как только входил, выбирал себе подругу, с которой не расставался весь вечер: простой человек не ищет перемен. Сдвинули три стола, и после первых стаканов удвоившаяся в числе процессия, в которой прибавилось столько женщин, сколько было молодцов, потянулась по лестнице. Ноги каждой четы долго стучали по деревянным ступенькам, пока узкие двери комнат не поглотили это длинное шествие любовных пар.

Через некоторое время все спустились в зал, чтобы выпить, потом опять поднялись, потом еще раз спустились.

Сильно навеселе, матросы горлапили вовсю. Глаза у них налились кровью, они держали на коленях своих избранниц, пели, кричали, били кулаками по столу и лили себе в глотку вино, дав волю таящемуся в человеке зверю. В шумном кругу товарищей Селестен Дюкло обнимал рослую краснощекую девушку, усевшуюся верхом на его колене, и жадно смотрел на нее. Менее охмелевший, чем остальные, хоть выпил он не меньше

других, Селестен сохранил способность думать и, разнежившись, хотел поговорить. Но мысли не вполне повиновались ему, ускользали, возвращались и снова исчезали, и он не мог как следует вспомнить, что именно собирался сказать.

Он смеялся, повторяя:

— Так, так... Ты давно здесь?

— Полгода,— ответила женщина.

Он кивнул головой, словно это служило доказательством ее хорошего поведения, и продолжал:

— Тебе нравится такая жизнь?

Она немного замялась и покорно сказала:

— Ко всему привыкаешь. Это ремесло не хуже другого. Служанка ли, шлюха ли — все одно.

Он, видимо, был согласен и с этой истиной.

— Ты не здешняя? — спросил он.

Она отрицательно покачала головой.

— Издалека?

Она кивнула так же безмолвно.

— Откуда же ты?

Она подумала, точно припоминая, потом прошептала:

— Из Перпиньяна.

Матрос снова обрадовался и сказал:

— Вот как!

Теперь она спросила его:

— А ты что же, моряк?

— Да, красотка.

— Приехал издалека?

— Да. Немало я повидал стран, и портов, и всякой всячины.

— Ты, может, и кругом света объехал?

— Еще бы! Да и не раз.

Она снова задумалась, как будто стараясь отыскать в памяти что-то давно забытое, потом спросила уже другим, более серьезным тоном:

— Ты много встречал кораблей, пока плавал?

— Еще бы, красавица!

— А не попадалась тебе *Пресвятая Дева Ветров?*

Он ухмыльнулся:

— Как же! На прошлой неделе видел ее.

Она побледнела, вся кровь отхлынула от ее щек.

— Правда? Это правда? — спросила она.
— Истинная правда.
— Ты не врешь?
Он поднял руку:
— Как перед богом.
— А ты не знаешь, плавает ли еще на ней Селестен Дюкло?
Он удивился и встревожился. Прежде чем ответить, он хотел выведать, что за этим скрывается.
— Ты его знаешь?
Теперь насторожилась она.
— Нет, тут одна женщина его знает.
— Из этого дома?
— Нет, из другого.
— На этой улице?
— Нет, тут рядом.
— Какая женщина?
— Да женщина... такая, как я.
— Что же ей от него надо?
— А я почем знаю? Верно, землячка.
Они пристально, испытующе смотрели друг на друга, смутно угадывая, что между ними сейчас встанет что-то роковое.
— А не повидать ли мне эту женщину? — спросил матрос.
— А что ты ей скажешь?
— Я скажу... скажу, что видел Селестена Дюкло.
— Что он — здоров?
— Не хуже нас с тобой. Он крепкий парень.
Она снова замолчала, собираясь с мыслями, потом медленно произнесла:
— А куда она шла, *Пресвятая Дева Ветров?*
— Да сюда, в Марсель.
Она невольно вздрогнула.
— Правда?
— Правда.
— А ты знаешь Дюкло?
— Знаю.
Она снова подумала, потом тихо сказала:
— Так... так...
— А на что он тебе?
— Послушай, скажи ему... Нет, ничего.

Он продолжал на нее смотреть, все более и более озадаченный. Наконец он решил узнать все.

— А ты тоже его знаешь?

— Нет,— ответила она.

— Так на что же он тебе?

Внезапно решившись, она вскочила, подбежала к стойке, за которой восседала хозяйка, схватила лимон, разрезала его и выжала сок в стакан. Потом налила в стакан воды и подала его матросу:

— На, выпей.

— Зачем?

— Чтобы прошел хмель. Потом я тебе кое-что скажу.

Он покорно выпил, отер губы рукой и заявил:

— Готово! Слушаю!

— Обещай не рассказывать ему, что ты меня видел, и не говорить, от кого ты узнал все, что я тебе скажу. Поклянись!

Он поднял руку и усмехнулся загадочно:

— В этом-то клянусь.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— Ну, так скажи ему, что его отец умер и мать умерла, и брат тоже — все трое в один месяц, от тифа, три с половиной года назад, в январе тысяча восемьсот восемьдесят третьего года.

Теперь он в свой черед почувствовал, как сердце у него оборвалось. Он был так поражен, что сначала не знал, что сказать, но потом усомнился и спросил:

— А ты наверно знаешь?

— Наверно.

— Кто тебе сказал?

Она положила руку ему на плечи и сказала, глядя ему прямо в глаза:

— Ты не будешь болтать? Поклянись!

— Клянусь.

— Я его сестра.

Невольно у него вырвалось ее имя:

— Франсуаза!

Она снова пристально посмотрела на него, потом в безумном страхе, вне себя от ужаса, чуть слышно, почти не разжимая губ, прошептала:

— О-ох!.. Это ты, Селестен?

Они замерли, глядя друг другу в глаза. Вокруг них товарищи Селестена продолжали орать. Звон стаканов, постукивание кулаками и ногами в такт напеву и пронзительные взвизгивания женщин сливались с нестройным пением.

Он чувствовал ее возле себя, она прижалась к нему теплая, испуганная,— его сестра. Тихо, боясь, чтобы его не подслушали, так тихо, что даже она едва его услыхала, он сказал:

— Ух! И натворил же я дел!

Ее глаза мгновенно наполнились слезами, и она пробормотала:

— Разве я виновата?

Внезапно он спросил:

— Так, значит, они умерли?

— Умерли.

— И отец, и мать, и брат?

— Все трое в один месяц, я тебе сказала. Я осталась одна, у меня ничего не было, кроме тряпок,— ведь я и в аптеку и доктору задолжала, а чтобы похоронить трех покойников, пришлось продать домашние вещи. Тогда я пошла в услужение к господину Каше,— помнишь, к тому, хромому? Мне как раз исполнилось пятнадцать лет, ведь когда ты уехал, мне и четырнадцати не было. Я с ним согрешила. Все мы дуры, пока молоды. Потом я пошла в горничные к нотариусу, он меня тоже соблазнил и нанял мне комнату в Гавре. Скоро он перестал ко мне ходить. Я три дня сидела не евши, работы никакой не было, тогда я поступила в такой дом, ведь я не первая. Я тоже много перевидала мест, да каких скверных мест: Руан, Эвре, Лилль, Бордо, Перпиньян, Ниццу, и вот теперь я в Марселе.

Слезы капали у нее из глаз, из носа, лились по щекам, стекали в рот. Она проговорила:

— Я думала, ты тоже умер, Селестен, бедняга ты мой.

Он сказал:

— Я-то мог тебя не узнать. Ты была тогда такая маленькая, а теперь — вон какая здоровая! Но ты-то как меня не узнала?

Она с отчаянием махнула рукой:

— Я столько мужчин вижу, что они для меня все на одно лицо.

Он продолжал смотреть ей в глаза, охваченный смутным волнением, таким сильным, что ему хотелось кричать, как ребенку, которого бьют. Он по-прежнему обнимал девушку, сидевшую верхом у него на колене, и держал ее за плечи. Все пристальнее вглядываясь в нее, он наконец узнал свою сестренку, которую он оставил на родине со всеми, кого ей пришлось похоронить, пока он носился по морям.

Вдруг, обхватив своими большими матросскими лапами голову вновь найденной сестры, он начал целовать ее, как целуют только родную плоть. Потом рыдания, тяжелые рыдания мужчины, медлительные, как морские валы, похожие на пьяную икоту, вырвались из его груди.

Он всхлипывал:

— Это ты, ты, Франсуаза, маленькая ты моя!

Внезапно он встал, ударил кулаком по столу так, что стаканы опрокинулись, разбились вдребезги, и начал ругаться громовым голосом. Потом сделал несколько шагов, зашатался, вытянул руки и упал ничком. Он стал кататься по полу, колотить руками и ногами, издавая стоны, похожие на хрип умирающего.

Товарищи смотрели на него и гоготали.

— Вот здорово нализался,— сказал один из них.

— Надо его уложить,— сказал другой.— Если он выйдет на улицу, его засадят.

Так как у него в карманах были деньги, хозяйка предложила кровать, и товарищи, сами до того пьяные, что едва держались на ногах, втащили его по узкой лестнице в комнату женщины, которая только что его принимала. Она просидела до самого утра на стуле возле преступного ложа, плача так же горько, как и он.

ПОКОЙНИЦА

Я любил ее безумно. Почему мы любим? Разве не странно видеть в целом мире только одно существо, иметь в мозгу только одну мысль, в сердце только одно желание и на устах только одно имя — имя, которое непрестанно поднимается из недр души, поднимается, как вода в роднике, подступает к губам, которое твердишь, повторяешь, шепчешь всегда и всюду, словно молитву?

Не стану рассказывать нашей повести. У любви только одна повесть, всегда одна и та же. Я встретил ее и полюбил. Вот и все. И целый год я жил в атмосфере ее нежности, ее объятий, ее ласк, взоров, речей, до такой степени одурманенный, связанный, плененный всем, что от нее исходило, что уже не сознавал, день ли, или ночь, жив я, или умер, нахожусь ли я на нашей старой земле, или в ином мире.

И вот она умерла. Как? Не знаю и никогда не узнаю.

Однажды в дождливый вечер она вернулась домой промокшая и на другой день стала кашлять. Она кашляла почти неделю, потом слегла.

Что произошло? Я никогда этого не узнаю.

Приходили врачи, что-то прописывали, уходили. Приносили лекарства; какая-то женщина заставляла ее принимать их. Руки у моей любимой были горячие, лоб пылающий и влажный, глаза блестящие и печальные. Я говорил с ней, она мне отвечала. О чем мы говорили? Не знаю. Я все позабыл, все, все! Она умерла, помню, как сейчас, ее последний вздох, ее чуть слышный, легкий, последний вздох. Сиделка вскрикнула: «Ах!» И я понял, я все понял!

Больше я ничего не сознавал. Ничего. Явился священник и, говоря о ней, сказал: «Ваша любовница». Мне показалось, что он оскорбил ее. Никто не смел называть ее так, ведь она умерла. Я выгнал его. Пришел другой, очень добрый, очень ласковый. Я плакал, когда он говорил со мной о ней.

Меня спрашивали о разных мелочах насчет похорон. О чем, я уж не помню. Зато ясно помню стук молотка, когда заколачивали ее гроб... Ах, боже мой!

Ее закопали. Зарыли. Ее! В эту яму! Пришли знакомые, несколько подруг. Я скрылся. Я убежал. Долго бродил по улицам. Потом вернулся домой. На следующий день я уехал путешествовать.

Вчера я возвратился в Париж.

Когда я снова увидел нашу комнату, нашу спальню, постель, мебель, этот дом, где осталось все, что остается от живого существа после смерти, я снова ощутил такой бурный приступ отчаяния, что готов был отворить окно и выброситься на мостовую. Не в силах дольше оставаться среди этих предметов, в стенах, которые окружали и укрывали ее, где в незримых трещинах сохранились мельчайшие частицы ее существа, ее тела, ее дыхания, я схватил шляпу, чтобы бежать. Почти у самой двери я вдруг наткнулся на большое зеркало в прихожей, которое поставила там она, чтобы всякий раз, выходя из дому, видеть себя с ног до головы, видеть, все ли в порядке в ее туалете, все ли изящно и красиво, от ботинок до прически.

И я остановился как вкопанный против зеркала, так часто ее отражавшего. Так часто, что оно тоже должно было сохранить ее образ.

Я стоял, весь дрожа, впиваясь глазами в стекло, в плоское; глубокое, пустое стекло, которое заключало ее всю целиком, обладало ею так же, как я, так же, как мой влюбленный взор. Я почувствовал нежность к этому стеклу, я коснулся его — оно было холодное! О память, память! Скорбное зеркало, живое, светлое, страшное зеркало, источник бесконечных пыток! Счастливы люди, чье сердце — подобно зеркалу, где скользят и изглаживаются отражения,— забывает все, что заключалось в

нем, что прошло перед ним, смотрелось в него, отражалось в его привязанности, в его любви!.. Какая невыносимая мука!

Я вышел и бессознательно, против воли, против желания, направился к кладбищу. Я нашел ее простенькую могилу, мраморный крест и на нем несколько слов: «Она любила, была любима и умерла».

Она была там, глубоко, она уже разложилась! Какой ужас! Я зарыдал, припав лицом к земле.

Я оставался там долго, долго. Потом заметил, что начинает темнеть. Тогда мной овладело странное желание, безрассудное желание отчаявшегося любовника. Мне захотелось провести ночь возле нее, последнюю ночь, и поплакать на ее могиле. Но меня могли увидеть, могли прогнать. Что делать? Я пустился на хитрость. Я встал и начал бродить по этому городу мертвых. Я шел все дальше и дальше. Как мал этот город в сравнении с тем, другим, с городом живых! И, однако, насколько мертвецы многочисленнее живых! Нам нужно столько высоких домов, столько улиц, столько пространства — всего лишь для тех четырех поколений, которые одновременно живут на белом свете, пьют воду источников, вино виноградников, едят хлеб полей.

А для всех поколений мертвых, для всей лестницы человечества, вплоть до наших дней, почти ничего не надо, клочок земли, больше ничего! Земля принимает их, забвение их уничтожает. Прощайте!

За оградой нового кладбища я обнаружил вдруг еще одно заброшенное кладбище, где забытые покойники уже обратились в прах, где сгнили самые кресты и куда завтра зароют новых пришельцев. Оно заросло шиповником и могучими темными кипарисами; это пышный, мрачный сад, утучненный человеческими трупами.

Я был один, совсем один. Я вскарабкался на высокое дерево. Я спрятался в его густых и темных ветвях.

И стал ждать, уцепившись за ствол, точно утопающий за обломок мачты.

Когда настала ночь, глубокая ночь, я покинул свое убежище и побрел медленным, неслышным шагом по земле, наполненной мертвецами.

Я блуждал долго, долго. Я не мог ее найти. Вытянув руки, широко раскрыв глаза, натыкаясь на могилы руками, ногами, коленями, грудью, даже головой, я шел вперед и не мог ее найти. Я пробирался ощупью, как слепой, я ощупывал камни, кресты, железные решетки, стеклянные венки, венки увядших цветов. Я прочитывал надписи пальцами, водя ими по буквам. Какой мрак! Какая ночь! Я не мог ее найти!

Луны не было. Какая тьма! Я шел по узким тропинкам между рядами могил, меня охватывал страх, мучительный страх. Могилы, могилы, могилы! Всюду могилы! Справа, слева, передо мной, вокруг меня — всюду могилы! Я присел на могильную плиту, не в силах идти дальше, у меня подкашивались ноги. Я слышал биение своего сердца. И слышал что-то еще! Что же? Какой-то смутный, непонятный гул. Возник ли этот шум в моем воспаленном мозгу, или он доносился из непроглядной тьмы, или же из таинственных недр земли, из-под земли, засеянной людскими трупами? Я озирался кругом.

Сколько времени просидел я там? Не знаю. Я оцепенел от испуга, обезумел от ужаса, готов был кричать, мне казалось, что я умираю.

И вдруг мне почудилось, что мраморная плита подо мной зашевелилась. В самом деле, она шевелилась, как будто ее приподнимали. Одним прыжком я отскочил к соседней могиле и увидел, да, увидел своими глазами, как тяжелая каменная плита, где я только что сидел, поднялась стоймя,— и появился мертвец, голый скелет, который отвалил камень своей согнутой спиной. Я видел его, видел совершенно ясно, хотя была глубокая тьма. Я прочитал на кресте:

«Здесь покоится Жак Оливан, скончавшийся пятидесяти одного года от роду. Он любил ближних, был добр и честен и почил в мире».

Покойник тоже читал слова, начертанные на его могиле. Потом он поднял камень с дорожки, острый камешек, и начал старательно соскабливать надпись. Он медленно стирал ее, вперив пустые глазницы в перекладину креста, затем своим костяным пальцем стал писать буквы, светящиеся, как линии, которые чертят фосфорной спичкой на стекле:

«Здесь покоится Жак Оливан, скончавшийся пятидесяти одного года от роду. Своей жестокостью он вогнал в могилу отца, чтобы получить наследство, истязал жену, мучил детей, обманывал соседей, крал, где только мог, и умер, презираемый всеми».

Кончив писать, мертвец неподвижно созерцал свою работу, и я увидел, обернувшись, что все могилы раскрыты, что изо всех гробов поднялись скелеты и что все они стирали ложь, написанную родственниками на могильных плитах, чтобы восстановить истину.

И я узнал, что все они были палачами своих близких, злодеями, подлецами, лицемерами, лжецами, мошенниками, клеветниками, завистниками, что они воровали, обманывали, совершали самые позорные, самые отвратительные поступки — все эти любящие отцы, верные супруги, преданные сыновья, целомудренные девушки, честные торговцы, все эти мужчины и женщины, слывшие добродетельными.

Все разом они писали на пороге своей вечной обители беспощадную, страшную и святую правду, которой не знают или делают вид, что не знают, люди, живущие на земле.

Я подумал, что *она* тоже, наверное, написала правду на своем кресте. И, ничего уже теперь не страшась, я побежал меж зияющих гробов, среди трупов, среди скелетов, и устремился к ней, уверенный, что найду ее сразу.

Я узнал ее издали, хотя лицо ее было закрыто саваном.

И на мраморном кресте, где я читал недавно: «Она любила, была любима и умерла», я прочел: «Выйдя однажды из дому, чтобы изменить своему любовнику, она простудилась под дождем и умерла».

Говорят, меня подобрали на рассвете без чувств возле какой-то могилы...

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Настоящий том объединяет произведения Мопассана, публиковавшиеся в период с декабря 1887 года по март 1889 года включительно.

Начало работы Мопассана над «Пьером и Жаном», вынашивание замысла и выработка плана восходят еще к осени 1886 года.

Тассар замечал в записи от 2 октября 1886 года: «Г-н де Мопассан вырабатывает план романа, на который он возлагает большие надежды».

Но писать этот роман Мопассан начал только в мае или июне 1887 года.

В воспоминаниях г-жи Леконт дю Нуи под датой 22 июня 1887 года сообщается: «Мопассан прочел мне первые страницы своего нового романа «Пьер и Жан». Экспозиция начата очень хорошо; подлинное событие подало ему мысль написать эту книгу. Один из его друзей только что получил наследство в восемь миллионов. Это наследство было оставлено ему кем-то из друзей его семьи, постоянно обедавшим у них. Отец молодого человека, кажется, был стар, а жена — молода и красива. Стараясь понять, чем может быть объяснено завещание такого богатства, Ги сделал предположение, которое напрашивалось само собою, и собирается развить его; мы должны отправиться вместе с ним в субботу в Гавр, чтобы он мог как следует проникнуться пейзажем, картиной доков и всей жизнью порта» («En regardant passer la vie»..., par l'auteur d'«Amitié amoureuse» et Henri Amic. P. 1903, p. 46).

Таким образом, в основе «Пьера и Жана» лежит подлинное происшествие. То обстоятельство, что происшествие это случилось совсем недавно («один из его друзей только что получил»...), опровергает гипотезу Рене Дюменильа о том, что первый набросок темы этого романа якобы сделан уже в новелле «Завещание», напечатанной 7 ноября 1882 года.

Указание г-жи Леконт дю Нуи о времени работы над романом подкрепляется записью из дневника Тассара, датированной сентябрем 1887 года:

«Мой господин ходит на охоту, как и в прошлые годы, но,

кажется мне, с несколько меньшим увлечением. Между тем он закончил большую часть романа «Пьер и Жан». Начав писать эту вещь со времени нашего приезда сюда (в Этрета. — *Ю. Д.*), он закончил ее за два с половиной месяца; работа шла очень хорошо. Господин сказал мне, что тень, которую уже дает аллея молодых ясеней, была для него благодетельна; расхаживая по этой аллее, он и обдумал «Пьера и Жана», написанного в очень короткое время, если учесть еще хроники и новеллы, выколоченные в течение недели.

— Прежде чем мы отправимся в Африку,— добавил мой господин,— мне остается еще написать нечто вроде предисловия; я помещу его в начале этого маленького романа и выскажу в нем все, что думаю о критике, а также о своем понимании задач романа» («Souvenirs sur Guy de Maupassant» par François, P. 1910, p. 94).

«Пьер и Жан» печатался в декабре 1887 года и в январе 1888 года в журнале «Нувель Ревю». В январе же 1888 года роман был издан Оллендорфом отдельной книгой. Еще в сентябре 1887 года Мопассан сообщал матери: «Перед лицом угрожающих нам весною событий Оллендорф хочет выпустить в продажу «Пьера и Жана» 3 января, а не 20-го. Таким образом, мне, может быть, придется остаться до этого времени и не ездить вторично в Париж, как я думал, поскольку мои финансы не позволяют никаких излишних расходов. Как только «Пьер и Жан» будет выпущен в продажу, я поеду в Канн на весь остаток зимы. «Пьер и Жан» будет пользоваться только литературным, а не коммерческим успехом. Я уверен, книга хороша, я тебе об этом писал постоянно, но это жестокая книга, что помешает ее продаже». Вслед за изданием Оллендорфа, в конце 1888 года, вышло иллюстрированное издание романа с рисунками Дюеза и Ленча, выпущенное фирмой Буссо-Валадон.

Очерк «О романе» был впервые напечатан в «Литературном приложении» к газете «Фигаро» 7 января 1888 года, и публикация эта сопровождалась следующим инцидентом.

«Фигаро» несколько затянул печатание очерка и вдобавок сделал в нем многочисленные и очень существенные купюры. Прежде всего был выброшен начальный абзац. Далее исчезли шесть очень важных страниц о назначении критики (от II до VIII страницы оллендорфовского издания), так же, как и существенное высказывание о реализме (от IX до XIV страницы того же издания)

Эти необоснованные купюры вызвали крайнее раздражение Мопассана, и он даже намеревался привлечь газету к суду (см. в XII томе письмо Мопассана к редактору «Голуа»). Но обошлось без судебного процесса благодаря принесенным газетой извинениям.

Французские критики, задетые высказываниями очерка «О романе», писали о нем гораздо больше, чем о самом «Пьере и Жане», и суть их замечаний сводилась к тому, что Мопассан напечатал хороший роман и никуда не годное предисловие.

Очерк «О романе» следует оценивать в плане борьбы Мопассана с современной ему французской критикой, уровень которой

был очень невысок. «Критики нет — дрянное потакание всему и всем,— писал Тургенев из Франции еще в 1857 году,— каждый сидит на своем коньке, на своей манере и кадит другому, чтобы и ему кадили,— вот и все» (И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 11. М. 1949, стр. 163).

Известнейшие французские критики XIX века Сен-Бёв, Тэн, Брюнетьер, Жюль Леметр являлись отнюдь не «властителями дум», а лишь пропагандистами консервативных эстетических и политических воззрений, а разная критическая мелюзга, вроде Альбера Вольфа, была чем мельче, тем непримиримей в защите своих вульгарно-мещанских «идеалов» и реакционных тенденций. Превознося литературу «идеалистическую», откровенно приукрашивавшую буржуазную действительность, слащаво изображавшую надуманных положительных персонажей, эта критика резко ополчалась против представителей критического реализма, равно как и против всякого новаторства в литературе. Мопассан считал ее совершенно неспособной поддержать молодой, ищущий талант, ободрить начинающего писателя. Совсем по-иному, с уважением и восхищением, говорил Мопассан (в статье «Изобретатель слова «нигилизм») о деятельности Белинского, который сумел почувствовать дарование молодого Тургенева и именно ободрить его. Великий русский критик, писал Мопассан, «оказывал решающее влияние на литературное движение в России, и его авторитет был значительнее и выше, чем какого-либо другого критика, когда-либо и где-либо».

Претензии ублюдочной французской критики руководить литературой и подчинять ее своим требованиям вызывали естественный протест Мопассана. Этим и объясняется та страстность, с какой Мопассан защищал творческую свободу писателя; понятно и его категорическое требование к критике понимать литературное произведение без всякой предвзятости, обусловленной рецептами той или иной литературной школы, и учитывать все его своеобразие и новизну. Критик должен быть не обывателем, желающим, чтобы художник угождал его вкусам, а эстетически образованным и абсолютно справедливым судьей, способным понять и оценить чисто художественную сторону романа, принадлежащего к той или другой школе, даже если этот роман критику «как человеку не нравится». Критик, если он принадлежит к числу «избранных умов», должен уважительно говорить писателю: «Создайте нам что-нибудь прекрасное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту».

Высказывания Мопассана касаются, конечно, не критики вообще — речь идет не о Белинском, не о Дидро, которых писатель глубоко уважал,— а именно о современной ему французской буржуазной критике, раздражавшей его своей вульгарностью и претенциозной тупостью. В этих высказываниях отражалось и то презрение к критике, которое было присуще Бальзаку, Флоберу, Золя и многим другим выдающимся французским писателям, кого критика или не понимала, или слишком хорошо понимала, а потому и травила. Все это ясно. Однако в своей общей оценке критики и ее основных задач Мопассан выдвигал односторонние и ошибочные идеи, так как пытался оставить

ей лишь право на некий эстетически-созерцательный подход к литературе и совершенно не признавал ее руководящей и организующей роли в развитии литературы, ее идейно-общественных целей. Не удивительно, что очерк Мопассана вызвал не только множество нападок со стороны присяжных критиков, но и далеко не все друзья писателя согласились с ним. Так, литератор Леопольд Лакур, не разделяя положений Мопассана об эстетическом бесстрастии критики, писал ему в письме от 7 января 1887 года: «Я согласен, что критик должен все принимать по части школ, хотя сам не должен принадлежать ни к одной из них. Но, стоя вне их, может ли он быть бесстрастным, не отдавать предпочтения тем или иным исканиям искусства, той или иной семье художников? Его долг — все понимать; но кем будет критик, который не стал бы чувствовать? А его манера чувствовать роковым образом (и к счастью) как раз и делает из него бойца».

Увлекшись защитой творческой свободы художника, Мопассан дошел до утверждения, что писательская манера «идеалистов» и реалистов равно приемлема при том только условии, чтобы они были талантливыми художниками. Он особенно подробно останавливается на художественных задачах реалистов, отмежевывая их от натурализма и подчеркивая, что реалист не фотограф, что он описывает не все жизненные события, отбирает лишь характерное, ибо должен дать более правдивое изображение жизни, чем сама жизнь. «Показывать правду — значит дать полную иллюзию правды»,— говорит Мопассан и отсюда неожиданно заключает, что писатель-реалист скорее должен был бы называться «иллюзионистом». Увы, это не только спор о словах! Скажем мимоходом, что нежелание Флобера и Мопассана называть себя реалистами покоилось на недоразумении: термин «реализм» в 50—60-х годах стал во Франции знаменем писателей Дюранти и Шанфлери, понимавших свои художественные задачи крайне узко, в духе крохоборческого копирования действительности, и во многих отношениях оказавшихся предшественниками натурализма. Настаивая на термине «иллюзионист», а не «реалист», Мопассан пишет дальше: «Какое ребячество — верить в реальность, если каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и органах чувств!» Подобные высказывания близки уже к субъективному идеализму и осложняются у Мопассана его агностицизмом, его убеждением в непознаваемости бытия. Поразительно встречаться с подобными мыслями у такого художника-реалиста, как Мопассан, в творчестве которого французская действительность 80-х годов получила в общем такое широкое воспроизведение (исключая революционную борьбу), а во взятых масштабах трактовалась глубоко и разоблачительски. Кому из читателей придет, например, в голову считать субъективной иллюзией Мопассана его сокрушительную сатиру на французский оппортунизм и на растленные нравы Третьей республики в «Милом друге» или его беспощадно острую, объективно верную картину гибели дворянско-аристократической культуры XIX века в «Жизни» и т. д.? Все эти рассуждения Мопассана — лишний и очень яркий пример столь частого в капиталистическом обществе противоречия меж-

ду «теоретическими» высказываниями и творческим методом художника.

Мопассан далее останавливается на психологическом и на «объективном» романах. Он считает необходимым ознакомить читающую публику с задачами и приемами психологического жанра 80-х годов, тогда еще бывшего новинкой (вспомним, что французская читательская масса «открыла» Стендаля лишь в это же примерно время). Здесь также более чем спорным является утверждение Мопассана, что художнику не дано перевоплощаться в другого человека и что всюду и везде он изображает только самого себя. Все это опять связано с положением о «непознаваемости» мира.

Среди ряда статей о «Пьере и Жане» следует отметить статью Анатоля Франса.

«Надо признаться, — пишет Франс, — что Мопассан разработал этот неблагодарный сюжет с уверенностью таланта, вполне владеющего самим собою (сюжет казался Франсу «неблагодарным» из-за странности исходного положения, из-за того, что Марешаль завещал свое состояние одному из братьев, подавая тем самым повод к кривотолкам; кроме того, Франс находил «чудовищным и жестоким» поведение Пьера, хотя оно и «диктуется логикой его натуры», и, наконец, считал, что в романе нет развязки: «подобное положение не создает возможности для развязки».— *Ю. Д.).* Сила, гибкость, мера — все есть у этого мощного повествователя; он кажется сильным без напряжения, он в совершенстве владеет своим искусством... Я должен сказать, что Мопассан заслуживает всяческих похвал за то умение, с которым он нарисовал несчастную женщину, жестоко расплачивающуюся за свое прежнее счастье, остававшееся столь долго безнаказанным. Одним очерком пера, уверенно и быстро, он изобразил немного вульгарную, но не лишенную очарования и грации фигуру этой «нежной кассирши». Тонко, но без иронии он выявил контраст между большим чувством и мелочной жизнью. Что до языка Мопассана, то я скажу лишь, что это настоящий французский язык, ибо не знаю другой, лучшей похвалы».

При всех комплиментах Мопассану-романисту французская критика не оценила, однако, глубокий трагический смысл «Пьера и Жана». В нем увидели только блестящий психологический этюд, только произведение жанра «семейного романа». Никто не понял критики художником общественных и бытовых условий того строя, в котором «ошибка» матери, искание счастья женщиной, его не ведавшей, неотвратимо сопровождаются впоследствии мучительным возмездием, приводят к моральной катастрофе, потрясают и разрушают семью.

В XII томе читатель встретит письмо Мопассана к писателю Эстонье, издавшему в 1888 году свой первый роман «Простак», тема которого оказалась та же, что и в «Пьере и Жане». Возможность какого бы то ни было плагиата была исключена, и Мопассан объяснял такое совпадение тем, что и он и Эстонье смогли одновременно прочесть ту «хроникерскую заметку в газете», которая дала толчок к рождению «Пьера и Жана» (может быть, эти слова о газетной заметке и не противоречат тому, что говорит об источниках романа г-жа Леконт дю Нуи).

Такое же совпадение творческих замыслов произошло у Мопассана как автора романа «Сильна как смерть» и у Поля Бурже как автора романа «Призрак», изданного в 1901 году. Французская критика объясняет дело тем, что Мопассан получил тему, романа «Сильна как смерть» от г-жи Леконт дю Нуи, которая, однако, еще раньше рассказывала о ней Полю Бурже, но Мопассан разработал эту тему сразу же, а Бурже обратился к ней двенадцатью годами позже (A. Lumbroso, pp. 332—333). Не можем судить, в какой мере верны указания Лумброзо, потому что тема любви героя романа к матери, а затем к ее дочери вовсе не нова для Мопассана и была впервые затронута им в 1885 году в рассказе «Кончено!» (т. X).

К работе над романом «Сильна как смерть» (заглавие которого восходит к библейской фразе «Сильна как смерть любовь») Мопассан, видимо, приступил с начала 1888 года. У Тассара читаем: «12 марта в гостиной у нас г-н д'Юбер. Он приходил от имени «Жиль Блас», желающего заручиться согласием на печатание нового романа г-на де Мопассана». Далее в записи от 16 апреля, говоря о пребывании писателя в Канне, Тассар сообщает: «В этой квартире г-н де Мопассан набросал вчерне план романа «Сильна как смерть» после долгих споров с матерью, которая ни за что не хотела согласиться с такой развязкой романа, как насильственная смерть под колесами омнибуса» («Souvenirs sur Guy de Maupassant par François», pp. 135, 139).

В отличие от «Пьера и Жана» работа над новым романом тянулась долго. В мае 1888 года Мопассан сообщал матери: «Я готовлю потихоньку свой новый роман и нахожу его очень трудным, столько в нем должно быть нюансов, подразумеваемого и невысказанного. Он не будет длинен к тому же; нужно, чтобы он прошел перед глазами, как видение жизни, страшной, нежной и преисполненной отчаяния».

В новой записи от 12 ноября Тассар отмечает: «Сильна как смерть» быстро подвигается вперед; роман должен быть окончен к 15 января, чтобы началось его печатание в прессе, а весною он выйдет отдельной книгой. Мой господин говорит, что успех несомненен, но конец по-прежнему не нравится госпоже» («Souvenirs...», p. 153). Дальше в записи от конца января 1889 года Тассар сообщает, что роман окончен («Souvenirs...», p. 158).

Первая публикация романа была не в «Жиль Блас», а в журнале «Ревю иллюстрэ» (с 15 февраля по 15 мая 1889 года). Одновременно роман печатался книгой в издательстве Оллендорфа и поступил в продажу уже 16 марта. «Издание расходится хорошо,— отмечал Тассар,— мой господин очень доволен и рассчитывает, что весною продажа пойдет особенно бойко в железнодорожных киосках. Кроме того, его новый издатель обладает коммерческой жилкой в большей степени, чем предыдущий» (чем Авар.— *Ю. Д.*) («Souvenirs...», pp. 160—161).

К июлю 1890 года «Сильна как смерть» разошлась в количестве тридцати двух тысяч экземпляров.

Почему затянулась работа Мопассана над этим предпоследним его романом? Это объясняется рядом причин. Важнейшую роль играло здесь ухудшение здоровья писателя. О том, какого труда стоил Мопассану этот роман, свидетельствуют мно-

гочисленные поправки в рукописи, множество переделок (вплоть до того, что на одной странице рукописи из сорока строк неизмененными остались только восемь), возраставших к концу работы над книгой. Заключительная фраза романа переделывалась четыре раза. Правда, мы не знаем, сколько было рукописей этого произведения, и пользуемся только данными в издании Конара, относящимися, видимо, к рукописи окончательного текста.

В издании Конара приведен вариант первой редакции конца романа, начиная с того места, когда Оливье Бертен уходит от г-жи де Гильруа, не разрешившей ему остаться у нее на вечер. В этом варианте действие развивается гораздо стремительнее (письмо о несчастном случае прибывает еще в то время, когда гости говорят о статье в «Фигаро»; кучер фиакра в действие не введен; у Бертена графиня не отсылает за сиделкой мужа и доктора, а они выходят в другую комнату, после чего тотчас же следует сжигание писем и т. д.). Эта стремительность действия, безусловно, противоречила общему замедленному ритму повествования в романе. Интересно отметить, что для переделки этого варианта Мопассан прибегнул главным образом к приему более пространного описания психологии своих героев. Несмотря на то, что жанр психологического романа после «Пьера и Жана» уже не был для Мопассана новинкой, из указанного примера ясно видно, что писатель не без усилий переходил к приему пространной демонстрации психологических состояний, так как весь опыт его предшествующей работы и ученичества у Флобера научил его «объективной» манере — экономному и концентрированному показу психологии в жесте персонажа (как и был написан начальный вариант конца романа).

В новом романе Мопассан впервые дал развернутое изображение светского общества.

Это было не случайно. После успеха «Жизни» и «Милого друга» Мопассан начал завязывать светские знакомства. Говорили о его снобизме, но это неверно. У Мопассана, правда, был такой период, когда ему льстило восхищение светского общества, когда он был удовлетворен своими первыми успехами. Возможно, что у него на столе и лежал Готский альманах, о чем с такой злобой писал Эдмон Гонкур; но ведь, изучая обособленный мир светского общества, нужно же было иметь какой-то путеводитель.

В светском обществе, в среде титулованной или денежной аристократии, в среде всем обеспеченных гурманов жизни, Мопассан, может быть, еще надеялся найти представителей той утонченной духовной культуры, умирание которой он запечатлел в образе Норбера де Варена. Но он принес в светское общество свой цепкий, острый, беспощадно разоблачающий взор наблюдателя, и перед ним вскоре предстала во всем разочаровывающем духовном убожестве, во всей своей чванной пустоте, ограниченности, пошлости и паразитизме внешне блистательная жизнь светских людей.

Подобно Оливье Бертену, он чувствовал свою чужеродность в этом обществе. Он был здесь признанным талантом, но человеком «не нашего круга»; это ему давали чувствовать не раз и иногда в довольно жесткой форме.

Жорж Норманди пишет, что у Мопассана было двойственное отношение к светскому обществу: «Этот свет, который он ненавидит, удерживает его при себе. У него (Мопассана. — *Ю. Д.)* к нему одновременно и ужас и восхищение» (G. Normandy Guy de Maupassant. P. 1926, p. 100). Говорить о «восхищении» — довольно смелое дело, поскольку известен ряд уничтожающих отзывов Мопассана о светском обществе (см., например, его высказывания в книге «На воде» или письмо г-же Леконт дю Нуи от 2 марта 1886 года и др.), но Мопассан действительно уже не порывал со светским обществом, хотя оно его и тяготило. «Он говорил мне, что светская жизнь надоедает ему»,— записывает Тассар в 1888 году и далее приводит слова Мопассана об его отвращении «к светской сутолоке, которая меня так утомляет, которой я все же должен следовать и которую ненавижу» («Souvenirs...», pp. 149, 153).

«Сильна как смерть» представляет собой не только психологический роман, но и острую сатиру Мопассана на светское общество.

Сборник рассказов «С левой руки» был издан Оллендорфом в марте 1889 года и при жизни Мопассана переиздавался без всяких изменений. Заглавие книги было найдено не сразу: первоначально издатель анонсировал новый сборник под заглавием «Любовницы» («Les Maîtresses»).

Подобно сборникам «Рассказы вальдшнепа» и «Сказки дня и ночи», этот сборник назван не по начальному рассказу. Заглавие «С левой руки» объясняется французским выражением mariage de la main gauche, обозначающим тот брачный союз, в котором муж по своему аристократическому происхождению или общественному положению стоит неизмеримо выше жены и не уравнивает ни ее, ни детей в правах с собою. В более широком смысле это выражение означает всякого рода свободные любовные союзы. Сборник и представляет собою собрание забавных или, чаще, драматических рассказов о различных любовных происшествиях, о внебрачных связях, об изменах любовников, о внебрачных детях и о трагических историях, образцом которых является знаменитый рассказ «В порту».

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЬЕР И ЖАН

Стр. 5. *«Манон Леско»* — любовный роман (1731) французского писателя аббата Прево (1697—1763) «История Манон Леско и шевалье де Гриё».

«Поль и Виржини» — сентиментально-идиллический роман (1787) французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

«Опасные связи» — эпистолярный роман (1782) французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803).

«Вертер» («Страдания молодого Вертера») и *«Избирательное сродство»* — романы немецкого писателя Гете (1749—1832); первый был издан в 1774 году, второй — в 1809 году.

«Кларисса Гарло» — сентиментальный роман (1747 — 1748) английского писателя Ричардсона (1689—1761).

Стр. 6. *«Эмиль»* — роман-трактат французского писателя Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) *«Эмиль, или о воспитании»* (1762).

«Кандид» — один из философских романов французского писателя Вольтера (1694—1778), «Кандид, или оптимизм» (1759).

«Сен-Мар» — исторический роман (1826) французского писателя Альфреда де Виньи (1797—1863).

«Рене» — автобиографическая повесть (1802) французского писателя Шатобриана (1768—1848).

«Три мушкетера» — авантюрно-исторический роман (1844) Александра Дюма-отца (1803—1870).

«Мопра» — исторический роман (1836) французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).

«Отец Горио», «Кузина Бетта» — социальные романы французского писателя Бальзака (1799—1850), опубликованные первый — в 1834, второй — в 1847 году.

«Коломба» — повесть (1840) французского писателя Мериме (1803—1870).

«Красное и черное» — социально-психологический роман (1831) французского писателя Стендаля (1783—1842).

«Мадемуазель де Мопен» — роман (1833) французского писателя Теофиля Готье (1811—1872).

«Саламбо», «Госпожа Бовари» — романы французского писателя Флобера (1821—1880); первый опубликован в 1862 году, второй — ранее, в 1857 году.

«Адольф» — роман (1816) французского писателя Бенжамена Констана (1767—1830).

«Господин де Камор» — роман (1867) французского писателя Октава Фейе (1821—1890).

«Западня» — социальный роман (1877) французского писателя Эмиля Золя (1840—1902).

«Сафо» — роман (1884) французского писателя Альфонса Доде (1840—1897).

Стр. 11. *«Бывает не всегда правдоподобна правда»* — стих из дидактической поэмы французского поэта и теоретика классицизма Николя Буало (1636—1711) «Поэтическое искусство» (1674).

Стр. 17. *Бюффон* (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель и литератор. К своей литературной работе Бюффон относился с таким большим уважением, что, принимаясь за нее, надевал особые кружевные рукавчики. Стиль Бюффона приводил Флобера в восхищение своей торжественной мерностью, плавностью и полнотой. Стало пословицей одно из изречений Бюффона: «Стиль — это человек».

Стр. 18. *В другом месте я изложил идеи Флобера о стиле.*— Во второй статье о Флобере, написанной в 1884 году (т. XI).

Стр. 19. Приводимый стих Буало взят из его «Поэтического искусства».

Ла Гийетт — название виллы, выстроенной Мопассаном в местечке Этрета, на морском побережье Нормандии, где прошли детские годы писателя.

Стр. 24. *Жан-Барт* (1650—1702) — знаменитый французский корсар.

Стр. 44. *Белая кошечка.*— См. примечание к рассказу «О кошках» (т. VI).

Стр. 45. *Политический эмигрант.*— После разгрома польского восстания 1863 года многие поляки эмигрировали во Францию.

Стр. 46. *Напоминает... Марата.*— Знаменитый деятель французской революции XVIII века Марат (1743—1793) был по образованию врачом и до революции много работал также в области изучения света, оптики и электричества. Несколько ценных научных открытий, сделанных Маратом, не получили признания со стороны враждебного к нему академического мира.

Стр. 59. *Габун* — французская колония в Западной Африке.

Стр. 146. *Внезапно охваченные патриотическим порывом.*— Действие романа происходит в конце 70-х или в начале 80-х годов, то есть после того, как Франция в результате войны 1870—1871 годов потеряла свои исконные области Эльзас и Лотарингию. В этой обстановке постройка и первый рейс великолепного парохода, названного «Лотарингией», живо пробуждали патриотическое чувство французов.

СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ

Стр. 152. *Римская премия* — существует во Франции для тех художников-лауреатов (музыкантов, живописцев, скульпторов, архитекторов и граверов), которые получают за счет государства командировку в Рим для усовершенствования в своем искусстве.

Стр. 153. *Институт.*— Под общим названием Французского института объединяются пять академий: Французская академия, Академия надписей и художественной литературы, Академия моральных и политических наук, Академия физико-математических и естественных наук, Академия изящных искусств.

Стр. 161. *Анри Реньо* (1843—1871) — французский художник, мастер колорита, автор эффектных военно-героических композиций; был убит во время франко-прусской войны в сражении при Бюзанвале.

Стр. 189. *Выжидает уже восемнадцать лет.*— Восемнадцать лет после войны 1870—1871 годов. Действие романа Мопассана относится к 1888 году.

Канцлер — Бисмарк, титуловавшийся «великим канцлером германской империи».

Патриоты Лиги.— Имеется в виду шовинистическая «Лига патриотов», основанная в 1882 году как объединение французских милитаристов под председательством поэта Поля Деруледа (1846—1914). Лига настойчиво пропагандировала идею реванша

после поражения Франции в войне 1870—1871 годов. С течением времени Лига стала крупнейшим центром махровой политической реакции — буланжистской организацией в 1888 году, а позднее — объединением врагов капитана Дрейфуса.

Сен-Симон.— Здесь имеется в виду герцог Луи Рувруа де Сен-Симон (1675—1755), вельможа двора Людовика XIV, оставивший ценные «Мемуары».

Стр. 190. *Объединение народов против французского задора.*— Намек на образование в 1882 году Тройственного союза, объединившего Германию, Италию и Австрию.

Стр. 194. *Это напоминает мне египетских коров.*— Намек на библейское сказание о фараоне, которому приснились семь тощих коров, пожравших семь тучных.

Стр. 205. *Лилипутия* — фантастическая страна, описанная в первой части романа Свифта «Похождения Гулливера».

Стр. 206. *Мюссе* — французский поэт-романтик Альфред де Мюссе (1810—1857).

«Манон Леско», «Страдания молодого Вертера», «Адольф».— См. выше примечания к стр. 5—6.

«Цветы зла» — сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867), родоначальника символизма.

«Женщина в XVIII веке» — книга братьев Гонкур, вышедшая в 1862 году.

Стр. 217. *Гайдн* (1732—1809) — австрийский музыкант, автор симфоний и ораторий.

Стр. 219. *Веласкес* (1599—1660) — знаменитый испанский живописец.

Стр. 221. *Они подошли к пруду* (и т. д. до конца абзаца).— Творчество Мопассана всегда основано на внимательном реалистическом наблюдении действительности, что сказывается и в данном случае. В мемуарах Франсуа Тассара сохранилась запись, приблизительно датированная июнем 1886 года, в которой приводятся следующие слова Мопассана о его прогулке в парке Монсо: «Я прошел мимо лужи с утками, где было два довольно жалких белых лебедя. Затем я заметил одну даму, одиноко сидевшую и читавшую книгу, которая, кажется, целиком поглощала ее внимание. Пройдя несколько шагов дальше, я присел на минутку, восхищаясь грациозной позой этой дамы: всецело отдавшись чтению, она совсем ничего не видела вокруг себя». Как видим, основа впечатлений Мопассана осталась неизменной, несмотря на некоторые внешние детальные изменения.

Стр. 235. *Условное «покрытие лаком».*— Слово «вернисаж», понимаемое обычно как день предварительного открытия выставки, когда ее посещает избранная публика по пригласительным билетам, имеет во Франции дополнительное значение: это день, когда производится покрытие картин лаком. Слова Мопассана об «условном покрытии лаком» говорят не о том, что лакировки не было (далее в IV главе как раз упоминаются лакировщики), но, видимо, о том, что покрыть за один день лаком 3 400 картин невозможно.

Стр. 238. *Бонна* (1833—1922) — французский художник-портретист.

Каролюс Дюран (1837—1917) — французский художник-портретист.

Пюви де Шаванн (1824—1898) — французский художник, мастер декоративной и фресковой живописи.

Ролль (1846—1919) — французский художник, автор многих исторических картин.

Жервекс (род. 1852) — французский художник из числа друзей Мопассана. Упоминая имя Жервекса среди крупнейших имен французских художников этой поры, Мопассан создал своему другу ту же невинную рекламу, которую он устраивал при случае (например, в «Милом друге») другим своим приятелям-художникам.

Беро (1849—1935).— Имеется в виду художник-жанрист Жан Беро, друг Мопассана, которому посвящена новелла «Шали» (т. III). Имя Беро встречается и в «Милом друге» среди авторов картинной галереи Вальтера.

Дюез (1843—1896) — французский художник реалистической школы. Он принимал участие в иллюстрировании издания «Пьера и Жана», выпущенного в 1888 году издательством Буссо-Валадон.

Стр. 280. *Гуно* (1818—1893) — знаменитый французский композитор, с которым Мопассан был знаком лично. Тассар записал 21 мая 1888 года: «Г-н де Мопассан получил очаровательное письмо от г-на Гуно, который повторяет просьбу, высказанную уже в какой-то гостиной,— написать для него что-нибудь, что он мог бы положить на музыку. Господин сказал мне: может быть, я и напишу, ведь это такой большой художник!..» В августе 1891 года новая запись Тассара: «Мой господин сказал мне, что отыскал сонет, предназначенный для г-на Гуно». Что это был за сонет,— неизвестно. «Знаменитая фраза Гуно» — из «Фауста».

Стр. 292. *«Легенда веков»* — трехтомный сборник стихотворений Виктора Гюго.

Стр. 303. *Шуман* (1810—1856) — немецкий композитор и пианист.

Стр. 304. *Шуберт* (1797—1828) — австрийский композитор.

Стр. 306. *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт.

Стр. 316. *Тревожное политическое положение.*— Имеется в виду осень 1888 года, когда положение Третьей республики действительно стало шатким. Летом 1887 года разыгрался крупный скандал: выяснилось, что целый ряд оппортунистических заправил (в частности Даниэль Вильсон, зять президента республики Жюля Греви) вел настоящую торговлю орденами. Скандал завершился отставкой Жюля Греви и приходом к власти нового кабинета министров во главе с Флоке (апрель 1888 года). Период министерства Флоке был заполнен борьбою правительства с развитием буланжизма.

Генерал Буланже (1837—1891) представлял собою претендента в военные диктаторы. Став военным министром в январе 1886 года, он присоединился к решению правительства республики об изгнании с французской территории всех бывших принцев, чем завоевал популярность среди населения Парижа. Мелкими улучшениями быта солдат Буланже укрепил свою популярность в армии. Французское общественное мнение, все еще подавленное разгромом Франции в 1870—1871 годах, начало уже видеть в нем героя реванша, тем более что немецкая печать стала с 1887 года предсказывать неизбежность новой войны с Францией. Но популярность Буланже внушала беспокойство правительству: в мае 1887 года он не был введен в новый кабинет министров, а затем получил назначение в провинцию. Отъезд генерала из Парижа превратился в шумный триумф, и с этих пор имя Буланже стало в ошибочном представлении многих слоев французской демократии именем борца за родину и за народные интересы. Выбранный в 1888 году в парламент от целого ряда департаментов, Буланже занял место в рядах оппозиции, шумливо требовал пересмотра конституции, роспуска палаты, дрался на дуэлях и приобрел множество сторонников. Его цезаристские стремления становились все более очевидными. Осенью 1888 года борьба буланжистов, особенно «Лиги патриотов», в связи с предстоявшими выборами крайне обострилась. Это время и имеет в виду Мопассан. День выборов 27 января 1889 года явился апогеем успехов Буланже, но республиканский строй удержался, и правительство приступило к ликвидации буланжизма. Генерал бежал за границу, где вскоре застрелился.

Стр. 327. *Хаммам* — баня (арабск.).

Стр. 328—329. *...знаменитый тенор Монрозэ... прославленная шведская певица Эльссон.*— Глава об исполнении оперы «Фауст», как обычно у Мопассана, имеет свою реально-историческую основу: в 80-х годах в Париже пользовались крупным успехом тенор Монроз и знаменитая шведская певица Христина Нильсон (1843—1921). Мопассан лишь несколько изменил их имена.

Стр. 336. *Национальная академия музыки*— официальное название Большой оперы (Гранд Опера) в Париже.

...знаменитая лестница.— Современное здание Большой оперы построено в 1862—1874 годах французским архитектором Шарлем Гарнье (1825—1893), эклектически соединившим в этом роскошном и эффектном здании архитектурные стили античности, Возрождения и современности.

Стр. 337. *...сначала она почти провалилась.*— По признанию самого Гуно, первая постановка его «Фауста» в 50-х годах на сцене парижского Лирического театра не имела успеха из-за конкуренции с драмой популярного драматурга д'Эннери «Фауст и Маргарита», одновременно и с большой пышностью поставленной в театре Порт Сен-Мартен. Решившись впоследствии возобновить постановку оперы Гуно, дирекция Лирического театра потребовала от композитора ряда переделок (так, куплеты о золотом тельце ему пришлось переделывать семь раз), и опера была поставлена вторично 19 марта 1859 года, завоевав на этот раз шумный успех (см. P. Belon et G. Price. Paris qui passe. P. 1888, pp. 309—315).

...раздались три удара.— Во французских театрах не существует звонков; о поднятии занавеса публику предупреждает троекратным стуком палки об пол помощник режиссера.

Стр. 339. *Обен* — один из певцов Большой оперы в 60-х годах.

Фор (1830—1914) — знаменитый в свое время певец Большой оперы и композитор.

Приводимые здесь и далее стихи взяты Мопассаном из либретто оперы «Фауст», составленного французскими драматургами Мишелем Карре (1819—1872) и Жюлем Барбье (1822—1891).

Стр. 341. *Лессепс* (1805—1894) — французский инженер и дипломат, строитель Суэцкого канала.

«С ЛЕВОЙ РУКИ»

Аллума

Впервые напечатано в газете «Эко де Пари» фельетонами с 10 по 15 февраля 1889 года. Для переиздания новеллы в книге автор несколько сократил развязку. В 1892 году эта новелла

была издана отдельной книгой, в виде художественного издания, Обществом современных библиофилов.

Стр. 374. *Руми* — имя, которым арабы обозначают христиан-европейцев.

Стр. 375. *Бордж* — крепость.

Стр. 377. *Кхоль* — черноватое притирание для бровей и для век, которым пользуются арабские женщины.

Стр. 384. *Рамадан* — девятый месяц принятого у мусульман лунного года, посвященный посту.

Стр. 385. *Кубба* — небольшое здание, воздвигаемое мусульманами над могилой почитаемого человека или святого.

Дуар — арабское селение, состоящее из ряда шатров.

Стр. 387. *Бейрам* (или байрам) — название двух мусульманских праздников, один из которых завершает рамадан, а другой справляется семьдесят дней спустя.

Отец и сын Ото

Напечатано в «Эко де Пари» 5 января 1889 года. Новелла была переиздана в 1892 году с иллюстрациями Гюстава Жаннио Обществом современных библиофилов.

Буатель

Напечатано в «Эко де Пари» 22 января 1889 года. О Робере Пеншоне см. в комментариях ко II тому. Хотя Шарль Лапьер указывает, что тему этой новеллы Мопассан получил от Пеншона (A. Lumbroso, p. 611), но сам Робер Пеншон, по свидетельству Лумброзо, напротив, заявлял, что темой этой новеллы и некоторых других Мопассан обязан другому лицу: «Ги де Мопассан узнал о них от одного из моих близких друзей, помещика г-на Жозефа Обура, с которым я его познакомил и который, обедая с ним вместе, нередко рассказывал ему забавные истории, происходившие в его местах», именно в Нормандии (A. Lumbroso, pp. 359—360).

Денщик

Напечатано в «Жиль Блас» 23 августа 1887 года.

Кролик

Напечатано в «Жиль Блас» 19 июля 1887 года.

Вечер

Сведениями о первой публикации этой новеллы в прессе французские библиографы до сих пор не располагают. В начале 90-х годов эта новелла была выпущена отдельным художествен-

ным изданием, с иллюстрациями Жоржа Скотта, Обществом современных библиофилов.

Булавки

Напечатано в «Жиль Блас» 10 января 1888 года.

Дюшу

Напечатано в «Голуа» 14 ноября 1887 года.

Стр. 458. *Вам кого, господина Дюшукса?* — Служанка, жительница французского юга, произносит в фамилии Дюшу невыговариваемый на севере Франции последний согласный звук—икс.

Свидание

Напечатано в «Эко де Пари» 23 февраля 1889 года.

Стр. 467. *Башня Сен-Жак* — остаток старинной готической церкви XVI века в Париже в квартале Ситэ. Высота башни — 52 метра. Ныне в ней находится обсерватория.

Делоне (1826—1903) — популярный французский драматический актер, долго и с успехом игравший в Комеди Франсэз роли первых любовников.

В порту

Напечатано в «Эко де Пари» 15 марта 1889 года. По указанию Шарля Лапьера, тему этой новеллы Мопассан получил от Робера Пеншона (A. Lumbroso, p. 611). Новелла эта пользовалась особенной любовью Льва Толстого, публиковавшего ее в дешевых изданиях «Посредника» под заглавием «Француза»; перевод новеллы был подвергнут Толстым небольшим изменениям и сокращениям.

Покойница

Напечатано в «Жиль Блас» 31 мая 1887 года.

Ю. ДАНИЛИН.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 32, 33, 64, 65, 96, 97 — «Пьер и Жан». Худ. Альбер Линш. 1888.

Стр. 128, 129, 192, 193 — «Пьер и Жан». Худ. Альбер Линш. 1888.

Стр. 224. «Сильна как смерть». Иллюстрация конца XIX века.

Стр. 225. «Свидание». Рисунок Ги де Мопассана. 1889.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕР И ЖАН

Перевод М. В. Соседовой

О романе 5
Пьер и Жан 20

СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ

Сильна как смерть. *Перевод Н. О. Лернера* 151

С ЛЕВОЙ РУКИ

Аллума. *Перевод М. В. Вахтеровой* 371
Отец и сын Ото. *Перевод ее же* 395
Буатель. *Перевод ее же* 409
Денщик. *Перевод ее же* 418
Кролик. *Перевод ее же* 422
Вечер. *Перевод ее же* 431
Булавки. *Перевод ее же* 449
Дюшу. *Перевод ее же* 455
Свидание. *Перевод ее же* 463
В порту. *Перевод М. А. Салье* 471
Покойница. *Перевод М. В. Вахтеровой* 480

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 485
Примечания 493
Перечень иллюстраций 502

ГИ ДЕ МОПАССАН.

Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 8.

Редакторы
Н. М. Гальперина
и Е. Ф. Брук.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 31/X 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 1222.
Зак. 1803. Форм. бум. 84×108$^{1}/_{32}$.
Печ. л. 25,83+6 вкл. (0,6 п. л.)
Бум. л. 7,88. Уч.-изд. л. 26,2.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.